

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МАРКСИЗМА
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Д. РЯЗАНОВА
ВЫПУСК ВТОРОЙ

Д. РЯЗАНОВ

О Ч Е Р К И
ПО ИСТОРИИ МАРКСИЗМА

ВТОРОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ

ТОМ ВТОРОЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ
И ТЕОРИИ МАРКСИЗМА

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
Д. РЯЗАНОВА



ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

ВЫПУСК ТРЕТИЙ

Д. РЯЗАНОВ

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ
МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА.
ИСТОРИЯ И КОММЕНТАРИЙ



ВЫПУСК ЧЕТВЕРТЫЙ

А. ДЕБОРИН

ОЧЕРК ИСТОРИИ ДИАЛЕКТИКИ

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МАРКСИЗМА

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Д. РЯЗАНОВА
ВЫПУСК ВТОРОЙ

Д. РЯЗАНОВ

**О Ч Е Р К И
ПО ИСТОРИИ МАРКСИЗМА**

ВТОРОЕ ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ

ТОМ ВТОРОЙ



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1928 — ЛЕНИНГРАД**

Отпечатано в 1-й Образцовой типографии Гиза, Москва, Пятницкая, 71.

Набрано в типографии Гиза «Красный Пролетарий». Москва, Пименовская ул., д. 16. Главлит № А—7790. Гиз № 23073. Тираж 5 000 экзempl.

Заказ № 2151.

IV

*ИЗ ИСТОРИИ МАРКСИЗМА
В РОССИИ*

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ

(ГЕРЦЕН ПРОТИВ МАРКСА)

В своей статье «Karl Marx und Michael Bakunin»¹⁾ Эдуард Бернштейн вновь поднимает вопрос об их личных отношениях. Он указывает на причины, в силу которых Бакунин был уже в годы, предшествовавшие революции 1848 года, несимпатичен Марксу. Именно этой глубокой антипатией, которую Маркс питал к Бакунину, объясняется, по его мнению, и то обстоятельство, что в 1848 году Бакунин мог быть объявлен русским шпионом в органе Маркса и Энгельса, «*Neue Rheinische Zeitung*».

«Ясно, что если кто-либо подхватывает столь тяжкое обвинение против лично известного ему человека и публикует его без предварительной проверки, то это одно указывает на очень сильное нерасположение или неуважение к этому человеку».

Мы не будем теперь подробно разбирать историю заметки в «*Новой рейнской газете*», в которой против Бакунина было выдвинуто обвинение, что он является агентом русского правительства. Как это видно будет из письма Маркса, которое мы дальше печатаем, он лично во всей этой истории совершенно неповинен, да и вина Энгельса, на которого, как и на остальных членов редакции, падает ответственность за помещение этой заметки, сводится к минимальным размерам: слух этот дошел до редакции из совершенно различных источников, и она сейчас же поспешила поправить свою оплошность.

Даже у Неттлау сомнение в искренности соответственного заявления Маркса основано только на уверенности, что именно Маркс является главным автором тех обвинений и клевет, которые

¹⁾ «*Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*», 1910.

с 1853 года систематически направляются против Бакунина. Тому, кто не стеснялся самым дичайшим образом взводить на Бакунина обвинение в шпионстве тогда, когда последний изывал и томился в казематах Шлиссельбурга, — тому, конечно, нельзя перипть, несмотря на все его уверения, того остается только заклеймить как клеветника и лицемера. И этот вывод делают и Неттлау, и Гильом, и Виктор Дав.

I

Разница между ними и Бернштейном заключается только в следующем: что для названных анархистов является несомненным, вполне установленным фактом, то у Бернштейна превращается в весьма вероятный факт, для которого он старается подыскать психологическое объяснение. Он не дает себе даже труда проверить и видит в 1848 году, он принимает за данное личную вину именно Маркса, в котором указанные им выше психологические причины развили «склонность принимать на веру всякие подозрения, касавшиеся политического характера Бакунина».

Поэтому Бернштейн принимает без всякой критики и самое злое обвинение, выдвигаемое против Маркса биографом Бакунина Неттлау. Но предоставим слово самому Бернштейну:

«Эта склонность не ослабела, повидимому, и за то время, пока Бакунин пребывал политическим узником в России. В своей полемической брошюре «Политическая теология Мадзини», Жезева, 1871 год. Бакунин рассказывает, что когда он в 1862 году впервые явился в Лондон после своего побега из Сибири, то Герцен и Мадзини сообщили ему о клеветнических подозрениях, распускавшихся там на его счет, в числе прочих и Марксом, вследствие чего он воздержался от посещения Маркса. Но когда он в 1864 году вторично приехал в Лондон, то, по его словам, Маркс сам пришел к нему и уверял его, что он никогда не высказывал про него таких подозрений и даже прямо называл их глупыми. Мы должны поэтому принять, что все, рассказанное Бакунину Герценом и Мадзини, было дутой историей. Отпираться от сделанного когда-либо было не в характере Маркса. Из этого, впрочем, вовсе не следует, что эти слухи были нахватааны просто с ветра. Биограф Бакунина Неттлау, говоря о лондонском периоде его жизни, упоминает о «клеветах клики Уркарта, который стоял также близко к Марксу». Поэтому дело было, по всей

вероятности, так, что хотя Маркс и не повторял прямо подозрения Уркарта, но заявлял, что оно не совсем лишено всякого основания».

Итак, с одной стороны, нельзя не признать, но, с другой, все же должно сознаться, что Маркс был «склонен» клеветать на Бакунина. Так как Бернштейн немного иначе, но все же повторяет обвинение, сформулированное Неттлау, то мы предпочитаем обратиться к первоисточнику, чтобы убедиться, действительно ли Маркс не стеснялся папавлять против Бакунина другие клеветы и за то время, пока последний пребывал политическим узником в России.

II

Неттлау останавливается очень подробно на этом эпизоде в 20-й главе первого тома своей монументальной биографии Бакунина «Русские тюрьмы 1851—1857 годов».

«В течение этих лет тяжкого тюремного заключения в Лондоне развевывалась форменная клеветническая кампания против Бакунина. Она продолжалась от 23 августа до 3 октября 1853 года и началась статьей, подписанной инициалами Ф. М. «Русский агент Бакунин», в «Morning Advertiser» от 23 августа 1853 года. На другой день появился протест, подписанный Герцеюм, Головиным и Ворцелем, 29 августа к этому протесту присоединился Мадзини. Маркс оказался вынужденным рассказать историю с «Новой рейнской газетой» и счел целесообразным заявить претензию на дружбу Бакунина. Указав на похвалы по адресу последнего, напечатанные им в «Нью-Йоркской трибуне», он выставил себя до известной степени ангелом хвастателем Бакунина. Он говорил даже о своей «тесной дружбе» с Бакуниным, что, вероятно, далось ему не без большого труда»¹⁾.

Неттлау ненавидит Маркса так же страстно, как любит Бакунина. И эта страсть иногда совершенно ослепляет его. С поразительным, поистине пчелиным прилежанием собирает он все сплетни против Маркса, чтобы изобразить его во всей его моральной испорченности. Чем гнуснее сплетня, чем менее она вероятна, тем более она пригодна для достижения главной цели. Харак-

¹⁾ М. Nettlau, Band I, p. 138.

тверно, что Неттлау, отвергающий всякие показания каких-нибудь свидетелей, направленные против Бакунина, как заведомо ложные, принимает за вполне достоверные показания тех же самых лиц, раз они направлены против Маркса.

Так и в этом случае. Главным источником служили для Неттлау воспоминания Герцена и Головина, которые он одинаково использует, несмотря на то, что они далеко не тождественны и не равноценны.

Головин играл в русской эмиграции соржковых и пятидесятих годов весьма жалкую роль. Бакунин в своих письмах характеризует его как «постоящего *chevalier d'industrie, escroc et hâbleur de bonne maison*». Приговор чересчур суровый. Только с большим трудом можно отыскать зерно истины в тех сплетнях, бессознательной, а иногда и заведомой лжи, которыми наполнены все статьи и воспоминания этой несчастной жертвы гнусного николаевского режима.

Герцен, наоборот, даже тогда, когда он пишет о ненавистных ему «немцах в эмиграции», остается на свой манер искренним летописцем. Он просто *органически* не в состоянии разобраться в тех фракционных разногласиях, которые раздирали немецкую эмиграцию в пятидесятых годах. Трагически окончившийся роман его жены с немецким поэтом Гервегом, который сыграл в этом случае далеко не завидную роль, определил отношения Герцена к тем, кого он считал солдарами с Гервегом, т. е. к «марксистам». А затем личные отношения к семье Фогтов, в свою очередь, усиливали его антипатию к Марксу. Неудивительно, что глава из «Былого и дум», напечатанная его наследниками в «Сборнике посмертных статей» и написанная после конфликта между Марксом и Фоггом (в середине шестидесятых годов), не говоря уже о явной несправедливости по отношению к немецкой эмиграции, изобилует массой ошибок.

«Через год после моего приезда в Лондон шайка (термин, заимствованный у Фогта. — Д. Р.) еще раз возвратилась к гнусной клевете против Бакунина, тогда погребенного в Алексеевском равелине».

Человеком, с помощью которого был предпринят этот поход, был Давид Уркарт. Герцен дает характеристику этого «оригинала» и продолжает:

«Человек, думавший и открыто говоривший, что, от Гизо и

Дерби до Эспартеро, Кобдена и Мадзини, все — русские агенты, был клад для шайки непризнанных немецких государственных людей, окружавших неузнанного гения первой величины — Маркса. Они из своего неудачного патриотизма и страшных притязаний сделали какую-то Hochschule клеветы и заподозревания всех людей, выступавших на сцену с большим успехом, чем они сами. Им недоставало честного имени (!). Уркарт его дал. С Уркாரтом и публикой питейных домов вошли в «Morning Advertiser» марксисты и их друзья. Где пиво, там и немцы. Одним добрым утром «Morning Advertiser» вдруг поднял вопрос: «Был ли Бакунина русский агент или нет?» Само собой разумеется, отвечал на него положительно. Поступок этот был до того гнусен, что возмутил даже таких людей, которые не принимали особенного участия в Бакуanine. Оставить это дело так было невозможно. Как ни досадно было, что приходилось подписать коллективную протестацию с Головиным, но выбора не было. Я пригласил Ворцеля и Мадзини присоединиться к нашему протесту. Они тотчас согласились. Казалось бы, что после свидетельства председателя польской демократической централизации и такого человека, как Мадзини, все кончено. Но немцы не остановились на этом. Они затянули скучнейшую полемику с Головиным, который, с своей стороны, поддерживал ее для того, чтобы собою занимать публику лондонских кабаков.

Все это весьма сильно компрометирует «шайку Маркса», — по, при ближайшем рассмотрении, все, что сказано здесь так категорически Герценом о Марксе, оказывается сплошным *qui pro quo*. Ни Маркс, ни «марксисты» не имели в это время никакого отношения к «Morning Advertiser».

Сам Маркс познакомился с Уркாரтом только в 1854 году. В «Morning Advertiser» он до того времени поместил — 30 октября 1852 года — только протест против отношения «Times'a» к кельнским коммунистам вместе с Энгельсом, Фрейлигратом и Вольфом. Герцен к середине шестидесятых годов успел забыть, какую роль играл «Morning Advertiser» в пятидесятых годах, как самая радикальная и оппозиционная из ежедневных газет, дававшая гостеприимство всем континентальным эмигрантам для их заявлений. Именно поэтому ее не было «ни в клубах, ни у больших стэшионеров, ни на столе у порядочных людей», как довольно неожиданно прибавляет Герцен. Зато ее можно было встретить

в демократических трактирах. Герцен забыл даже, что сам делал попытку поместить в ней свои статьи.

Из русских эмигрантов больше всего был связан с газетой Головин. Ни Уркарт, ни его последователи не пользовались в газете монопольным положением. Сама редакция, как мы еще увидим, во всем этом инциденте держалась вполне нейтрально и предоставила свои столбцы обеим сторонам в интересах выяснения истины.

Мало того, весь сыр-бор загорелся из-за статьи Головина, который в номере от 19 августа 1853 года в статье, посвященной императору Николаю, упомянул об одной его жертве — о Бакунине.

В ответ на эту статью 23 августа 1853 года в «Morning Advertiser» появилось письмо к редактору: «The russian agent Bakunin». Мы приводим это письмо целиком.

«Уважаемый сэр!

«Одно обстоятельство, о котором упоминает ваш корреспондент «Русский в Лондоне» в вашей газете от 19 августа, заставляет меня усомниться в точности сведений, приводимых в этой статье. Автор говорит: «теперь Николай удовлетворяет свою месть на Бакунине, которого он обязался перед Австрией держать в тюрьме». Так вот, я вообще имею основание думать, что Бакунин вовсе не сидит в тюрьме; он скорее служит в армии на Кавказе или находится на царской службе в турецких провинциях. Он слишком ценное орудие, чтобы держать его в тюрьме. Царю стоило больших усилий спасти его от заслуженной казни, еще большего труда освободить сначала из саксонской, а после из богемской крепости.

Ваш покорный слуга Ф. М.».

20 августа 1853 года.

На следующий день появился, как уже выше было упомянуто, протест, подписанный Головиным и Герценом, к которому присоединился и Станислав Ворцель от имени центрального польского демократического комитета. Уже в этом письме сквозит убеждение, что Ф. М. — немец. Авторы указывают, что клевета Ф. М. не является новостью, что она уже раньше появилась в одной немецкой газете, сославшейся на Жорж Занд. В заключение они требуют, чтобы Ф. М. назвал себя.

Но алоним упорно отказывался сделать это. 27 августа, рядом с аполонгией Бакунина, появляется опять-таки письмо Ф.М. в ответ на протест Головина и Герцена, где алоним доказывает, что Россия, сама застрахованная от революционных идей, всюду свет через своих агентов семена революции.

29 августа Головин и Герцен отвечают ему. Мадзини опять присоединился к их протесту. Между прочим, они пишут: «Защитники Бакунина пазывают себя; его обвинитель продолжает скрываться под инициалами, которые, возможно, даже не принадлежат ему (*accuser continues to conceal himself behind initials which possibly may not be his own*)».

31 августа помещен был протест Арнольда Руге, а 2 сентября появилось следующее письмо Маркса.

«Издательство «Morning Advertiser».

«Уважаемый сэр!

«Господа Герцен и Головин впутали в полемику, завязавшуюся между ними и Ф. М. по поводу личности Бакунина, издававшуюся мною в 1848 — 1849 годах «Новую рейнскую газету». Они рассказывают английской публике, что клевета против Бакунина имеет своим исходным пунктом эту газету, которая даже «осмелилась» сослаться на свидетельство Жорж Занд. Я не придаю никакого значения инсинуациям Герцена и Головина. Но так как это может послужить к выяснению вопроса о личности Бакунина, то Вы позволите мне изложить здесь действительные факты.

«5 июля 1848 года «Новая рейнская газета» получила два письма из Парижа. Одно письмо — литографированная корреспонденция агентства Гаваса, другое — частное сообщение одного польского эмигранта, не имевшего ничего общего с первым источником. Оба утверждали, что Жорж Занд имела в своем владении бумаги, которые доказывали, что Бакунин недавно вступил в сношения с русским правительством. «Новая рейнская газета» опубликовала 6 июля письмо своего парижского корреспондента.

«Бакунин, с своей стороны, заявил в «Новой одерской газете», что еще до появления парижской корреспонденции в «Новой рейнской газете» такие слухи тайно циркулировали в Бреславле, что они шли из русского посольства и что он лучше всего может ответить на них, апеллируя к Жорж Занд.

«Его письмо к последней было опубликовано одновременно с его заявлением. Как одно, так и другое были сейчас же опубликованы в «Новой рейнской газете» («Neue Rheinische Zeitung», Juli 1848).

«3 августа 1848 года «Новая рейнская газета» получила через посредство Косциельского от Бакунина письмо Жорж Занд, адресованное редакции, которое было напечатано в тот же день со следующими сопроводительными замечаниями:

«В № 36 нашей газеты мы сообщили циркулировавший в Париже слух, согласно которому Жорж Занд имеет в своем распоряжении бумаги, разоблачающие русского эмигранта Бакунина как агента императора Николая. Мы опубликовали это сообщение, так как получили его одновременно от двух независимых друг от друга корреспондентов. Мы выполнили таким образом долг политической печати, которая обязана зорко следить за общественными деятелями, и дали таким образом повод Бакунину опровергнуть подозрение, которое поднято было против него в известных парижских кругах. Мы также перепечатали из «Новой одерской газеты» заявление Бакунина и его письмо к Жорж Занд, не ожидая с его стороны просьбы об этом. Ниже мы приводим буквальный перевод письма, адресованного Жорж Занд редактору «Новой рейнской газеты». Это письмо вполне улаживает все это дело» («Neue Rheinische Zeitung», 3 августа 1848 года).

«В конце августа я был проездом в Берлине, встретился там с Бакуниным и возобновил тесную дружбу с ним, которая нас связывала до взрыва февральской революции.

«В № от 13 октября 1848 года «Новая рейнская газета» напала на прусское министерство за то, что оно изгнало Бакунина, и предложила ему выдачей России, если он осмелится еще раз вернуться в Пруссию.

«В № от 14 февраля 1848 года «Новая рейнская газета» поместила передовую статью о брошюре Бакунина «Воззвание к славянам».

«Статья эта начиналась следующими словами: *«Бакунин наш друг, на это не должно нас удерживать от того, чтобы подвергнуть его брошюру строгой критике».*

«В моих письмах в «Нью-Йоркскую трибуну» о «Революции и контр-революции в Германии» я, насколько мне известно, был первым немецким писателем, который воздал Бакунину должную

справедливость за его участие в нашей революции и в особенности в дрезденском восстании. Вместе с тем я выразил свое негодование и против немецкой прессы и против немецкого народа за тот крайне трусливый способ, каким они выдали Бакунина его и своим врагам.

«Так как Ф. М. одержим навязчивой идеей, что революции на континенте способствуют успеху тайных планов России, то он должен, если только он претендует на какую-нибудь логическую последовательность, объявить не только Бакунина, но и всякого континентального революционера русским агентом. В его глазах сама революция есть русский агент; почему же не Бакунин?»

Преданный вам *Карл Маркс*.

Лондон, 31 августа 1853 года.

Утверждать после этого письма, что Маркс был инициатором клеветнической кампании против Бакунина, можно только в том случае, если мы примем, что Ф. М. был сам Маркс, как это предполагает Герцен и как это категорически заявляет Виктор Дав, или его фактотум, за которым скрывался Маркс, как это думает Неттлау.

«Маркс, следовательно, выступает, как это вытекает из этих документов, не непосредственно как клеветник против Бакунина».

И со всей пронзительностью белоснежной голубицы Неттлау, прибавляет:

«Основываясь на его позднейшем образе действий, я вижу причину этого, главным образом, в том, что Маркс был слишком умен, чтобы так себя компрометировать».

Трудно найти более характерное доказательство той научной беспомощности и отсутствия всякой критики, с которыми Неттлау составил из собранных им отовсюду неизданных статей, писем и воспоминаний Бакунина свой колоссальный труд.

Ф. М. есть Карл Маркс или его фактотум! Действительно, нужно быть очень «умным», чтобы анонимно пустить в обращение клевету, публично ее опровергнуть и затем дальше продолжать свою клеветническую кампанию! Разве не ясно после этого, что бедный Бакунин был жертвой этого мастера клеветы и вероломства?

Мы сейчас увидим, кто был этот загадочный Ф. М., а пока вернемся к полемике на столбцах «Morning Advertiser». 24 сентября 1853 года в этой газете появилась статья «Russian agency and intrigues in cabinets and clubs», которая, несомненно, принадлежит Уркарту.

Здесь вопрос ставится на принципиальную почву. Именно страх перед революцией укрепляет зависимость всех континентальных государств от России. Таким образом, революция является главным орудием России, которая для этой цели содержит всюду своих агентов. Поэтому возражение, что Бакунин не агент, потому что он революционер, не выдерживает никакой критики. Он не может быть русским агентом, потому что он революционер, а между тем, именно это и утверждает противная сторона: он русский агент, потому что он революционер.

Эта статья вызвала негодующий ответ со стороны Альфреда Б. Ричардса ¹⁾: «Михаил Бакунин и его обвинитель». Несмотря на то, пишет он, между прочим, что «Арнольд Руге, Карл Маркс, Вордель, Герцен, Иван Головин засвидетельствовали не только честность, но и тюремное мученичество Бакунина», аноним продолжает упорно стоять на своем и отказывается раскрыть свои источники.

Читатель видит, что для Ричардса Карл Маркс и Герцен одинаково являются защитниками чести Бакунина.

Таинственный Ф. М., однако, ограничился только повторением, что Бакунин сидит не в тюрьме, а наслаждается горьким воздухом на Кавказе, на возражение же Маркса, что Бакунин принял деятельное участие в дрезденском восстании, победоносно ответил, что именно дрезденское восстание нанесло смертельный удар германской свободе и, быть может, навсегда скрепило узы, в которых Россия держит Германию.

Неттлау пропустил этот ответ, иначе бы он, не находящийся достаточно резких негодующих слов по адресу редакции «Morning Advertiser», заметил бы следующую редакционную заметку:

«Мы вынуждены закрыть наши столбцы для дальнейших писем на эту тему. Лично мы совершенно незнакомы с тем, кто

¹⁾ Известный писатель по военным вопросам, с 1870 года ставший редактором «Morning Advertiser» вместо Джеймса Графта, редактировавшего газету в 1853 году.

является предметом этого спора, но все презумпции — мы должны это признать — говорят в его пользу, если столько лиц, без всякого предварительного соглашения, сходятся в его защите»¹⁾.

Так кончилась клеветническая кампания, затеянная Марксом против Бакунина в «Morning Advertiser». Мы видим, что кампанию против Бакунина вели во всяком случае не немцы, как утверждает Герцен, что Маркс так же энергично протестовал против Ф. М., как и другие авторы писем в «Morning Advertiser»

III

Но чем же объясняется в таком случае убеждение Герцена и других, что за псевдонимом «Ф. М.» скрывался Маркс?

Дело в том, что за псевдонимом «Ф. М.» скрывался, действительно, Маркс, но только не Карл. Поистине Федот, да не тот. Через посредство Головина, тесно связанного с редакцией «Morning Advertiser», Герцен, вероятно, после узнал, что за «Ф. М.» скрывался тоже какой-то Маркс, и к середине шестидесятых годов, когда он писал свои воспоминания, под впечатлением «клеветнической кампании» главаря шайки маркандов против К. Фогта, он совершенно забыл, что за «Ф. М.» скрывался, действительно, Маркс, но другой. Наоборот, Головин в своей книге «Русский нигилизм и мои отношения к Герцену и Бакунину» рассказывает об этом инциденте, несколько не смешивая этих двух Марксов, хотя тоже совершенно забыл, кто был второй Маркс. Именно это обстоятельство дает Неттлау возможность подтвердить ошибочное показание Головина и сделать свое глубокомысленное предположение.

«Кто был этот Ф. М., — пишет он. — из «Morning Advertiser» установить нельзя. Головин в «Русском нигилизме» говорит, что это был лошадиный барышник Ф. Маркс; в своих «Записках», однако, он уже пишет о «Ф. Максе, а не Карле» там, где речь должна идти тоже о Ф. Марксе, иначе его замечание «не Карл» не имеет никакого смысла»²⁾.

Бедный Неттлау! Его мозг настолько находится во власти все той же навязчивой идеи, что ему даже не приходит в голову

¹⁾ «But the presumptions, we must say, are in his favour, when so many persons, without concert, come forward in his vindication».

²⁾ *Nettlau*, Band I, Kapitel 20, примечание № 826.

мысль, что во втором случае у Головина назван *Макс*, а не *Маркс* просто потому, что вмешалась всепильная «опечатка». Мы можем теперь сообщить ему точно, кто был этот таинственный Ф. М.

Это был действительно Маркс, но не немец, а чистокровный англичанин, занесенный даже в дворянскую родословную книгу. Это был Francis Joseph Peter Marx, Esquire of Arle Burg Френсис Джосиф Питер Маркс, сквайр из Эрль Бюри, состоятельный землевладелец, следовательно, имевший несомненно лошадей, родившийся в 1816 году и умерший в 1876 году ¹⁾. Не подлежит сомнению, что Маркс (Френсис, не Карл) вращался и очень хорошо себя чувствовал в кружке Уркарта. Как показывает его некролог в органе Уркарта «Diplomatic Review» (1877, January), он в течение более сорока лет был одним из ближайших сотрудников Уркарта и принадлежал к числу самых близких друзей его и его семьи. Имеется указание, что он доставлял часть средств на издание тех органов, в которых Уркарт вел свою полемику против Пальмерстона и России. Но он был и литератором. Ему принадлежат, между прочим, памфлеты, направленные против России, как, например, «Тихий океан и Амур», Лондон, 1861 год, и «Крепостной и казак» («Очерк положения русского народа»), Лондон, 1854 год (по Гакстгаузену). Он же перевел на английский язык известный памфлет Фишеля «Деспоты как революционеры», который приписывали тогда герцогу Кобургскому.

Что Маркс (Френсис, а не Карл) находился в близких сношениях и с немцами, тоже не подлежит сомнению. С весны 1853 года начинается тесное сближение Лотара Бухера, будущего друга и душеприкащика Лассалля, а затем агента Бисмарка, с кружком Уркарта, и очень скоро автор книги «Парламентаризм как он есть», в которой заметно такое сильное влияние идей Уркарта, становится к последнему в такие же близкие отношения, как и Маркс (Френсис, а не Карл) ²⁾.

Что в кружке Уркарта еще в 1859 году были твердо убеждены, что Бакунины не сидел в тюрьме, что русское правительство распространяло этот слух для отвода глаз, что на самом деле

¹⁾ *Bernard Burke, A genealogical and heraldic history of the landed gentry of Great Britain and Ireland. London, 1886, t. II, p. 1238.*

²⁾ Ср. «Note on Lothar Bucher», «Diplomatic Review», October 1873.

Бакунина наслаждался жизнью на Кавказе, видно из воспоминаний Юлиа Фребеля¹⁾, который хвастливо рассказывает, как ему удалось в Лондоне у подвыпивших Герцена и Огарева выведать, что Бакунин проделал только фиктивное тюремное заключение.

Если бы Неттлау дал себе труд более внимательно просмотреть «Free Press» и «Diplomatic Review», он нашел бы там «Письма об Интернационале» («Diplomatic Review», January 1872), из которых он увидел бы, что Уркарт и в 1872 году был так же твердо убежден, что Бакунин—русский агент, как и в 1853 году. Правда, для него и весь Интернационал, как и чартизм тридцатых и сороковых годов, был делом рук тех же русских агентов. А так как в его безумии был метод, то он вполне последовательно считал тогда русским агентом и столь ненавистного нашему Неттлау Утина, главного противника Бакунина.

Правда, если бы Неттлау знал все это, он все же задумался бы немного прежде, чем повторить слова Герцена, который так безбожно перепутал все факты. В подтверждение слов Герцена, что Маркс (Карл, а не Френсис) был чуть не alter ego Уркарта, Неттлау приводит две цитаты.

Первое доказательство—ссылка на «Herr Vogt», именно на то примечание, в котором Маркс (Карл, а не Френсис) касается своих отношений к Уркарту:

«Сочинения Уркарта о России и против Пальмерстона заинтересовали меня, но не убедили. Чтобы составить себе определенное мнение, я подверг отчеты Гавзарда о парламентских прениях и иные книги от 1807 до 1850 года внимательному анализу. Первым плодом этих занятий явился ряд передовиц в «New-York Tribune» (конец 1853 года), в которых я доказал связь Пальмерстона с петербургским кабинетом на основании его действий по отношению к полякам, туркам, черкесам и т. д. Вскоре после того я перепечатал эти статьи в «Peoples Paper», в органе чартистов, выходявшем под редакцией Эрнста Джоиса, и прибавил к ним новые главы о деятельности Пальмерстона. Тем временем «Glasgow Sentinel» перепечатал одну из этих статей («Пальмерстон и Польша»), которая привлекла внимание Д. Уркарта.

1) Julius Fröbel. Ein Lebenslauf, Band II, pp. 140—141. Когда-то большой радикал, приятель Гервега, издатель демократических газет и поставщик пезегальной литературы для Германии, Ю. Фребель закончил свою карьеру вполне «образумившимся» человеком (1805—1893).

После свидания, которое я имел с ним, он предложил г. Теккеру в Лондоне издать часть моих статей в форме памфлетов».

Итак, до и во время «клеветнической кампании» Маркс еще не был знаком с Уркாரтом. Только в 1856 и в 1857 годах он напечатал в «Free Press» свои статьи о дипломатической истории XIX столетия.

Но не потому, что Уркарт «убедил» его, а потому, что «Free Press»,—орган, посвященный изучению внешней политики,—был единственным органом, который согласен был поместить эти статьи, направленные против внешней политики английского правительства.

Второе доказательство: Энгельс восхваляет Уркарта! Следует указать на известную статью Энгельса «Внешняя политика русского царизма» в английском журнале «Time» (Лондон, 1890 год). Так как параграф, на который указывает Неттлау, отсутствует в немецком тексте ¹⁾, то мы приводим его целиком. Читатель увидит, как Энгельс *восхваляет* Уркарта, и, вместе с тем, получит яркую характеристику Уркарта, принадлежащую самому близкому другу Маркса.

«Нет никакой возможности писать в Англии о русской внешней политике, не упомянув при этом имени Давида Уркарта. Втечение пятидесяти лет он неустанно работал над тем, чтобы познакомить своих соотечественников с целями и путями русской дипломатии. Хотя он до совершенства овладел своим предметом, он, однако, за все свои труды пожал только насмешки и приобрел репутацию невыносимо скучного человека. Так, впрочем, филистер называет всякого человека, который упрямо держится за неинтересные, хотя и очень важные, вещи. Во всяком случае, Уркарт, ненавидевший филистера, хотя он и не понимал его исторической неизбежности, должен был потерпеть неудачу. Он был торием старой школы и стоял перед лицом того очевидного факта, что в Англии до того времени одни только тории оказывали действительное сопротивление России, тогда как тактика либералов в Англии, как и за границей, включая все революционное движение на континенте, регулярно вела к дальнейшему укреплению России. Он был убежден поэтому, что всякий, кто хочет оказать

¹⁾ А также в русском, который был помещен в плехвиновском «Социал-демократе».

серьезное сопротивление захватнической политике России, должен прежде всего быть торнем (или турком) и что каждый либерал и революционер, сознательно или нет, является орудием русской политики.

«Постоянное занятие русской дипломатией привело к тому, что он видел в ней нечто всемогущее, единственную действительную в современной истории силу, в руках которой все остальные правительства являются только пассивными орудиями. Трудно было бы поэтому понять, каким образом, если бы не было сопротивления Турции, о силах которой он имел такое же преувеличенное представление, всемогущая русская дипломатия уже давно не овладела Константинополем. Чтобы свести таким образом всю современную историю со времени французской революции к дипломатическому шахматному турниру между Россией и Турцией, в котором все остальные государства играли роль шахматных фигур в руках России, сам Уркарт должен был разыгрывать из себя что-то вроде восточного пророка, который не только сообщал простые исторические факты, но еще возвещал на таинственном, сверхдипломатическом языке свое эзотерическое учение с намеками на факты, не всем известные и даже вообще с трудом устанавливаемые, и, как безошибочное средство против превосходства русской дипломатии над английской, рекомендовал восстановление старого суда над министрами и замену кабинета министров тайным советом. Уркарт был человеком с большими заслугами и, кроме того, типичным англичанином старого образца, но русские дипломаты могли бы сказать: если бы Уркарта не было, его падо было бы изобрести!»

Так восхваляет Энгельс Уркарта!

Мы будем иметь случаи более подробно коснуться отношений между Уркартом и Марксом (Карлом, а не Френсисом). Личное их знакомство было совершенно мимолетным, они слишком резко расходились во всех своих взглядах, да и трудно было бы Марксу, другу Джонса и других чартистов, сойтись с человеком, который был убежден, что весь чартизм тоже продукт деятельности русских агентов. Но как Энгельс, так и Маркс не могли из-за чужачества Уркарта просмотреть его крупные заслуги в области разоблачения русского царизма и решительные выступления в защиту Польши, Кавказа, Ост-Индии и других стран.

Мы приходим теперь к развязке этой «комедии ошибок», ав-

тором которой с таким успехом выступил, используя данный ему Герценом сюжет, наш добросовестный, но и весьма фантастический летописец анархизма. Мы видим, как неосторожно поступил Бернштейн, приняв на веру обвинения Неттлау и Виктора Дава. Вся история, с таким треском и шумом состряпанная «серьезными» историками анархизма, целиком нахватана с ветра. И Маркс—Карл, а не Френсис—был вполне искренен, когда в 1864 году уверял Бакунина, что «никогда не высказывал про него таких подозрений, и даже прямо называл их гнусными».

КАРЛ МАРКС И РУССКИЕ ЛЮДИ Сороковых Годов

I

Вместе со всей германской демократией сороковых годов Карл Маркс всегда был непримиримым врагом официальной России. Но он очень долго, до конца шестидесятых годов, относился если не враждебно, то очень скептически и недоверчиво также к оппозиционной России.

В основе этой глубокой, устойчивой антипатии лежало не только теоретическое предубеждение против «славян», которое Маркс, как и Энгельс, в значительной степени унаследовал от германских радикалов, хотя оба они никогда не отрицали за русскими славянами ни права, ни способности на звание «исторического» народа.

Наоборот, основатели научного социализма, несмотря на то, что взгляды их в этом пункте подвергались изменениям, все же признавали, что русские славяне призваны сыграть более крупную историческую роль, чем другие славяне, но они относили ее к позднему будущему.

Пока же, в palpable действительности, факт несокрушимого господства «государства» над «обществом», не вызывавший, по их мнению, никаких протестов из среды масс, вычеркивал Россию из списка тех стран, в которых коммунисты, отказываясь от осуществления своих «конечных целей», могли, однако, принимать участие в оппозиционном движении, направленном против существующего политического порядка. Представители такой оппозиции в России являлись, с этой точки зрения, «продуктом чужезданного творчества», переноса задач, выдвинутых западно-европейским развитием, в совершенно чужую им среду.

И личный опыт Маркса и Энгельса, казалось им, только подтверждал это теоретическое предубеждение. Свидетельство самого Маркса показывает, что его недоверие к русским революционерам являлось результатом также личного знакомства с ними и неоднократного разочарования. Так, в одном из писем к другу своему Кугельману Маркс, сообщая ему, что готовится русский перевод «Капитала», вспоминает приэтом свои прежние встречи с русскими в Париже:

«По какой-то иронии судьбы, именно русские, на которых я в течение 25 лет неуставно нападаю не только в немецкой, но и французской, а также и английской прессе, всегда были моими «доброжелателями». В 1843—1844 годах в Париже русские аристократы носили меня на руках. Мое сочинение против Прудона (1847 года)¹⁾, а также книга, вышедшая у Дункера (1859 года)²⁾, нигде не нашли такого большого сбыта, как в России. И первая чужеземная нация, которая переводит «Капитал», это—опять-таки русские. Но этому, конечно, нельзя придавать большого значения. Русская аристократия в молодые годы учится в немецких университетах и в Париже. Она жадно набрасывается на самое крайнее, что ей в состоянии дать Запад. Для нее это—просто тонкое лакомство. Такое же явление мы встречаем и среди части французской аристократии в XVIII столетии. Как говаривал тогда Вольтер о своей просветительной деятельности: «се n'est pas pour les tailleurs et les bottiers» («это не для портных и не для сапожников»). Все это несколько не мешает тем же самым русским, как только они поступают на государственную службу, превращаться в негодяев»³⁾.

Приговор Маркса не отличается мягкостью. Но был ли он справедлив? Не говорит ли тут только одна ненависть «немца» к «славянам», диктовавшая Марксу такие же злые строки о русских, какие писал после «славянин» Герцен о «немцах в эмиграции»?

Этот лобопытный вопрос можно было бы выяснить только в том случае, если бы нам удалось установить, с какими «русскими аристократами» имел тогда дело Маркс. И в то же время ре-

1) «Misère de la philosophie», Paris—Bruxelles, 1847.

2) «Zur Kritik der politischen Oekonomie». Berlin, 1859.

3) Письмо от 12 октября 1868 года. «Neue Zeit», XX (1902), Band II, p. 224.

шение этого частного вопроса помогло бы нам попутно выяснить и другой вопрос, а именно: существовало ли какое-нибудь непосредственное идейное воздействие взглядов Маркса на людей сороковых годов, и в какой форме оно могло проявиться или действительно проявилось?

Что Маркс не имел в виду именно Бакунина, тоже принадлежавшего тогда в Париже к «русским аристократам», видно уже из того, что он его не называет, хотя имя его само собой напрашивалось. Маркс, несомненно, не преминул бы сделать это в письме к Кугельману, с которым он охотно делился фактами и впечатлениями из своей деятельности в Интернационале, если бы его суровый приговор относился именно к Бакунину или только хотя бы отчасти к нему. Ни в сороковых годах, ни после наш «апостол разрушения», при всем его почтении к учености и гению Маркса, не принадлежал к числу восторженных поклонников, о которых пишет Маркс. Несомненно, что были другие «русские аристократы», которые в своих поисках за «последним словом» европейского просвещения обращались и к известному тогда среди русских левых гегельянцев и феиербахистов соредктору Арнольда Руге по изданию «Deutsch-Französische Jahrbücher». Мы должны их поэтому искать среди русских эмигрантов и путешественников сороковых годов.

Следует оговориться однако, что Маркс чересчур суживает хронологический цикл своих знакомств с «русскими аристократами». Они вовсе не относятся только к 1843—1844 годам, как это можно было бы заключить, опираясь на буквальный текст его письма к Кугельману. Напротив, эти встречи и знакомства, начавшись в 1843—1844 годах, продолжались и после изгнания Маркса из Парижа и переезда его в Брюссель. Они поддерживались через посредство Энгельса, подолгу живавшего в Париже, да и вновь завязывались россиянами, проезжавшими через Брюссель.

Если для романтиков двадцатых годов главным пунктом притяжения за границей является Геттинген, если для «идеалистов тридцатых годов» им служил Берлин, то уже в начале сороковых годов, вместе с протестом против правоверного гегельянства и ослаблением «галлофобии», наиболее активные элементы русской интеллигенции начинают стремиться в Париж, в «страну Сен-Симона, Каба, Фурье, Луп Блана и в особенности Жорж Занд». Пребывание в Берлине становится менее привлекательным и потому

еще, что кратковременная «весна» начала сороковых годов в Пруссии очень скоро сменилась новым пароксизмом реакции. Не случайность, что тяга в Париж охватывает в это время с особенной силой также и немецкую интеллигенцию.

А для россиян Париж, долгое время составлявший после шольской революции запретный плод, вкусить от которого дозволялось только немногим счастливым, получившим на то специальное разрешение от попечительного начальства, представлял сугубый интерес. На континенте это было тогда единственное место, где можно было наблюдать картину горячей парламентской борьбы в более или менее крупном масштабе, где можно было без особых внешних помех познакомиться с богатой литературой по социальным вопросам; где можно было не только по книгам, но и на собраниях и в непосредственном личном общении познакомиться с тогдашними корифеями французского социализма. Конечно, известную роль играло и то обстоятельство, что нигде тогда нельзя было с таким удобством соединять «полезное» с «приятным», а репутация «современного Вавилона», установившаяся за Парижем, только увеличивала тяготение к нему наших «лишних людей».

К сожалению, лишь с большим трудом можно теперь определить личный состав тогдашней русской колонии в Париже. Кое-какие указания может нам дать Анненков, оставивший в своих воспоминаниях столь часто цитируемое описание Маркса. Мы увидим ниже, что в этих воспоминаниях, несмотря на их, повидному, фотографическую точность, встречается и немало ошибок и немало неправды. Во всяком случае, данные, приводимые Анненковым, могут послужить для нас отправным пунктом при исследовании вопроса, с какими «русскими аристократами» мог встречаться в Париже Маркс ¹⁾.

¹⁾ Специальная глава, посвященная проф. *Emile Hanmont* («La culture française en Russie». Paris, 1900, pp. 392—403) «русским посетителям Парижа при Луи-Филиппе», не дает ни одного нового указания. В отличие от М. Петггау, который в своей монументальной биографии Бакунина не ограничился только русскими данными и постарался использовать также французскую и немецкую литературу, *Hanmont* не сделал даже попытки разработать современную французскую литературу и вопрос о русской эмиграции в Париже оставил совершенно в стороне.

II

«Когда я прибыл в Париж по весне 1846 года, я уже застал там целую русскую колонию с главными и выдающимися ее членами, Б. и С—вым, занятую непрерывным исканием и обсуждением бытовых, исторических, философских и всяких вопросов, какие постоянно возбуждала общественная жизнь Парижа при либеральном короле Людовике-Филиппе»¹⁾.

Б.—это Бакунин, С—в—Сазонов. Бакунин переселился в Париж из Швейцарии в июле 1844 года. Сазонов основался там еще раньше.

Кроме показания Анненкова, мы имеем еще свидетельство А. Я. Головачевой-Панаевой, жившей вместе со своим мужем, И. И. Панаевым, в Париже осенью 1844 года. Она дает нам возможность заглянуть в жизнь русской колонии в Париже в то время, когда там жил еще Маркс.

«Дешевый ресторан, куда мы ходили обедать, сделался сборным пунктом русских путешественников. Часто удостаивал являться туда Сазонов, уже четыре года как поселившийся в Париже. Он корчил аристократа, брюзжал на то, что невозможно обедать в таком кабаке, сердился на гарсона за то, что тот плохо ему сервирует обед, заказывал себе всегда дорогие блюда. Между Сазоновым и Бакуниным происходили горячие споры о французской полтнике»²⁾.

Головачева называет также В. П. Боткина, который в то время был еще в очень близких отношениях с Бакуниным. Во время споров последнего с Сазоновым он, по ее словам, был мучеником. Ему всюду мерещились шпионы, в каждом посетителе, обедающем одиоко за столом, он готов был видеть шпиона и страшно сердился на спорящих. «Его воображение разыгрывалось иногда до того, что он от страха убегал из ресторана». Что Боткин действительно жил тогда в Париже и вращался не только среди русских, но и немцев, видно также из письма Арнольда Руге к Флейшеру (23 ноября 1844 года), где, говоря об одном

1) П. В. Анненков, Литературные воспоминания и критические статьи. Часть III. СПб., 1881, стр. 154.

2) «Воспоминания А. Я. Головачевой». «Исторический Вестник», 1889 год, март, стр. 555.

немце, он пишет, что последний «не хуже Боткина и лучше большинства других приятелей и собутыльников Бакунина»¹⁾.

Показания Головачевой и, в известной степени, также и мужа ее, Панаева, не всегда отличаются правдивостью. В них чересчур силен элемент сплетни; но, если им нельзя доверять там, где речь идет о содержании идейных разногласий, то чисто внешние черты Головачева хорошо улавливает и задоминает. Кроме названных, Головачева и Панаев²⁾ указывают еще Николая Гавриловича Фролова, известного переводчика «Космоса». Но он, как и Кудрявцев, жил в Париже затворником и слишком мало интересовался всем, что лежало вне сферы его специальных научных интересов, как это видно и из его писем к Огареву, опубликованных вместе с письмами других приятелей Герцена и Огарева в «Русской мысли».

С помощью этой переписки мы можем установить, что Н. М. Сатин жил в Париже весной 1844 года (в письме от 3 марта 1844 года он указывает Боткина, Сазонова, Фролова) и после опять туда приезжал из Берлина в марте 1845 года, что Огарев, которого Головачева якобы видела осенью 1844 года в Париже, на самом деле попал туда только осенью 1845 года, и в январе 1846 года уже вернулся в Берлин³⁾. Если прибавить еще Мельгунова и какого-то помещика Клыкова, рассказами о похождениях которого в Париже Панаев смешил после своих московских друзей, то ими, повидному, замыкается круг тех лиц, с которыми Маркс мог встречаться в Париже до своей высылки в январе 1845 года.

С кем же именно из этих «русских аристократов» был знаком Маркс?

Вспомним, что он приехал в Париж в ноябре 1843 года; что первый (двойной) и последний выпуск «Deutsch-Französische Jahrbücher» вышел в марте 1844 года⁴⁾; что уже в мае 1844 года произошел раскол между ним и Руге; что, кроме уснувших работ по истории Конвента, которую он собирался тогда написать, Маркс с головой ушел в занятия по истории социализма и осеписью

1) *Arnold Ruge's Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den Jahren 1825—1860. Band I, p. 375.*

2) *Панаев И. И., Литературные воспоминания. Собрание сочинений, т. VI. СПб., 1888, стр. 244—46.*

3) «Из переписки недавних деятелей». «Русская мысль», 1891 год, июль и август.

4) *Mehring F., Literarischer Nachlass etc. Band I, p. 335.*

1844 года пишет свой большой памфлет против братьев Бауэров и компании¹⁾. Такая интенсивная работа исключала для него возможность принимать слишком деятельное участие в том деловом безделье, которое представляло тогда жизнь «русских аристократов» в Париже.

Весьма вероятно, что с русскими он познакомился у Гервега, бывшего в то время кумиром оппозиционной Германии. А с приездом Бакунина, жившего одно время в редакции «Vorgwärts», в котором принимал участие и Маркс, круг этих русских знакомств мог еще больше расшириться.

Было бы бесполезно строить теперь догадки, кто из названных выше русских, кроме Анненкова и Бакунина, был знаком с Марксом. В дальнейшем нашем изложении мы будем говорить только о тех «русских аристократах», относительно которых мы имеем несомненные данные, устанавливающие их близкое знакомство с Марксом. Мы начинаем с Сазонова, несколько писем которого мы нашли в бумагах Маркса.

III

«Сазонов, Бакунин, Париж, — имена эти, люди эти, город этот так и тянут назад... назад — в даль лет, в даль пространств, во времена юношеских конспираций, во времена философского культа и революционного идолопоклонства... С Сазоновым я делил в начале тридцатых годов наши отроческие фантазии о заговоре à la Ренци; а Бакуниным, десять лет спустя, в поте мозга завоевывал Гегеля».

Так начинается глава о «Русских тенях» в «Былом и думах». Для всех историков русской литературы и интеллигенции сороковых годов, которым приходилось упоминать о Сазонове, воспоминания Герцена служили единственным источником, из которого они черпали без всякой критической проверки свои сведения²⁾.

¹⁾ А не в Брюсселе, т. е. в 1845 году, как это утверждает *И. Берлин* в своей книге «Карл Маркс и его время», стр. 52.

²⁾ См., например, *Венеров, С. А.*, История новейшей русской литературы. СПб. 1886 год, стр. 6. Или — биографию Сазонова в «Русском биографическом словаре», написанную *Модзалевским* по обычному шаблону, припятому (за немногими исключениями) в этом издании коллегских и статских советников от истории.

А, между тем, эта глава «Былого и дум» представляет еще в большей степени смесь *Wahrheit und Dichtung*, которая придает мемуарам Герцена такую своеобразную прелесть, но в то же время делает их зачастую крайне ненадежным «историческим документом».

Николай Иванович Сазонов родился в Рязани 17 июня 1815 года и был, следовательно, моложе Герцена на три года. Они поступили почти одновременно на физико-математический факультет Московского университета.

«На второй год университетского курса, т. е. осенью 1831 года, мы встретили в числе новых товарищей в физико-математической аудитории двоих, с которыми особенно сблизились... Первый товарищ, ясно понявший нас, был Сазонов; мы нашли его совсем готовым (Сазонову было тогда 16 лет. — *Д. Р.*) и тотчас же подружился. Он сознательно подал свою руку и на другой день привел нам еще одного студента (Н. М. Сатина)».

Так сложилось ядро первого кружка русских сен-симонистов. Герцен оставил нам живую характеристику тогдашней студенческой жизни.

Сам Сазонов в 1860 году в биографическом очерке Герцена следующим образом описывает кружок, в котором он принимал деятельное участие:

«Все, начиная от наших костюмов, указывало на самую причудливую смесь: зимой мы носили черные бархатные береты à la Карл Sand и трехцветные французские шарфы. На собраниях нашего кружка мы декламировали запрещенные стихотворения Рылеева и Пушкина и распевали наполеоновские куплеты Беранже наряду с антифранцузскими песнями Арида, Уланда и Кернера. Наше чтение было еще более разнообразным: мы с одинаковым усердием разыскивали тогда еще очень редкие документы, относившиеся к французской революции, и сочинения Шеллинга и Окена по натурфилософии. Начиная от мистических пророчаний Якова Бема и вплоть до ямбов Барбье и «Шагреновой кожи» Бальзака—все волновало нас, все интересовало нас и вызывало в нас энтузиазм, иногда монотонный и бесплодный, но всегда искренний»¹⁾.

¹⁾ *N. Sazonoff, Alexander Herzen. «Gazette du Nord». Paris, le 26 mai 1860.*

В этой характеристике чувствуется критическое и насмешливое отношение к тому восторженному тону, который, с легкой руки Огарева и Герцена, господствовал в кружке и, вероятно, вызывал протесты со стороны Сазонова. Между молодыми друзьями уже и тогда замечалось соперничество, приводившее нередко к стычкам.

«Сазонов имел редкие дарования и редкое самолюбие. Ему было лет восемнадцать, скорее меньше, но, несмотря на то, он много занимался и читал все на свете. Над товарищами он старался брать верх и никого не ставил на одну доску с собой. Оттого они его больше уважали, чем любили».

На это стремление к первенству указывает в своих воспоминаниях и Константин Аксаков.

«Замечательнее других,—пишет он,—был Сазонов, перешедший из другого отделения и принадлежавший к кружку Герцена, кружку совершенно иного склада, чем кружок Сталкевича,—кружку, любившему тогда эффекты и картинность. Сазонов был человек умный, но фразер и эффектер; он старался со мною сблизиться, желая сделать из меня прозелита, чего ему, однако, не удалось... Сазонов считался первым студентом; я, кажется, вторым; насколько справедлива была такая оценка, это—другой вопрос. Сазонов точно был человек очень образованный, очень много читавший, впрочем, преимущественно французских писателей; но в особенности он умел ловко себя держать, умел придавать себе вес. Я помню, случалось, что он не знает того, о чем его спрашивает профессор, отвечает, ошибается, но все это с таким чувством собственного достоинства, с такой уверенностью в себе, что и профессору казалось, что Сазонов прекрасно отвечает»¹).

Эта самонадеянность и умение «себя выставить», как видно, сильно шокировали тяжеловесного и простого отца русского славянофильства.

А как разнообразны были умственные интересы молодого Сазонова, видно из того, что он усердно занимался также и по русской истории и, вместе с Аксаковым, отдал дань историческому скептицизму Каченовского. Для него Сазонов написал работу об

¹) Аксаков, К. С., Воспоминания студентства 1832—1835 годов. Спб., 1911, стр. 30—33.

исторических трудах Миллера, которая была напечатана в «Записках» университета 1).

В начале 1834 года Герцен, Сазонов и Сатин составили программу нового энциклопедического журнала, который должен был «следить за человечеством в главнейших фазах его развития, для сего возвращаться иногда к былому, объяснить некоторые мгновения дивной биографии рода человеческого и из нее вывести свое собственное положение, обратить внимание на свои надежды». В план издания одинаково входили как науки гуманитарные, так и естественные. Интересно распределение между участниками литературной работы: философия истории была отведена Огареву, Сазонову и Герцену, теория литературы—Огареву, а статистическим отделом, которому они все придавали большое значение, должны были заведывать Лахтин, Герцен и Сазонов 2).

Проект остался в области мечтаний. Тяжелая лапа московской полиции раздавила журнал в зародыше. В июле 1834 года большинство членов кружка было арестовано. После девятимесячного тюремного заключения приговором 31 марта 1835 года Герцен, Огарев и другие были разосланы по разным губерниям.

«Когда нас арестовали в 1834 году,—пишет Герцен,—и посадили в тюрьму, Сазонов и Кетчер уцелели каким-то чудом. Оба они жили в Москве почти безвыездно, говорили много, но писали мало, их писем ни у кого из нас не было. Нас повезли в ссылку; Сазонову мать выхлопотала заграничный паспорт в Италию».

Отношения между Сазоновым и Герценом были уже и тогда несколько натянуты. На это намекают, между прочим, следующие слова Анненкова: «Вопрос о том, будет ли Герцен служить действительно или только числиться на службе, занимал его самого и его друзей еще при отъезде из Москвы. Один из них, любивший отличаться в среде товарищей противоречиями их вкусам, Н. И. Сазонов, пророчил Герцену, что из него выйдет лихой чиновник, но пророчество его не сбылось» 3). Об этом же свидетельствует и цитируемое нами ниже письмо Огарева.

1) «По мнению автора, у Миллера не было критических способностей; так, он без возражения доверился летописи Нестора». Заметка Погодина. (См. Барсуков Н., Жизнь и труды М. П. Погодина. Том IV, Спб., 1891, стр. 218.)

2) Лемке, М., Очерк жизни и деятельности Герцена, Огарева и их друзей. («Современный мир», 1906 год, январь, стр. 67—69.)

3) Анненков, Идеалисты тридцатых годов. «Вестник Европы», 1883 год, март, стр. 129.

Пробыв в Италии год, Сазонов возвратился в Москву. Там «его встретил мертвый *calme plat*, нигде ни тени сочувствия, ни живого слова... Из старых друзей один Кетчер был налицо, человек, с которым Сазонов, *чопорный аристократ по манерам*, всего меньше мог идти рука об руку». Сазонов попробовал устроиться в Петербурге, но он и там не выдержал. Его тянуло за границу, и в начале сороковых годов, вероятно, одновременно с Сатиным и Огаревым, он оставил Россию, но на этот раз устроился в Париже.

«Но дела не нашел он и тут. Шумная, веселая праздность заменяла немую, подавленную жизнь. В России он был связан по рукам и ногам, тут—чужой всем и всему. Другой, длинный ряд годов бесцельно волнуемой, раздражаемой жизни начался для него в Париже. Сосредоточиться в себе, отдаться внутренней работе, не ожидая глотка извне, он не мог: это не лежало в его натуре. Объективный интерес науки не был в нем так силен. Он искал иной деятельности и был бы готов на всякий труд, по-на виду, но в быстром применении его, в практическом осуществлении, и притом при громкой обстановке, рукоплесканиях и крике врагов; не находя такой работы, он бросился в парижский разгул».

Сазонов, действительно, жил в кутлы вовсю. Особенно практичностью он никогда не отличался и скоро запутался в долгах. Когда он в конце 1845 года хотел вернуться вместе с Огаревым и Сатиным в Россию, он должен был остаться, потому что не имел возможности расплатиться со своими кредиторами. К этому времени относится письмо Огарева к Герцену, писанное по возвращении из Парижа в Берлин, 10 (22) января 1846 года. «Надо выручить этого человека, которого *sauf le respect, que je vous dois* ¹⁾, я с гордостью называю своим другом. Раз запутавшись в денежных делах, он просто вернуться не может и от этого не мог с нами уехать».

И в следующем письме Огарев опять напоминает Герцену о необходимости помочь Сазонову. Но друзья не поспешили на помощь, и Сазонов действительно попал за долги в Кляшпи. Так как Герцен с каким-то особенным удовольствием расписывает этот эпизод из биографии старого товарища, касаясь самых интимных сторон

¹⁾ «Из переписки недавних деятелей». «Русская мысль», 1891 год, август стр. 19. Курсив наш. Как видно, Огареву хорошо было известно, что Герцен относился к Сазонову не очень дружелюбно.

жизни Сазонова с грубостью, которая может быть объяснена, но не оправдана, лишь глубокой ненавистью, то мы считаем необходимым внести некоторые поправки в рассказ Герцена.

Насколько изменила в этом случае автору «Былого и дум» память, видно из того, что он превращает себя в очевидца и свидетеля событий парижской жизни, о которых он мог слышать только от друзей или знать из их писем. Сазонов попал за долги в тюрьму или, вернее, был туда посажен своим соотечественником, неким Меем, в то время, когда Герцен был еще в России. Вот что пишет Анянкову по поводу этой истории Боткин в письме из Петербурга от 26 ноября 1846 года:

«Скверно сделал, даже больше, нежели скверно, сделал Мей, посадив Сазонова в Cliché за такую пустую сумму. Но так ли это? До меня дошли слухи, будто бы Сазонов писал в Москву к Огареву о своем положении в Cliché, куда посажен за долг в 15 тысяч франков, и просил немедленно прислать ему эти деньги, грозя застрелиться. На это письмо поехали к нему сестры его, одна вдова, другая девушка, умолять его, чтобы он приехал с ними домой. Дела его по имени будто бы очень плохи, так что, продав его, он будет иметь дохода не более двух тысяч руб. асс. Между тем, кажется, 12 тысяч ему отправлены. Ведь подло радоваться чужому несчастью, но я вам должен признаться, в моих глазах Cliché не несчастье, а Сазонов, делаясь простее и добрее, по мере, как карман его становится легче, делается действительно добрым малым и отстанет от своих аристократических претензий, которых сущность состояла в том, что он мог тратить по 100 франков в день. И все-таки Мей поступил (если известие ваше верно) грубо и дурно»¹⁾.

Герцен в это время был в России. Когда он весной 1847 года приехал в Париж, Сазонов был уже на свободе. В 1853 году Герцен еще хорошо помнил, что сейчас же по приезде в Париж он «не мог остаться дома»: «Я оделся и пошел бродить зря... искать Бакунина, Сазонова», или, как он выражается в другом месте, с Бакуниным, которого он встретил раньше, «пошел удивлять Сазонова своим приездом». А через десять лет Герцен в «Русских телях» рисует с чужих слов печальную картину личного надения Сазонова и не находит для него ни одного слова извинения.

¹⁾ «П. В. Анянков и его друзья». Спб., 1892, стр. 524—525.

Дело в том, что воспоминания Герцена о Сазонове были писаны под свежим впечатлением начавшихся уже столкновений со всякими «желчевиками», российскими и заграничными, и, давая характеристику Сазонова, Герцен преследовал «дидактическую» цель. Герцену «ужасно хотелось спасти молодое поколение от исторической неблагодарности и даже от исторической ошибки». Пример Сазонова и Энгельсова должен был показать, что «реальный смысл и реальное понимание жизни именно и обнаруживаются в остановке перед крайностями». Мы увидим еще, что, кроме этой «дидактической» тенденции, в отношении Герцена к Сазонову играло роль также поведение последнего в одном деле, очень дорогом для Герцена. И все же трудно понять, как мог глубоко чувствовавший и нравственно чуткий Герцен, чуть ли не на другой день после смерти старого друга, при известии о которой, по его собственным словам, у него «стукнуло сердце—будто раскаляньем, что я его так надолго оставил», дать такое дышащее злобой и не только несправедливое, но мало правдивое изображение всей частной жизни Сазонова, какое мы находим в «Русских тенях»¹⁾. Жизнь Сазонова так же мало исчерпывалась кутежами и долгами, как и жизнь другого приятеля Герцена—Бакунина. И об этом хорошо знал сам Герцен. Именно с помощью Бакунина и Сазонова он сумел так скоро войти в среду парижской эмиграции разных национальностей и местной революционной оппозиции.

Сазонов к этому времени уже успел окончательно втянуться в круг интересов международной демократии. Вместе с Бакуниным он играл очень заметную роль в начивавшемся тогда сближении русской оппозиции с польской эмиграцией. Из переписки Гер-

1) Безвременно погибший А. Серно-Соловьевич, наиболее яркий представитель того молодого поколения, в отношении которому Герцен писал «Русские тени», был вполне прав, когда писал в своем памфлете: «Вы говорите, что ваше поколение, правда, громко ругавшееся и много пившее, оставило, однако, «кое-что нетронутым», и этим думаете поразить молодежь, и затем снова рассказываете такие семейные сцены и подробности о своих приятелях, описания которых гадко и омерзительно читать... Называют себя вожакami общества, основателями школ... и наполняют свои невозвратительные воспоминания рассказами, достойными московских просвирен, о «любвицах», «спущенных рубахах», «голых грудях», «шампанском», о том, «как их друзья впадают в однопядать часов утра на полу с девками» и т. д. и т. д. (А. Серно-Соловьевич, Наши домашние дела. Vevey, 1867, стр. 17—18. Защищая Сазонова, Серно несколько не скрывает от себя его недостатков.)

вега с женой видно, что он находился в деятельных сношениях и с немецкой эмиграцией. С самим Гервегом Сазонов был очень близок и свое восторженное отношение к певцу свободы передал Герцену, которого, вероятно, именно он познакомил с человеком, сыгравшим такую трагическую роль в жизни обоих Герценов¹⁾.

Как и Бакунин, Сазонов в значительной степени успел уже освободиться от того «провинциализма», который привозили с собой в Париж из различных «дворянских гнезд» русские «аристократы». Вместе с Бакуниным он был убежден, что грядущая революция—а она чувствовалась в воздухе—должна будет отразиться и на России, которая неизбежно будет выведена из ее долголетней спячки. Он и Бакунин с жадностью набрасывались на соотечественников, приезжавших из России, чтобы узнать от них, имеются ли там какие-нибудь симптомы этого назревающего переворота. И, по всей вероятности, Герцен разочаровал его так же, как и Бакунина.

«Сазонов и Бакунин были недовольны (как впоследствии Высоккий и члены польской централизации), что новости, мною привезенные, больше относились к литературному и университетскому миру, чем к политическим сферам. Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах, об оппозиции (в 1847 году), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов, даже семинаристов. Они слишком разобшились с русской жизнью и слишком вошли в интересы «всемирной революции» и французских вопросов, чтобы помнить, что у нас появлению «Мертвых душ» было важнее назначения двух Паскевичей фельдмаршалами. Без правильных сообщений, без русских книг и журналов, они относились к России как-то теоретически и по памяти, придающей искусственное освещение всякой дали».

Но если этот рассказ, несмотря на «дидактическую» окраску, делающую его так похожим на письма «положительных» друзей самого Герцена, еще носит на себе печать правдоподобия и по-

¹⁾ *Fleury Victor, Le poète Georges Herwegh. Paris, 1911, p. 132.* Автор приводит следующую цитату из одного письма Сазопова к Гервегу: «Вы поймете теперь, почему я, варвар, Вас ценю и люблю больше, чем Вышн соотечественника; Вы поймете, почему я сравнивал революцию с мартирологом первых веков христианства; Вы поймете, что только там я мог найти примеры равенства, которые дают мне надежду стать когда-нибудь рядом с Вами», и т. д.

казывает только, как далек был Герцен от вопросов, занимавших «пенстового Виссариона» в последние годы его жизни, то следующее за ним описание конфликта между Герценом, с одной стороны, Бакуниным и Сазоновым, с другой, опять-таки выдает желание—в лице злосчастного Сазонова—кольнуть лишний раз повую эмиграцию, недостаточно ценившую чисто литературную работу. Вполне понятное замечание Сазонова, что Белинский, при других условиях, которые позволили бы ему не ограничиваться только литературными темами, сделал бы гораздо больше,—и никто не создавал этого с такой горечью, как сам Белинский,—дает Герцену повод обратиться задним числом с филиппикой по адресу Бакунина и Сазонова, направленной, в сущности, против молодых и дерзких желчевиков шестидесятых годов¹⁾.

Герцен к середине шестидесятых годов позабыл уже, в каком настроении он оставил Россию в 1847 году и каким провинциалом явился он в Париж. Ту оргию «культы и преклонения перед французскими знаменитостями», в которой он обвиняет своих старых друзей, он сам проделал в первый период пребывания своего за границей и был за это жестоко наказан и личным, и идейным разочарованием, наложившим такую мрачную печать на его статьи и письма после 1850 года.

Он забыл также, что, если его отношения к Сазонову в России были, как мы видели, довольно холодны, то за границей они значительно улучшились.

В июне 1848 года он просит Огарева заняться делами Сазонова: «В последнее время я, вообще, гораздо довольнее им»²⁾.

В другом письме Герцен пишет: «Эмиграция очень полезна теперь, но русских дельных очень мало; я могу назвать одного Сазо-

1) Аналогичное замечание Бакунина о Белинском приводит и Апиенков.

2) *Писемк, Т. II.*, Из латвнх лвт, том III стр. 116. Любопытно характеристика Сазонова, которую дает кузина Герцена: «Молодой человек с опухшими глазами и выразительным лицом... одно из тех эксцентрических существований, которые были бы исполнены веры, если бы вх век имел верования; беспокойный домоп, обитающий в пх душе, ломает пх и сильно клеймит печатью оригинальности». (Том I, стр. 470—471.) Отзыв Н. А. Огаревой-Тучковой («Воспоминания». Москва, 1903 год, стр. 53) повторяет только слова кузины Герцена: «очень умный, много знающий человек, по несаму неспмпатичный и очень уже офранцузженный».

нова, человека даровитого и имеющего вес в европейском движении»¹⁾).

В первом издании своей книги «Du développement des idées révolutionnaires en Russie», разъясняя европейское значение русской эмиграции и доказывая, что «в данный момент эмиграция есть самый крупный оппозиционный акт, который может быть совершен русским», он пишет между прочим: «Наш друг, Николай Сазонов, изгнанный из Франции в 1849 году, был одним из наиболее энергичных защитников демократии в «Tribune des Peuples» и в «Réforme»²⁾).

Герцен прав только в одном отношении. Сазонов так же мало, как и Бакунин, был заправским литератором и так же мало был склонен к упорному, систематическому труду. Талантливый дилетант, как и Бельтов, которого Герцен в значительной степени списывал с Сазонова, с огромными запросами, с деятельной и живой натурой, гораздо больше человек дела, чем человек мысли, он как и Бакунин, которому он уступал в диалектических способностях, зачастую без толку тратил свои недюжинные силы на пустяки и прожил жизнь в ожидании грядущей революции.

Наконец, она явилась.

Герцен еще осенью 1847 года уехал в Италию, где он в Риме и Неаполе присутствовал при пробуждении итальянского народа.

Но, как он сам рассказывает, Сазонов писал ему «в Рим письмо за письмом и звал *домой*, в Париж, в единую и нераздельную республику».

Когда в мае 1848 года Герцен приехал в Париж, Сазонов уже принимал самое горячее участие в революционном движении.

Все, что рассказывает дальше об этом времени Герцен, больше смахивает на злостную карикатуру, чем на правдивый рассказ. Увлеченный Сазоновым, Бакунин уже уехал в Германию,—он сделал попытку сблизиться с голодной и бунтующей Францией, но пролетарский мир остался ему чужд: он продолжал оставаться посторонним наблюдателем, от внимания которого не ускользает ни одной смешной стороны революционного движения, по кото-

1) М-ский, А. П., Герцен и его корреспонденты. «Русский Вестник», 1889 год, апрель, стр. 137.

2) Iscander, Du développement des idées révolutionnaires en Russie. Paris, 1851, p. 171.

рому по той же самой причине трудно войти в него органически, целиком.

Если верить Герцену, Сазонов «завел» какой-то международный клуб, куда он привлек всяких немцев и месспаянстов. За неимением членов, клуб этот скоро, мол, «лопнул».

На самом деле, это был известный тогда клуб «*Fraternité des peuples*» («Братство народов»), который «лопнул» только после июньского поражения французского пролетариата, как одна из первых жертв декрета, направленного против революционных клубов.

Герцен был таким же членом его, как Сазонов и Герверг. Еще в 1851 году, перечисляя европейцам заслуги Головина, с которым он был тогда еще в дружбе, он отмечает, что последний был президентом клуба «*Fraternité des peuples*»¹⁾.

Не более «объективен» и рассказ Герцена о сотрудничестве Сазонова в «*Tribune des Peuples*» Мпцкевича. «Когда устроилась эта газета,—пишет Герцен,—Сазонов занял одно из первых мест в редакции, написал две-три очень хорошие статьи... и замолк, а перед падением «Трибуны», т. е. перед 13 июля 1849 года, был уже со всеми в ссоре. Все ему казалось мало, бедно, *il se sentait déroger*, досадовал за это, ничего не оканчивал, запуская начатое и бросая вполонину сделанное».

А, между тем, в одной из предыдущих глав «Былого и дум» Герцен дает нам другую версию истории «*Tribune des Peuples*», которая показывает, что у Сазонова могли быть совершенно другие основания для недовольства и ухода из редакции. Во главе журнала стоял Мпцкевич, и его симпатии к Наполеону-дяде ставили в очень затруднительное положение его сотрудников, которым приходилось иметь дело с Наполеоном-племянником. Как говорят сам Герцен,—и это показание его, как более раннее, заслуживает больше доверия,—«единства в редакции не могло быть»;

¹⁾ *Iscauder*, Du développement etc., p. 171. В докладе комиссии, производившей расследование о событиях 15 мая и восстании 23 июня, президентом клуба назван Rebstock. См. «Rapport de la commission d'enquête» etc., t. II, p. 102. Люка в своей полицейской истории клубов февральской революции тоже называет Rebstock'a. По его словам, клуб основан был в марте 1848 года и насчитывал среди своих членов представителей всех европейских национальностей, но больше всего немцев, итальянцев и венгерцев. См. *A. Lucas*, Les clubs et les clubistes. Paris, 1861, p. 164.

Мицкевич свертывал половину своего императорского знамени, *usé par la gloire*; другие не смели развешивать своего; стесненные им и советом, многие через месяц оставили редакцию; я не послал ни разу ни одной строчки. Если бы наполеоновская полиция была умнее, никогда «*Tribune des Peuples*» не была бы запрещена за несколько строчек о 13 июня. С именем Мицкевича и с поклонением Наполеону, с мистической революционностью и с мечтой о вооруженной демократии, во главе которой—наполеониды, этот журнал мог бы сделаться кладом для президента, чистым органом нечистого дела».

Ясно, что Сазонов имел, во всяком случае, не меньше оснований бросить этот журнал, написав для него несколько «очень хороших статей», чем Герцен, бывший тоже членом редакции, не написать ни одной строчки.

Мы не будем входить в детальный разбор той роли, которую сыграла «*Tribune des Peuples*» во время февральской революции. Она осталась преимущественно органом польской эмиграции¹⁾ и именно поэтому резко подчеркивала необходимость международной революционной пропаганды. Борясь с русским панславизмом, который нашел себе талантливое представителя в лице польского ренегата, графа Адама Гуровского, газета в то же время настаивала на необходимости объединения между русским и польским народами. Сазонов, писавший под именем Волкова,—псевдоним, под которым он выступал тогда и в литературе и на собраниях, пока не потерял своей легальности,—в статьях своих доказывал необходимость восстановления Польши²⁾. Характеризуя партии, существующие в России,—консерваторы крайние (ортодоксы), консерваторы прогрессивные, революционеры и республиканцы,—он дает следующее резюме программы республиканцев, к которым он причисляет Воинова, Головина и Бакунина: «После того как восточная цивилизация Владимира Великого была разрушена татарским нашествием, все идеи прогресса и свободы в России находили свой единственный источник в независимой Польше. Покорив ее, русские опять вернулись к варварству и

1) См. *Limanowski, B., Historia ruchu społecznego w XIX stuleciu*. Lwow, 1890, pp. 308—312. И его же «*Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej*», Zürich, 1901, pp. 444—448.

2) «*Tribune des Peuples*», 1849, 7 и 8 июня. «*Opinion publique en Russie*»

скрепили свои собственные цепи, так как завоевательная политика только усиливает абсолютную власть. Чтобы спасти Россию, мы должны восстановить Польшу при содействии ее народа и создать две республики, которые заключили бы между собой вечный оборонительный и наступательный союз¹⁾.

А в статье «De la Russie» Сазонов старался растолковать западно-европейским демократам особенности исторического развития России, но, отсталая общину, как основную ячейку общественного строя будущей России, он не видит в ней источника спасения и для Западной Европы.

Когда именно вышел Сазонов из состава редакции, можно сказать только приблизительно. Первый номер газеты вышел 15 марта 1849 года. После 13 июня газета была приостановлена до 1 сентября. Преследования, обрушившиеся на польскую эмиграцию, заставили поляков выйти из газеты (16 октября), но и новая редакция, с Карпантье во главе, не могла уже спасти газету.

Совершенно фантастический характер носит рассказ Герцена о дальнейшей литературной деятельности Сазонова.

«В 1849 году я предложил Прудону передать иностранную часть редакции «Voix du Peuple» Сазонову. С его знанием четырех языков, литературы, политики, истории всех европейских народов, с его знанием партий он мог из этой части журнала сделать чудо для французов. Во внутренний распорядок иностранных новостей Прудон не входил: она была в моих руках, но я из Женевы ничего не мог сделать. Сазонов через месяц передал редакцию Хоецкому и расстался с журналом. Я Прудона глубоко уважаю,—писал он мне в Женеве.—но двум таким личностям, как его и моя, нет места в одном журнале».

Еще хуже, по словам Герцена, кончилось сотрудничество Сазонова в «Réforme».

Через год Сазонов пристроился к воскресенной тогда мадзинистами «Реформе». Главной редакцией заведывал Ламеннэ. И тут не было места двум великим людям. Сазонов поработал месяца три и бросил «Реформу». С Прудоном он, по счастью, расстался мирно, с Ламеннэ—в ссоре. Сазонов обвинял скупого старика в корыстном употреблении редакционных денег. Ламеннэ, вспомнив привычки клерикальной юности своей, прибегнул к ultima ratio

¹⁾ «Tribune des Peuples», 15 марта 1849 года.

на Западе и пустил насчет Сазонова вопрос, не ангел ли он русского правительства).

Во всем этом рассказе о «былом» так сильно смешаны «быль» и «небылица», что его приходится подвергнуть сомнению почти во всех его частях.

Теперь, правда, очень трудно установить вполне точно хронологическую последовательность всех отдельных событий и фактов тогдашней жизни Сазонова и Герцена, но и того, что нам известно, вполне достаточно, чтобы прийти к выводу, что Герцену и на этот раз память изменила самым предательским образом.

Против него свидетельствуют опять его же собственные, более ранние, показания.

После 13 июня 1849 года Герцен, которого Сазонов убедил принять участие в демонстрации в защиту Римской республики, — демонстрации, кончившейся полным поражением Горы, — поспешил уехать, во избежание ареста, в Женеву, но уже в декабре опять вернулся, чтобы привести в порядок свои денежные дела, — ему грозила конфискация его имущества, — и оставался в Париже до июля 1850 года.

Выше мы видели, что он сам, в начале 1851 года указывая на заслуги Сазонова, упоминает о его сотрудничестве в «*Tribune des Peuples*» и «*Réforme*», причем прибавляет, что Сазонов был выслан в 1849 году.

К сожалению, нет никакой возможности, установить теперь точно дату, когда именно был выслан Сазонов из Парижа. После 13 июня иностранцы высылались десятками и в несколько приемов.

В начале октября 1849 года выслан был полковник Франолли, его близкий приятель, мадзинист и представитель Римской республики.

Мы знаем только, что в начале декабря Сазонов был еще в Париже. Всего вероятнее, что он был выслан во второй половине декабря 1849 года, за несколько дней до возвращения туда Герцена.

Первый (пробный) номер «*Voix du Peuple*» вышел 25 сентября 1849 года, последний — 14 мая 1850 года. Ламеннэ стал во главе редакции «*Réforme*», как то видно из заявления в самой газете, 1 октября 1849 года, после того как в сентябре вынужден был бежать в Англию его предшественник по редакции Рибейроль. Весь 1850 год и большую часть 1851 года Сазонов пробыл в

Швейцарин: в числе членов комитета европейской эмиграции известный провокатор Шепю называет, вместе с Фраполли, Пиа, Буашо и др., также «русского социалиста Сазонова»¹⁾. И его же имя мы встречаем, наряду с Иоганном-Филиппом Беккером, Гассом, Зорге, среди швейцарских демократов-социалистов, пославших привет на лондонский банкет 24 февраля 1851 года²⁾.

Итак, Сазонов мог работать в «Réforme» только во второй половине 1849 года.

Но и в «Voix du Peuple» он мог участвовать как редактор опять-таки не позже второй половины 1849 года. Дело в том, что прошло месяца три, пока возобновились закрытые сейчас же после 13 июня главные оппозиционные газеты. Быть одновременно редактором двух таких больших газет, как «Voix du Peuple» и «Réforme», Сазонов, конечно, не мог бы даже в том случае, если бы они были тождественны по направлению.

Поэтому Герцен, смутно помнивший, что Сазонов имел какое-то отношение к «Voix du Peuple», превращает его только *через год* в редактора «Réforme», но, избежав прегрешения против логики и здравого смысла, он сильно грешит против хронологии и против себя, ибо в 1850 году он хорошо еще знал, что Сазонов никакого участия в редакции «Voix du Peuple» не принимал и не мог принимать.

В действительности же дело происходило иначе. Когда после закрытия прудоновской газеты «Peuple» нужно было достать залог для ее возобновления, пришлось искать, как рассказывает главный редактор «Voix du Peuple» Альфред Даримон,—Прудон сидел в тюрьме,—«добрую душу», которая согласилась бы дать 24 000 франков.

«Эта добрая душа нашлась благодаря Шарлю Эдмону, у которого всегда была счастливая рука. Он свел Гильемэна (администратор прудоновской газеты.—Д. Р.) с одним молодым русским, который был одновременно великим революционером и великим писателем. Герцен, которому удалось спасти свое состояние... согласился открыть нам свой кошелек. Гильемэн, который поехал в Женеву вести переговоры об этом займе, говорил, что

1) *Огелли, А., Les chevaliers de la république rouge en 1851. Paris, 1851, p. 139.*

2) «*Banquet des Egaux*». Londres, 1851, p. 68.

никогда не видел человека, который так охотно давал бы свои деньги. Казалось, что не мы, а он чувствовал себя обязанным»¹).

Мы видим, что участие Сазонова в этом деле Даримону осталось совершенно неизвестным. Сам Герцен рассказывает о своем вкладе на издание «*Voix du Peuple*» несколько иначе. Повидимому, Шарля Эдмона (псевдоним поляка Хоецкого) направил к Герцену Сазонов. 14 августа 1849 года был подписан договор, в силу которого Герцен согласился дать 24 000 фр., но на таких условиях, от которых, по его собственным словам, Прудона «покоробило»²).

Никаких других отношений к «*Voix du Peuple*» Сазонов не имел. Иностранным отделом заведывал Эдмон. Даримон, перечисляя всех близких сотрудников и редакторов газеты, называет Герцена, но не упоминает ни одним словом о Сазонове. Вероятно, по той же причине Герцен в 1850 году говорит о сотрудничестве Сазонова только в «*Tribune des Peuples*» и «*Réforme*».

В середине шестидесятых годов Герцен успел забыть не только это, но и то обстоятельство, что, если он не принимал деятельного участия в «*Voix du Peuple*», хотя и состоял в числе ее *rédacteurs habitués*, как говорит Даримон, то не потому, что он почти все это время жил в Женеве. Наоборот, из пяти с половиною месяцев, в течение которых существовала «*Voix du Peuple*», он прожил три месяца в Париже, но писал очень мало, потому что был поглощен устройством своих денежных дел.

Возможно, что Сазонов, помогавший Прудону прискать необходимый залог, думал после прекращения «*Tribune des Peuples*» устроиться в газете, но перемена, происшедшая в «*Réforme*», дала ему возможность стать в ней редактором иностранного отдела.

На ведение дел в этой газете начал тогда оказывать влияние названный уже нами Фраполли. Сам Герцен упоминает имя последнего в связи с «*Réforme*», когда рассказывает в главе XLI, писанной несколькими годами раньше, о системе залогов, введенной после июня 1849 года и направленной против революционной прессы:

¹ *Darimon Alfred, A travers une révolution (1847 — 1855). Paris, 1884, p. 180.*

² *Гершензон, М., Западные друзья Герцена. «Былое», 1907 год, апрель, стр. 67 — 69.*

— Ледрю-Роллан сначала, потом полковник Фраполли, как представитель мадзиниевской партии, заплатили большие деньги, но не спасли «Реформу».

Мы увидим сейчас, что Сазонов в этой газете успел занять очень влиятельное положение.

Некоторый свет на деятельность его в 1849—1851 годах бросают письма его к Марксу, к которым мы теперь и обратимся.

IV

С Марксом Сазонов мог познакомиться еще в 1844 году у Гервегов, с которыми, как мы видели, он был очень близко знаком. Маркс, переживавший тогда кризис в своем идейном развитии, был еще в очень дружеских отношениях с поэтом молодой Германии, на которого он возлагал большие надежды, не совсем, впрочем, оправдавшиеся. Именно личный конфликт из-за Гервега, никогда не отличавшегося особенной приверженностью к «филистерской» морали, послужил для него главным поводом к окончательному разрыву с Руге, с которым Маркс, по мере превращения своего из «якобинца» в коммуниста, идейно все больше и больше расходился.

Знакомство Маркса и Сазонова в то время не шло дальше случайных встреч у Гервегов или в других местах. Между ними было несравненно меньше точек идейного соприкосновения, чем даже между Марксом и Бакуниным. Сазонов никогда не отличался большой склонностью к философским спекуляциям, и увлечение сначала Гегелем, а после Фейербахом, характерное для его друзей, прошло для него почти бесследно. Типичный прооветитель, он тогда больше всего увлекался текущей политической жизнью. От старого сен-симонизма он уже успел освободиться, и в то время, как Маркс выработывал основы своего коммунистического мировоззрения, Сазонов оставался еще буржуазным демократом и в идейном отношении был ближе всего к группе, издававшей тогда *Réforme*.

Поэтому Маркс вряд ли мог привлекать его даже в такой степени, как Гервег, и, несмотря на то, что, по некоторым шепотным чертам, на которые единогласно указывают все его знакомые, Сазонов больше всего подходит к типу «русских аристократов»; — и

сомневаемся, чтобы он уже в период пребывания Маркса в Париже принадлежал к числу его восторженных поклонников.

Сазонов и Маркс могли еще встречаться в марте и апреле 1848 года. Весьма возможно, что так же, как и Бакунин, Сазонов отнесся сочувственно к романтической затее Гервега, собиравшего тогда легион из немецких эмигрантов, чтобы с оружием в руках внести революцию в Германию, — затея, которая, как известно, окончилась полнейшим фиаско. Маркс, наоборот, самым решительным образом протестовал против революционной авантюры немецких демократов и именно на этой почве разошелся как с Гервегом, так и с защищавшим его Бакуниным.

И, наверное, Сазонов и Маркс опять встретились, на этот раз более дружелюбно, в мае и июне 1849 года в Париже, куда Маркс попал после закрытия «Neue Rheinische Zeitung» и изгнания из Пруссии и где он, вместе с Сазоновым, принимал участие в демонстрации 13 июня.

Попав в одну из первых групп эмигрантов, подлежащих высылке, Маркс 19 июля получил приказ выехать из Парижа в департамент Морбиган, но предпочел уехать в Лондон.

Первое письмо Сазонова к Марксу относится к декабрю 1849 года. Оно писано на бланке газеты «Réforme» и датировано 6 декабря. Из него видно, что Сазонов считал себя тогда еще хозяином иностранного отдела.

«Мой дорогой Маркс!

«Я надеялся, что мне придется писать Вам по более приятному для нас обоих поводу. Дело шло, как Вам объяснит Вольф¹⁾, о том, чтобы организовать демократическую корреспонденцию для немецких газет. Вольф должен был быть моим главным сотрудником, и он просил меня написать Вам, чтобы узнать об этом Ваше мнение и попросить Вашего совета. Я думаю, что Вы ничего не имели бы против его участия в таком полезном и нужном деле, но теперь об этом не может быть и речи. *Граждане предполагают, а полиция располагает.* Вольф, сотрудничество которого было бы для меня так драгоценно, вынужден уехать из Парижа, и я, таким образом, предоставлен собственным силам. А так как у меня на руках весь иностранный отдел «Реформы» и, кроме того,

¹⁾ Фердинанд Вольф, или «красный Вольф», один из сотрудников «Neue Rheinische Zeitung».

специальная корреспонденция для департаментов, то я не в состоянии взять на себя новую работу, тем более, что я до сих пор мало писал по-немецки. Я рассчитываю поэтому, что Вы сообразовите указать мне интеллигентного сотрудника среди немецких демократов, живущих в Париже. Вы, таким образом, окажете услугу хорошему демократу, ибо корреспонденция даст ему от 100 до 150 франков в месяц. Итак, я опять надеюсь на Вашу помощь.

«Я надеюсь также, что Вы напишете мне о Ваших работах, которые Вы начали в Лондоне. Я знаю, как Вы много работаете, и слишком высоко ценю Вашу деятельность, чтобы думать, что за это время Вы ничего не сделали. Если Вы что-нибудь уже опубликовали, пришлите мне немедленно, и я дам отчет в «Реформе». Если у Вас есть время, то напишите что-нибудь специально для нас (по германскому вопросу) Мы напечатаем Вашу работу с большим удовольствием. Быть может, Вы пошлете нам также статью о социализме и положении рабочих классов в Англии. Я знаю, как глубоко Вы изучили этот вопрос, и я был бы счастлив, если бы мог познакомить читателей «Реформы» с английской социальной жизнью при помощи Вашего пера. Вы понимаете, конечно, что если Вы захотите писать статью для «Реформы», то Вам придется, поскольку это возможно, не касаться ни доктрины, ни личностей. Этого требует положение журнала.

«Если бы я хотел писать Вам о здешних делах, то я вряд ли мог бы Вам сообщить что-нибудь новое. Вы это видите так же хорошо, как и я, если не лучше, ибо расстояние придает предметам их настоящие размеры. Единственное, что я могу заметить, это то, что, несмотря на весь шум, который производит Прудон и который производят вокруг его имени, число его приверженцев не увеличивается.

«Я читаю новый журнал, издаваемый Бланки и его друзьями. До настоящего времени, за исключением одной статьи Туссенеля, он был достаточно бледен, но уже одно вмешательство Бланки в журналистику представляет факт огромной важности. Поживем—увидим.

«Располагайте мною, если Вам нужно будет что-нибудь в Париже, и пишите мне на адрес «Реформы».

«Братский привет. Саганов».

План, задуманный Сазоновым, не осуществился, так как он скоро был выслан из Парижа, откуда направился в Женеву. Раз отдавшись журналистике, он уже не может сидеть спокойно и замышляет новое литературное предприятие.

Следующее его письмо к Марксу из Женевы (2 мая 1850 года) дает не только новые данные для биографии этого забытого русского революционера, но и нечто вроде profession de foi первого русского «марксиста».

Уроки революции 1848—1849 годов не прошли для него даром. и он старается теперь, — мы увидим сейчас, насколько удачно, — познакомиться с новым учением.

В отличие от Герцена, он не посыпает головы пеплом, не обрушивается с проклятиями на старый мир и не ищет спасения на «востоке».

Революционный демократ, едва только освободившийся от своей национальной «пуцовины», делает шаг по направлению к социальной демократии, к пролетарскому коммунизму.

Женева, 2 мая.

«Мой дорогой Маркс.

«Это письмо будет передано Вам Форесом¹⁾, который, как Вы уже, вероятно, знаете из газет, и очень ловко, и очень удачно ушел в Лione от жандармов. Я очень рад, что имею теперь возможность — в первый раз со времени моей высылки из Парижа — написать Вам без всякой опаски. Вы знаете, что я собирался предпринять в Париже с помощью Рейнгарда, которого Вы мне рекомендовали. Я думаю, что это предприятие, слухи о котором распространились чересчур рано, было одной из причин моей высылки из Парижа. Приехал я в Женеву раздраженный, измученный, истерзанный, но с готовностью продолжать борьбу. Прежде чем я расскажу Вам, что я делал тут, я считаю необходимым изложить Вам в кратких чертах мою теперешнюю точку зрения. Мы знакомы уже давно, но мы имели очень мало случаев поделиться нашими мнениями. Вольф, вероятно, уже рассказал Вам, что в последнее время я в оценке людей и событий почти во всем соглашался с ним, а следовательно, и с Вами. Внимательное

¹⁾ Известный бас, эмигрировавший в Америку.

изучение последнего труда Прудона ¹⁾ и чтение его соглашательских статей в «Voix du Peuple» заставили меня сделать еще один шаг в Вашем направлении, и так как я думаю, что Вы не изменили своих взглядов, то Вам приятно будет узнать, что я вполне присоединюсь во всем существенном к тому, что Вы высказали в манифесте, опубликованном Вами в Брюсселе. Да, мой друг, естественный прогресс, непреодолимая сила логики, любовь к свободе и любовь к порядку привели меня к убеждению, что серьезный революционер может быть только коммунистом, и я теперь коммунист. Вот главные основания, которые толкнули меня на этот путь. Я думаю, что современное общество дало все, что мог дать принцип индивидуальной свободы, положенный в его изолированной и исключительной форме в основу общественного порядка; что, следовательно, всякое расширение этого принципа было бы только призрачным и иллюзорным. Я думаю, что европейская цивилизация прогрессирует только в области промышленности; что во всех других отношениях ее деятельность все более атрофируется, и что она не в состоянии решить те все более сложные проблемы, которые ее собственное промышленное развитие каждый день ставит перед нею. Я вижу, что варварство, поскольку оно еще не завоевано цивилизацией, имеет свой *raison d'être*, и что не индивидуалистической цивилизации удастся окончательно уничтожить это варварство. Я думаю, наконец, что нет никакой возможности установить рациональное мерило стоимости и что, следовательно, всякий обмен одного индивидуального труда на другой индивидуальный труд может иметь результатом только несправедливость и эксплуатацию с одной или с другой стороны. Вот вкратце ход идей, не совсем ясных и стройных, путем которого я дошел до настоящего убеждения. Я прошу Вас, дорогой учитель, обратить больше свое внимание на самую мысль и не останавливаться на форме ее выражения, которая не может не быть неполной.

«Я должен был изложить Вам это *profession de foi*; я хочу предложить Вам одно общее дело и поэтому считал необходимым установить основные принципы, прежде чем действовать сообща. С тех пор, как я в Женеве, я видел и изучил всех замечательных людей, которые собрались здесь.

1) «Idée générale de la révolution au XIX siècle».

«Я приехал с проектом демократического журнала, который должен был издаваться в Париже раз в четверть года. Все обещали свое содействие, но в течение четырех месяцев, которые я провел здесь, мое мнение о большинстве этих людей и пользе их сотрудничества сильно изменилось.

«Мадзини, к которому я сначала питал наибольшее доверие, оказался не только отсталым человеком, но даже ретроградом. Недавно он напечатал в своем журнале «L'Italia del Popolo» смешную статью под названием «Демократия и системы», в которой доказывает, что современный мир, несмотря на все противоположные утверждения, жаждет авторитета, власти. Вся статья написана в духе этой тезы и является ее развитием.

«Феликс Пиа, не имея ни репутации, ни влияния Мадзини, является гораздо более прогрессивным и более революционным деятелем (Вы знаете, что в области коммунизма современное поколение во Франции признает только Каба и что последний не представляет собой ничего привлекательного для поэтического воображения)»...

Сазонов дальше объясняет, почему он остановился на трехмесячном журнале. Для ежедневного органа нехватило бы ни средств, ни людей. Еженедельник давал бы обзор событий за неделю и служил бы только интересам французской политики. Но его разочаровали вожди.

«Я признаю свое ослепление: я рассчитывал, что они могут содействовать прогрессивному предприятию, но я убедился, что они враги прогресса, а, следовательно, и наши враги. Они овладели словом «социализм», как они прежде присвоили слово «республика», и оба раза для того, чтобы эскамотировать дело; поэтому я не хочу и слышать об этих вождях. На них надо смотреть как на опасных врагов, которых следует остерегаться.

«Так мой план, оставаясь по форме тем же самым, изменился по существу. Долой дряхлых хранителей авторитета! Для нового дела нужны новые люди, необходимо, чтобы люди молодые, люди мужественные, люди серьезной науки и глубоких убеждений выступили в роли централизаторов Европы в пользу великой идеи коммунизма. Нас в настоящее время мало, мы не играем большой роли в литературе, журнализме, политике, но число наше с каждым днем растет, не считая тех партизанов, которых мы имеем среди народов, где слово «коммунизм» никогда еще не бы-

ло произнесено (народов славянских и народов Центральной Азии).

«Кто знает, что он является носителем творческих идей, тот не боится остаться изолированным, в особенности, когда он знает средства реализации этих идей при помощи науки и те переходные фазы, через которые должна пройти эта реализация. И задача нашего журнала заключается в том, чтобы создать европейскую силу для реализации коммунизма и указать практические средства для его осуществления.

«Здесь нас двое, я и Фраполли (бывший поверенный по делам Ломбардии, Тосканы и Рима в Париже). Последний написал великолепный труд, положив в основу свою дипломатическую корреспонденцию 48 и 49 годов, где доказывает вою несостоятельность национальной политики и формального республиканизма. В предисловии, написанном рукою мастера, где он отрицает принцип национальности, который представляет собою только королларий религиозного принципа, он объявляет себя социалистом-пантеистом и таким образом делает то, чего не осмелился публично сделать до сих пор еще ни один итальянец¹⁾.

«Что касается меня, то я составил детальный план европейской политики, где стараюсь доказать неизбежную необходимость не только союза, но и тесной федерации между тремя народами, которые в течение последних двух лет дали неоднократно доказательства их энергичного стремления к прогрессу: между Францией, Германией и Италией. Таким образом, можно будет создать колоссальную централизованную силу, чтобы осуществить почти без трудностей идеи будущего.

«Имеется еще Герцен, брошюру которого «*Vom anderen Ufer*» Вы, быть может, читали. Он скорее человек увлеченный, чем убеждения, и человек воображения больше, чем знания, впрочем очень преданный и очень способный.

«Вот все имеющиеся тут силы. Я не преувеличиваю их размеров. В сравнении с поставленной целью они кажутся ничтожными, но это только повидимому. Если принимать во внимание не только отдельных лиц, то это не много, но при их связях и знакомствах влияние их распространяется очень далеко. Фра-

¹⁾ Речь идет о следующей работе: «*Briefwechsel unserer Zeit von einem revolutionären Diplomaten und politische Studien über die Jahre 1848 — 1849 in Frankreich und Italien*», Basel, 1851.

полли и я располагаем парижской прессой. Организация, которую он устроил в интересах Италии, пока он был посланником, и которую я сохранил, пока оставался в «Реформе», все еще существует и распространяется даже за пределы Франции. Герцен доставляет деньги на издание «Voix du Peuple» и тесно связан с Прудоном и прудонистами. Фраполли, в силу своей дружбы с Мадзини и услуг, оказанных им Италией, располагает всеми силами итальянской организации, которые очень велики. Кроме того, здесь (в Женеве) мы нашли неожиданную помощь, которой нельзя пренебрегать. Это француз, некто Шарпантье, мало известный, но энергичный, преданный, способный и очень прогрессивный. Он предлагает нам помощь могучей и обширной организации, центр которой находится в Лионе, но разветвления которой имеются в Париже и во всей Франции. Вы видите, что это довольно почтенная сила, но, дорогой мой учитель, я считал бы все это очень недостаточным, если бы не рассчитывал на Вас. Именно поэтому я считал необходимым писать Вам так подробно, чтобы познакомить Вас с моим планом, с моей точкой зрения и средствами действия. Я повторяю, что рассчитываю на Вас, и рассчитываю самым положительным образом для немедленного осуществления. Вот что мы решили пустить в первом номере, предполагая Ваше согласие. Будет общая статья, неподписанная, которая будет выражать взгляды, общие всей редакции, и ряд специальных статей с подписями. Что касается этих специальных статей, то мы имеем статью Фраполли об Италии, Герцена—о России, мою—о Венгрии и славянском вопросе, Пиа—о Франции, статью (также о Франции) Массоля, моего друга, вместе со мной редактировавшего «Реформу» (он—прудонист). Я рассчитываю, что Вы нам дадите статью о Германии—в том смысле, который я указал, т. е. резюме какого-нибудь злободневного вопроса, в одно и то же время манифест и программу. В виде общей статьи предполагается мой план европейской политики. Само собой разумеется, что она предварительно будет отослана Вам для прочтения и одобрения. Я послал бы ее Вам вместе с этим письмом, если бы я был уверен, что последнее дойдет; но так как Вы могли переменить адрес или что-нибудь может случиться в дороге, то я не хочу присоединять мой план, которым я очень дорожу. Но напишите мне сейчас же и я пошлю его на указанный Вами адрес.

«Во втором номере придется дать программную статью, т. е. изложение системы переходных мер, которые, ведя прямо к осуществлению наших идей, соответствовали бы потребностям момента. Понятно, что *только* Вы в состоянии выполнять такую работу. Мы предполагали сделать из нее манифест партии для всей Европы, как только она получит одобрение наших друзей в Париже и Лионе. Если Вы дадите себе труд сейчас же набросать основы этой программы, то мы постараемся, чтобы она сейчас же подвергнута была обсуждению и чтобы ее основные идеи были приняты. Для этой работы Вам, вероятно, понадобится месяца три. Что касается Вашей статьи о Германии, то я не только надеюсь, но уверен, что Вы сейчас же за нее возьметесь и что в две недели она будет готова. Вы пошлете ее прямо в Париж Массолу (36, rue Neuve des Petits Champs), который будет заведывать журналом. Издатель, которого мы нашли, обязуется печатать его на свой счет и делить с нами прибыли, если они будут. Чтобы покрыть издержки, необходимо продать 600 экземпляров. Если будет продано 1 200, то останется чистых 3 000 франков, что составит 50 франков с листа. Это, конечно, мало, но если первый номер будет иметь успех, то мы сможем издать второй за наш счет и получить в два раза больше.

«Я рассчитываю не только на Вас, но на всех Ваших друзей. Если бы Вольф не дал мне в Париже доказательства своей неизлечимой лепи, я пригласил бы его сотрудничать. Отвечайте же мне сейчас, и самым подробным образом, и обещаите мне написать те две статьи, о которых я прошу. Вы понимаете их значение не меньше, чем я сам... Прощайте, мой друг, я, быть может, никогда уже не буду писать Вам так подробно, но я желал бы иметь возможность писать Вам часто.

С братским приветом *Сазонов*».

«P. S. Что касается немцев, имеющихся тут, то лучший из них, это — молодой Зигель¹⁾, последний главнокомандующий баденской армии. Это — человек, исполненный лучших намерений и склоняющийся к нашим взглядам. Если в Вашем письме Вы ска-

¹⁾ Зигель в «Воспоминаниях» говорит о своем знакомстве с Сазоновым и упоминает, между прочим, о его совместном житье с Форасом, который должен был передать это письмо Марксу. «Denkwürdigkeiten des Generals F. Sigel». Herausgegeben von W. Blas. Mannheim, 1902, pp. 138 — 139.

жете несколько хороших слов о нем, это будет полезно. Я могу называть еще доктора Фридмана, который тоже на хорошем пути».

Как реагировал Маркс на это письмо своего нового прозелита, нам не известно. Он был тогда поглощен работой по реорганизации Союза коммунистов и только что (в марте 1850 года), вместе с Энгельсом, составил свое «Обращение к Союзу», в котором подвергает резкой критике демократическую партию. Наряду с этой организационной работой Маркс должен был еще, вместе с Энгельсом, вести труды и заботы по части издания «*Neue Rheinische Zeitung*», для которой он, кроме библиографии, написал «Классовую борьбу во Франции» и другие статьи. Взять в такое время на себя новые обязательства было бы рискованно даже в том случае, если бы Маркс с большим доверием относился к редакторским и издательским талантам Сазонова. А он, по всей вероятности, отнесся очень скептически к рвению «русского революционера», который, как это видно и из письма, несмотря на свое желание освободиться из-под власти старой идеологии, все свои расчеты строил на тесном союзе с той самой демократией, с которой Маркс так беспощадно сосчитался в последних книжках «*Neue Rheinische Zeitung*». Компания, которую хотел сгруппировать Сазонов, была слишком разношерстной, чтобы обещать какую-нибудь плодотворную работу. А тут, на беду, он дал Марксу лишнее доказательство своей политической наивности, рекомендуя ему горячо и прося у него нескольких хороших слов о Энгеле, против которого—вместе с другими его товарищами—направлено было второе обращение к Союзу (июнь 1850 года)¹⁾.

Как бы то ни было из предприятия, задуманного Сазоновым, несмотря на то, что он, как казалось ему, предусмотрел все и все и обставил дело самым «практическим» образом, не вышло ровно ничего. Реакция все усиливалась. Один оппозиционный журнал закрывался за другим. А для «подпольной» литературы Лондон представлял более удобный пункт, чем Женева, где французская полиция чувствовала себя как дома. Сазонов остался в Швейцарии, принимая, как мы видели, участие в эмигрантских делах, и был также членом комитета европейской демократии, о котором так резко отзывается Маркс. Пользуясь своим старым знаком-

¹⁾ *Karl Marx, Enthüllungen über den Kommunistenprozess zu Köln. Zürich, 1886. pp. 83 — 88*

ством с Джемсом Фази, он оказывал различные услуги французским и немецким эмигрантам, по именно эти близкие сношения с женеvским диктатором навлекли на него подозрения, оказавшиеся совершенно неосновательными. Он сблизился тогда с Гессом, с которым познакомился еще в Париже, хлопотал даже об издании его «*Jugement dernier du vieux monde social*»—брошюры в которой, наряду с признанием огромных теоретических заслуг Маркса и критикой Прудона, подчеркивается, в полном согласии с противниками Маркса—Виллихом и Шаппером, его доктринерство и неспособность к «живому», «практическому» делу¹⁾, и, как видно из одного его письма к Гессу, писал статьи для «*Revue laïque*», органа кабетистов, в котором играл тогда очень влиятельную роль его старый парижский приятель, польский социалист Кроликoвский²⁾.

Параж, 10 сентября.

«Мой дорогой Маркс!

«Я уже давно не пишу от Вас никаких известий и также давно не писал Вам о себе. Дело в том, что я уже давно собирался навестить Вас в Лондоне, но вдруг очутился в Париже, где думаю остаться до тех пор, пока полиция не удастся накрыть меня и выслать. Париж никогда еще не был так интересен, как в настоящий момент. Старый мир находится накануне своего полного разложения. Процесс его гниения до такой степени подвинулся вперед, что составляющие его атомы отделяются друг от друга и превращаются в самостоятельные центры. Только этим можно объяснить возникновение такого множества проектов, надежд, интриг, заговоров, исчезающих так же быстро, как они зарождаются. Это самая причудливая и забавная комедия, какую только можно себе представить. Все устраивают заговоры—легитимисты и орлеанисты, бонапартисты и, *soi-disant*, демократы, —и все они рассчитывают на армию. Бонапарт возлагает свои надежды на войска в Париже, легитимисты—в Лионе, орлеанисты—на африканских солдат, а наши красные—на всех солдат зараз. Для заговоров воров пускаются и ход все средства: так, потеря золотых слитков была бонапартистской затеей, чтобы в необходимый момент вооружить пятьдесят тысяч негодяев. Этот заговор, для которого

¹⁾ В статье об отношениях между Герценом и Марксом мы еще вернемся к этой совершенно забытой, но очень любопытной брошюре.

²⁾ См. *Prudhommeau, Jules, Etienne Cabet et son oeuvre. Paris, 1907.*

приготовили даже мундпы, якобы посланные герцогом Брауншвейгским, кончился ничем только благодаря хищности бандитов, окружающих Бонапарта и издержавших слишком скоро и чересчур много денег. А предприятие, анонсируемое в газетах под затейливым названием: «Тридцать дней развлечений», представляет орлеанистский заговор, цель которого — пропагандировать кандидатуру герцога Жуанвильского.

«Я привожу эти детали, чтобы показать Вам, как близко уже разложение старого общества. С другой стороны, народ все больше освобождается от предрассудков старого мира. Рабочие ассоциации создают людей, знакомых с деловой практикой. Некоторые из этих ассоциаций гораздо более радикальны, чем это можно было бы думать на основании их статуты, которые вообще редактированы не особенно удачно. Недостает только ясности и точности доктрины. Я перевел на французский язык половину Вашего манифеста, опубликованного в 1848 году. Дронке ¹⁾ взял на себя перевод другой половины и издание, но он ничего не сделал: он — лентяй и легко поддается влиянию всяких буржуа.

«Вы знаете, конечно, что Кабэ вместе с П. Леру и Луи Бланом старается объединить коммунистов. Жаль, что за это дело взялся именно Кабэ. Вы знаете, насколько этот замечательный человек ограничен во всем, что касается науки и доктрины.

«Мне передавали, что Вы и Энгельс хотите воспользоваться всемирной выставкой, чтобы показать буржуазии, как вся ее деятельность, даже в наиболее благородных и прогрессивных ее проявлениях, совлекает ее с традиционного пути и заставляет ее готовить наступление коммунизма. Это — прекрасный сюжет, достойный Вашего гения, и я хотел бы, чтобы Вы его разработали à fond.

«Пишите мне, дорогой учитель, и примите уверение в постоянной дружбе и преданности Вашего брата *Сазонова*.

«Письмо это будет передано вам гражданином Массодем, одним из моих друзей, а также друзей Прудона. Он Вам сообщит последние новости об этом великом реформаторе, к сожалению, теперь еще более буржуазном, чем когда-либо прежде.

¹⁾ Один из сотрудников «Neue Rheinische Zeitung», действительно, не отличаясь большим прилежанием и стойкостью. В конце пятидесятых годов он уже порывает связи со своими старыми товарищами и возвращается в лагерь «слабых».

Маркс уже знал в это время о сближении Сазонова с Гессом. Кроме того, Дронке, не поладивший с Сазоновым¹⁾, успел написать Марксу, что в швейцарских эмигрантских кругах к «русскому социалисту» относятся с недоверием, так как он играет двусмысленную роль, и что даже Фраполли разошелся с ним. Сазонову, как и Бакунину, пришлось расплачиваться за подвиги русских агентов, о которых мы расскажем ниже. Маркс поэтому отнесся к письму Сазонова несколько скептически, тем более, что как раз в это время произведены были массовые аресты среди немецких эмигрантов в Париже. В своем письме к Энгельсу он выражает даже удивление по поводу неожиданного появления Сазонова в Париже. Но это непонятное для Маркса обстоятельство было скоро вполне разъяснено, и в другом письме он уже сам старается разъяснить Энгельсу несостоятельность его подозрений против Сазонова. Дальнейшие фантастические сообщения и похождения Дронке показали, как осторожно надо было относиться к его первому письму о Сазонове.

V

Вероятно, после государственного переворота 2 декабря 1851 года Сазонову пришлось оставить Париж. Ему и на этот раз не удалось уехать в Лондон, и он опять направился в Женеву. Сколько времени пробыл он в Швейцарии, трудно сказать. В «Славянских письмах» Островского²⁾ напечатано письмо его, помеченное 29 ноября 1853 года, но без указания места. В этом письме он горячо протестует против попытки отождествить его и его единомышленников с русским правительством.

«Как и вы, — пишет он между прочим, — мы также христиане: эта религия, в которой нас воспитали наши матери, научила нас практике христианской свободы».

Является ли эта фраза просто литературной *façon de parler* или отражением мимолетного настроения?

Мы знаем только, что материальное положение Сазонова в это время было ужасно³⁾. Лишенный, согласно приговору сената,

¹⁾ Дело чуть не дошло до дуэли.

²⁾ *Christian Ostrowski, Lettres slaves (1833 — 1857). Paris, 1857.*

³⁾ Покойный Лафарг, со слов сына Сазонова, офицера французской армии рассказывал, что Сазонов одно время буквально голодал. На такую же острую пужу указывают его письма к Гессу.

прав состояния 14 декабря 1850 года, он, вероятно, перестал получать всякие денежные средства из России. С Герценом он разошелся в 1852 году. «Между нами пробежала кошка, — говорит Герцен: — Сазонов неоткровенно поступил со мной в одном деле, очень дорого мне. Я не мог перешагнуть через это». Речь идет о трагической истории жены Герцена, пережившей тогда увлечение Гервегом. Вернувшись, разочарованная и душевно разбитая, жена Герцена умерла в мае 1852 г. Перенесший незадолго до этого смерть матери и горячо любимого сына, потонувших 16 ноября 1851 года, Герцен на время потерял душевное равновесие и не в состоянии был хладнокровно относиться ко всякой попытке так или иначе смягчить вину Гервега или оправдать его поступок. Из следующего письма Герцена к Гессу видно, что именно послужило причиной расхождения между ним и Сазоновым¹⁾, которому приходилось выбирать между двумя старыми друзьями.

29 мая 1854 года. London, 25, Eulton Square.

«Мой дорогой Гесс!

«Благодарю Вас за Ваше письмо. Оно показывает, что Вы питаете ко мне большое доверие и даже большую уверенность в доброту моего сердца, чем я, к сожалению, не могу похвастаться.

«Было бы слишком долго и еще более неприятно для меня рассказывать Вам в деталях, как и почему я разошелся с Сазоновым. Я абсолютно ничего не могу сказать против него с общей точки зрения. Он ранил во мне не человека, не честь мою, а чувство дружбы. В той страшной истории, которая едва не погубила всю мою семью и оставила после себя раны, не зажившие еще до сих пор, он ровно ничего не повредил сердцем.

«Презренный человек, на которого я указал Сазонову, как на труса и клеветника, писал, — и я читал это своими собственными глазами, — что Сазонов — единственный человек, который понял эту историю.

«Оставаться в близких отношениях с человеком, заслужившим эту похвалу, было для меня немыслимо тем более, что в письмах ко мне я видел очень хорошо, как поверхностно Сазо-

¹⁾ Письмо это найдено мною в переписке Гесса вместе с письмами Сазонова. Она принадлежит теперь архиву помощкой социал-демократической партии.

нов отнесся к истории, где речь шла о жизни и смерти, чести или позоре, оправдании или осуждении женщины.

«Она умерла. Я написал Сазонову: «между нами гроб»—и просил его оставить меня в покое.

«С тех пор я имел случай оказать ему очень большую услугу. Враги его распространили о нем в Лондоне очень дурные слухи. Я заставил их замолчать¹⁾).

«Что касается финапсовой стороны вопроса, то я думаю, что она должна быть покончена вместе с другими отношениями. Я никогда не брал на себя обязанности быть поставщиком своих друзей, и тем более странно было бы это при наших отношениях.

«Господин Сазонов тратит много, работает мало. Он мне должен около 6 000 франков. Да маленькая сумма вряд ли ему поможет. И, конечно, если бы он пуждался в таковой, то Вы, при ваших средствах, не оставили бы его без помощи.

«Я, между прочим, веду здесь очень активную жизнь. Я организовал русскую типографию, издал четыре брошюры и целый том, я работал в газетах и думаю, что все это было не без пользы. Но это потребовало от меня больших расходов, так как типография от матриц до рабочих содержится за мой счет.

«Головин—а он, наверное, не талантливее Сазонова—продал здесь в течение последнего года на 4 000 франков различных статей и манускриптов.

«Почему Вы сами не постараетесь найти какую-нибудь работу для Сазонова?

«Мне помнится, Вы мне еще в Ниццу писали, что Вы должны мне маленькую сумму и предложили даже выдать на Вас вексель. Я предоставляю эти деньги в Ваше полное распоряжение—с условием, чтобы Вы не упоминали обо мне. Вообще, дорогой гражданин, это письмо предназначается только для Вас.

Весь ваш Герцен».

Явные намеки в этом письме на «средства» Гесса, который якобы не желает помочь Сазонову, безусловно несправедливы. Сын очень состоятельных родителей, Гесс давно порвал с ними

¹⁾ В своих воспоминаниях о Сазонове Герцен не упоминает об этом эпизоде. Речь идет, вероятно, о полемике в «Morning Advertiser», где Герцен защищал—якобы против Карла Маркса, на самом же деле против Френсиса Маркса—Бакунина и других русских революционеров.

и перебивался журнальной работой. Все, что было в его силах, он уже для Сазонова сделал, и это подтверждается письмами последнего. Не подлежит никакому сомнению, что он писал Герцену без ведома Сазонова. Возможно, что он сообщил Сазонову о новом предприятии Герцена и об основании русской типографии в Лондоне. Но узнал ли Сазонов об этом другим путем, так или иначе, между Герценом и им произошло примирение, и с 1854 года начинается сотрудничество Сазонова в «Вольной русской книгопечатне».

Началась крымская война. Кроме Энгельсона, Герцен не имел никаких сотрудников, и помощь Сазонова могла быть ему только желательной. Первым опытом явилась прокламация: «Родной голос на чужбине. Русским пленным во Франции», датированная 12/24 октября 1854 года. Она несколько более удачна, чем прокламация Энгельсона с их подделкой под народную речь, хотя и снабжена религиозными иллюстрациями, производящими иногда очень странное впечатление в устах «вольтерьянца».

Сазонов обращается к офицерам и солдатам бомарзундского гарнизона, попавшим после сдачи Бомарзунда во Францию. Тоскующим и скучающим по родине пленникам он рисует контраст между «вольной Францией» и рабской Россией и рассказывает, как в 1789 году французы добились воли для крестьян и отмены палки для солдат. Он объясняет дальше, почему во Франции так сильны симпатии к полякам. «Свергнуть иго немецкого правительства», дать всем крестьянам вольность и землю и восстановить независимость поляков—вот, по его мнению, главные задачи, которые стоят перед русскими¹⁾.

Но участие Сазонова в изданиях Герцена не ограничилось только этой прокламацией. Уже в первой книжке «Полярной звезды» Искандер сообщает читателям, что «вам обещана статья: «О месте России на всемирной выставке»; зная автора, мы ждем ее с нетерпением»²⁾. Статья эта была напечатана во второй книжке. Сказав несколько слов о русской промышленности и месте, занимаемом ею в Европе, Сазонов набрасывает затем крупными

1) Один из пленных бомарзундских офицеров И. Г. Жуков был после деятельным членом «Земля и Воля» и поплатился многолетней каторгой. Умер 30 сентября 1911 г.

2) «Полярная звезда», том I, стр. 282.

штрихами картину исторического развития России и характеризует ее положение и роль в общем концерте всемирной цивилизации.

Современное западно-европейское общество может быть, по его мнению, характеризовано как деспотизм безответственной собственности, ограниченный лотереей. Другая черта, отличающая западную цивилизацию, это—самодовольство. Буржуазия создала по образу и подобию своему прессу, по наружности—свободную, но на самом деле—порабощенную несколько не менее, чем в государствах деспотических, и, наконец, образовала так называемое *общественное мнение*, которое прямо или ковенно, но вполне завсигт от правительства и от капиталистов. Униженнее и подлее общественного мнения в буржуазной Европе не существовало никогда ничего в мире.

Россия в области цивилизации несколько не разнится от Западной Европы и отстала в промышленности только потому, что промышленность теперь находится в эпохе буржуазной, а в России буржуазии нет. Главными причинами этого являются прежде всего иное устройство собственности и другие понятия о справедливости. Господство общинной собственности мешало западной юриспруденции пустить у нас корни. А без этой юриспруденции буржуазия нигде существовать не может. У нас этого ничего нет, да и быть не может, следовательно, и промышленность в современном ее развитии сделается для нас только тогда доступной, когда выйдет из буржуазной опеки.

После этих далеко не марксистских рассуждений Сазонов набрасывает очерк развития русской цивилизации. Господствующий ее характер—последовательность, разумная и страстная разом, в которой общественный фатализм участвовал столько же, как и личная свобода. Татарское нашествие разрывает связь русской истории с общеславянской, но в истории Москвы особенно ярко проявляется «характеристическая черта русского национального характера—упругость, которую можно сравнить с геройским постоянством европейского племени». Большую роль, по его мнению, в деле сохранения «национального лица» сыграла славянская библия, которая «была залогом нашей народности». Наряду с *упругостью* Сазонов называет разумность, т. е. преобладание во всех важных случаях народной жизни рассуждения над увлечением, расчета над страстью. Эту разумность, доходящую иногда

до геройства, иногда до цинической расчетливости, он видит во всей политике Москвы и в том, что Россия выбрала себе учителем не Францию, не Англию, а Голландию.

Но за разумностью следует еще качество, на первый взгляд ей противоположное, «нестойкость», которое, в отличие от Чаадаева, «человека необыкновенно умного, но считавшего пороком то, что мы считаем добродетелью», Сазонов считает силой России, обеспечившей для нее возможность самобытной деятельности, которая исчезла бы, если бы мы усвоили себе ту или другую систему преданий из существовавших на Западе в XVII столетии, т. е. подчинились бы католическому единству или присоединились бы к протестантизму.

Из этой «движимости» русского характера в новое время вытекает другое свойство, с ней сродное, именно: возможность, желание и талант над собой самими смеяться. Вместо западного самодовольства в России господствует самоосмеяние. В виде примера Сазонов приводит: «Недоросля» Фонвизина, «Ябеду» Канниста, «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизора» Гоголя, «Свои люди—сочтемся» Островского.

Но почему же соединение таких основательных и блестящих свойств не породило оригинальных, деятельных личностей и той умственной производительности, которая могла бы завоевать себе место в истории развития европейского человечества?

На этот вопрос Сазонов отвечает, что в замечательных личностях недостатка в России нет, но они или находятся в сфере официальной и поглощены там огромностью однообразия и немощью правительственного аппарата, или проявляют дух, неприязненный правительству, и гибнут, не развившись. Остаются одни только литературные личности, которые могут в известной степени достигать и действительно достигают иногда полного расцвета—Пушкин, Лермонтов, Гоголь.

Сазонов указывает и на другие причины, мешающие развитию замечательных личностей. Между прочим, он объясняет, почему «любовь занимает в жизни русских людей место, несравненно важнейшее и обширнейшее, нежели на Западе». «Там, вследствие долгого и многообразного исторического развития, она принимает вообще ход правильный, наперед предвидимый и как будто размеренный, ограничивает свое влияние одной молодостью и превращается почти в любезную болтовню. У нас силы души, не

поглощенные или страстною деятельностью партий, или даже чувством долга и необходимостью труда, предаются с полным самозабвением любви, увлекаясь потоком того, что называют русской праздностью и русской ленью. Сколько прекрасных, сколько замечательных личностей гибнут в бурях страсти, навсегда теряя силу участия в какой бы то ни было деятельности, проводя жизнь в безвыходном унынии или предаваясь беспрестанно новой и веч-но обманутой надежде отыскать однажды пригрезившийся им идеал» ¹⁾.

Что Россия все же в состоянии «рождать» замечательных людей, показывает пример Чаадаева, и Сазонов дает подробную характеристику этого западника. Копчается статья следующим прогнозом:

«Все, что я говорю о России и русских, можно, пожалуй, назвать панегириком или, по крайней мере, апологией. Но я сначала объявил, что не имею сатирического расположения. Дело не в названии. Есть ли в моей апологии истина? Вот вопрос, а в том, что я от истины не отступил, убеждает моя научная совесть.

«Мне также было бы неприятно, если бы приняли за намеренную сатиру описания некоторых частности западного развития, которыми моя статья начинается. Я несколько не принадлежу к ненавистникам европейского Запада. Живши долго в разных странах его, я свыкся с его нравами, уважаю и люблю великие национальности, его составляющие, особенно Францию, которую я считаю вторым отечеством.

«Франции я повторил в новом виде те укоры, которые она слышала от любимых сынов своих; но от укоров далеко до проклятия или до приговора. Приговора я не произнесу не только Франции, матери революций, в будущем которой я уверен, но даже и Англии, эгоистической, но трудолюбивой, и Германии, тяжелой на подъем, но глубокой и решительной в убеждениях.

«Западу предстоит обновление так же, как и нам самим. Перерожденная Россия займет свое место в Европе образованной, и тогда примиренные народные массы не будут упрекать одна другую так, как упрекают теперь друг друга привилегированные классы различных наций. Западные европейцы перестанут счи-

¹⁾ Ср. Милуков, *II*, Любовь и идеалисты тридцатых годов. В сборнике «Из истории русской интеллигенции». Спб. 1903.

тать освобожденных русских варварами, а мы не будем более мечтать о скорой гибели гниющего Запада и о всемирном господстве славянского племени.

«Для всех племен, для всех идей и для всякого труда есть на земле место. Соединим наши усилия для того, чтобы не было нигде притона, пристанища для рабства, для невежества и для лжи».

Заключение статьи звучит как скрытая полемика против Герцена, окончательно разочаровавшегося в «старом мире». Оно указывает, что между Сазоновым и Герценом продолжали существовать значительные принципиальные разногласия, и что в споре между «лишними людьми» и «желчевиками» первый скорее принял бы сторону Чернышевского, который, несмотря на свое признание спасительной роли русской общины, резко восставал против всех мечтавших «о скорой гибели гниющего Запада» и в статье «О причинах падения Рима» подверг взгляды Герцена беспощадной критике. В отличие от Герцена Сазонов, вместе с ним пережившей годы реакции после 1848 года, не изверился в способности Запада справиться самостоятельно со всеми «проклятыми вопросами», которые ставились на очередь процессом общественной эволюции.

Возникли ли на этой почве опять какие-нибудь разногласия между Герценом и Сазоновым, убедился ли последний, все еще тесно связанный с «марксидами»¹⁾, что он не может работать вместе с Герценом, — мы не знаем, но статья, которую мы только что изложили, является последней статьей Сазонова, напечатанной в издании «Вольной русской книгопечатни». На этот раз они разошлись навсегда.

Вообще с 1854 года Сазонов опять начинает более усердно заниматься литературной деятельностью. Вероятно, обострение отношений между Францией и Россией дало ему возможность вернуться в Париж. Он издает анонимную книгу, посвященную Николаю:

1) В бумагах Маркса мы нашли принадлежащий Сазонову немецкий перевод известного стихотворения «Русский бог», напечатанного во второй книжке «Полярной Звезды». Но третья строфа не сходится с оригиналом даже в другом известном варианте этого стихотворения (см. *Вяземский П.*, Полное собрание сочинений, том III, стр. 451). Вместо «Бог пришельцев, проземцев, перешедших наш порог, бог в осбенности немцев» сказано в обратном переводе на русский: «Бог бездомных, бог бродяг, осаждающих наш порог, бог всех выброшенных на чужбину». Сделано ли это смягчение, чтобы пощадить «пемецкий патриотизм» Маркса, или существовал еще третий вариант, нам не известный?

«Правда об императоре Николае», которая очень выгодно отличается от наполнявших тогда книжный рынок сочинений о России¹⁾. Параллель между грозным вершителем судеб Европы и Хлестаковым проведена не без таланта и оригинальности.

В 1855 году Сазонов становится одним из редакторов лучшего тогда критического обозрения «L'Athenaeum Français», ставившего себе те же задачи, что английский «Athenaeum»²⁾. Он пишет, между прочим, о «русских и немецких народных сказках», о «чешской литературе», о «русских патронимических именах» и т. д. и помещает там множество критических статей, подписанных то собственным именем, то псевдонимом К. Штахеля (K. Stachel).

С прекращением этого журнала мы опять теряем Сазонова из виду. Мы знаем только, что в 1858 году он хлопотал о возвращении в Россию. Вероятно, это разрешение было ему выдано на таких условиях, что он предпочел не воспользоваться «милостью». Коммунист для Западной Европы, крайний «западник», Сазонов к этому времени превратился в убежденного «конституционалиста» для России. Он становится «реальным политиком» и сближается с либеральными элементами русского дворянства в Париже. В 1859 году он является уже главным редактором международного обозрения, выходившего на французском языке, — «La Gazette du Nord», — ставившего себе целью знакомить европейцев с жизнью северо-европейских стран (России и Скандинавии). Издателем журнала является некий Gabriel de Rumine (Гавриил Рюмин).

Сазонов напечатал в этом журнале ряд статей об освобождении крестьян, в которых он подчеркивает необходимость для России набежать «пролетариата, этой зпяющей язвы современных обществ», и доказывает, что если «нам удастся организовать свободный народ, среди которого не будет пролетариев, то нам будут прощены все наши грехи»³⁾. Он посвящает также подробную

1) «La vérité sur l'empereur Nicolas. Histoire intime de sa vie et de son règne par un russe». Paris, 1854. Ее упоминает проф. Е. Тарле в статье «Самодержавие Николая I и французское общественное мнение»; «Былое», 1906 г., октябрь, стр. 155—156. Но авторство Сазонова, на которое указывает в своих «Lettres slaves» Островский, осталось ему неизвестным. См. также Бурцев, В., За сто лет. Второй отдел, стр. 37.

2) «L'Athenaeum Français, Revue universelle de la science et des beaux arts». Последний номер вышел 26 июня 1855 года.

3) «Gazette du Nord», 1859 год, 3, 10 и 17 декабря; 1860 год, 7, 21 и 28 января, 18 февраля, 3 марта.

статью положению евреев в России и высказывается за полное равноправие их ¹⁾. Кроме того, он написал несколько статей, в которых знакомил иностранцев с русской литературой, в том числе очень интересную статью о Герцене, цитированную нами выше.

В этом журнале, в корреспонденции из Петербурга от 25 апреля 1860 года, мы встречаем совершенно неожиданно имя Маркса ²⁾. Говоря о лекциях Молиари, петербургский корреспондент замечает:

«Вряд ли этот брюссельский писатель сам считает себя очень сильным в области политической экономии, науки, которая насчитывает теперь среди своих представителей таких оригинальных исследователей, как Карл Маркс, Стюарт Милль, Кэри, Прудон и другие».

Мы видим, что «Критика политической экономии» имела уже читателей в России через несколько месяцев после ее появления.

Несмотря на связи Рюмина ³⁾, несмотря на то, что в журнале подчеркнута была «великодушная инициатива» нового русского «Галилеянина», старому революционеру пришлось наткнуться на очень неприятное отношение к нему некоторых «русских аристократов», за которыми стояло русское посольство. Сазонов не прерывал сношений с европейской эмиграцией и, вместе с «марксидами» — Кугельманом, Гессом, Шили — организовал, между прочим, празднество по поводу столетия со дня рождения Шиллера ⁴⁾. Участие Сазонова в вечере, устроенном русской колонией, вызвало скандал. В написанной по этому поводу статье Сазонов доказывает, что он предпочитает Александра II Иоанну Грозному, и что если это значит быть революционером, то он действительно революционер. Действовали ли тут какие-нибудь посторонние влияния, напугавшие Рюмина, или нет, но журнал прекратился уже к 1860 году.

К этому времени, относится последнее известное нам письмо Сазонова к Марксу. В 1859 году известный натуралист Карл Фогт выступил против «марксидов» и в особенности против их шефа

1) «Gazette du Nord», 1860 год, 7 апреля.

2) «Gazette du Nord», 1860 год, 5 мая.

3) В журнале принимал участие и Жеребцов, которому Добролюбов посвятил свою известную статью («Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым»).

4) «Gazette du Nord», 1859 год, 12 и 19 ноября.

Карла Маркса с целым рядом обвинений, гнусность которых могла конкурировать только с их нелепостью. Маркс ответил блестящим памфлетом «Господин Фогт», где доказал всю ничтожность обвинений взбеленившегося профессора и его тесные связи с Наполеоном. Именно в этом памфлете мы находим письмо не названного Марксом «известного русского писателя»¹⁾:

«Мой дорогой Маркс!

«С крайним негодованием узнал я о клеветах, распространяемых на Ваш счет и опубликованных в статье Эдуарда Симона в «Revue Contemporaine». Что меня в особенности удивило, так это то, что Фогт, которого я не считал ни дураком, ни негодяем, в состоянии был так низко пасть, как это свидетельствует его брошюра. Мне не нужно было никаких доказательств, чтобы быть уверенным, что Вы неспособны на низкие и грязные интриги, и мне было тем более неприятно читать все эти инсинуации, что как раз в то время, когда их печатали. Вы дали ученому миру первую часть прекрасного труда, который должен формировать экономическую науку и поставить ее на новые и более солидные основы...

«Мой дорогой Маркс, не обращайтесь внимания на все эти низости; все серьезные и честные люди за Вас, но они ждут от Вас чего-нибудь другого, чем эта бесплодная полемика: им хотелось бы иметь поскорее окончание Вашего прекрасного труда. Ваш успех колоссален среди мыслящих людей, и если Вам приятно будет узнать, какое впечатление произвели Ваши доктрины в России, то я скажу Вам, что в начале этого года профессор... читал в Москве публичный курс по политической экономии, и первая лекция его была парафразом Вашего последнего труда²⁾. Вместе с этим письмом я посылаю Вам номер «Gazette du Nord», из которого Вы можете видеть, с каким уважением относятся к Вам в моей стране³⁾. Прощайте, дорогой Маркс, берегите свое здоровье и работайте, как и прежде, для просвещения мира, не обращая внимания на мелкие глупости и мелкие мерзости. Верьте дружбе преданного Вам...»

1) *Karl Marx*, Herr Vogt. London, 1860, p. 8—9. К сожалению, нам не удалось найти в бумагах Маркса оригинал этого письма, но все его содержание показывает, что автором его является Сазонов.

2) Мне не удалось проверить это показание.

3) Сазонов говорит о выше цитированной корреспонденции из Петербурга.

В 1860 или 1861 году Сазонов опять покидает Париж, на этот раз навсегда. Он переехал в Женеву, откуда, как раньше из Парижа, он корреспондировал также в русские журналы. Статьи его под именем Штахеля печатались в «Отечественных записках» и «Петербургских ведомостях». Известный библиограф Гейнади упоминает также о корреспонденциях, которые Сазонов писал в «Наше время» под именем Феопотала¹⁾.

В Женеве Сазонов опять сблизился с Иоганном-Филиппом Беккером. В бумагах этого заслуженного ветерана европейской революции, которому пришлось еще двадцать лет спустя в той же самой Женеве познакомиться с основателями русской социал-демократии, я нашел записку, составленную Сазоновым (в апреле 1862 года), по всей вероятности, для его немецких друзей. Она должна была выяснить значение крестьянской реформы и роль «интеллигенции», для которой Сазонов нашел подходящее имя в словаре XVIII века.

«В последнее время,—пишет Сазонов,—в России замечается моральное и материальное движение, достойное внимания всякого серьезного наблюдателя. Освобождение крестьян, которое давно уже подготовлялось и требовалось общественным мнением, но задерживалось вследствие нелепого упрямства... в настоящее время представляет совершившийся факт. Это—полный экономический переворот в самых основах русского общества. До настоящего времени одна половина земельной площади принадлежала государству, а другая,—сотне тысяч дворянских семейств. Начиная со следующего года, 40 000 000 собственников будут делить эту собственность с государством и дворянами. Вся всемирная история не знает другого примера такой колоссальной экономической революции. 1789 год оставлен совершенно в тени.

«Вполне понятно, что она повлечет за собой самые серьезные последствия, ибо история учит нас, что экономические изменения необходимо сопровождаются изменениями политическими и социальными.

«Русское дворянство в последних своих собраниях в губерниях Тверской, Московской, Петербургской проделало свою почу

¹⁾ Гейнади, Г., Краткие сведения о русских писателях и ученых, умерших в 1860—1862 годах. «Русский архив», 1864 год, стр. 1099.

4 августа и потребовало отмены всех классовых привилегий и созыва национального правительства, избранного всей нацией.

«В России образовалась группа людей, число которых растет с каждым днем. Ни по своим интересам, ни по своим убеждениям они не принадлежат к определенному классу и скорее представляют и защищают со страстью и энтузиазмом общие тенденции современной цивилизации. Это то, что во Франции в XVIII веке называли *die Aufklärungspartie* (партией просвещения) и что теперь существует только в России.

«Будущее этой страны отныне может считаться завоеванным для прогресса, и этот прогресс ляжет огромным весом на весы судеб человечества. Можно опасаться только, чтобы будущее, о котором мы говорим, не было скомпрометировано, с одной стороны, невежеством народных масс, а с другой—легкомыслием и утопическими тенденциями дворян. Во всяком случае, раньше или позже свобода, если только ее сумеют сохранить, восстановит равновесие».

Записка эта является духовным завещанием талантливого неудачника, одного из оригинальнейших представителей русской интеллигенции. В том же 1862 году, 5 ноября, Сазонов умер.

VI

Переходим теперь к другому «русскому аристократу», на этот раз совершенно иного калибра. В русской колонии Парижа были уже и тогда самые разнообразные элементы. Бок о бок с людьми, хотя и безалаберно подчас, но искренно искавшими ответа на всякие «проклятые вопросы», мы находим Репетиловых и Загорецких, встречаем также всякого рода «сотрудников» и «осветителей».

«Не должно думать,—пишет Анненков,—чтобы эта азартная игра со всем содержанием Парижа велась только людьми, литературно и политически развитыми: к ней примешивались часто и такие особы, которые имели совсем иные цели в жизни,—не культурные. Так, по дороге в Европу я получил рекомендательное письмо к известному Марксу от нашего степного помещика, также известного в своем кругу за отличного певца цыганских песен, ловкого игрока и опытного охотника. Он находился, как оказалось, в самых дружеских отношениях с учителем Лассала и будущим главой интернационального общества; он уверял Марк-

са, что, предавшись душой и телом его лучезарной проповеди и делу водворения экономического порядка (sic!) в Европе, он едет обратно в Россию с намерением продать все свое имущество и бросить себя и весь свой капитал в жерло предстоящей революции. Далее этого увлечение пойти не могло, но я убежден, что, когда лихой помещик давал все эти обещания, он был в ту минуту искренен. Возвратившись же на родину, сперва в свои имения, а затем в Москву, он забыл и думать о горячих словах, прозвучавших некогда так эффектно перед изумленным Марксом, и умер не так давно престарелым, но еще пылким холостяком в Москве. Не мудрено однако же, что после подобных проделок как у самого Маркса, так и у многих других сложилось и долгое время длилось убеждение, что на всякого русского, к ним приходящего, прежде всего должно смотреть как на подосланного шпиона или как на бессовестного обманщика. А дело, между тем, гораздо проще объясняется, хотя от этого и не становится певнинее!»¹⁾

Вот все, что сообщает нам Анненков о «лихом помещике», который так ловко надул доверчивого Маркса. Из всего этого повествования явствует, что, если Анненков и воспользовался рекомендательным письмом пылкого прозелита «будущего главы интернационального общества», то он все же и тогда уже очень хорошо знал, с кем имеет дело.

Конечно, воспоминания Анненкова писаны были чуть ли не тридцать лет спустя после описываемых событий, и неудивительно, что он мог легко спутать и лица, и имена.

Но уже в самом рассказе чувствуется какой-то странный скачок от «лихого помещика» к «подосланным шпионам» или «бессовестным обманщикам». И возникает вопрос, не был ли этот «лихой помещик» в «близких дружеских отношениях» и с самим Анненковым? А если это действительно так, то чем объясняется тенденция Анненкова валить с большой головы на здоровую? Кое-какой свет на этот вопрос бросает то самое письмо, которое обеспечило Анненкову хороший прием у «учителя Лассалья». Я нашел его совершенно случайно в бумагах Маркса. Оно написано по-французски, и я даю его в русском переводе.

¹⁾ Анненков, Н. В., Литературные воспоминания и критические статьи Спб., 1881 год, стр. 155—156.

«Мой дорогой друг.

«Я рекомендую Вам г-на Анпенкова. Это—человек, который должен понравиться Вам во всех отношениях. Его достаточно увидеть, чтобы полюбить («il suffit de le voir pour l'aimer»).

«Он Вам сообщит новости обо мне. Я не имею теперь возможности высказать Вам все, что я хотел бы, так как через несколько минут я уезжаю в Петербург.

«Будьте уверены, что дружба, которую я питаю к Вам, вполне искренняя. Прощайте, не забывайте Вашего истинного друга

Толстого».

На письме нет ни даты, ни адреса. Но оно, несомненно, писано в начале 1846 года. В ноябре 1845 года Анненков, как это видно из его письма к Герцену, был еще в Петербурге, хотя уже собирался в Париж¹⁾. А он сам рассказывает, что письмо получил по дороге в Европу.

Встретился ли он с Толстым в Берлине или в другом германском городе, теперь нет никакой возможности установить. Но из текста письма, во всяком случае, видно, какие нежные чувства питал к Анненкову наш «лихой помещик», alias Толстой.

Кто же был этот загадочный Толстой, для которого Анненков не считал нужным назвать, хотя он уже был тогда покойником?

Не подлежит никакому сомнению, что это—тот самый Толстой, о котором Маркс пишет из Брюсселя Гервегу в письме от 26 октября 1847 года²⁾:

«Я хотел тебя еще просить, не можешь ли ты узнать у Бакунина, каким путем, каким образом и каким опособом я могу доставить письмо Толстому?»

Издатель писем к Гервегу, со свойственной ему скоропалательностью, указывает в примечании, что это «граф Лев Толстой—известный русский романист». Но автору «Войны и мира» было тогда едва 17 лет, и он находился в это время в Казани. В 1847 году он «по расстроенному здоровью» оставил университет и переехал в Ясную Поляну, где и пробыл до 1851 года. За границу он в первый раз выехал в 1857 году.

1) «Из переписки выдающихся деятелей», «Русская мысль», 1892 год, июль, стр. 100.

2) «Briefe von und an Georg Herwegh. Herausgegeben von Marcel Herwegh». München, 1896, p. 89.

Из писем Маркса вытекает, что с этим Толстым связан был тесно Бакунин. Мы имеем еще одно показание, где оба эти имени называются вместе. Карл Грюн, один из главных представителей немецкого «истинного социализма», сейчас же после смерти Бакунина опубликовал свои воспоминания о нем.

«Мы встречались,—пишет он,—не особенно часто. Это объяснялось преимущественно тем, что мы вели прямо противоположный образ жизни. Бакунин и другие русские, из которых я помню еще только какого-то графа Толстого, в сущности, ничем не занимались, кроме чтения газет.

«Они обращали ночь в день и день в ночь и вставали обыкновенно не раньше 12 часов, а обедали только в шесть. Пробыв в кафе до 3, 4 или 5 часов утра, они отправлялись на покой, чтобы на другой день вновь начать эту адскую жизнь»¹⁾.

Неттлау, биограф Бакунина, с своей стороны думает, что это—граф Д. Толстой, бывший от 1866 до 1880 года министром народного просвещения и от 1882 до 1889 года министром внутренних дел. Но и это предположение не выдерживает критики. Будущий министр родился в 1823 году и в 1843 году, по окончании курса в царскосельском лицее, поступил на службу в канцелярию императрицы.

Неттлау ссылается на заметку в «Колоколе» по поводу назначения Д. Толстого министром народного просвещения, в которой якобы сказано, что он был учеником Бакунина. Но Неттлау не понял русского текста. Заметка Герцена озаглавлена «Катков и государь». В ней имеется следующий апостроф по адресу Толстого: «Граф Толстой, Вы эксперт и знаток по этой части, это Ваша специальность... Как Вы насчет искренности обращения старого гегелиста, старого шеллингиста, расцветшего в зловредном обществе Белинского и Бакунина?»²⁾ Ясно, что речь идет именно о Каткове, а не о Толстом, как ученике Белинского и Бакунина. Если у Анненкова могли быть какие-нибудь основания не называть своего старого друга, рекомендовавшего его Марксу в таких восторженных выражениях, то ни Герцену, ни Бакунину не приходилось церемониться с графом Толстым. А, между тем, они нигде не упоминают о его причастности к их старому кружку.

¹⁾ *Karl Grün, Michail Bakunin. «Die Wage». 18 August 1876, p. 498.*

²⁾ «Колокол», № 225, 1 августа 1866 года, стр. 141.

Но был еще один граф А. Толстой, он тоже занимал после крупный административный пост. «Проезжая через Париж в 1846 году,—пишет Анненков в своих воспоминаниях о Гоголе,— я случайно узнал о прибытии туда же Николая Васильевича, остановившегося, вместе с семейством гр. Толстого (впоследствии обер-прокурора синода), в отеле улицы de la Paix»¹⁾.

Этот Толстой обер-прокурорствовал от 1852 до 1862 года. Но и он не мог быть нашим Толстым. В начале сороковых годов это был вполне сложившийся человек, крайний аскет, один из трех главных адресатов в переписке Гоголя с друзьями, видевший вещи «не с европейской заносчивой высоты, а прямо с русской здоровой середины»²⁾.

Итак, ни Лев Толстой, ни Д. Толстой, ни А. Толстой не могли писать вышеприведенное письмо Марксу. Этим Толстым, по нашему предположению, мог быть только другой член тогдашней русской колонии Парижа—Яков Николаевич Толстой, друг Пушкина и Грибоедова, один из первых русских революционеров и эмигрантов, а затем один из первых русских... ренегатов и шпионов, предшественник Рачковского и Гартинга на дипломатическо-полицейской службе в Париже.

Старший из трех сыновей богатого тверского помещика Осташковского уезда, предводителя дворянства, Яков Николаевич Толстой родился в 1791 году³⁾. Воспитывался он в пажеском корпусе. Пробыв короткое время на военной службе, он вышел в отставку, но, с началом отечественной войны, опять вступил в ряды армии и принял участие в походах 1812—1814 годов. В 1817 году он был назначен старшим адъютантом к А. А. Закревскому, тогда дежурному генералу главного штаба, а после прославившемуся на посту московского генерал-губернатора своей энергичной борьбой с язвой просвещения и вольномыслия.

Вероятно, уже в 1818 году Толстой сделался членом «Союза Благочестия» и принимал деятельное участие в организованном членами этого союза обществе «Зеленой Лампы». Одно время он

¹⁾ Анненков, П. В., Литературные воспоминания. Спб. 1909 год, стр. 66. или «Воспоминания и критические очерки». Том I, 1877 год, стр. 236.

²⁾ Шенрок, В. И., Материалы для биографии Гоголя. Том IV. Москва, 1897, стр. 308, 457, 570, 596—611.

³⁾ Модзалевский, Б., Я. Н. Толстой. «Русская Старина», 1899 год, сентябрь, стр. 587—614, и октябрь, стр. 175—190.

даже был его президентом. В кружке, собиравшемся у его основателя, Никиты Всеволожского, а после и у Толстого, мы встречаем Каверина, Трубецкого, Улыбышева, Энгельгардта, по другим известиям—и Гнедича. Одним из самых прилежных членов его был Пушкин, который именно тогда близко сошелся с Толстым. За бутылкой вина и вперемежку с рассказами о различных похождениях молодые люди занимались и более серьезным делом. Дебатировали вопросы дня, обменивались мыслями, делились плодами чтения. Это был, как вспоминал после в одном из своих посланий Толстому Пушкин,

...Приют гостеприимный:
 Приют любви и вольных муз,
 Где с кими клятвою взаимной
 Скрепили вечный, мы союз;
 Где дружбы знали мы блаженство,
 Где в колпаке за круглый стол
 Садилось милое равенство;
 Где своеравный пропевод
 Менял бутылки, разговоры,
 Рассказы, песни шалуна,
 И разгорались наши споры
 От искр, и шуток, и вина...

«Наиболее ясный намек на оппозиционный элемент в собраниях «Зеленой Лампы» (хотя и не упоминая о ней),—по мнению г. В. Семевского¹⁾,—Пушкин делает в послании к одному из его товарищей по этому кружку—В. В. Энгельгардту; в конце послания (1819 года) Пушкин говорит:

С тобою пить мы будем снова.
 Открытым сердцем говоря
 Насчет глупца, вельможи влого,
 Насчет холопа залесного,
 Насчет небесного царя,
 А иногда насчет земного.

Полиция напала на след этого тайного общества после истории в Семеновском полку. Но оно уже начало распадаться в 1819 году. «Минутные друзья минутной молодости» разбрелись в разные стороны. 24 октября 1819 года Пушкин писал П. Б. Маисурову:

¹⁾ Семевский, В. И., Политические и общественные идеи декабристов. Спб., 1909 год, стр. 437—438.

«Tolstoy болен... «Зеленая Лампа» пагорела, кажется, гаснет, а жаль: масло есть... Но говори мне о себе, о военных поселениях,—это все мне нужно, потому что я люблю тебя и ненавижу деспотизм»¹⁾).

Толстой скоро углубился в научные занятия и начал штудировать философию. На это намекают и обращенные к нему «Стансы» Пушкина:

Философ раяннѣ, ты бежишь
 Пиров и пастыженнѣй жизни,
 На игры младости глядишь
 С молчаньемъ хладной укоризны.
 Ты милѣе забавы света
 На грусть и скуку променял
 И въ лампаду Эвдикета —
 Златой горюшкѣ фнал.
 Поверь, мой друг: она придет,
 Пора унылыхъ сожалѣній,
 Холодной истинны, забот
 И бесполезныхъ размышленій.
 Зевес, базуя смертныхъ чад,
 Всемъ возрастамъ даетъ игрушки;
 Надъ сединами не грематъ
 Безумства резвые гремушки.
 Ах, младость не приходитъ вновь!
 Зови же сладкое бездалье
 И легкокрытую любовь
 И легкокрылое похмелье!
 До капли пастыженнѣе ней,
 Живи беспечен, равнодушен,
 Мгновенно жизни будь послушен,
 Будь молодъ в юности твоей!

В 1820 году Толстой, вместе с князем Евг. Оболенским, образовал тайное общество в Измайловском полку. С закрытием «Зеленой Лампы» его литературные оязи не только не прекращаются, но еще более крепнут и расширяются. Он рискует даже выступить на литературное поприще и дебютирует сборником стихотворений под названием: «Мое праздное время, или собрание некоторых стихотворений Якова Толстого». Образцы, приводимые г. Модзалевским, подтверждают его вывод, что «стихотворная дея-

¹⁾ У. Семеновского слова «Tolstoy болен» опущены, а между тем, они указывают, какую большую роль играл он в этом кружке.

тельность Толстого не выходила из рядов скромной посредственности».

В апреле 1823 года Толстой уезжает за границу для излечения какой-то болезни ног. Он устроился в Париже, но не прерывал сношений с декабристами, как об этом свидетельствует адресованное ему письмо А. Бестужева (Марлинского), в котором последний сообщает целый ряд литературных и политических новостей, между прочим, и об издании «Полярной звезды»¹⁾.

В Париже наш «философ ранний» быстро сбросил с себя оковы «грусти и скуки». После 14 декабря 1825 года ему так же, как и Николаю Тургеневу, трудно было вернуться в Россию. Имена их упоминались в откровенных показаниях некоторых декабристов. Так, Семенов показал, что именно Николай Тургенев привлек Толстого в тайное общество²⁾. И вместе с Н. Тургеневым он предпочел остаться за границей.

На первых порах он пытался выдержать характер, но нужда—он скоро запутался в долгах—заставила его пойти в Каноссу. Попытка оправдаться во взводимых на него обвинениях ни к чему не привела. А в ответ на просьбу о помиловании он получил суровый приказ вернуться без всяких промедлений на родину. Вполне основательно, не доверяя николаевской «Фемиде», которая тогда слепо и свирепо разила правого и виноватого, он остался в Париже, но благоразумно мотивировал свой отказ невозможностью уехать от своих кредиторов. Ему нужна была не только «гарантия», но и «субсидия».

С этого времени, в течение десятилетий, терзаемый «унылыми сожалениями», Толстой старается пристроиться во французской печати «генеральным консулом по русской литературе», как назвал его старый друг его, князь П. Вяземский³⁾. Он пишет ряд опровержений, направленных против авторов, писавших о России. С помощью того же Вяземского он находит работу в русских журналах.

Но литературный заработок его был слишком недостаточен.

¹⁾ А. Бестужев, Письмо от 3 марта 1824, «Русская Старина», 1899 год, ноябрь, стр. 375—377.

²⁾ «Н. И. Тургенев в своем оправдании». «Русская Старина», 1901 год, октябрь, стр. 208.

³⁾ Вяземский, Полное собрание сочинений, том I, стр. 245—259. Статья по поводу одной французской брошюры Толстого.

Долги росли, и Толстой, решив добиться казенной субсидии, из кожи лезет, чтобы доказать русскому правительству, что он — верный «патриот своего отечества», и не за страх, а за совесть.

Он берет на себя миссию защищать не русский народ, а «Россию» во французской прессе. «Как видно из его писем, он посылал свои сочинения в Россию, старался распространять их среди сильных мира сего, хлопотал о том, чтобы государю стала известна его ревностная деятельность во славу России».

Его пылкая защита подвигов русской армии в 1828 году, наконец, обратила на него благосклонное внимание «сфер». Но он опять «пересолил» в одной брошюре, направленной против султана Махмуда. Он плохо уловил настроение «сфер», и в «субсидии» ему продолжали отказывать. Долги его быстро росли, и к 1830 году он уже задолжал своим кредиторам свыше 29 000 франков. Наконец, в 1835 году ему улыбнулась фортуна. Брат фельдмаршала Паскевича обратился к нему с просьбой написать биографию покорителя Варшавы. Работу эту он выполнил так удачно, что «отец-командир» сделался отныне его покровителем. В августе 1836 года Бенкендорф вызвал его в Петербург, причем, по приказу Николая, ему выдали 10 000 р. в Париже на уплату долгов. В январе 1837 года он уже был в России, а 29 января 1837 года в тот самый день, когда друг его молодости — Пушкин — в страданиях доживал свои последние часы, граф А. Х. Бенкендорф писал С. С. Норову, бывшему в то время управляющим министерством народного просвещения, следующее письмо:

«Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного гвардии штабс-капитана Якова Толстого назначить корреспондентом министерства народного просвещения в Париже, куда он вслед за сим должен отправиться».

Толстому назначено было жалованье в размере 3 800 р. в год, причем, — вероятно, чтобы подчеркнуть истинный характер нового подвижника на поприще народного просвещения, — деньги эти должны были пересылаться главным казначейством в третье отделение, а оттуда Толстому.

«Должность, которую занял Толстой с этого времени и на которой оставался почти до самой своей смерти, — пишет его биограф, — была крайне загадочна и неопределенна. Так, место это не считалось служебным, а между тем он своевременно получал чины и ордена; по министерству народного просвещения он не

состоял на службе, однако был с ним в постоянных сношениях, и дело об его определении сохранилось в архиве этого министерства; в то же время он числился «по особым поручениям» при III отделении собственной его величества канцелярии и даже на службу был определен по «отношению» графа Бенкендорфа. По словам Якова Николаевича, место его «было единственное, не определенное никакими штатами», и создало было с целью «защиты России в журналах» и опровержения статей, противных России. Кроме этой, так сказать, литературной стороны, на Толстом лежала еще обязанность иметь постоянные сношения как с министром народного просвещения, так и с управляющим третьим отделением, так как оба одинаково являлись его начальниками. Сверх того, он писал в Петербург, особенно в конце каждого года, официальные депеши и сообщения, содержание которых нам неизвестно. Бывали и еще какие-то неопределенные поручения, входившие в разряд «особых».

Почтенный биограф почему-то стесняется назвать вещь ее настоящим именем и несколько наивничает в своих стараниях «с точностью определить круг обязанностей, лежавших» на Толстом. Тридцать сребренников, которые получал наш «философ ранний», были вещественной мздой за «невещественные», но в то же время довольно земные услуги.

Мы сейчас увидим, какие «особые» поручения выполнял Толстой. Да и сам чиновный биограф отмечает, что «служебные обязанности Толстого заставляли его быть постоянно среди людей самых разнообразных направлений, вслушиваться в их разговоры, наблюдать за ними и тем самым, конечно, привлекать на себя подозрения; к тому же его служебное положение не могло не сделаться известным».

Ему, однако, долго удавалось скрывать свое настоящее положение даже от многочисленных друзей и приятелей. Тем из них, которым казалось странным совмещение должности «*correspondant du ministre de l'instruction publique*» с его радикальными взглядами, он сообщал, что не обязан писать ни о каких частных делах.

Характерно, что Вяземский еще в 1875 году как будто ничего не подозревает о его настоящей роли. «Все русские, посещавшие Париж, находили в нем усердного и многосведущего путеводи-

теля. Он во многом совершенно опарижился, но оставался русским до сердцевины, до мозга костей своих».

Но другой приятель Толстого, В. Мухалов, отмечает в своем дневнике: «При встрече с кем-либо он скорее спрашивает, чем рассказывает сам».

Логика его занятий превратила его из корреспондента в доносчика, в литературного агента-provokatora. Обязанный реферировать не только о развитии французского просвещения, но и об отражении его в умах наезжавших в Париж соотечественников, Толстой, чтобы дать доказательства своей «полезности», выпущен был не только доносить о поступках русских путешественников, но и толкать их по пути «вольномыслия». И если Рачковским и Гартингам нужно было провоцировать террористические акты, то их предшественнику достаточно было вызывать своих соотечественников на разговоры или побуждать их к литературным актам, направленным против главных устоев николаевского режима. Иные времена—иные песни. Но и в старое доброе время нужно было заслужить свои серебряники.

Когда парижский приятель Толстого, князь П. В. Долгоруков, под псевдонимом графа *Almagro*, напечатал в 1843 году свою книгу о русском дворянстве ¹⁾, наш «сотрудник» сейчас же сообщил в длинной кляузе, что «Долгоруков думает, что его книга может служить пугалом, с помощью которого он добьется всего, что только взбредет ему на ум. На замечание, что правительство, по всей вероятности, предложит ему вернуться в Россию, он ответил, что откажется выполнить такой приказ» ²⁾, и т. д., и т. д. В результате доноса Долгорукову приказано было немедленно выехать в Россию. По возвращении он был арестован и сослан в Вятку.

В деле с Головиным Толстой держал себя еще гнуснее.

«Перед отъездом моим из Петербурга,—пишет Головин в своих курьезных «Записках»,—брат мой просил Уварова, нельзя ли дать мне какое-нибудь занятие за границей. Министр ответил: «У меня только литературный один корреспондент в Париже, но я пошщу какое-нибудь занятие». Естественно было, что, приехав в Париж, я осведомился, кто этот счастливцев.—Толстой,—говорят мне; показывают его карточку, на ней преважно стоит: «Congres-

¹⁾ «Notice sur les principales familles de la Russie». Paris, 1843.

²⁾ Лемке. М., Киев: П. В. Долгоруков в России. «Былое», 1907 год, февраль, стр. 145.

pondant du ministre de l'instruction publique». Я к нему с визитом.

«Я,—говорит,—Вам скажу откровенно, что я имею обязанностью также опровергать статьи, противные России... Он прибавил:—Я напишу Уварову, а Вы, с своей стороны, попросите»¹⁾.

Уваров оказался плохим конспиратором. Он забыл, для чего требовалась вывеска министерства народного просвещения, а может быть и просто хотел избавиться от надоедливой просители. «Ответ графа Уварова был, что Толстой не у него, а у графа Бенкендорфа под начальством и что он ему обо мне ничего не писал. Выходя раз вместе от князя Петра Долгорукова, Толстой меня спрашивает об решении Уварова. Я докладываю: не знаю, должен ли ему сказать, но так как он одобрил, то я и бухнул. Толстой мой почернел до волос».

И было отчего «почернеть»: ему грозило не только разоблачение его настоящей роли, но и потеря доходного места. Толстой, однако, скоро нашел случай избавиться от опасного конкурента. Когда Головин решил издать свою книгу «Дух политической экономии» пофранцузски, он для личной безопасности почел долгом отнестись к г-ну Толстому. И только получив от последнего успокоительный ответ, бедный Головин напечатал свою невинную книгу.

А в это время Толстой уже строчил новый донос:

«22 января 1843 года Толстой писал Бенкендорфу пофранцузски: «Один русский, Головин, готовится издать книгу по политической экономии. Отрывки из нее он читал уже нескольким лицам, в том числе одному литератору, лично мне известному, и тот уверял меня, что это произведение заключает в себе доктрины, подрывающие наши государственные устои. Он даже привел одну фразу приблизительно такого содержания: «Государи неспособны сделать никакой уступки в интересах своих подданных, если она стоит им хоть малейшей жертвы, и, наоборот, охотно жертвуют благосостоянием тысяч своих подданных ради удовлетворения своих страстей и капризов». Этот отрывок показывает, что труд, который собирается издать Головин, в ненадлежащем духе»²⁾.

1) «Записки Ивана Головина». Лейпциг, 1859 год, стр. 76 — 77.

2) М. Лемке, Эмигрант Иван Головин. «Былое», 1907 год, май, стр. 27. Автор вслед за Герценом относится беспощадно к несчастному Головину, эмигранту malgré lui, и не находит достаточно слов, чтобы посмеяться над

Толстой знал бесконечную тупость и жестокость своих работодателей.

В третьем отделении поднялась суматоха. Бенкендорф немедленно доложил об этом деле императору Николаю, и Головину послан был приказ сейчас же вернуться в Россию. Он ответил уклончиво.

Новое, еще более грозное послание, на которое Головин ответил ироническим письмом.

«Правительство с трудом могло себе представить,—пишет Герцен,—чтобы у него лично хватило смелости отказаться, несмотря на приказ вернуться, и от состояния, и от родины. Отказ Головина до такой степени поразил императора, что он ответил... указом о паспортах»¹⁾.

Мало того, 12 декабря 1844 года Николаем утверждено было следующее мнение государственного совета: «Лишив Головина чинов и дворянства, сослать его, в случае явки в Россию, в Сибирь в жаторжную работу, а вместо его, ежели какое-либо окажется где-либо собственно ему принадлежащим, взять, по основанию законов, в секвестр».

Этот, по выражению Герцена, «невероятный, нелепый и неслыханный» приговор государственного совета не мог, конечно, не привлечь к Головину всеобщих симпатий. Только после опубликования этого приговора Сазонов поспешил познакомиться с Головиным. К этому же времени относится его знакомство с Бакунным, разделившим его судьбу.

А Толстой? Как наивно рассказывает сам Головин, почтенный Яков Николаевич уверял его после, что «ему от Бенкендорфа был выговор, зачем он защищал мою книгу, разве не читал предисловия». Но если Головин так-таки никогда не узнал, какую роль сыграл во всей этой истории Толстой, то все же именно он способствовал,—правда, по другим причинам,—разоблачению истинного характера «просветительной» деятельности Толстого.

этой жертвой николаевского режима, хотя даже у жалкого Головина было больше гражданского мужества, чем у многих других «людей сороковых годов». Мы будем еще иметь случай показать, что слова Герцена нельзя принимать и в этом случае на веру без строгой критической проверки.

¹⁾ *Iscauder, A., Du développement des idées révolutionnaires en Russie Paris, 1851, p. 167.* В издании 1853 года эти страницы были выпущены.

VII

С Марксом Толстой, по всей вероятности, познакомился через посредство Бакунина. На это одинаково указывают и письма Маркса, и воспоминания Грюна. О своем земляке—Толстой был сыном остроговского уездного предводителя дворянства и братом губернского предводителя дворянства Тверской губернии—Бакунин мог слышать рассказы еще в своей семье, так как отец его, А. М. Бакунин, принимавший участие в составлении устава Союза Благоденствия, не мог не знать Толстого ¹⁾. А встречаться с последним Бакунин мог либо у Николая Тургенева, либо в каком-нибудь салоне Сен-Жерменского предместья. По словам Арнольда Руге, он был там своим человеком не меньше, чем в кафе, в которых собирались революционеры и журналисты всех наций и направлений ²⁾. Разборчивостью в знакомствах Бакунин, правда, никогда не отличался, но настоящая роль Толстого ему, наверное, так же мало была известна, как и другим членам парижской колонии. А то обстоятельство, что Толстой был на службе, он так же мало мог ставить ему «в вину», как и другим своим приятелям. Свою литературную деятельность, направленную на «защитнение» русского правительства, Толстой мог тем легче скрыть, что свои брошюры он писал или анонимно, или под псевдонимом Яковлева. Да если эта деятельность и была известна Бакунину, он вряд ли видел в ней, как это показывает его жизнь в Сибири, что-нибудь более несовместное с «радикализмом», чем писание всяких «докладных записок» состоявшими на государственной службе его приятелями из «радикалов».

Что Толстой был не только «отличным певцом цыганских песен», что он мог пустить пыль в глаза даже Бакунину, видно из свидетельств всех его современников. Не говоря уже о репутации старого декабриста и друга Пушкина, его веселость и остроумие, готовность оказать всякие услуги своим соотечественникам, большие связи в литературных салонах могли ввести в заблуждение не только Бакунина.

Знакомство Толстого с Марксом и Энгельсом могло быть толь-

¹⁾ Корнилов, А., Семейство Бакуниных. «Русская мысль», 1909 год, май, стр. 23--27.

²⁾ «A. Ruge's Briefwechsel und Tagebuchblätter». Berlin, 1886. Band I, p. 370.

ко случайным следствием знакомства с Бакуниным. Но Толстой мог преследовать еще и другие цели, поддерживая сношения с немецкой колонией и особенно стараясь проникнуть в редакцию «Vorwärts'a», который тогда напечатал ряд статей, направленных против России. Он мог узнавать интересные для третьего отделения вещи о польской эмиграции, а русское правительство интересовалось тогда ею, во всяком случае, не меньше, чем русской колонией¹⁾.

И точно так же, как его коллега в Германии Швейцер, на основах взаимности, пользовался услугами прусской полиции, так и Толстой, при посредстве Киселева, мог находиться в сношениях с прусским посольством в Париже и оказывать, в свою очередь, услуги «дружественной» тогда державе.

Уже тогда возникли некоторые подозрения на его счет. Что он имел отношение к русскому посольству, указывалось уже в одной статье только что упомянутого «Vorwärts'a», в котором после принимали участие Маркс и Бакунины²⁾. Но как мало значения придавали этим слухам или как легко было снять Толстому с себя подозрение, видно уже из того, что Маркс и Бакунины не придавали им тогда никакого значения и объясняли их, как и Арнольд Руге в своих письмах из Парижа, старой привычкой немцев видеть всюду русских агентов.

Но «ничто не вечно под луной». Головин, которому Толстой создал пьедестал нового «Курбского», в конце 1845 года опубликовал свое послание к грозному самодержцу всея России. Книга его «La Russie sous Nicolas I» имела большой успех и сейчас же была переведена на английский и немецкий языки. Надо принять во внимание, что это было первое изображение николаевской России, данное не иностранцем, которого, как Кюстина, можно было обвинять в поверхностном знакомстве с Россией и плохом знании русского языка, а русским «боярином», у которого хватало решимости не подчиниться азиатскому произволу. И если Бей-

1) «Французское правительство никак не могло удовлетворить несковязаемые жалобы русского правительства по поводу пребывания польской эмиграции во Франции... Несковязаемые жалобы на покровительство и попустительство полякам, наконец, надоели французскому правительству, и оно перестало принимать их во внимание» (Мартенс, Ф., Собрание трактатов и конвенций, заключенных с иностранными державами. Том XV, стр. 201—202).

2) «Vorwärts», 16 März 1844. «Russisches Wesen und Unwesen».

кендорф, которого г. Лемке для этой okazji воскресил ¹⁾, по словам почетного исследователя «николаевских жандармов», сначала приказал Толстому «пренебречь» и не писать возражения, то успех книги вынудил их отказаться от тактики «величественного молчания» ²⁾.

У Я. Толстого могли быть еще другие соображения, и приди ли он с особенной охотой взялся, наконец, за «литературное» опровержение книги Головина, который, в своем предисловии, с трогательной напвностью сообщает, что Толстой, — он настолько деликатен, что не называет своего защитника, — «получил от Бенкендорфа суровый выговор за защиту его книги» ³⁾.

Как только в «Quotidienne» появилась статья, направленная против книги Головина, последний, догадавшись, кто должен быть ее автором, ответил, как он выражается в своих «Записках», Толстому «его анекдотом» и, назвав автора статьи, сообщил все, что знал об его отношениях к русскому правительству ⁴⁾.

Это разоблачение произвело огромную сенсацию в Париже. Обошедши все главные парижские газеты, оно перешло и в «Allgemeine Zeitung».

Маркс, как мы знаем, жил тогда в Брюсселе, но Энгельс, не-

¹⁾ Бенкендорф умер в сентябре 1844 года, а книга Головина вышла в 1845 году. Мы констатируем этот факт только «исторической справедливости» ради: негоже умалять заслуги преемников Бенкендорфа перед отечеством.

²⁾ Г-н Лемке и в этом случае не находит достаточно сильных выражений, чтобы лишний раз уявить злосчастного Головина. И книга откуда не годилась и неизвестно, не приложил ли сам Головин, драпировавшийся в торжественную тогу политического эмигранта, руку и к этим пореводам? Мы несколько не сомневаемся в гражданском мужестве г. Лемке, которое позволяет ему с таким великолепным презрением смотреть на Головина, но отзыв Горцена об этой книге — данный, правда, до ссоры с Головиным — должен был бы сделать его несколько более осторожным. Конечно, считая правительством «тогда политического эмигранта» могла украшать более достойные плечи, по это обстоятельство несколько не устрояет того факта, — теперь, после статьи самого г. Лемке, вполне установленно, — что Головин соделался жертвой одной из глушеших провокаций и что эмигрантом он соделался не только из одного чувства «страха».

³⁾ *Golowine, J., La Russie sous Nicolas I. Paris, 1845, pp. 15, 20.*

⁴⁾ Статья Головина напечатана была в «Corvaire-Satan». К сожалению, даже в парижской Bibliothèque Nationale нет этой газеты за 1846 год, и я не мог проверить все показания Головина и его «Записках».

задолго до этого перехавший в Париж, сейчас же написал ему об этой интересной новости (18 сентября 1846 года):

«А теперь еще одна в высшей степени любопытная история. «Augsburger Allgemeine Zeitung» (21 июля 1846 года), в корреспонденции из Парижа от 16 июля, пишет о русском посольстве в Париже:

«Это—официальное посольство; но впо его или, скорее, над ним стоит некий Толстой: он не занимает определенной должности, но известен как доверенное лицо двора. Прежде чиновник в министерстве народного просвещения, он явился в Париж с литературной миссией, написал здесь несколько мемуаров для своего министерства и доставил несколько обзоров французской прессы. Затем он перестал писать, но тем больше делал.

«Он живет на широкую ногу, встречается со всеми, иршмает всех, занимается всем, все знает и очень многое устраняет. Мне кажется, что именно он является действительным русским поглапником в Париже... Его заступничество производит чудеса (все поляки, которые просили помилования, обращались к нему), в посольстве все склопается перед ним, и в Петербурге он пользуется большим влиянием». Этот Толстой и есть не кто иной, как наш Толстой, тот самый благородный рыцарь, шавравший нам, что он хочет продать в России свои имения. Кроме квартиры, в которой он нас принимал, он имел еще блестящее помещение на Rue Mathurin, где он принимал дипломатов. Поляки и многие французы давно уже знали это, только немецкие радикалы, среди которых он считал более удобным играть роль радикала, ничего не знали. Цитируемая мною статья написана одним поляком, который знает Берпайса, и сейчас же была перепечатана в «Corsaire-Satan» и «National». Когда Толстой прочитал статью, он рассмеялся и пошутил над тем, что он, наконец, открыт. Он теперь в Лондоне и, так как роль его тут сыграна, попытает свое счастье там. Жаль, что он не вернется, иначе я сыграл бы с ним шутку да представил бы свою визитную карточку в Rue Mathurin. Что после всего этого рекомендованный им Апиеиков—тоже русский шпион, c'est clair. Даже Бакунин, который должен был знать всю историю, так как другие русские знали ее, тоже очень подозрительен». И в заключение Энгельс спрашивает Маркса, не следует ли обо всем этом немедленно сообщить их друзьям в Лондон, так

как Толстой мог бы там сослаться на свое знакомство с Марксом и компрометировать поляков.

И все же Толстому удалось оправдаться и среди русской и среди немецкой эмиграции. У него было много друзей, а Головишу, который за два года перед этим выступил с опровержением книги Кюстина и, как мы видели, хлопотал сам о месте корреспондента министерства народного просвещения, не особенно доверяли. На сторону Толстого стал и Бакунин, вступивший с Головиным в полемику.

Мы увидим сейчас, что и Анненков так же горячо заступился за своего «степного помещика». Один лишь Сазонов решительно выступил в защиту Головина.

Только тем, что Толстому удалось оправдаться или свалить вину на другого Толстого, можно объяснить, что уже в письме от 15 января 1847 года Энгельс пишет Марксу, что Бернайс (Bernays) выдумал всю историю с Толстым или позволил себя надуть Бёрнштейну, который, мол, ставляет его верить всему, что угодно¹⁾. Тогда является понятным также и письмо Маркса к Гервегу в октябре 1847 года, цитированное выше. Бакунину продолжал быть с Толстым в хороших отношениях.

Только после февральской революции, когда в члены временного правительства попали старые друзья Маркса и Бакунина, роль Толстого окончательно была разоблачена. У него был произведен обыск, на который временное правительство могло осмелиться только потому, что он официально не был причислен к посольству²⁾. В довершение беды на него обрушился совершенно неожиданный удар с другой стороны. Бывший наш посланник в Штутгарте и Турине Обрезков, фрондировавший против прави-

¹⁾ Бернайс вместе с Бёрнштейном, корреспондентом «Allgemeine Zeitung» издавал в Париже в течение 1844 года упомянутый уже нами «Vorwärts», в котором сотрудничали Бакунин, Маркс и Энгельс. В начале 1845 года Бёрнштейн вынужден был прекратить газету, а некоторые сотрудники его, в том числе Маркс, были высланы. Возможно, что Бёрнштейн, после обрушившегося на него несчастия, сам заговорил Толстого, который, вероятно, посещал Бакунина, жившего в редакции «Vorwärts'a». См. Börsstein, H., 75 Jahre in der alten und neuen Welt. Leipzig, 1884, pp. 332 — 338.

²⁾ Об этом обыске упоминает Герцен в связи с рассказом о Головине, но, не говоря ни слова об истинной роли Толстого, он прибавляет, что именно Головину навлек на последнего этот обыск. Можно подумать, что у Головина не было для этого никакого основания.

тельства за недостаточное признание его заслуг и имевший зуб против Паскевича, воспользовался революцией и в «Journal des Débats» тоже ответил биографу Паскевича «его анекдотом»¹⁾.

«Неопределенное» положение Толстого становилось для него опасным. Он переехал на время в Брюссель. Характерно, что он даже от себя старался скрыть действительный смысл своей деятельности.

«Что касается меня,—писал он брату из Парижа 6 (18) ноября 1848 года,—то я нахожусь в ожидании прочного места, которое мне было обещано; но, ожидая, я все стою на одной точке, причем в глазах моих соотечественников слышу за подозрительно-поверенного, а в глазах некоторых французов—даже за тайного агента. Это ложное положение составляет одно из мучений моей жизни».

Сантиментальность так же характерна для шпионов, как склонность к этическим размышлениям для предателей.

Высокие покровители Толстого скоро вывели его из этого ложного положения. Как он сам подчеркивает, его денешы очень нравились, и в такое время, когда, после кровавого подавления июньского восстания, на защиту собственности, религии, семьи и общества сбегались под общее знамя «монархисты и республиканцы», «попы и свободные мыслители, молодые потаскушки и старые монахини»,—было бы безумием отказываться от человека, который обладал не только прекрасными «ушами и глазами», но и искусным пером²⁾.

29 декабря 1848 года он был назначен советником посольства и оставался на этом посту почти до самой смерти, последовавшей 15 (27) февраля 1867 года.

Вот кто был, по нашему предположению, тот «стенной помещик», который дал Анненкову такое теплое рекомендательное письмо к Марксу. Только таким образом можно объяснить многое в отношениях Маркса, и, в особенности, Энгельса к русским. Уже неожиданный вывод, который Анненков делает из своего

¹⁾ «Русские достопамятные люди». «Русская старина». 1892 год, октябрь, стр. 36—37.

²⁾ Профессор Мартенс расхваливает депешу Н. Д. Киселева, относящуюся к этому времени (*Мартенс, Ф.*, цит. соч., XV, стр. 223—35). К сожалению, они напечатаны только в отрывках. Несомненно, что автором их являются по беддарный брат «либерального» паразита, а наш Толстой.

рассказа о Марксе и «степном помещике», показывает, что в его памяти воспоминание о «певце дыганских песен» боролось с другим воспоминанием—об агенте и шпионе. Мы увидим еще ниже, когда могла завязаться тесная дружба между Толстым и Анненковым.

Уже в приведенном выше письме Энгельс сейчас же умозаключает от Толстого к Анненкову и Бакунину. Понятно, что после окончательного разоблачения Толстого недоверие Маркса и Энгельса к русским должно было возрасти, хотя они вовсе не видели во всяком русском «подосланного шпиона» или «бессовестного обманщика». Это, конечно, делало их более подозрительными и по отношению к старым друзьям Толстого, и это же отчасти объясняет сближение с Сазоновым, который так решительно выступил сразу же против Толстого, с кем он, как самый старый член русской колонии, мог столкнуться еще раньше. Можно также с немалой долей вероятности утверждать, что в распространении слухов, компрометирующих Бакунина, как после его высылки из Парижа, так и, в особенности, весной и летом 1848 года, принимал самое деятельное участие Толстой: он мог надеяться, таким образом, отвести подозрения от себя. Во всяком случае, эта гипотеза имеет за себя больше оснований, чем курьезная попытка известного анархиста Виктора Дава взвалить на Маркса ответственность даже за высылку Бакунина из Парижа на том основании, что Киселев был в коротких сношениях с Вестфаленом, братом жены Маркса!

VIII

До сих пор мы говорили об Анненкове лишь постольку, поскольку в его воспоминаниях мы находили указания, с помощью которых мы могли установить круг русских «людей сороковых годов», так или иначе связанных с Марксом. Но в этих же воспоминаниях мы наталкиваемся на факты, свидетельствующие о близком знакомстве самого Анненкова с Марксом. И само собою напрашивается вопрос: не принадлежал ли и Анненков к числу тех русских идейных «сластен», восторженное «обожание» которых запечатлелось так сильно в памяти Маркса.

Мы не будем подробно останавливаться на личности скучного критика пятидесятых годов. Биография его в общих чертах из-

вестна, и репутация его теперь уже прочно установлена. Специалист по части эстетической критики в пятидесятых годах, поклонник «искусства для искусства», он, в разгар нашего Sturm und Drang периода, написал апологию «слабых людей», вызвавшую отповедь Чернышевского, расхвалил «Взбаломученное море» и пописывал благодушно в «Русском вестнике», пока не нашел нового приюта в «Вестнике Европы» первой формации. Но если его слава литературного критика совершенно померкла, если развитие научного «пушкиноведения» превратило его главные работы о Пушкине в груды материалов, требующих тщательной критической проверки, то за ним все еще прочно сохраняется репутация одного из лучших наших мемуаристов, основывающаяся, главным образом, на его «Замечательном десятилетии».

А между тем кто внимательно читал все мемуары Анненкова, тот не мог не заметить, как метко и правдиво схватил их основной характер Гоголь в одном из своих писем к Анненкову: «Много наблюдательности и точности, но точности дагерротипной. В письмах не видно, зачем написаны письма, как будто вы не задавали самому себе серьезного вопроса. У вас, как мне кажется, нет пристрастия и сильной уверенности в истине своих выводов и заключений»¹⁾.

Действительно, в воспоминаниях и письмах Анненкова можно найти много мелочей, интересных для историка, но и только. Его характеристики, наблюдения и впечатления выдают на каждом шагу человека, который сегодня интересуется одним, а завтра другим, так же легко отказывается от своего мнения, как его высказывает, и сегодня изливается перед Гоголем и его друзьями, чтобы завтра побежать на собрание Бакунина и его друзей. Это типичный «турист сороковых годов», «турпст-эстетик», как удачно окрестил его в забытых теперь статьях П. Лавров.

«Надо быть в жизни, в мысли, в деятельности *туристом*... Они не сидят,—избави боже! Какая отсталость быть сиднем на какой-нибудь заспянной идее! Они смеются от всей души над этой невежественной односторонностью. Их, напротив, ничто удовлетворить не может: их природа требует передвижения о одной ноге на другую, точнее—с одного подобия маленькой идей-

¹⁾ Из письма Гоголя от 12 августа 1847 года. «Анненков и его друзья». Спб., 1892 год, стр. 501 — 502.

ки на другое такое же подобие. Они объезжают весь мир, заглядывают во все классы общества, знакомятся с биржевиками и с пролетариями, с ученым мыслителем и с завсегдашним модного кафе на парижских бульварах, с секретарем Наполеона III и с сподвижником Гарпбальди, и из всего этого изучения, из всех этих знакомств выходят довольные, веселые, розовые, без малейших морщин на лице, без малейшей заботы в сердце, без лишнего вопроса в голове» ¹⁾).

Не составляют исключения и воспоминания Анненкова о «Замечательном десятилетии». Строгий критический разбор вскрыет в них много фальши, надуманного и просто выдуманного. Написанные под непосредственным впечатлением только что появившейся биографии Белинского, составленной Пыпиным, и воспоминаний Т. П. Пассек, они на каждом шагу выдают бессильные потуги человека, у которого никогда не было «пристрастия и силой уверенности в истине своих выводов и заключений», передать нам историю идейных мук и терзаний русских и западно-европейских людей сороковых годов. Вместо откровенной исповеди—старание скрыть «ошибки молодости» и боязнь признать, даже через тридцать лет, что он когда-то увлекался «запрещенной религией польского дела». В результате—неискренняя повесть о старых знакомствах, в которой на каждом шагу просвечивает безмятежное сознание своего превосходства,—конечно, превосходства «туриста»,—над такими «сиднями», как Бакунин, Герцен или Маркс.

Мы уже указывали на неожиданный вывод, сделанный Анненковым из рассказа о «степном помещике». Письмо Толстого—кто бы он ни был—показывает, что с Анненковым его связывала тесная дружба. И все же Анненков пишет о своем бывшем друге так, как будто он уже тогда насильно видел Толстого, как будто только такой кабинетный человек, как Маркс, да к тому же и немец, мог доверчиво отнестись к нашему «отличному певцу цыганских песен».

«Я воспользовался, *однакоже*, письмом моего пылкого помещика, который, отдавая мне его, находился в энтузиастическом настроении, и был принят Марксом в Брюсселе очень друже-

¹⁾ «Туррист-эстетик». «Дело», 1879 год, октябрь, стр. 2—3. См. также «Русский турист сороковых годов». «Дело», 1877 год, август. Статья подписана инициалами П. Э.

любно», — настолько дружелюбно, что Маркс пригласил Анненкова на совещание, которое должно было состояться у него на другой день вечером с Вильгельмом Вейтлингом.

Дальше следует часто цитировавшееся описание беседы между Марксом и Вейтлингом, свидетелем которой был Анненков. Она происходила, как видно из письма Вейтлинга к Гессу, 31 марта 1846 года¹). Уже одна попытка вложить, на манер Фукидида, в уста действующих лиц якобы действительно произнесенные речи заставляет отнестись с большим недоверием к повествованию Анненкова. Особенно курьезен упрек со стороны Маркса Вейтлингу, что он своими коммунистическими проповедями привлек к себе столько работников, лишив их места и куска хлеба, что Вейтлинг, видимо, хотел удержать совещание на общих местах либерального разглагольствования».

«Пораженный всем виденным и слышанным», наш повый Анахарсис плохо понимал, в чем дело, и, несмотря на уверение, что он «очень хорошо помнит даже самую форму резкого вопроса Маркса» уловил только, что Маркс настаивал на необходимости «строга-научной идеи» и возмущался «пустой и бесцельной игрой в проповедника, при которой, с одной стороны, полагается вдохновенный пророк, а с другой — допускаются только ослы, слушающие его, разняв рот». «Вот, — прибавил он, вдруг указывая на меня резким жестом, — между вами есть один русский. В его стране, Вейтлинг, ваша роль могла бы быть у места: там, действительно, только и могут удачно составляться и работать союзы между нелепыми пророками и нелепыми последователями». Анненкову тем легче было воспроизвести этот пункт беседы, что у Маркса был однородный конфликт с Бакуниным, которого также возмущало желание Маркса превращать рабочих в резонеров и портить их, как писал Анненкову Бакунин в письме от 28 декабря 1847 года из Брюсселя²).

Анненков скоро уехал из Брюсселя, но сношения его с Марксом не прекращались и после. Я встретил Маркса еще, — пишет он, — вместе с Энгельсом в 1848 году в Париже, куда они оба приехали тотчас после февральской революции, намереваясь изучать

1) *Kater E., Wilhelm Weitling, Zürich, 1887, pp. 72—73.*

2) «Анненков и его друзья». Спб., 1892. В «Замечательном десятилетии» Анненков относит это письмо к октябрю и, выбросив «бращение к себе, превращает его в письмо к «друзьям в Париже». Мы еще вернемся к этому письму.

движение французского социализма, очутившегося теперь на просторе. Они скоро оставили свое намерение потому, что над социализмом этим господствовали всецело чисто местные, политические вопросы, и у него была уже программа, от которой он не хотел отвлекаться—программа добиваться с оружием в руках господствующего положения в государстве для работника».

Всю эту галиматью можно объяснить лишь тем, что Аппенков забыл или вычеркнул из своей памяти решительно все, что относилось к этой новой встрече. Иначе он вспомнил бы, каким вынужденным образом попал в Париж Маркс и как немецкая колония раскололась на два лагеря, во главе одного из которых стояли Герверг и симпатизировавшие ему Герцен и Бакунин, а во главе другого—Маркс и Энгельс, скоро «оставившие» не свое «намерение», а Париж, чтобы принять участие в немецкой революции.

«Но и до этой эпохи были минуты заочной беседы с Марксом, весьма любопытные для меня: одна такая выпала на мою долю в 1846 году, когда по поводу известной книги Прудона «*Système des contradictions économiques*» Маркс написал мне пофранцузски пространное письмо, где излагал свой взгляд на теорию Прудона».

Именно это письмо Анненков приводит в своих воспоминаниях. К сожалению, издатели книги «Анненков и его друзья», напечатавшие письма Бакунина к Анненкову, почему-то сделали исключение для письма или, вернее, для писем Маркса, так как их было, как мы сейчас увидим, несколько. В переводе Аппенкова или, вернее, в его изложении письмо Маркса вызывает сомнения, укрепляемые напечатанными г. С. Ан—ским примечаниями Маркса к этому письму¹⁾. Так, по поводу отождествления критики Прудона и Фурье, которое приписывает ему Анненков,

¹⁾ «К характеристике Маркса» (Примечания К. Маркса к «Замечательному десятилетию» П. Анненкова. «Русская мысль», 1903 год, август). Эти примечания найдены были мною в книжках «Вестника Европы», принадлежавших Марксу и, после смерти, передаваемых вместе со многими другими русскими книгами Энгельсом Лаврову. Статья Анненкова была переплетена со статьями Пшенина в тот «небольшой томик», который был в руках С. Ан—ского, но исчез теперь, так как его нет ни в Лавровской, ни в Тургеневской библиотеках, куда, после смерти Лаврова, была передана часть книг Маркса. А между тем, кроме примечаний, напечатанных С. Ан—ским, на полях были еще в другие пометки. (Письмо Маркса к Анненкову напечатано теперь в переписке Стасюлевича, изданной М. Лемке.)

Маркс замечает, что «я писал прямо обратное тому, что он приписывает мне: ведь именно Фурье первый осмелел идеализацию мелкой буржуазии». В остальных частях своих письмо представляет только конспект некоторых глав «Нищеты философии», над которой в то время работал Маркс. Анненков так основательно забыл об этой когда-то хорошо известной ему книге, что смешивает ее с будущим «Капиталом». Что же касается впечатления, произведенного на него критикой Маркса, то он его так резюмирует: «Признаюсь, я не поверил тогда, как и многие со мною, разоблачающему письму Маркса, будучи увлечен вместе с большинством публики пафосом и диалектическими качествами прудоновского творения».

Мы сейчас увидим, что «минуты заочной беседы» с Марксом не ограничивались одним письмом и что было время, когда Анненков находился в таком же «энтузиастическом настроении», как и его загадочный приятель. Уже 8 мая (1846 года) он пишет Марксу из Парижа:

«Mon cher monsieur Marx!

«Вот уже месяц, как я здесь. Я часто думал о Вас, но не мог найти свободной минуты, чтобы написать Вам. Не без основания говорят, что праздные люди—самые занятые люди во всем мире. Письмо к Гейне, которое Вы любезно дали мне, я передал вместе со своей карточкой, но так как я забыл прибавить к этому просьбу о свидании, то Гейне не ответил мне, и я остался ни с чем. Что касается Эвербека, то никто не знает здесь его адреса—ни Гервег, ни Бакунин, но я надеюсь скоро найти его. Надяюсь я рассчитываю сделать визит Бернайсу в его убежище.

«Париж был сильно взволнован выстрелом, направленным в короля. Зато много занимаются почетными крестами, которые были распределены в день св. Филиппа. Полемика двух консервативных журналов по вопросу о том, какой король предпочтительнее: дурак или птритая, являлась очень кстати, чтобы развеселить парижскую публику, которой наскучили речи в палате и Тюльерн. В ожидании приближающихся выборов мы болтаем и спорим с нашими друзьями о разных вещах: о Польше, о прусском кронпринце, коммунизме, Берне, Gattung, выставке и т. п. Недавно я был на собрании редакторов-рабочих газеты «Union». Они тоже говорили и спорили, но они отнимали у своего сна

время, чтобы отдаваться этому интеллектуальному наслаждению, и в результате их дебатов, при закрытых дверях,—всегда новый номер журнала, который они все редактируют. Во всяком случае, эти дебаты были бесполезны!

«Я только что получил известие, что Толстой принял решение продать все имения, которые ему принадлежат в России. Нетрудно догадаться, с какой целью 1)»...

«Передайте привет Энгельсу и всем, кто еще помнит о скифе.

«Мой дорогой Маркс, если Вы напишете мне несколько слов по-немецки или как угодно, адресуя письмо ваше г-е Саппартин, 41, то вы прибавите еще новую услугу ко многим другим, которые Вы мне оказали и которые я так сильно ценю.

Париж, 8 мая.

Весь Ваш П. Анненков».

Итак, наш пострел везде поспел. Он успел заручиться рекомендательным письмом к Гейне, хотя не сумел использовать его, он должен познакомиться с Эвербеком, тогда одним из лидеров парижской общины «Союза Справедливых», и с Бернайсом, бывшим редактором «Vorwärts'a», он попал даже на собрание редакторов газеты «Union» и, зная, с кем имеет дело, ехидно противопоставляет в письме к Марксу бесплодные словопрения «интеллигентов» и «бесполезные» дебаты «рабочих». Но интереснее всего то обстоятельство, что именно он сообщает Марксу о решении Толстого продать все имения, принадлежащие ему в России. А из воспоминаний Анненкова следует, что «степной помещик» уверил Маркса, что «бросит свой капитал в жерло предстоящей революции» еще до знакомства Анненкова с Марксом. Возможно, что именно этим несоответствием с действительностью в рассказе Анненкова объясняется сердитое примечание Маркса: «Ложь! Ничего подобного он не говорил. Напротив, он уверял, что вернется к себе домой для вящего блага своих крестьян. Он даже был настолько наивен, что приглашал меня с собой». В свою очередь, Маркс забыл, что именно Анненков сообщил ему о плане Толстого, хотя и в неопределенных выражениях.

Ответ Маркса на письмо Анненкова нам неизвестен. Возможно, что его письмо, вместе с другими, хранится еще в бумагах Анненкова.

1) Курсив наш.

Следующее письмо последнего является ответом на письмо Маркса из Брюсселя от 27 мая. Оно помечено 2 июня и написано в еще более «нежном» тоне.

«Mon cher monsieur Marx!

«Получив Ваше письмо от 27 мая, я поспешил передать Бернайсу, через посредство Эвербека, 140 франков, так как непредвиденные обстоятельства помешали мне передать ему их лично. Я надеюсь еще иметь это удовольствие, когда поеду посмотреть Монморанси. Что касается Вашей угрозы послать мне большое письмо, то это такая угроза, которая меня мало пугает и исполнения которой я больше всего желал бы. Сделайте это, мой дорогой Маркс, пишите мне и рассчитывайте на мою благодарность и взаимность.

«Спор между Гизо и Тьером закончился на парламентской трибуне. Страшное дело! В своей последней речи Тьер выступил как представитель революции, прогресса. Говорят, что это на руку герцогу Немурскому, который может теперь совершить очень мужественный, даже смелый, политический акт, пригласив Тьера в министры.

«Кроме того, ничего нового, если не считать пришедшего из Германии известия, что сейм запретил перепечатку и продажу сочинений Фейербаха.

Весь Ваш П. Анненков».

2 июня, Парж.

Вскоре после этого письма Анненков уезжает из Парижа. Летом он совершил путешествие—вместе с Боткиным—по Тиролю и Ломбардии. Оно продолжалось три месяца. По возвращении в Париж, он нашел у себя дома письмо Маркса с запросом по поводу Толстого. И мы сейчас увидим, с какой горячностью заступился Анненков за «нашего степного помещика». Следует заметить, что известие, переданное Энгельсом, о пребывании Толстого в Лондоне подтверждается и с другой стороны: Головин рассказывает в своих «Записках», что он и Сазонов встретили совершенно неожиданно Толстого в Лондоне. Прибавим к этому, что в 1845 году—месяц, к сожалению, не указан—Толстой выбыл в Россию.

Вот что пишет Анненков Марксу:

«Mon cher monsieur Marx!

«Я приехал только вчера из Италии и нашел у себя дома Ваше письмо. Толстой, о котором пишут в «Allgemeine Zeitung», совсем другое лицо, чем тот, которого мы знаем, и имеет с ним общего только имя. Толстой (из газет)—действительно русский агент, донесший на Долгорукова, Головина и многих других, признанный шпион русской полиции и одинаково презираемый как теми, которым он служит, так и теми, которых он предает. Он принял участие в восстании 1825 года, бежал, когда оно кончилось поражением, и, чтобы добиться прощения, унижался до того, что стал самым низким из куртизанов и самым подлым из шпионов... О, боже! И наш честный, простой, прямой Толстой, который думает теперь в России только о том, чтобы продать все свои имения и поселиться в Европе! И я благодарю Вас, мой дорогой Маркс, от его имени за то, что Вы усомнились, читая статью в «Allgemeine», и обратились ко мне за разъяснениями.

«Я продолжаю жить на rue Caumartin, 41, где и ожидаю новостей от Вас и Ваших друзей и, главным образом, о Вашей книге.

Весь Ваш П. Анненков».

2 октября. Париж.

«Честный, прямой, простой» Толстой, а через тридцать лет—не то бессовестный обманщик, не то подосланный шпион! Уже одно это внезапное превращение, которое трудно объяснить только забывчивостью, вызывает подозрение. Странно и то, что в этом письме Анненков доподлинно знает такие вещи, о которых не знал тогда даже Головин, одна из жертв Толстого. А у нас имеются еще и другие доказательства, что Анненков насерное был знаком с Яковом Толстым, с которым его связывал еще другой общий интерес. Мы видели выше, что Толстой принимал очень деятельное участие в «Зеленой Лампе». Выпрашивая себе помилование, он сугубо старался изобразить это общество кружком кутии и развратников. И так же решительно превращает «Зеленую Лампу» в «органическое общество» Анненков, глухо ссылаясь на какие-то «разыскания и расспросы»¹⁾. Вспомним, что наш ту-

¹⁾ Анненков П., А. Пушкин в александровскую эпоху. «Вестник Европы», 1873 год, ноябрь, стр. 47.

рист не в первый раз попал в Париж в 1846 году. Он жил уже там с ноября 1841 года до осени 1843 года, т. е. до приезда туда Маркса и Бакунина, и в качестве чиновника министерства финансов не преминул уже тогда познакомиться с «корреспондентом министерства народного просвещения». Во всяком случае, этот Толстой не принимал никакого участия в восстании 14 декабря и не бежал после его неудачи, как это так обстоятельно сообщает Марксу Анненков.

Мы уже упомянули выше об одном письме Бакунина из Брюсселя, отрывок из которого приведен в воспоминаниях Анненкова. Оно писано Бакуниным после его высылки из Парижа за речь на балкете 29 ноября 1847 года. Как дата, так и адресат указаны Анненковым неверно. Бакунин пишет между прочим: «Я, вероятно, скоро должен буду снова ораторствовать; покамест не говорите об этом, кроме Т., никому; я боюсь, чтоб через Сазонова не узнали об этом славянщички, а дело еще не совсем решено». Анненков, который и является адресатом, не называет Т., но в сборнике «Анненков и его друзья», где письмо Бакунина напечатано, как одно из писем к Анненкову, вместо Т. назван Тургенев. А, между тем, это сообщение нуждается в проверке. Тургенев в то время поглощен был совершенно другими интересами, и сомнительно даже, чтобы он мог тогда часто встречаться с Бакуниным. Он приехал в Париж в 1847 году, после того как так внезапно покинул Бельнского в Зальцбрунне. Сам Анненков в другом месте сообщает нам, что «дела его (Тургенева) были в плохом состоянии: он не мог жить в Париже, поселился в пустом замке, предоставленном ему Жорж Занд где-то на юге, и наезжал по временам в Париж, обегал своих знакомых и скрывался опять»¹⁾. Непонятно, почему Бакунин делает это исключение именно для Тургенева, и в то же время, при том автагонизме, который, несомненно, существовал между ним и Сазоновым, решительно выступившим против Толстого, вопреки естественно, что он просит Анненкова, чтобы тот не сообщал о его сношениях с поляками в Брюсселе именно Сазонову.

И, несмотря на категорическое утверждение Анненкова,—вспомним письма друзей Азефа,—мы все же останемся при нашем

¹⁾ Анненков П., Молодость И. С. Тургенева. «Вестник Европы», 1884 год, январь, стр. 467 — 468.

предположении, что таинственный Толстой—«честный, прямой, простой», энтузиаст, закадычный друг Бакунина, до такой степени влюбленный в Анненкова, что, по его словам, достаточно было посмотреть на нашего туриста, чтобы полюбить его,—может быть только бывшим президентом общества «Зеленой Лампы». И если Анненков после рассказывает, что «друг» Маркса умер «престарелым холостяком в Москве еще в середине семидесятых годов», то мы и к этому известию относимся так же скептически, как и к другим его сообщениям о нашем степном помещике: в лучшем случае, они свидетельствуют только о совершенно ослабшей памяти ¹⁾.

Горячее письмо Анненкова, вероятно, рассеяло сомнения Маркса. В ответ ли на это письмо или на другое, писанное позже, Анненков получил от Маркса то большое письмо, которое он цитирует в своих воспоминаниях. И мы сейчас увидим, сколько правды в его словах, когда он уверяет нас, что письмо это не оказало на него никакого влияния.

«Вы мне оказали истинную услугу, мой дорогой Маркс, написав Ваше хорошее письмо от 28 декабря. Ваше мнение о сочинении Прудона своей точностью, ясностью, а главное—тенденцией к действительности доставило мне большое наслаждение. Мы так часто склонны теряться в ложном блеске абстрактной мысли, мы так часто подвергаемся искушению рассматривать мишурные создания мозга, поглощенного исключительно собою, как последнее слово науки и философии! И дружеский голос, раздающийся тогда над вами и приводящий вас опять к экономическим и историческим фактам, показывающий их вам в их действительном развитии,—развитии, имеющем совсем другое значение, чем фиктивное развитие чистых категорий и логических противоречий,—голос, подрывающий в самых его основах сложное здание системы вне жизни, истории и настоящей науки,—такой голос заслуживает всей нашей благодарности за то целительное действие,

¹⁾ В «Московском Некрополе» (издание великого князя Николая Михайловича, Спб. 1908, стр. 213—15) названо несколько Толстых, умерших в Москве в семидесятых годах, но ни об одном из них мы не нашли каких-либо сведений, указывающих на знакомство с Бакуниным или Анненковым. Остается ждать, пока какой-нибудь исследователь не получит доступа к бумагам Анненкова. Несомненно также, что и в бумагах Николая Тургьева, переданных теперь в академию, найдены будут письма Толстого.

которое он производит. Вы совершенно искупили свое долгое молчание, мой дорогой Маркс. Я все время перечитываю Ваше последнее письмо. Но Ваша снисходительность, с которой Вы мне ответили на первые мои вопросы, дает мне смелость обратиться к Вам еще с другими вопросами. Впервые, признавая всю произвольность прудоновской классификации экономической эволюции, считая совершенно иллюзорным его способ побивать практику теорией и *vice versa* (заколдованный круг, от которого можно заболеть),—мне все же хотелось бы знать, не заслуживает ли критическая часть его сочинения гораздо большего внимания. Разбор некоторых положений официальной политико-экономической школы отличается такой доказательностью и силой, что значение его прекрасно сознается всеми, на кого Прудон попал. Так, удары, которые он нанес доктрине Л. Блэза, произвели здесь сильное впечатление и дискредитируют ее навсегда. Уже этого одного достаточно, чтобы признать его книгу очень полезным делом по отношению к Франции, но он сделал еще больше: он осмелился сказать нации, которая в своих самых революционных мечтах не идет дальше 93 года и режима Робеспьера, что всякое правительство, изолирующееся в государстве, безразлично. Именно этим объясняется *conspiration de silence*, жертвой которой Прудон теперь является. В силу молчаливого соглашения все партни сговорились не упоминать ни одним словом о его труде, но ненависть и ярость прорываются даже в стараниях скрыть их. В этом одиночестве Прудона есть своего рода величие. Вы знаете, мой дорогой Маркс, что нужно иметь права, и очень большие, чтобы быть ненавидимым. Из этого я делаю вывод, что книга Прудона, не представляя ничего крупного в области прогресса экономических идей, имеет все же значение в области политики, воспитания и тенденций буржуазии во Франции.

«Мне нечего повторять Вам, с какими нетерпением я жду Вашего сочинения. Только с большим трудом я могу побороть в себе желание предложить Вам несколько вопросов о коммунизме. Правда, для меня они имеют экстраординарное значение и важность. Чаще, чем когда-либо, я задаю себе вопрос, не предполагает ли коммунизм принесения в жертву некоторых выгод, доставляемых цивилизацией, отречения от некоторых прерогатив личности, приобретенных с таким трудом, наконец, высокого уровня всеобщей этики, трудно достижимого. Он, правда, хорош даже и в

этом смысле, но он перестает тогда быть необходимым продуктом человеческого развития. Его нужно прививать, и он, таким образом, подвергается всем рискам, с которыми сопряжены всякие опыты, всякое новшество, принудительно вводимое в данном обществе. Некоторые возражения Прудона все еще всплывают в моей памяти, но я чувствую, что все это мелочно... Я предоставляю вполне на Ваше усмотрение—дать или не дать мне объяснения по этому поводу.

«Простите милостиво эту длинную пеленку и примите еще раз мою горячую благодарность за драгоценные указания в Вашем последнем письме.

Весь Ваш П. Анненков».

6 января 1847 года, Париж.

И подумать, что это восторженное письмо—Анненков не хочет мряться даже на Робеспьер!—писано тем самым автором, который с презрительным сожалением писал после о Сазоове, что он «разделял эксцентрические планы заграничных партий и их несбыточные надежды» 1). Ясно, что именно такие письма дали Марксу повод писать, что русские аристократы носили его на руках. Но, чтобы оценить по достоинству легкость, с которой наш «турист» порхал с одного принципа на другой, нужно прочитать еще его письма, писанные им в промежуток от 8 ноября 1846 года до 23 декабря 1847 года для своих соотечественников 2). Правда, уже и в письме к Марксу, в котором Анненков так смакует повесть «Слакомство», в заключении ясно выглядывает убогий филистер. Еще более льстивый характер посит последнее письмо Анненкова к Марксу.

«Я уже несколько раз хотел Вам писать, но, потеряв Ваш адрес, не мог сделать этого. Наконец, мне удалось получить его от Гервега, который теперь болен и просит меня передать Вам, чтобы Вы ему простили его долгое молчание. Я также рассчитываю на Ваше великодушие, и оба мы надеемся на Вашу доброту: как говорят, прощать другим очень приятно.

«Я возвратился в Париж через Франкфурт, Страсбург и т. д., и это лишило меня удовольствия вновь повидать Вас в Брюсселе.

1) «Идеалисты тридцатых годов» и «Литературных воспоминаниях». Спб., 1909, стр. 85.

2) Они перепечатаны в сборнике «Анненков и его друзья»; Спб., 1892.

«Устроившись в Париже, я принялся за свои обычные труды, т. е. тяжкие поиски какого-нибудь занятия. Иногда мне удается заполнить эту пустоту честно, но чаще всего я, после напрасных стараний, опускаю руки. Не правда ли, мой дорогой Маркс, гений современной цивилизации очень беден и очень скуп, если он не в состоянии дать мне ответа, когда я прошу у него развлечений. Иногда он внушает мне жалость.

«Именно в эти моменты душевного упадка и скуки я думаю о тех моих друзьях, которые умеют так хорошо, как Вы, мой дорогой Маркс, заполнять свое существование. И я объясняю свою лень их деятельностью: природа хотела равновесия, компенсации. И я тогда становлюсь в своих глазах таким же необходимым и почтенным существом, какими, действительно, являются все выдающиеся люди. Без слабости нет силы, и без бездельников нет воздаяния за услуги труда. Я приглашаю Вас не лишать меня подобного утешения и работать много, много, мой дорогой Маркс.

«Я еще не имел Вашей брошюры о Прудоне в его доктрине, ибо единственный экземпляр, известный мне в Париже, принадлежит Гервегу и гуляет по рукам. Когда придет моя очередь, я прочту ее самым внимательным образом.

«Мой дорогой Маркс, будьте так добры передать госпоже Маркс чувства глубокого почтения и уважения, которые она внушает всем, имевшим счастье познакомиться с нею и видеть ее хотя бы один раз.

«Жму вам руки. В ожидании ответа, остаюсь весь Ваш

8 декабря, Париж.

П. Аннемков.

Если в 1847 году «слабые люди» играют еще служебную роль в экономике природы, если они играют роль рамки для «сильных» людей, то в 1859 году наш «русский человек на rendez-vous» возводит их в перл создания. Но уже и в 1847 году он лобуетея на свою «слабость» и кокетничает ею, хотя и в шутку жалуется, что «гений современной цивилизации» доставляет ему слишком мало развлечений, слишком мало щекочет его притупленные нервы.

Судьба скалилась над ним. Грянула февральская буря, но наш любитель сильных ощущений, после целого ряда неприятностей,—в том числе и обыска, произведенного у него по подозрению в том, что он состоит агентом русского правительства,—

предпочел вернуться под сень родных пенатов и выкинуть всякие бредни из своей головы.

«С возвращением моим в Россию, в октябре 1848 года, прекратились и мои сношения с Марксом и уже не возобновлялись более. Время надежд, гаданий и всяческих *аспираций* тогда уже прошло, а практическая деятельность, выбранная затем (1) Марксом, так далеко убегала от русской жизни вообще, что, оставаясь на почве последней, нельзя было следить за первой иначе, как издали, посредственно и неполно, путем газет и журналов».

Во всех этих «жалких» словах верно только одно: сношения Анненкова с Марксом никогда более не возобновлялись. Мы выше уже высказали предположение, что еще весной 1848 года Маркс должен был разойтись с Анненковым, но последний предпочитает валить с больной головы на здоровую. Его «коммунистический» экстаз связан был с «временем надежд и аспираций». Новое время—новые песни, и Анненков, с непринужденностью тех политических фреголи, которых русская земля «являет» и «рождает» в таком огромном количестве, совок с себя новый костюм, чтобы опять облечься в старые ризы. Что именно «делал» Анненков на «почве русской жизни», мы уже знаем и можем ему верить, что у него не было тогда никакого побуждения возобновить «заочную беседу» со старым другом. Но то обстоятельство, что ни в одну из своих позднейших поездок за границу (в 1858, 1860 и 1862 годах), ни в течение 15 лет (1867—1883), проведенных им в Дрездене ¹⁾, эти «заочные беседы» ни разу не повторялись, показывает, что были еще другие причины, в силу которых сношения его с Марксом прекратились. Вспомним, что только Тургенев, ценивший в Анненкове его бесспорное эстетическое чутье, оставался с ним в дружеских отношениях ²⁾, что так же «далеко убегала

1) Маркс умер 14 марта 1883 года, Анненков — 20 (8) марта 1887 года.

2) Некрасов посвятил этой дружбе следующую эпиграмму:

За то, что ходит он в фуражке
И крепко бьет себя по ляжке,
В лем наш Тургоев все замашки
Социалиста отыскал.
Но не хотел он верить слуху,
Что демократ сей черств по духу,
Что только к собственному брюху
Он уважение питал.

от русской жизни» нашего сибарита и практическая деятельность, выбранная остальными героями «замечательного десятилетия». Могли быть и другие причины, на которые намекает необыкновенно резкий тон примечаний Маркса. Но о них можно только догадываться. Анненков, правда, никогда не скатывался так низко по наклонной плоскости, как его закадычный друг В. П. Боткин, но он вполне заслужил приговор Маркса. В шестидесятых годах всякие «аспирации» были уже совершенно чужды ему, и даже «заочные» беседы с «сильными» людьми могли бы только нарушить безмятежную жизнь нашего «слабого» человека.

IX

Мы только что упомянули о Боткине. Еще в 1897 году, когда г. Струве занимался «оправданием» нашего капитализма и приглашал к нему на «выучку», он, в поисках за «легальными» предшественниками своего «легального» марксизма, наткнулся на письма В. Боткина к Анненкову и, опираясь, между прочим, на показания этого «достоверного и добросовестного свидетеля», сделал попытку превратить Боткина в родоначальника русского марксизма. «С удивительной научной прозорливостью,—без особенно напряженной работы мысли, а скорее благодаря какой-то гениальной интуиции,—он частью, быть может, предвосхищал, частью схватывал на лету важнейшие социологические обобщения, до которых дорабатывалась европейская наука в лице французских социалистов (Сен-Симона и сен-симонистов) и французских историков (Тьерри и др.) и великих немецких теоретиков социологии, Штейна и Маркса»¹⁾.

Что же именно привело г. Струве в такой восторг? Несколько мест в «Письмах из Испании» и, в особенности, в письмах Боткина к Анненкову, в которых указывается на значение «экономического фактора» и защищается западно-европейская буржуазия «против нападков наших славянофилов и Герцена». В восклицании Боткина: «дай бог, чтобы у нас была буржуазия», г. Струве, этот классический «турист» нашей публицистики, с радостью узнал свое «пойдем на выучку к капитализму». Сердце сердцу весть дает, и Струве поспешил, от имени «легального» марксизма, «род-

¹⁾ П. Струве, На разные темы. Спб., 1902, стр. 106.

ными счесть» с действительным предком нынешних Гучковых. Чувствуя, однако, что «гениальные прозрения» Боткина как-то мало вяжутся со всей духовной физиономией этого писателя, он уже на следующей странице отнимает у Боткина «удивительную научную прозорливость» и старается объяснить «гениальную интуицию» своего духовного прадеда более простым путем.

«Быть может, гениальные прозрения Боткина не были самостоятельными проблесками его критической мысли, а являлись навеянными личным общением с знаменитым немецким социологом (или его литературными произведениями), с именем которого они связаны в истории европейской науки. Кто знает? Об отношениях Боткина к Марксу нам ничего не известно».

Мы уже приводили выше слова Руге о Боткине и его отношениях к немцам. Но Боткин бывал в Париже и до 1844 года. В первый раз он попал в Париж еще в 1835 году. Тогда пылкий романтик, он не замедлил посетить Виктора Гюго, от которого даже получил бумажку с надписью: «*Qui sperat vivit*». Италия окончательно убедила его, что «средние времена ближе его сердцу». Характерно, что свои воспоминания о Риме он написал после появления «Рима» Гоголя. В 1842 году он уже вступает в борьбу с «романтикой» и становится на сторону «духа нового времени». Он принимает на себя обзор текущей германской литературы. 29 декабря 1842 года он жалуется Краевскому: «Вот, например, теперь читаю я немецкое сочинение чрезвычайно умного немца Штейна о социализме и коммунизме нынешней Франции. Книга во всех отношениях превосходная. С удивительным вниманием наблюдает он биение внутреннего пульса нового французского общества, анализирует и излагает его с глубиной и тактом человека, стоящего на вершине современной цивилизации—я, несмотря на все мое желание, на новизну предмета для русской публики, нельзя сказать ничего об этой книге»¹⁾.

Итак, знакомство Боткина с творением *soi-disant* «великого» теоретика социологии Лоренца Штейна засвидетельствовано им самим. Ни о какой «удивительной научной прозорливости» тут не может быть и речи, и Боткин мог «без особенно напряженной работы мысли» заимствовать «социологические обобщения», которые, правда, и у Штейна являлись водянистым и многословным на-

¹⁾ *Вестник*, Ч. В. П. Боткин, «Новое слово», 1894 год, декабрь, стр. 61.

рафразом идей французских социалистов. Что же касается несомненных следов влияния Маркса, то они, по нашему мнению, объясняются лучше всего посредничеством Аненкова, который и был главным проводником этого влияния, мимолетного, как и многие другие увлечения такого, но очень резко выраженною Герцена, великого мастурбатора идей, искусства, политики и пр., как Боткина¹⁾.

В 1844 году, после своего неудачного романа, описанного Герценом в очерке «Базиль и Армаис», Боткин опять попал в Париж, когда там жил еще Маркс, и мог, конечно, встречаться с последним, но это знакомство было совершенно мимолетным, шляпочным. Весь образ его жизни в Париже исключал возможность сближения между ними. По словам Аненкова, Боткин тогда пустился во все тяжкие. Он предался всей сексуальной жизни, окунулся в самый омут парижских любовных и всяческих приключений, дополняя их раздражающими впечатлениями искусства, в котором кропотливо рылся, отыскивая тончайшие черты произведений, что было видоизменением того же культа сексуализма, которому он предался. Он отрывался от него по временам, чтобы освежить голову от хмеля одуряющих наслаждений, и возвращался к ним с еще большей энергией. Плодом таких *гигиенических* перерывов» (так Аненков называет неприятные последствия эротической «тревоги», которой охвачен был тогда Боткин) «была его поездка в Испанию и прекрасная книга, за ней последовавшая».

«Из того же источника,—прибавляет глубокомысленно Аненков,—пронскакали к его заплатам социальными и политическими вопросами, в которых он с изумительной прозорливостью открывал и потом преследовал малейшие черты скрытого идеализма, замаскированной чувствительности и мечтательности, сделавшихся теперь предметом его ожесточенной ненависти».

Таким же «гигиеническим перерывом» послужило для Боткина трехмесячное путешествие, летом 1846 года, по Тиролю и Ломбардин, совершенное им вместе с Аненковым, который тогда находился еще в периоде восторженного увлечения Марксом. Новый

¹⁾ Из письма Герцена к Тургеневу. См. «Письма Кавелина к Тургеневу и Герцену», Женева, 1892, стр. 189. Герцен прибавляет: «Они смотрят на мир, как старик на похавые изображения, в влекутся к силе, как все слабое, дриблов».

прозелит марксизма не преминул, конечно, рассказать своему другу о последнем откровении, о борьбе Маркса с немецкими истинными социалистами, не понимавшими значения буржуазии, промышленных кризисов и т. д., и т. д. Достаточно сравнить раздел третьей главы о социалистической и коммунистической литературе в «Манифесте» Маркса и Энгельса, чтобы узнать все «гениальные прозрения» Боткина: все цитаты из его писем относятся ко времени *после* этого путешествия и понятны только как отголосок и продолжение бесед с Анненковым. «Схваченную па лету» новую премудрость, перевирая ее и подменяя плоскими афоризмами из Штейна, он преподносит теперь с апломбом своим московским и питерским друзьям. Из «того же источника» ведут свое происхождение его критические замечания по поводу писем Герцена из avenue Maigny, этой новой вариации на старые темы немецких «истинных социалистов» с их традиционными анафемами против либерализма, против представительного государства, против буржуазной конкуренции, буржуазной свободы печати, буржуазного права и т. д., и т. д. И это же отраженное и преломленное в мозгу Анненкова влияние Маркса мы встречаем в замечаниях Белинского, с которым Анненков провел почти все время его заграничного путешествия в 1847 году, с той только разницей, что у Боткина оно уже к концу 1847 года совершенно улетучивается и превращается в такую же пародию на марксизм, как и «глубокие» прозрения многих наших «легальных марксистов» девяностых годов. Новое «практическое направление» Боткина и его вражда ко всему противоположному,—то, что Анненков называет его враждой против «скрытого новализма»,—вызывает отвращение еще у Белинского. А затем Боткин начинает «смаковать» Карлейля и Шопенгауэра, пишет после доносы на «Современник» и «Русское слово», обещает Фету иллюстрировать его разбор «Что делать» рядом «коммунистических эпизодов», «коих он был свидетелем в 1848 году»¹⁾, и, наконец, умирает в экстазе гастрономической «тревоги».

В начале статьи мы сказали, что попытка определить круг тех «русских аристократов», с которыми мог встречаться Маркс в сороковых годах, дала бы также материалы для решения вопро-

1) Боткин в 1848 году не был в Париже.

са, существовало ли еще в сороковых годах какое-нибудь непосредственное воздействие идей Маркса на эволюцию нашей общественной мысли.

Мы можем теперь ответить, что такое влияние действительно имело место, но оно оставалось чисто индивидуальным и кристаллизовалось только в случайных заявлениях. Оно не вошло определенным звеном в дальнейшее развитие русской общественной мысли, и никакой идейной преемственности между «марксизмом» Анненкова и Боткина и современным нет и не может быть. И если существует несомненное духовное сходство между этими «вечными мастурбаторами» политики, идей, искусства» и современными Струве, то это скорее сходство, отличающее всех «туристов» как сороковых, так и девяностых годов.

Родоначальником русского марксизма нельзя назвать и Сазонова, несмотря на то, что это единственный представитель сороковых годов, на которого «Коммунистический манифест» оказал влияние уже в 1848—1849 годах. Его «подпольная» деятельность протекала далеко от русла российской действительности и вряд ли оказала какое-нибудь воздействие на людей шестидесятых годов¹).

Знакомство Маркса с людьми сороковых годов остается только любопытным эпизодом в истории «западного влияния в русской литературе».

Понадобились еще долгие годы мучительной общественной и политической эволюции, пока в России созрели условия для восприятия основных идей марксизма. Прошло также немало лет, пока сам марксизм вышел из стадия, в которой эти основные идеи только намечались, как руководящая нить теоретической и практической деятельности, пока он превратился в стройную систему научного социализма и дал, с одной стороны, в «Капитале», а с другой—в Интернационале решение главных вопросов теории и практики социальной революции.

Но, кроме материальных элементов, созданных только после 1861 года, со времени «освобождения» крестьян, для акклиматизации такого «чуждого» растения, как марксизм, необходимы были

¹) Встречался ли с Сазоновым в конце пятидесятых годов в Париже Шелгунов, Благосветлов, Колбасин, М. Михайлов? Опубликованные мемуары не дают ответа на этот вопрос.

интеллектуальные предпосылки, подготовленные эволюцией русской общественной мысли. Беллинский и Герцен *сороковых годов*, никогда не встречавшиеся с Марксом, но прошедшие вместе с ним общую подготовительную школу, Чернышевский и Добролюбов, побывавшие с ним в школе Фейербаха, Фурье и Оуэна, Бакунин второго периода своей деятельности и «народники» семидесятых годов,—все они теоретически и практически приближали время, когда развившееся в условиях «гнилого Запада» учение «немецкого еврея» стало знаменем величайшей эпохи в историческом развитии «самобытного» русского народа.

ДВЕ ПРАВДЫ

НАРОДНИЧЕСТВО И МАРКСИЗМ

I.

«Должна ли Россия начать с разрушения сельской общины, переходя к капиталистическому строю (как хотят либеральные экономисты), или, напротив, она может усвоить все плоды этого строя, не переживая сопряженных с ним мучений и развиваясь сообразно своим собственным историческим данным?» (Маркс).

Этот вопрос, в сороковых годах расколовший нашу интеллигенцию на «наших» и «не наших», на славянофилов и западников, в шестидесятых годах решавшийся в «замечательных статьях» «великого русского ученого и критика», был поставлен на практическую почву в семидесятых годах и наложил на них свою яркую печать.

Пути крепостного права были порваны. Россия освободилась от страшного кошмара, мешавшего ее свободному развитию. Она могла теперь начать жизнь на новых началах, не имеющих ничего общего с проклятой памятью прошлым. В ее распоряжении был «лучший шанс, когда-либо данный народу историей», чтобы избавиться от мук и страданий, которыми куплена была западно-европейская цивилизация.

Даже для «несомненного марксиста» «Положение» 19 февраля было лебединой песней старого процесса производства. Оно мешало, по его мнению, приложению капитала к земле, исполнению его исторической миссии, потому что наделило производителей орудиями труда. Конечно, «Положение» имело свои недостатки, но все-таки принцип манифеста, наделение крестьян землей, «стоял в безусловном противоречии с принципом, на котором эждется хозяйственный строй западно-европейских государств». Толь-

ко после этого «Положения» уже начинается борьба двух хозяйственных форм 1).

Но, как известно, нет событий без следа.

Прошедшее — прискорбно или мило —
 Ни личностям доселе никогда,
 Ни нациям с рук даром не сходило.

То, что казалось лебединой песнью народного хозяйства, оказалось «песнью торжествующей любви» капиталистического строя, зародившегося и развившегося в недрах не «народного производства», а того социально-экономического уклада, который лучше всего характеризуется названием — «капитализм на барщинной основе».

«Положение» осыатило принцип индивидуального владения орудиями производства и лишь против воли допускало существование общинного владения одним из них, стараясь, поскольку это возможно было, уничтожить и этот остаток старины. Оно не *наделило* крестьян землю, а, вернее, *обделило* их: оно в значительной степени сократило их наделы и лишило их пастбищ, лесов и лугов, создав, таким образом, все условия для быстрой, «ненасильственной» экспроприации крестьян. За оставшуюся в их владении землю оно принудило их платить непомерно-большие выкупные платежи, включавшие, в замаскированной форме, и выкуп личной зависимости. Оно создало нищенский даровой падел. *Sans phrases* обезземелило оно около 3 миллионов дворов и «забыло» наделить землю уральских горнозаводских рабочих.

Пореформенная Россия была, таким образом, кровным детищем, плотью от плоти и костью от кости, России до 61 года. «Место» для капиталистической формы не только «было»: палицо уже имелись все условия для пышного расцвета западно-европейских капиталистических отношений, так что подлинная научная мысль могла констатировать полное разложение крестьянского хозяйства через какие-нибудь 10 лет!

Но то, что теперь, 30—40 лет спустя, ясно видно нам, современникам представлялось в ином свете. Для них Россия являлась богатырем, только что сбросившим свои оковы; она могла теперь сознательно выбрать ту дорогу, которая наиболее соответствовала интересам народа.

1) *Николай — он*. Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства.

Средь мира дольного
Для сердца вольного
Есть два пути.
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую,
Каких путей?

Нашему богатью оставалось «сравнить» эти «два пути» и сделать выбор. А выбор был, казалось, нетруден. «Там, в странах наиболее цивилизованных, землевладение, капитал и труд отделены друг от друга весьма резко, чем органическая теория и удовлетворена. У нас этого нет. Подавляющее большинство населения России состоит из землевладельцев-земледельцев. В Европе обрабатывающая промышленность вся сконцентрирована в городах. У нас огромная доля ее не отделилась от сельской промышленности и не выходит из деревни. У нас мужик, если и работает на фабрике, то, тем не менее, имеет свой клочок земли, к которому и возвращается летом и в минуты невзгоды. В Европе этого нет, потому что и мужика там настоящего не везде можно сыскать. У нас безземельный рабочий есть исключение, тогда как в наиболее цивилизованных странах Европы дело устроено самым органическим образом, и такого явления, как землевладелец-капиталист-рабочий, там давно уже нет. Вместе с тем Россия есть страна неразвитая, бедная капиталами и талантами. В виду всего этого возможны две диаметрально противоположные политические программы. Можно требовать для России повторения истории Европы в экономическом отношении: отнять у мужика землю и отправить его на фабрики, свести всю обрабатывающую промышленность в города, а сельскую предоставить мелким или крупным землевладельцам-неземледельцам. Таким путем различные общественные функции обособятся. Но можно представить себе и другой ход вещей. Можно представить себе поступательное развитие тех самых экономических начал, какие и теперь имеют место на громадном пространстве империи. Это будет, разумеется, опыт небывалый, но, ведь, мы и находимся в небывалом положении. Мы представляем собою народ, который был до сих пор, так сказать, прикомандирован к цивилизации. Мы владеем всем богатейшим опытом Европы, ее историей, но в то же время сами только одаренная цивилизация. Наша цивилизация возникает так, повсюду,

что мы успели вдоволь насмотреться на чужую историю и можем вести свою собственную вполне сознательно,—преимущество, которым в такой мере ни один народ в мире до сих пор не пользовался» (Н. Михайловский, Сочинения, т. I, стр. 806—807).

Наивно, не правда ли? У нас теперь вошло в моду—о, мы умудрены опытом!—смеяться над семидесятниками за их безумные попытки «поворотить назад колесо истории». Но этот смех доказывает безусловную неспособность стать на историческую точку зрения. «Мы», конечно, поступили бы иначе, но, к сожалению, «нас» тогда не было, и поколению того времени приходилось решать этот вопрос на основании данных своего времени, сквозь призму данного исторического момента. Они не убаюкивали себя оптимистическими надеждами, «что положение нашего рабочего не имеет ничего общего с западным пролетариатом, а потому за будущность России нечего бояться»¹⁾. Они были твердо убеждены, что стоит сложить на пустой груди ненужные руки, и «Россия потеряет лучший шанс, который когда-либо давала народу история, чтобы пройти, вместо того, через все роковые последовательные изменения капиталистической системы».

Не насмешку, не презрительное сожаление, а только глубокую грусть могут вызвать следующие слова, в которых слышится стоиц целого поколения, погибшего в борьбе с неумолимым фатумом: «Пусть это в самом деле роковая ошибка и бесполезное безумие, напрасные усилия остановить непререкаемый ход истории, который все равно возьмет свое и безжалостно измолотит все, ему противящееся... в истории вовсе нередки случаи, когда люди бывают роковым образом осуждены на бесполезное противодействие ясно обозначившемуся и далеко подвинувшемуся историческому процессу. И это не из упрямства, а по тому же убеждению, по кото-

¹⁾ «Спрашивается, где основания такого оптимизма? Разве европейский рабочий в свое время не был в таком же положении, в каком теперь еще находится наш? И разве не прогресс промышленности выбил его из этой колеи? Пусть нам докажут, что европейский рабочий никогда не был собственником земли и орудий производства, самостоятельным хозяином» (Н. Михайловский, Сочинения, т. I, стр. 695). Характерно, что оптимизм этот был возведен в теорию г. В. В как раз тогда, когда уже была потеряна всякая надежда на «особый» путь для России. Н. Михайловский, сохранивший еще эту надежду, считал нужным в тогда восстать против этого оптимизма.

рому человек иногда бросается в воду спасать заведомо неподлежащего спасению утопающего с риском самому утонуть»¹⁾).

Они ошиблись, но субъективно они были правы. «Das war ein weltgeschichtlicher Irrtum, aber kein persönlicher. Ihr Untergang war daher tragisch». Эта трагедия ждет еще своего историка и художника. Началась она движением в народ и завершилась поражением Народной Волп. В течение двух десятилетий весь мир становится свидетелем единственной во всемирной истории героической попытки свернуть историю России с покрытого терниями и залитого кровью бесчисленных поколений западноевропейского пути и направить ее по пути, который должен был привести ее прямо в царство свободы, равенства и братства. Man hat sie gekreuzigt und verbannt... und Schweine genannt. И не нам, воспользовавшимся так дорого купленным опытом целого поколения, присоединяться к многочисленному хору тех, которые стараются забросать грязью это поколение титанов.

Мы не будем теперь следить за всеми перипетиями этой исполнинской борьбы. Мы отказываемся теперь и от соблазнительной задачи проследить отражение ее в так называемой легальной литературе, хотя волей-неволей нам придется коснуться этого вопроса. А в названной литературе Н. К. Михайловский бесспорно занимает первое место. В течение всех семидесятых и начала восьмидесятых годов к голосу дорогого «профана» страстно прислушиваются все те, из рядов которых рекрутировались *Gekreuzigte und Verbannte*. Вместе с ними он переживал все фазы этого героического времени и, послушный зову его, верно отражает в своих статьях всю многосложную историю бурного периода. Но почему же именно он явился выразителем дум и стремлений лучшей части нашей молодежи, где секрет этой необычайной любви, в чем искать разгадку этой удивительной entente между читателем и писателем и где причины того разрыва, который начался уже в восьмидесятых годах и так резко обозначился в девяностых?

Мы не намерены теперь разобрать всю литературную деятельность Н. Михайловского. Многого нам придется коснуться лишь мимоходом. Теперь он нас интересует больше как публицист. Но эта сторона его деятельности была бы мало понятна без маленькой исторической справки.

¹⁾ Н. К. Михайловский, Литературные воспоминания и современная смута т. I, стр. 345 — 346.

II

Литературная деятельность Н. Михайловского началась очень рано, еще в 1861 году, но место одного из лидеров общественной мысли он начинает занимать только с конца шестидесятих годов. Sturm und Drang период нашей литературы «эпохи великих реформ» закончился в 1862 году. «Современник», так удачно служивший выразителем стремлений «крайней левой», изменил свою физиономию. «Эпигоны» далеко не оказались на высоте своей задачи.

Великое дело освобождения народа, которому страстно и верно служил «Современник» 1857—1862 годов, так или иначе было окончено.

«Современнику» оставалось только, путем всякого рода компромиссов, отстаивать уже «взятое в жизни» и бороться, подчас в самой аляповатой форме, с новым настроением среди молодежи. Верный своим прежним традициям, «Современник» и теперь уделял много места «внутренним вопросам», но все это сдабривалось значительной долей оппортунизма, которого следа не было в старых статьях Добролюбова и Чернышевского. Внимательно следя за западно-европейской жизнью, он продолжал знакомить русскую публику с рабочим движением на Западе и в любопытном предисловии к переводу лассалевской речи «Об особенной связи» и т. д. уже делал попытку перелицовывать ее на русский манер. На его же страницах была сделана попытка вычислить, как велик долг цивилизованных классов народу. Но «дух жив» отлетел от журнала, и только отдельные личности из молодого поколения сохранили старые симпатии к журналу.

Огромная же часть молодежи группировалась вокруг «Русского слова».

После крестьянского вопроса на сцену явился новый вопрос — «вопрос молодого поколения» и, как часть его, «женский вопрос».

Из разоренных мелкопоместных и среднепоместных усадеб потянулись в город целыми вереницами «подростающие силы» в поисках за «своим хлебом». Настало «трудное время» для «мыслящего пролетариата». Вопросы общественные сменяются вопросами личными. «Общество» отходит на задний план. Оно опять принимается за нечто «даиное», к чему остается только приспособить-

ся, чтобы принести возможно большую дозу пользы при данных условиях.

Вырабатывается особый кодекс жизни, из которого беспощадно выбрасывается все хоть сколько-нибудь напоминающее отжившую мораль «отцов». Отношения к женщине анализируются самым тщательным образом. «Мыслящего реалиста» не занимает вопрос, имеет ли он право на личное счастье. Это для него не подлежит никакому сомнению. Дебатировался только вопрос о формах, в которых оно наиболее достижимо, с точки зрения «экономии сил».

Вопрос о народе решается очень просто. Мы бедны, потому что глупы. Нужно доказать только «убыточность незнания». Дайте «мыслящему пролетарию» накопить достаточное количество «реальных» знаний, не накладывайте на его плечи бремени долга, и он «просветит» глупых, он рассеет ту тьму предрассудков, которая мешает нам на каждом шагу устраиваться рациональным образом.

Наиболее ярким выразителем этого течения среди публицистов «Русского слова» явился Писарев. В статьях блестящего стилиста рисовался в самых очаровательных красках «мыслящий реалист» с его идеалом: «знание, любовь и труд». И эти статьи действовали тем сильнее, они увлекали молодежь тем больше, что писались они в тюрьме. *Жизнерадостная проповедь личного счастья раздавалась из казематов Петропавловской крепости.*

И тщетны были старания «Постороннего сатирика»¹⁾ доказать, что идеал этот носит чисто индивидуалистический характер, отвечает лишь на вопрос, как устроиться на свете, чтобы тебе жилось хорошо. Вокруг имени Писарева начала уже образовываться легенда. Долго еще молодежь не могла вскрыть в его блестящих проповедях-импровизациях следы того умонастроения, которое, после его смерти, отлилось в такие отталкивающие формы. Она замечала в них только протест против устаревших форм жизни, она увлекалась проникавшим их оппозиционным духом. Это пестрое смешение проповеди индивидуалистических идеалов и инстинктивного протеста против существующего общественного строя вообще характерно для «Русского слова». Почти совершенно оставляя в стороне «внутренние вопросы», публицисты

¹⁾ М. Автопович.

«Русского слова» в разных формах познакомили молодежь с социалистическими учениями. Буржуазная политическая экономия, даже в лице ее лучших представителей, подвергалась самой жестокой критике (подчас удивительно комичной) будущего автора «Отщепенцев»¹⁾.

А в статьях П. Ткачева—странная ирония судьбы—молодежь впервые могла познакомиться со взглядами, «перенесенным в нашу литературу, как и все, что только в ней хорошего, из литературы западно-европейской. Еще в 1859 году известный пемецкий изгнанник Карл Маркс формулировал его самым точным и определенным образом»²⁾.

Наряду с этими двумя журналами незаметно прозябал совершенно невидный библиографический журнальчик «Книжный вестник», где «друг-учитель» Н. Михайловского, Н. Ножиц, в рецензиях на книги естественно-исторического содержания читал отходную социализму и восторженно приветствовал анархию, как наиболее идеальный строй общественной жизни, в котором окончательно исчезнет общественное разделение труда, корень всего зла.

Выстрел 4 апреля 1866 года, выстрел не «по реформам», как это думают наши либералы, а по реакции, навлек на литературу грозу. «Современник» и «Русское слово» погибли. За ними скоро последовал и «Книжный вестник».

В литературе, как и в общественной жизни, наступило затишье.

Но оно скоро было прервано. В 1867—1868 годах освобожденную Россию постиг такой голод, которого она не знала в самые темные периоды своей крепостной истории. Это был «гром с ясного неба».

Всполошилось правительство, учредившее комитет под председательством будущего «миротворца». Назначены были комиссии для исследования положения крестьянского хозяйства.

Проснулось и «общество».

1) Н. Соколов.

2) Примечание Ткачева: «Вот его подлинные слова: «Все совокупность отношений, касательно производства богатств (так переводит Ткачев Produktionsverhältnisse), образует экономическую структуру общества, основой базиса, на котором возвышаются в виде надстроек политические и юридические отношения». «Русское слово», 1865 год, 12 «Библиографический листок», стр. 31.

Либералы, опираясь на «факты», указывали на необходимость закончить прерванное на время, якобы под влиянием крайней левой, дело «великих реформ», заняться положительной работой.

Но особенно потрясающее впечатление произвел этот голод на молодое поколение. Перед «разночинцем» и «кающимся дворянином», с головой ушедшими в вопросы личного самосовершенствования, вдруг развернулась, с неотразимой наглядностью, картина народных бедствий и общего расстройтва.

«Мизерия» «десяти лет реформ» раскрылась воочию. Она подвергается беспощадной критике. «Слишком очевидны становятся всем вся пустота либеральных реформ и бесплодность либеральных усилий».

Быстро выясняется «недействительность легальных форм борьбы». Начинается оживленное обсуждение вопросов об отношении «личности» к «обществу». Вычисляется «цена прогресса».

Народ, который, казалось, после нескольких изолированных вспышек замолк, довольный материальными результатами «величайшей реформы», опять напомнил о себе.

Перед чуткой совестью молодежи поднимается вопрос: а имею ли право я, воспитавшийся на деньги народа, заниматься личным самосовершенствованием в то время, когда этот народ мрет от голодного тифа и цынги? На очередь ставится вопрос, как велик долг народу, и все поколение приходит к выводу, что оно — неплатный должник народа. Является потребность поближе познакомиться с этим народом, изучить его нужды и стремления. Положение народа становится предметом тщательного изучения¹⁾. Писаревщина отходит на задний план: из фазы развития общественной мысли она превращается в фазу индивидуального развития, из широкого общественного течения, наложившего свой отпечаток на целый период умственной жизни русского общества, она превращается в кружковое, провинциальное²⁾.

¹⁾ Всем известно, какую громадную популярность пользовалась в семидесятых и даже восьмидесятых годах книга *Флеровского*, Положение рабочего класса в России.

²⁾ Еще долго спустя вопрос о Писареве являлся «большим», «неразрешенным» вопросом. Ему были посвящены пользовавшиеся тогда такой известностью в кружках саморазвития статья *Н. Морозова* (*М. Протопопова*): Литературная злоба дня, в «Отечественных записках», 1877 год, I, п. ст. *И. Кольцова* (печальной памяти *Л. Тихомирова*): Неразрешенные вопросы, «Дело», 1881 год, I, в

Это брожение не могло, конечно, не отразиться на литературе. Основанное еще в 1867 году «Дело», сначала бывшее почти популярно-научным сборником, где Писарев мог писать только «Очерки из истории итальянских народов», в течение 1868 года превращается опять в живое периодическое издание с сильной революционной окраской. Первое амплуа занял П. Ткачев, соединивший в своих статьях «экономический материализм» вульгарного пошиба с крайним якобинизмом. В своей блестящей статье «Люди будущего и герои мещанства» он дает легальный пролог будущей нечаевщины с ее принципом: «цель оправдывает средства». Недолгой, однако, была на этот раз его литературная деятельность. Арестованный в марте 1869 года, он на несколько лет исчезает, чтобы появиться вновь в 1872 году, но уже автором значительно потускневших статей. «Дело» окончательно превращается в орган провинциальных юношей и девиц, пугающих своим радикализмом обомшелых отцов и матерей.

Некоторое время казалось, что руководящее место в журнальничке перейдет к «Неделе». Благодаря постоянно покойной Е. И. Конради, наиболее энергичной и образованной представительницы тогдашнего женского движения, редакция согласилась поместить на страницах журнала «Исторические письма» незадолго перед тем сосланного в Вологодскую губернию П. Л. Лаврова. В своих письмах, которые и в научном отношении представляли для своего времени выдающееся явление, наш незабвенный учитель «будил в учащейся молодежи чувство ответственности за невыносимые страдания народных масс, доводил ее идеализм до самой высокой степени и указывал ей дорогу деятельности»: подготовив из себя борца за народное освобождение, идти в массы, чтобы поделиться с ними своими знаниями и, разъяснив им причины их невыносимых страданий, звать их на борьбу против существующего порядка. Он научил молодежь уважать массу, тех незаметных героев человечества, которые не совершили ни одного яркого дела, но перед которыми, по историческому значению, ничтожны величайшие исторические деятели. «Они хранят в себе всю возможность будущего. В том обществе, где не было бы их, прекратился бы разом всякий исторический прогресс». И моло-

свое время неделявшая много шума. Обе статьи противопоставляют индивидуальным идеалам Писарева общественные идеалы Добролюбова и Чернышевского.

дежь откликнулась на горячий призыв. Как говорит современник, «сотни читателей были глубоко захвачены «Историческими письмами»: не прошло и года после их появления в отдельном издании, как в Петербурге, Москве, Киеве и Одессе стал формироваться тот легион революционных «борцов за прогресс», на которых возложил все свои упования усопший».

В той же «Неделе»,—и почти одновременно с «Историческими письмами»,—печатались исторические очерки Михайлова-Шеллера, «Пролетариат во Франции», долго еще после этого служившие революционной молодежи единственным источником для знакомства с французским движением. Г. Скабичевский, с тех пор значительно «поумневший», давал апологию Лассаля в своей статье «Герои голубинового полета», направленной против российских Шульце-Деличей.

Но недолго держалась «Неделя» на этой высоте. С уходом Конради редакция перешла к П. Гайдебурову, в руках которого «Неделя» превратилась в «гайдебуристый» и скучный журнал, по временам охватываемый манией сказать непременно «новое слово».

С переходом «Недели» под другую редакцию первое место в рядах радикальной печати¹⁾ окончательно переходит к «Отечественным запискам» (купленным Некрасовым в 1868 году). Вокруг этого журнала группируются лучшие литературные силы, и он становится центром тяготения наиболее отзывчивой и радикальной части нашей молодежи. «Отрицание и критика буржуазного строя и либерализма... принимает в нем крайне острый, напряженный характер. Социалистические симпатии, с одной стороны,

¹⁾ Были, конечно, в то время и другие журналы, в которых старалась найти себе убежище крайняя левая. Так, в том же «Женском вестнике», который приютил «Растеряеву узницу» Успенского, Ткачев должен был излагать свои взгляды на значение экономического фактора в статьях о женском вопросе, а П. Лавров печатал статьи о господстве женщины в папском Риме или о французских салонах XVIII века и подвергал строгому критическому разбору философия Спенсера в статье по поводу его опыта «Воспитание умственное, нравственное и физическое». Как последняя статья, так и статья того же автора «Задачи позитивизма и их решение», напечатанная в скоро прекратившемся «Современном обозрении», оказали сильное влияние на Н. Михайловского и В. Лесевича, бывших до того времени правоверными позитивистами. Но и эти журналы, и основанный разошедшимся с Н. Некрасовым сотрудником «Современника» Ю. Жуковским и М. Антоновичем «Космос» не удержались долго на литературном горизонте.

вопиющие факты заграничной жизни, ярко иллюстрирующие «систему наибольшего производства», с другой, бесповоротно решают отрицательное их отношение к буржуазному типу общественной организации и к нравственно-политической доктрине его — либерализму. Либерализм подвергается тщательной критике с различных точек зрения и по самым разнообразным поводам... *Резко разграничение интересов общества от интересов народа, как рабочей массы,* — вот тот неизменный основной критерий, с точки зрения которого рассматриваются, исследуются и освещаются все более или менее крупные общественно-экономические явления. Таким образом, социалистические симпатии, если не социалистическое мировоззрение, служат, несомненно, той высшей инстанцией, в которой они апеллируют всякий раз, когда представляется затруднение при решении или постановке той или иной социальной проблемы» («Воспоминания землеольца») ¹⁾. Мужик-народ стал центральной фигурой всего журнала. Нигде не отразилась так ярко, как в этом журнале, идея долга народу. «Она составляла тот общий фон, на котором рисовались узоры лирики, беллетристики, критики, философии, истории, экономики и политики». Но и в этом журнале всего ярче отразилась эта идея в статьях Н. Михайловского.

III

Вопрос «что делать?» был решен. Нужно работать для народа. Но как делать это? Как разобраться в многосложном переплете общественных явлений? Как отделить истинное от ложного? Как примирить неумолимые требования науки с нравственным чувством ответственности за свое положение? Как соединить истину и справедливость в одно неразрывное целое?

Прошлое оставило нам в наследство целый ряд слов и девизов, за которыми, казалось, скрывалось богатое содержание. Свобода, равенство и братство, национальное богатство, прогресс — десятки лет люди боролись во имя этих слов — и что же? Национальное богатство — это только лицевая сторона народной нищеты; свобода оказалась свободой умирать с голоду; прогресс подни-

¹⁾ «Материалы для истории русского социально-революционного движения». Статья *Лаерова*, Народники 78 — 79-х годов.

гался убийственно медленным шагом и покушается такой дорогой ценой, что невольно является вопрос: а не лучше ли было бы без него? В душе разгорается «лютая необузданная вражда» к существующему, все существо охватывается «страстью разрушения». Не нужно нам науки, купленной кровью и муками целых поколений! «Для нас мысль дорога только, поскольку она может служить великому делу радикального и повседневного разрушения. Но ни в одной из ныне существующих книг нет такой мысли. Кто учится революционному делу по книгам, будет всегда революционным бездельником» (Бакунин).

А, с другой стороны, «представители либерализма воспились с теорией органического прогресса, медленного постепенного развития. Господа ученые и профессора проповедывали молодежи всемогущество науки, которая, сама собою, деятельностью своих адептов, улучшает постепенно общественные отношения» (П. Аксельрод в статье о Лаврове).

Мы имеем перед собой две доведенные до крайности попытки отделить «теорию» от «практики». С одной стороны, мы получаем «практика», человека «дела» *par excellence*, чистого голубя, которому нехватает «змеиной мудрости», а с другой—человека «слова», «теории», которому нехватает не только голубиной чистоты, но и элементарной чуткости, человека, не ведающего ни гнева на обидящих, ни жалости к обидимым. Всякий из нас, побывавший—а кто из нас не был?—в каком-нибудь кружке молодежи, знает, как часто встречаются эти два типа. Редко кто из нас на первых порах не ударился в одну из этих крайностей. И то херил теорию во славу дела, практики, то дело, практику, во славу теории, науки.

Всякая такая попытка оторвать «правду-истину» от «правды-справедливости», «правду теоретического неба» от «правды практической земли» всегда чревата опасностями. Мы рискуем, вместе с автором «Сущности христианства», «рассматривать, как истинно человеческую, деятельность теоретическую» или только деятельность «практическую» в узко-вульгарной форме ее проявления и никогда «не понять значения «революционной», практически-критической деятельности».

И среди семидесятников были люди, которым «благодарная житейская практика, самые высокие нравственные и общественные идеалы» представлялись всегда обидно-бессильными, если они от-

ворачивались от истины, от «науки». «Я никогда не мог поверить и теперь не верю,—говорит Н. Михайловский, в сочинениях которого наиболее ярко отразились стремления именно этой группы семидесятников,—чтобы нельзя было пойти такую точку зрения, с которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука об руку, одна другую пополняя. Во всяком случае, выработка такой точки зрения есть высшая из задач, какие могут представляться человеческому уму, и нет усилий, которые жалко было бы потратить на нее. Безбоязненно смотреть в глаза действительности и ее отражению, правде-истине, правде объективной, и в то же время охранять и правду-справедливость, правду субъективную—такова задача всей моей жизни. Не легкая это задача».

Задача эта действительно нелегка. Дальнейшая литературная деятельность Н. Михайловского показала, что выработанная им с таким трудом «точка зрения» оказалась не в силах связать правду теоретического неба с правдой практической земли и не один раз заставляла его в угоду одной жертвовать другой. Но нас теперь не интересует позднейшая фаза его литературной деятельности. Михайловский нас теперь занимает только как выразитель определенного течения среди молодежи семидесятых и начала восьмидесятых годов. Этой молодежи он был дорог именно потому, что в его сочинениях она находила систему правды, удовлетворяющую поставленным выше требованиям.

Какова же эта система правды? Постараемся изложить ее словами ее автора.

Система правды требует такого принципа, который: 1) служил бы руководящей нитью при изучении окружающего мира и, следовательно, давал бы ответы на вопросы, естественно возникающие в каждом человеке; 2) служил бы руководящей нитью в практической деятельности и, следовательно, давал бы ответы на запросы совести и нравственной оценки, опять-таки естественно возникающие в каждом человеке; и, наконец, 3) делал бы это с такой силой, чтобы прозелит с религиозной преданностью влекся к тому, в чем принцип системы полагает счастье.

Все умственные, все психические процессы совершаются в личности и только в ней; только она ощущает, мыслит, страдает, наслаждается... Всякие общественные союзы, какие бы громкие или предвзято симпатичные для вас названия они ни носили, имеют только относительную цену. Они должны быть дороги для

вас постольку, поскольку они способствуют развитию личности, охраняют ее от страданий, расширяют сферу ее наслаждений. Слова вроде: «общее дело», «общественные интересы», «общая польза» — отнюдь не должны вас смущать, потому что под этим флагом часто провозится коптрабанда.

Во избежание самообмана и обмана других эту бессознательность нужно ликвидировать. Пусть гордые люди либо сами поймут и другим откровенно скажут, чему именно они служат, либо изберут себе другой, высший предмет служения. Этим высшим предметом может быть не красота, не истина, не справедливость, а только человеческая личность, цельная и полная, в которой все эти отвлеченные категории складываются в живое единство. Для чисто теоретических областей человеческой деятельности этот критерий всегда ясен и удовлетворителен. Дело должно быть поставлено так. Умственный процесс совершается в пределах отдельного человека, личности. Пределы эти установлены, с одной стороны, природой, а с другой — историческим ходом вещей. Природные определения мы вынуждены брать, как они есть, не пытаясь их изменить.

Поэтому, прежде всего, мы должны выяснить, какие границы положены нашему уму природой. В этом именно состоит то, что обыкновенно называется теорией познания. Вот она в кратких чертах: человеку доступна только относительная правда, животное с иной организацией должно понимать вещи иначе. Правда, с точки зрения человека, не есть что-нибудь соответствующее природе вещей и обязательное для всех существ. Человек добывает элементы правды при помощи пяти чувств, а будь у него их больше или меньше, правда представлялась бы ему совсем иначе. Границ, отмеченных перстом природы, перешагнуть нельзя.

Правда, добытая всеми средствами, какие предоставляют эти конечные пределы человеческой личности, есть правда относительная; но практически она, пожалуй, безусловна для человека, потому что выше ее подняться нельзя. Но вот исторический ход вещей прибавляет к природным ограничениям человеческой личности еще свои особенные, общественные. Скажи мне, к какому союзу ты принадлежишь, и я скажу тебе, как ты смотришь на вещи. Поэтому, в сферах практических критериев человеческой личности, благодаря запутанности отношений, может повести к большим недоразумениям.

Надо найти в личности такой ее атрибут, такое свойство, которое было бы ей присуще именно как личности и не зависело бы ни от каких случайных определений. Такой атрибут есть труд, целесообразное напряжение личных сил... Таким образом, для практического обихода, да и не только для него, а в видах теоретической ясности, мы можем поставить в нашей первоначальной формуле, вместо личности, ее единственное проявление—труд, сознательный, целесообразный расход сил. При дальнейшем разотвлечении интересы труда превращаются в интересы народа. Народ—это такой общественный элемент, служение которому наиболее приближало бы нас к намеченной цели. Народ—в смысле не нации, а совокупности трудящегося люда. Труд—единственный объединяющий признак этой группы людей—не несет с собой никаких привилегий, служа которым мы рискуем услужить какому-нибудь одностороннему элементу: в труде личность выражается наиболее ярко и полно. Но служить—не значит прислуживаться. Служить народу—не значит потакать его невежеству или прилаживаться к его предрассудкам. Мы, «вверху стоящие, что город на горе», мы, богатые теоретическим знанием и чужим историческим опытом, должны стать на страже интересов народа, охранять их от поползновений заведомых врагов и тех лицемерных друзей, которые желают держать его в темноте невежества.

К такому результату мы пришли не рядом только холодных логических выводов. В нас говорит и щемящее чувство ответственности перед народом, неоплатного ему долга за то, что на счет его воловьей работы и кровавого пота мы дошли до возможности строить эти логические выводы. Мы должны поэтому с чистой совестью сказать: мы—интеллигенция, потому что мы многое знаем, обо многом размышляли, по профессии занимаемся наукой. искусством, публицистикой: слепым историческим процессом мы оторваны от народа, мы—чужие ему, как и все так называемые цивилизованные люди, но мы не враги его, ибо сердце и разум паш с ним. Сердце и разум—заметьте это сочетание. Это—не минутная вспышка сентиментальности, не те женские слезы, о которых говорится в песне, что они как роса: взойдет солнце, росу высушит. Если б чувство остыло или охладело под напором естественных дел и делишек, не поколеблется разум, а поколеблется разум—поддержит чувство.

Мы имеем теперь систему правды, ее обоснование и социально-психологические предпосылки. Ей трудно отказать в известной стройности. Всестороннее развитие личности (целостность неделимого), — труд, как основная функция личности, — интересы труда, как интересы личности, — интересы трудящихся классов, трудящегося люда, народа в смысле совокупности трудящихся классов, — вот различные звенья теории, старающейся связать воедино идеал с действительностью, отыскать в самой действительности такой общественный элемент, такую общественную группу, которая была бы наиболее заинтересована в осуществлении предносящегося нам идеала.

Не трудно указать и составные ингредиенты этой «системы» правды. Вошли в нее и антропологизм Фейербаха ¹⁾, и учение о самоотчуждающейся личности, вошло лассалевское построение идеи рабочего сословия, перелицованного на русский манер ²⁾, вошел и долг цивилизованных классов народу как главный импульс общественной деятельности. Вошли эти элементы большей частью бессознательно для самого творца системы, объединившего их в одно неразрывное целое. Специфически русская окраска этой комбинации заставила ее автора забыть, что элементы его системы были выработаны западно-европейской мыслью еще до 1844 года. Надо заметить, что и вообще зависимость нашей литературы от западно-европейской гораздо сильнее, чем это кажется иногда нашим «самостоятельным» мыслителям. С ними часто случается то же самое, что с тем молодым человеком, о котором говорит в своих воспоминаниях г. Михайловский. «Нынешний молодой человек уже воспитывается на многом из того, что в свое время стоило больших усилий и жертв. Он сам иной раз не знает, откуда за-

1) Через посредство Н. Чернышевского, П. Добролюбова и П. Лаврова.

2) «Все, что Лассаль говорил о рабочем сословии, мы переносили на крестьянство, являвшееся для нас нашим обездоленным «четвертым сословием». Мы особенно близко к сердцу принимали рассуждения Лассала о том, что рабочий, отдавшийся борьбе за интересы своего сословия, другими словами, за свои собственные интересы, совершает этим даже высокоправительственный акт, ибо служит делу общечеловеческого прогресса, так как в настоящую историческую эпоху рабочее сословие является носителем прогресса, подобно тому как буржуазия была прогрессивным элементом в прошлом веке» *Дебатырий-Мокриевич, Воспоминания*. Выпуск первый, стр. 14 — 15.

пала ему та или другая мысль, то или другое чувство, и не-мудрено, что ему иногда кажется, что он дошел до них вполне самостоятельно, что он первый возвещает известную истину».

IV

В изложенной нами системе был, однако, пункт, который еще в семидесятых годах вызвал ожесточенные споры между г. Михайловским и народниками—в том смысле, как это слово понимали тогда (П. Ч. и Юзов).

Конечно, интересы народа должны служить верховным критерием: «все для народа», но не рискуем ли мы в своей деятельности разойтись с «мнениями» народа? Как поступить в таком случае? Пойти ли нам наперекор «мнениям» народа и устроить его жизнь согласно нашим «мнениям» об его «интересах»? Не превратимся ли «мы», таким образом, в особую разновидность бюрократов, которые будут вершить судьбы народа по своему произволу? Не отвернется ли от нас народ, если мы не будем справляться с его «мнениями»? Не лучше ли действовать согласно с интересами людей, призванными и выраженными ими же самими, т. е. согласно также с их мнениями?

Этот литературный спор явился отражением другого спора, кипевшего среди революционной молодежи. «Все для народа»—на этом все сходились. Дальше начинались разногласия. Якобинская формула: «все для народа, но не через народ», особенно после злосчастного нечаевского опыта, вызвала почти всеобщее негодование. Недоверие «к здравому смыслу и воле народа», взгляд на народ как «на бессмысленную толпу, которою надо командовать», глубоко возмущали молодежь. Нет! «Все для народа и посредством народа», одинаково говорили и мирные пропагандисты и бунтари. Только революция, произведенная самим народом, имеет шансы на успех. Нужно лишь разъяснить народу его интересы, привести в согласие его «интересы» с его «мнениями», и дело народной социальной революции обеспечено. Об этом должна была позаботиться мирная пропаганда идей социализма в среде народа. На этой же точке зрения, в сущности, стояли и бунтари.

Но если мирные пропагандисты признавали возможность несовпадения «интересов» народа с его «мнениями», то бунтари шли дальше: они считали идеалы «рабочих масс» в России «согласными

в существенных основаниях с современным социализмом». «Мнения» народа находились, по их убеждению, в согласии с его интересами. Дело шло только о том, как лучше организовать народ, и такое средство они нашли в агитации на почве насущных, конкретных, созданных народом, потребностей. Такой взгляд легко было довести до абсурда. Это и было сделано. В нежелании навязывать народу свои мнения некоторые народники договаривались до самых реакционных вещей¹⁾. В легальной литературе это течение в различных своих фазах отразилось в статьях П. Ч. и Юзова. Последний особенно часто доводил до абсурда основную тенденцию старого народничества. И с таким противником нетрудно было справиться. Стоило только придраться к какому-нибудь курьезу, которыми изобиловали статьи автора «Основ народничества», и победа была одержана, а проклятый вопрос о согласовании «мнений» народа с его «интересами» оставался опять без ответа.

Восьмидесятые годы опять поставили его на очередь. Горький опыт деятельности для народа, но через народ, кончившийся так трагически, оживил старые народнические традиции. Их выразителем явился Яковенко в своем «Открытом письме г. Михайловскому» («В. С.», 1886 год). Это письмо и ответ Михайловского лучше всего разъяснят нам спор о «мнениях» и «интересах».

«Если вы хотите,—говорит Яковенко,—в действительности служить кому-либо или расплатиться с кем-либо, то вам надо действовать согласно с интересами этих людей, признанными и выраженными ими же самими, т. е. согласно также с мнениями их, а не подставлять вместо этих последних свое собственное понимание».

Все для народа и посредством народа! Но что же делать, если «мнения» этих людей не совпадают с нашими «мнениями» об их «интересах»? А как много таких случаев! Опять начать ту же сизифову работу? Продолжать работать для этих людей, не встречая в них ни отклика, ни сочувствия?

¹⁾ Среди русских революционеров попадались одно время единичные личности, которые не прочь были примириться и с «народным царем» — во имя «народничества». Но эта отрыжка славянофильской чепухи улетучилась, кажется, «совершенно в наших рядах». П. Аксельрод, Все для народа и посредством народа. Письмо в редакцию «Вольного слова», № 19.

И он с тоской обращается к учителю:

На проклятые вопросы
Дай ответы нам прамыс!

А учитель? Учитель на это отвечает ему длинным рассуждением о «ненавидящей любви».

«Если Иван любит Федору, которая велика, но любит ненавидящую любовью, потому что она дура¹⁾, то, бесспорно, его положение тягостно, он герой мучительной драмы; но выскочить из этой драмы одним ловким скачком он не может, закрывать глаза на свое положение не должен, а надо ему разобраться, в чем величие и в чем дурость Федоры, а затем направить все свои усилия к тому, чтобы уничтожить дурость и усилить величие. Тут, по только тут, и драме конец».

Ну, а если эта Федора упорно остается дурой, а если она упорно гонит от себя своих пылких поклонников и время от времени опарашивает их увесистым ударом, а то и в управу благочиния препровождает? Но этим не смугишь верных ее поклонников. Для ее счастья они готовы отказаться «от всех своих самых кровных и дорогих интересов, даже жизнью пожертвовать, готовы на позор, на преступление, все, что хотите». Но Федора все-таки дура и своих «мнений» изменить не хочет. Так не изменить ли нам *ronq ses beaux yeux* наши мнения? Ни за что. Как не любят они Федору, но отказаться ради нее от своего «мнения», спуститься до ее уровня—никогда.

«Можно самопроизвольно и, значит, под условием вменения в позор или доблесть, в грех или заслугу отказаться от тех или других своих интересов ради иных, чужих интересов, но отказаться от своих мнений невозможно».

А так как на изменение устроения Федоры очень мало надежды, то остается только признать, что, в сущности, вопрос о «мнениях» Федоры не так уже важен.

¹⁾ Этот непочтительный тон по отношению к Федоре особенно часто встречается у Глеба Успенского. Еще чаще он встречается у типичских народолюбцев «первого призыва». Это явление объясняется естественной реакцией против предшествовавшей идеализации. В то время наши легальные народники по поводу этих непочтительных отзывов поднимали такой же вопль (например, ст. *Л. Оболенского*, До чего договорился Глеб Успенский), какой теперь поднимают по поводу всякой, иногда неосновательной, выходки какого-нибудь «марксиста» по адресу крестьянства.

«Не знаю хорошенько, подлинными ли мои слова выражается Яковенко, говоря: «Вы полагаете, что нужно действовать в интересах народа, а согласно ли это будет с его мнениями или нет, это уже второстепенный вопрос». Не то что второстепенный, но, во всяком случае, второй, да, я полагаю».

Михайловский боится высказаться решительно. Сказать, что вопрос о «мнениях» Федоры не важен, значило бы согласиться с «Все тем же» (П. Ткачевым), с которым он так резко полемизировал в семидесятых годах. Ведь нельзя же не признать, что если бы любовь к Федоре находила в ее сердце отклик, то и работа по части превращения Федоры из дуры в умицу шла бы и быстрее и успешнее. Но убеждение в возможности согласовать мнения Федоры с ее интересами, не покидавшее Михайловского в семидесятых годах, уступило место разочарованию. Если Федора не понимает своего счастья, сделаем ее счастливой против ее воли. Хочет она этого или нет—этот вопрос второстепенный.

Бедная Федора! «Века протекали, все к счастью стремилось, все в мире по несколько раз изменилось», а Федора, которая хоть и велика, но все-таки дура, с глазами, выражавшими бесконечное смирение, безропотно переносила всяческие муки, покорно позволяла мудрить над собою всяким московским и петербургским извергам. Настал, наконец, день освобождения. Неужели же Федора останется все той же дурой, и вся разница будет состоять лишь в том, что прежде ее били и истязали, не справляясь с ее мнениями, а теперь будут любить и лелеять.

Чувствуя справедливость этого протеста, Михайловский спешит ответить на него.

«Как бы ни был далек ваш идеал, ваше мнение от мнения народа, для практического осуществления этого идеала необходимо считаться с мнениями заинтересованных. По крайней мере, необходимо пользоваться каждым случаем, когда это возможно». Во всяком случае, «мнения заинтересованных должны быть приняты если не к исполнению, так к сведению».

Мы видим, «кающийся дворянин» заговорил языком, который удивительно напоминает язык самого пераскаженного дворянина. Но, и помимо этого, такой ответ, конечно, является только пустой отговоркой. А если эти «мнения» все-таки остаются далекими от наших мнений, а если принимаемые к сведению мнения окажутся такого рода, что у вас зародится «желание какого-то инстинктив-

ного движения кулаком в эту самую народную массу»¹⁾, Федору тож?

Но кто же эти Иваны, которые любят Федору, кто будет принимать мнения Федоры «если не к исполнению, так к сведению», кто устроит ее счастье?

Эти Иваны—это «мы», «интеллигенция», «вверху стоящие, что город на горе». Мы благополучно вернулись к очищенному ткачевизму.

Вот интересный pendant из подпольной области: «За эксплуатируемым большинством придется признать один очень существенный недостаток. Обыкновенно оно представляет собой пассивный элемент. Лишь на короткое время оно превращается в активный. Можно горько сетовать на это, но, тем не менее, подобная вещь логически (!) необходима... Перед большинством раскрывается, как видите, роковая дилемма: или умереть с голода вместе с хищниками или кормить себя и поддерживать роскошную жизнь организованных эксплуататоров. Не будь выхода из этой дилеммы, было бы из-за чего отчаяться за судьбу человечества! По счастью, выход есть. Как меньшинство выработало себе особый орган нападения и хищничества, современное государство, так и большинство должно выработать себе особый орган, защищающий его интересы и всегда готовый на борьбу с насилием и эксплуатацией. Это и есть революционное меньшинство (в отличие от меньшинства привилегированного и, стало быть, реакционного)... И пусть не пугают нас словесными «жупелами»: якобинство, диктатура, посягательство на свободное развитие народа. Более чем кто-либо мы уверены, что народ имеет право на истинно-человеческое развитие; мало того, в целом он стремится к более нормальному, более справедливому строю, чем настоящий... Сила революционного меньшинства именно состоит в том, что оно опирается обеими ногами на основные интересы народа, большинства эксплуатируемой массы...

«Большинство вечно вращается в заколдованном кругу. Стремясь к более нормальным условиям жизни, оно, тем не менее, не может выработать в себе достаточно активного протеста против современного строя. Ибо выработка активного протеста, вообще активного чувства общественной деятельности, уже предполагает

1) Глеб Успенский.

ивые условия жизни большинства. Кажется, отсюда вывод ясен: революционное меньшинство должно своим активным протестом и борьбой изменить старые условия и приспособить новые к нормальному развитию большинства» ¹⁾).

Нетрудно показать всю неосновательность этого рассуждения. Основное положение старого народничества—«все для народа и посредством народа»—остается во всей своей силе. Предоставим слово народнику. «Не отрицая того факта, что наша интеллигенция (т. е. действительно образованный слой общества) в гораздо большей степени, чем буржуазная интеллигенция Запада, демократична, не мешая, однако, обратить внимание на два обстоятельства: во-первых, искренне демократичная интеллигенция составляет все-таки меньшинство в общем составе образованной части нашего общества, а во-вторых, аналогичное явление мы встречаем и в истории других стран в эпоху борьбы с абсолютизмом... Интеллигенция, как совокупности лиц, проникнутых исключительно идеальными стремлениями, живущих вполне вне классового антагонизма, не существует... Результат борьбы за политическую свободу в громадной степени зависит от того, какая роль выпадет в этой борьбе на долю именно рабочих масс... Лозунг: «все для нации», даже с прибавкой: «посредством заинтересованной в этом деле части нации», при всей своей внешней идеальности, оказывался до сих пор на деле прекрасным орудием в руках привилегированных классов или их руководителей, чтобы увлечь рабочие массы на дело загребания жара своими руками на пользу первых... Чем сильнее будет участие истинно народных элементов в общем составе реформирующих строй империи факторов, тем больше шансов отклонить направление равнодействующей всех этих преобразовательных усилий в сторону интересов безграмотных и забытых» ²⁾).

Кто же прав? Теоретически был прав второй, да этого не отрицал и его противник. Конечно, работа для народа и посредством народа должна быть для нас идеалом. Но что же делать, если этот народ молчит? Сложить руки на груди? Последовательный народник, ставивший выше всего деятельность для народа по-

¹⁾ Л. Тарасов (*Русанов*), Бавиротство буржуазной науки. «Вестник Народной Воли», I, стр. 86, 89, 90.

²⁾ П. Аксельрод, Все для народа и посредством народа. «Вольное слово», № 19.

средством народа, соглашается скорее на политическую бездеятельность, чем на сосредоточение революционного движения исключительно в среде интеллигенции¹⁾. Но это легче было сказать, чем сделать.

Революционная мысль тревожно искала выхода из этого заколдованного круга: без народа революция ни к чему не приведет, а народ не хочет этой революции. «Интересы» его на стороне революционеров, но «мнения» его шли вразрез с его же интересами. Субъективная логика народа упорно не хотела прийти в согласие с объективными условиями его существования, толкнувшими его, повидимому, в сторону социализма.

Невольно возникали следующие вопросы: нет ли в этих объективных условиях элементов, которые служат непреодолимым препятствием для такого согласования? Есть ли надежда на изменение в этих объективных условиях? Представляет ли этот народ нечто однородное? Действительно ли условия его существования так резко отличаются от западно-европейских? Вот вопросы, на которые пытается дать ответ революционная мысль.

А действительность давала слишком много фактов, шедших вразрез со старыми представлениями. Народ оказался далеко не таким однородным, как это представляла себе интеллигенция. Кулачество и ростовщичество оказались не наносным явлением, не принесенным извне паразитом; они выросли из пародной почвы и питались ее соками. Товарное производство отняло одну позицию за другой у натурального хозяйства. Община разлагалась; она не только не оправдала возлагавшихся на нее надежд, но сама во многих местах являлась орудием эксплуатации бедных общинников богатыми. Под этим остатком старинны скрывалась вполне индивидуалистическая организация хозяйства, изолировавшая один двор от другого не в меньшей степени, чем была изолирована одна община от другой. Артель, при более пристальном изучении, тоже оказалась гораздо более пригодной для эксплуатации одних членов артели другими, чем для солидарного ведения хозяйства. «Самобытность» оказалась плохой защитой и в борьбе с фабрикой. Приходилось признаться, что капитализм сделал громадные успехи.

Известная статья Ник. — она, несмотря на неверное объявче-

¹⁾ Там же.

ние генезиса русского капитализма, вообще показала, что капиталистическое течение видимо пересиливается. Из картины пореформенного хозяйства, шариковой Никольской — оном, протрацию вытекал вывод, сделанный еще Михайловским. «Дождавшись лацонального разрешения задачи, мы, ижеко сказать, в ту же минуту настезь отворили свои ворота банкирской и железнодорожной Европе. Эта Европа, вторгавшая к нам без всякого с нашей стороны протеста, быстро и чисто тринит задатки нашего оригинального или, пожалуй, если хотите, национального эковомического развития. Наше недостроенном задание не только не мешает этому вторжению, а, напротив, способствует ему ижеко и неволю, предоставляя государственными средствами на преувеличенное развитие частных интересов и кладя к подножью их благосостояние народа и национальный принцип. А мы, тем временем все с гордостью вспоминаем, что дождались национального решения национальных задач! Мало того, осмыслась на этот, так сказать, съеденный молью пример, рекомендуем ожидаемые как политический принцип, программу! Лет пятьдесят тому назад это были бы, может быть, разумные речи. Теперь они завоздали. Аплодируя торжественному вшествию банкирской и железнодорожной Европы, смешно до... до чего хотите смешно запирайте двери перед Европой политической и научной... ибо, даже признавая разные гордости гг. Аксаковых и иных в принципе законными, Европа может обратиться к нам словами книги пророка Исаии: «И ты сделался бессильным, как мы! И ты стал подобен нам! В предподию низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою подстилается червь, и черви — покров твой!»

Да! Россия становилась подобна Европе! Она все больше удаляется от пути, идя по которому она могла бы миновать тернистый путь Западной Европы. Это сознание как бы удесятирило энергию революционной интеллигенции. И вот, собрав все свои силы, «заменив динамитом отсутствие материальной силы и малочисленность борцов их бесковечным самоотвержением», она бросилась в последний смертный бой с деспотизмом, чтобы создать себе более благоприятные условия для своей великой задачи: избавления России от шуйцы капитализма. Деспотизму был нанесен страшный удар. Некоторое время казалось, что он побежден, что он собирается уступить, но, убедившись, что за кучкой героев никто не последовал, деспотизм оправился и, раз-

ние генезиса русского капитализма, воочию показала, что капиталистическое течение видимо пересиливает». Из картины пореформенного хозяйства, шаривавшей Николаем — оном, неотразимо вытекал вывод, сделанный еще Михайловским. «Дождавшись национального разрешения задачи, мы, можно сказать, в ту же минуту пастежь отворили свои ворота банкирской и железнодорожной Европе. Эта Европа, вторгаясь к нам без всякого с нашей стороны протеста, быстро и дешево душит задатки нашего оригинального или, пожалуй, если хотите, национального экономического развития. Наше недостроенное здание не только не мешает этому вторжению, а, напротив, способствует ему волею и неволею, предоставляя государственные средства на преувеличенное развитие частных интересов и клада к подножию их благосостояние народа и «национальный» принцип. А мы, тем временем все с гордостью вспоминаем, что дождались национального решения национальных задач! Мало того, ссылаясь на этот, так сказать, съединный молью пример, рекомендуем ожидание как политический принцип, программу! Лет пятнадцать тому назад это были бы, может быть, разумные речи. Теперь они запоздали. Аплодируя торжественному вшествию банкирской и железнодорожной Европы, смешно до... до чего хотите смешно запереть двери перед Европой политической и научной... ибо, даже признавая разные гордости гг. Аксаковых и иных в принципе законными, Европа может обратиться к нам словами книги пророка Исаия: «И ты сделался бессильным, как мы! И ты стал подобен нам! В преподнюю извержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою подстилается червь, и червь — покров твой!»

Да! Россия стала подобна Европе! Она все больше удаляется от пути, идя по которому она могла бы миновать тернистый путь Западной Европы. Это сознание как бы удесятирило энергию революционной интеллигенции. И вот, собрав все свои силы, «заменив динамитом отсутствие материальной силы и малочисленность борцов их бесконечным самоотвержением», она бросилась в последний смертный бой с деспотизмом, чтобы создать себе более благоприятные условия для своей великой задачи: избавления России от шуйцы капитализма. Деспотизму был нанесен страшный удар. Некоторое время казалось, что он побежден, что он собирается уступить, но, убедившись, что за кучкой героев никто не последовал, деспотизм оправился и раз-

вернув знамя «народной политики», давши полную свободу хищническим инстинктам различных эксплуататоров, он раздавил «Народную Волю»¹⁾. Цвет целого поколения был безжалостно скошен.

Плохая им досталась доля:

Немногие нервудись с поля!

«Идея, отрешенная от массы», оказалось беспильной, народ продолжал оставаться глухим к призывам тех, которые остались верны своему знамени. Большинство овладели уныние и разочарование, лишь маленькая кучка бросается в «поиски» «за точкой опоры для борьбы» и старается понять причины своего поражения.

Мы стали подобны Европе, но обессилились ли мы от этого? Не является ли наше «бессилие» источником новой силы? Что говорит нам европейская действительность? И пытливая революционная мысль обращается на Запад.

V

А там, к началу восьмидесятых годов, произошли большие перемены.

Революционное движение, которое, после роспуска Интернационала, казалось, замерло, опять оживает. Немецкая социал-демократия, после некоторых колебаний и ошибок конца семидесятых годов, приняла опять на своем конгрессе 1880 года революционную программу, а на выборах 1881 года показала, какую непреодолимую силу представляет собою пролетариат, проникнутый классовым самосознанием. Французский пролетариат, совершенно обессиленный после страшного кровопускания 1871 года, еще в 1876 году отвергший на парижском конгрессе социалистические теории, присоединяется в лице своих наиболее сознательных элементов к марксистской программе. В Англии, пролетариат которой, по мнению всех катедер-социалистов, был навсегда застрахован от социалистической заразы, образуется социал-демократическая федерация, ставящая себе целью организовать рабо-

¹⁾ Будущий историк России должен будет отметить, что целый ряд уступок и «реформ» эпохи «диктатуры сердца» и «народной политики» был произведен из-под палки «Народной Воли». Когда она была побеждена, деспотизм перестал стесняться: тогда только реакция начинает правдивать свои органы.

чий класс в особую политическую партию. К этому же времени относится образование социал-демократических организаций и в других странах. Семена, посеянные «доктринерами» Интернационала, пустили крепкие ростки. Всюду пролетариат начинает собираться под знаменем социал-демократии и становится главным оплотом всех прогрессивных стремлений.

Отчего же идеи социализма, так плохо принимавшиеся на российской почве, пустили такие прочные корни на Западе? Почему же европейский пролетариат оказывается более способным воспринимать эти идеи, чем пропитанный общинными инстинктами русский народ?

Ответ на этот вопрос дал научный социализм. Более близкое знакомство с «непрочитанной главою любимой книги», т. е. философско-исторической частью учения Маркса и Энгельса, показало, что те самые вопросы, которые возникли для России в восьмидесятых годах, ставились в Германии уже в сороковых. И в Германии «интеллигенция», выработавши идеал гармонически развитой личности, пришла к заключению, что он осуществим только в социалистическом обществе. И в Германии «интеллигенция» обращалась к «хижинам», чтобы направить их против «дворцов», но «хижины» не откликнулись на страстный призыв Бюхнеров и Вейдигов. И германской интеллигенции пришлось себе поставить тот же вопрос: почему «мнения» народа так плохо согласуются с его «интересами»?

И в то время как демократы то раздражались горячими филиппиками по адресу бедного Михеля, то обращались к «обществу», молодой Маркс поставил вопрос иначе: нет ли в этом угнетенном народе таких элементов, которые самими условиями своего существования толкались бы в ту же сторону, в какую направляется «интеллигенция», которые влили бы кровь, дали бы жизнь, «сердце» тому движению, головой которого явился бы высший продукт германской жизни—ее «философия»? И, анализируя объективные условия существования разных общественных классов, Маркс пришел к заключению, что этим «сердцем» должен стать пролетариат.

Проследим его аргументацию: мы встретим в ней много знакомого.

«Мы», «наверху стоящие, что город на горе», подвергли самой беспощадной критике все небесное и земное. Своей критикой

религии мы освободили людей от иллюзорного счастья и этим заставили их искать счастье в этом мире. Мы поняли, что и земные идеалы являются такими же продуктами самого человека, как религия и язык. Вместо того чтобы поклоняться разным созданным им же самим идолам, человек выше всего должен поставить целостного человека. Для этого нужно уничтожить общественные условия, которые делают из человека униженное, поработанное, опустившееся, презираемое существо, и создать вместо них новые условия, при которых высшим существом для человека явился бы сам человек. Этому требованию удовлетворяет только социалистический строй.

Но сама по себе «идея» беспильна. Она жизненна только тогда, когда является «идеей» класса, когда она является его социальным мнением или представлением, когда она уже *in potentia* заключается в материальных условиях существования данного класса. Следовательно, наша философия может перейти в действительность, только опираясь на класс, который представлял бы полную утрату всего человеческого и мог бы завоевать себе место в жизни, лишь снова приобретая сполна все права человека. Сами условия существования этого класса необходимо изменяют его «мнения» в том же направлении, в котором его толкает наша философия. Протестуя против условий своего существования, этот класс протестует тем самым против общественных условий, обезчеловечивающих человека. Он не может освободиться, не уничтожив собственных условий существования. Он не может их уничтожить, не уничтожив в то же время всех нечеловеческих условий жизни, всею своею тяжестью падающих на него.

Дело вовсе не в том, что тот или иной пролетарий, а иногда даже и весь пролетариат, «мнит». Дело идет о том, что пролетариат есть и что, согласно своему бытию своему, он исторически припущен сделать. «Мнения» его только временно могут притти в столкновение с «его интересами», он не имеет возможности отделить «теорию» от «практики» и успокоиться в области «чистого созерцания» или фаталистического индифферентизма. Повелительная нужда—это выражение исторической необходимости—служит для него «категорическим императивом», толкает его к борьбе за свое освобождение, и толкает тем сильнее, что она не есть нужда, вызванная естественными условиями. Наоборот, это нужда,

искусственно вызванная, сопровождающая *данные* общественные условия. Идея отрицания частной собственности, социализм, находит себе в интересах пролетариата прочную опору. Да и какой класс отнесется более внимательно к этой идее, если не класс, принципом существования которого является отрицание *второй частной собственности*? «Идея», таким образом, приобретает сочувствие масс, «мнения» массы на ее стороне, а, овладев массами, «идея» сама становится материальной силой. Всякая попытка изолировать ее от массы, чем бы эта попытка ни объяснялась, ведет к ее посрамлению. Нельзя поэтому достаточно энергично протестовать против таких попыток.

Посрамление «идеи» не доказывает вообще равнодушия массы: оно доказывает только, что данная «идея» не являлась выражением «интересов» массы, а если являлась, то в очень недостаточной степени. Не идя к «сердцу» массы, она не могла вызвать энтузиазма, а без него невозможны великие исторические события.

«Интеллигенция», не найдя себе сочувствия в народной массе, склонна была отнестись к ее «мнению», как к второстепенной вещи, относиться к массе, как высший к низшему. Она забывала, что «мнения» обуславливаются обстоятельствами, определяются общественным положением данной массы. Если «мнения» массы не изменились, то это значило только, что новая «идея» не находит никакой точки опоры в условиях жизни этой массы: виновата не масса, а «интеллигенция», обратившаяся не по тому адресу. Поэтому все филиппики против массы свидетельствуют о недомыслии «интеллигенции». Нужно обратиться с своей «идеей» к людям, все жизненное положение которых формирует их «мнения» в направлении данной «идеи». Вывод: чтобы воплотить в жизнь дорогу нам «философию», нам нужно обратиться с своей проповедью к пролетариату. Только он заинтересован в осуществлении нашей «идеи», так как она может осуществиться только, когда исчезнут условия, порождающие, с одной стороны, богатство, буржуазию, с другой—нищету, пролетариат,—когда, следовательно, будет уничтожена частная собственность. Кому поэтому дорога «идея», тому нужно, в своей практической и теоретической деятельности, выбрать критерием интересы пролетариата, как единственного класса, «мнения» которого самыми условиями его существования изменяются в желательном направлении.

Уже выработав эту «точку зрения», правильность которой

вскоре была подтверждена немецкой действительностью ¹⁾, Маркс пришел к заключению, что ключ к объединению действительности (государственных форм и правовых отношений) нужно искать в материальных условиях жизни. Дальнейшие исследования привели его к выводу, что в каждую данную историческую эпоху экономическая структура общества составляет основу его политической и умственной истории. Оказалось, что не только современная эпоха характеризуется борьбой классов, но что вся история (писаная) была историей классовой борьбы. Оказалось дальше, что капиталистический процесс производства сам создает все материальные и интеллектуальные элементы будущего строя и что самая постановка такой задачи возможна была потому только, что налицо уже имелись материальные условия ее решения. Лишь теперь борьба классов достигла той ступени, на которой эксплуатируемый и угнетаемый класс (пролетариат) не может освободиться от эксплуатирующего и угнетающего его класса (буржуазии), не освободив в то же время и навсегда всего общества от эксплуатации, угнетения и классовой борьбы.

Выяснилось таким образом, что пролетариат не только *должен*, но и *может* это сделать. Более внимательный анализ экономических условий показал, кроме того, что пролетариат отличается от других угнетенных и эксплуатируемых классов не степенью эксплуатации, а в несравненно большей мере ее *формой*. При товарном производстве, а стало быть и при капитализме, т. е. такой форме товарного производства, при которой на рынке является специфический товар—рабочая сила человека,—только пролетариат борется против самых основ эксплуатации, потому что товарное производство никого не бьет так сильно, как именно пролетариат. Ведь он должен жить продажей самого себя, своей рабочей силы, в то время как другие угнетенные классы—мелкая буржуазия во всех ее видах, крестьянство, ремесленники—ничего не имеют против самого товарного производства и, как классы, желали бы только устранить условия, ставящие их товары в неблагоприятное положение в сфере конкуренции.

¹⁾ Через несколько месяцев после выхода «Deutsch-Französische Jahrbücher», где Маркс впервые развил свою точку зрения, вспыхнуло восстание силезских ткачей. Оно ясно показало, что только у пролетариата имеется «та революционная отвага, которая бросает своему противнику дерзкий вызов: «Я ничто и хочу быть всем!».

Важно, таким образом, не только факт порабощения—порабощены и другие классы,—несравненно важнее его *форма*, потому что с изменением этой формы меняются и мнениа, которые зарождаются и могут зародиться в голове порабощаемого. В то время как «мнениа» мелкой буржуазии и крестьянства делают их бессознательными (в лучшем случае) союзниками господствующих классов, вопреки, казалось бы, их интересам,—частная собственность и для тех и других есть нес plus ultra человеческой свободы и индивидуальной независимости,—«мнениа» пролетариата, как класса, в историческом процессе развития все больше приходят в согласие с его «интересами». Поэтому из «всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собою действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности,—пролетариат же именно ею и создается». «Движение пролетариата таким образом является (и становится все больше и больше) движением огромного большинства в интересах огромного большинства».

Но важно не только количественный его рост. Массовые движения были и раньше. Гораздо важнее его «качественный» рост. В то время, как с развитием капитализма значение других трудящихся классов с каждым днем падает, пролетариат, наоборот, становится все более и более важным фактором общественной организации производства. В то время как энергия сопротивления других угнетенных классов рассеивается по бесчисленным точкам «общественного организма», энергия пролетариата концентрируется в немногих наиболее чувствительных пунктах. Тут он сбрасывает с себя все «особенности»,—профессиональные, религиозные, национальные и т. д.,—и превращается в одну великую солидарную и сплоченную армию борцов за лучшее будущее.

«Точка опоры» народников,—«народ»,—с развитием экономических отношений, раскалывается на части с различными интересами (однородное превращается в разнородное); пролетариат, напротив, вступает в этот процесс вследствие различных условий своего генезиса разьединенным, с развитием тех же самых экономических отношений, превращается в одно целое с однородными интересами (разнородное превращается в однородное). Конечно, и другие эксплуатируемые классы имеют революционное значение, но они имеют его «лишь постольку, поскольку им предстоит переход

в ряды пролетариата, поскольку они защищают не *современные*, но *будущие* свои интересы, поскольку они покидают свою точку зрения (т. е. отказываются от «мнений», порождаемых в их головах их современными «интересами») и становятся по точку зрения пролетариата.

Классовая идеология пролетариата (его «мнения»), таким образом, все более и более становится идеологией всех «обремененных и нуждающихся», и во главе великого освободительного движения человечества становится уж не маленькая кучка идеологов, критически мыслящих личностей, а могучий, пронзительный сознанием своей исторической миссии, пролетариат.

Что же? Теряет ли от этого «интеллигенция»? Становится ли ее задача менее идеалистической?

Она «выигрывает» во всех отношениях.

«Интеллигенция», «идеологам, возвысившимся до теоретического понимания всего хода исторического развития», не грозит уже опасность остаться непонятыми и быть раздавленными господствующими классами.

С интеллигенции снимается непосильная для нее задача «стоять на страже интересов народа, охранять их», задача опасная еще тем, что развивает в интеллигенции склонность отделять себя от массы, ставить себя *над ней*, смотреть на нее как на материал.

«Тяжко быть единому». Становитесь в ряды борющегося за свое освобождение пролетариата, помогите ему вы, богатые знанием и наукой, «восполните до некоторой степени недостаток исторического опыта», и вы увидите, какой страшной, непреодолимой силой окажутся знания, наука, заключившие союз с пролетариатом.

И если «всестороннее развитие личности» не только фраза в ваших устах, если это не «пленной мысли раздраженье», то вы поймете, что только эта деятельность может ускорить наступление общественного строя, при котором свободное развитие каждого становится условием свободного развития всех!

Руководясь в своей деятельности этим критерием—интересами пролетариата, не только как он *есть*, но и как он *развивается*,—вы не рискуете залутаться, вам не грозит опасность попасть под власть пышных фраз, которыми так долго убаюкивала себя демократия.

Предоставьте другим работать во имя прогресса истины, справедливости, добра, красоты! Слишком часто все эти Schlagworte, как говорят немцы, служили прикрытием для эгонистических стремлений отдельных классов.

Но почему же не выбрать критерием интересов труда, трудящихся классов? Да просто потому, что труд—попятие, не имеющее определенного ни исторического, ни социологического смысла, с ним не координируется никакой определенной системы общественных отношений, это столько же биологический, сколько и социологический термин.

Трудится крестьянин, трудится ремесленник, трудится наемный рабочий,—отвлекаясь от *формы*, в которой проявляется их труд, мы этим самым отвлекаемся от тех определенных общественных отношений, при которых и в которых совершается труд.

Это—обычная ошибка идеализма,—ошибка, в которую впадает и вульгарный материализм: он так поглощен сущностью вещей, что не замечает или проходит мимо *форм*, в которых проявляется эта сущность.

Эта ошибка обрекла идеализм на бессилie в области исследования природы, она же обрекает его на бессилie в области истории и социологии.

«Вся история—это длинный мартиролог трудящихся классов, в основе ее лежит насилие, порабощение». Но далеко ли мы уйдем, если забудем, что это насилие в течение исторического процесса принимало различные *формы*: одни формы увековечивают это насилие и превращают человеческое общество в пчелиный улей или муравейник, другие—вызывают и питают протест против насильников и рабовладельцев.

Не менее разнообразными являются эти формы и в настоящее время, и если мы забудем их *differentia specifica*, то мы не поймем и *differentia specifica* тех мировоззрений, которые складываются на почве различных форм насилия. За лесом мы рискуем не увидеть деревьев.

Перед вами мастер и его подмастерье, мужик и его батрак,—можете ли вы смотреть на них как на нечто однородное? Мастер желает удлинить рабочий день и уменьшить заработную плату, подмастерье—наоборот.

Но вы захотите, быть может, из «трудящихся классов» изгнать мастеров, имеющих подмастерьев, и мужиков, имеющих

батраков? Вы оставите только ремесленников-одиночек и крестьян, обходящихся без наемного труда? Прекрасно.

Но мы, ведь, хорошо знаем,—на то мы и социалисты,—что причина всех их злоключений лежит в товарном производстве, т. е., в последнем счете,—в частной собственности па орудия производства. Является ли их *классовым интересом* уничтожение этой частной собственности?

Посмотрите на все эти националистические, аятисемитские и клерикальные партии, и вы увидите, с каким трудом ремесленники, крестьяне и вообще мелкая буржуазия отказываются от надежды улучшить свое положение путем сохранения и укрепления своей частной собственности, какой высокой степени развития должны они достигать, чтобы перейти на точку зрения пролетариата ¹⁾. Попробуйте, с точки зрения интересов *трудящихся* классов, оценить такое явление, как *кредит*, и вы увидите, как, при всем вашем нежелании, вы не сможете не стать на мелкобуржуазную точку зрения.

С вами мы согласны, что в обществе, расчлененном на классы, приходится оставить всякие надежды на «объективное» исследование, что каждый из нас должен прямо заявить: «Вот тот род людей, которым я симпатизирую, в положение которых я мысленно перевожусь», но этот «род людей» мы видим в рабочем классе, в пролетариате.

«Субъективные разногласия,—говорит Н. Михайловский,—сообщением знаний не устраняются, потому что и порождаются они не различием в количестве знаний, а различием симпатии и антипатий, различием общественных положений, препятствующих людям представлять себе чужие мысли и чувства в форме собственных» ²⁾. Это «общественное положение» пролетариата порождает в нем сим-

1) Последовательному народнику нужно было только убедиться, что мелкая буржуазия может обратиться к социализму, лишь отказавшись от своей классовой точки зрения, ergo — подвергаясь сильному воздействию пролетарской точки зрения, чтобы он стал социал-демократом. См. ст. *Аксельрод*, Социализм и мелкая буржуазия («Вестник Народной Воли», кн. 1 и 2).

2) «Сообщение сведений», конечно, не всецельно: ему на помощь должно прийти изменение общественных условий; одна возможность беспреткстственного «сообщения сведений» уже представляет очень крупный шаг на пути к такому обществу, в котором исчезнут «субъективные разногласия», порождаемые различием общественных положений. А, между тем, одним из главных препятствий к достижению этой возможности служит пассивность того же «народа».

патии и антипатии, тождественные с «нашими», «его чувства и мысли» становятся «нашими». В то время как «голос» деревни, народа (трудящихся классов), теряет свою первобытную гармонию, заменяясь отчаянною разногласией, в которой все отчетливее слышится хрюканье «торжествующей свиньи», «голос» пролетариата становится все гармоничнее и все больше сливается в унисон с голосом «интеллигенции».

И чем решительнее мы будем в своей деятельности руководиться интересами *только* этого класса, тем скорее будут созданы условия, при которых можно будет устранить «субъективные разногласия» и среди «трудящихся классов».

У нас теперь чрезвычайно расплодился люд, которые любят о «честности высокой» говорить, то-бишь—о нравственности. От них мы узнаем, что Маркс и Энгельс сказали новое слово только в области социально-экономической, что «по своему философскому и идеалистическому духу» Лассаль стоит выше Маркса: именно ему (?) принадлежит идеалистическое толкование «идеи четвертого сословия», именно он (?) с необыкновенной силой показал общечеловеческий характер идеи и вложил в нее ценное моральное содержание»¹⁾.

Опровергать эту хронологическую и логическую нелепость не стоит. Мы спросим только людей, так много говорящих об отсутствии *морального* содержания в системе Маркса: если борьба за осуществление своего идеала, если стремление связать в одно неразрывное целое «теорию» с «практикой», «идеалы» с «действительностью», с риском «положить душу свою за други свои», не нравственны, то что же для них нравственно, что в состоянии удовлетворить их нравственное чувство? Не нравственность ли буржуазии, высшим идеалом которой является возможность давать правой рукой так, чтобы того не видала левая,—нравственность, не видящая ничего безнравственного в самом факте существования людей дающих и получающих,—людей, имеющих возможность давать только потому, что у других все отнимается?

Но идеалом пролетариата и «материалистов» является «сытость», «материальное обеспечение»! *On veut, que les malheureux soient parfaits!* И до таких архибуржуазных пошлостей договорились те самые люди, которые, на другой странице, призна-

¹⁾ Н. Бердяев, Борьба за идеализм («Мир божий», июль 1901 года).

ют «материалистическое понимание истории». Бросьте мир сытых, а потому не думающих о сытости людей. Идите в мир обездоленных тружеников, и вы увидите, какая высокая нравственность развивается в подвалах и углах, в которые пропикла проповедь нового идеала! Эта нравственность в корне отрицает все старые системы морали. Даже лучшие из них не видели ничего безнравственного в разделении общества на классы и только старались смягчить его последствия. А пролетариат из условий своего существования создает новую мораль, исключаящую возможность смотреть на человека как на средство.

Рабочий класс не может не протестовать против унаследованной, традиционной морали. Только он в борьбе за свое освобождение создаст условия, при которых человек перестанет быть средством. И что может быть нравственнее деятельности, направленной на уничтожение самой основы всего безнравственного, — господства одного человека над другим?

VI

Но мы уклонились в сторону. Не эти вопросы послужили пунктом разногласий между нами и «семидесятниками». Речи о том, что социализм ставит себе идеалом «сытость», были и им знакомы. Так же, как и мы, знали они, что речи эти — «медь звенящая и кимвал бряцающий».

И они, — «die Brust voll Wehmut, das Haupt voll Zweifel», — хотели узнать «загадку жизни», познать мир, как он есть. Некоторые быстро решили все эти вопросы, усвоив себе миросозерцание немецких материалистов пятидесятых годов. Другие, не удовлетворившиеся таким решением, обратились к позитивизму, а затем к научной философии ¹⁾. У нас и после ею увлекались, но увлечение ею в семидесятых годах имело совершенно другие социально-психологические корни: решив, что человеку, по самым свойствам его организации, недоступно объяснение «загадки жизни», признав, что в этом мире он может удовлетвориться истиной для человека, семидесятник, — плохо ли, хорошо ли, — выяснив себе вопросы окружающей его действительности, бросался в рево-

¹⁾ В этом отношении большой интерес представляет полемика о «пользе философии между П. Никитиным (Ткачевым), с одной стороны, и В. В. Лесевичем — с другой.

люциопную деятельность. Знаний накоплено достаточно, пора их передать народным массам. Когда на первый план выступила политическая борьба, особенными симпатиями начал пользоваться Дюринг, но и в нем «гносеологическая» сторона его философии мало интересовала революционера-семидесятника: больше всего ценили «действенный» характер его этики и выдвигание на первый план «политического фактора».

Что же говорит нам старая правда?

«Умственный процесс совершается в пределах отдельного человека», «личность» или, шмыми словами, «все умственные, все психологические процессы совершаются в личности, и только в ней; только она ощущает, мыслит, страдает и наслаждается»¹⁾.

Это положение в общем верно, но требует значительных дополнений.

Действительно, «мыслит» отдельный человек. Но мысли, которыми он оперирует, являются ли они его мыслями?

Нет. Они общественный продукт, ибо и личность наша, отдельный человек, принадлежит определенной форме общества. Но сама эта общественная форма не есть нечто неизменное. Она является продуктом истории. Правда, эту историю делает сам человек—своим умом, своей волей, но делает он ее в готовых условиях, сложившихся задолго до его появления на свет божий; делает своим умом, но «умом», все составные элементы которого суть видоизмененное отражение окружающих его условий в его мозгу, полученном им в готовом виде от целого ряда предков; делает *своей* волей, но волей, каждое движение которой мотивируется, вызывается окружающим его миром, посредственно или непосредственно. Изменяя «готовые» условия, он изменяется и сам: его нервная организация усложняется, «ум» его обогащается, «воля» становится содержательнее и разнороднее, «горизонт» расширяется и т. д., и т. д.

Одним словом, вместе со всеми его способностями развивается и его познавательная способность. Это—способность по само-

¹⁾ Повторяя это положение, г. Михайловский не знал, что он, как и Энгельс, ставит тезисом, понятия только как отрицание тезисов Гегеля. Слова «только» протестуют против гегелевского гипостазирования одной из функций человеческой личности — мысли — в форме абсолютной идеи. Нетрудно было бы доказать, что Гегель, отрицательно или положительно, имел большое влияние на мировоззрение г. Михайловского.

му существу своему *историческая*. Ставить поэтому ей пределы—значило бы поставить пределы историческому развитию вообще. Конечно, выскочить из условий своего существования никто не может. В своей познавательной способности мы ограничены теми средствами, которые нам предоставляет в наше распоряжение данная форма общественной организации. Это обстоятельство полагает известные пределы нашей познавательной способности, но эти пределы раздвигаются вместе с развитием общественных отношений. То, что было недоступно человеческому уму вчера, становится ему доступным завтра. *Ограниченность человеческой мысли каждой отдельной эпохи возмещается безграничностью исторического развития*. Вот почему мы отвергаем всякую попытку проводить границу между познаваемым и непознаваемым, делить мир на мир нуменов—сущностей—и мир феноменов, явлений: для нас существует только граница между *уже* познанной и *еще* не познанной действительностью.

Ответ на наши вопросы может дать только развитие этой действительности, иными словами—практическая человеческая деятельность. Ведь единственным критерием истинности нашего мышления является его адекватность данной действительности, данным отношениям вещей между собою. Вот почему «вопрос о том, способно ли человеческое мышление познать предметы в том виде, как они существуют в действительности,—вовсе не теоретический, а практический вопрос. Практикой должен доказать человек истинность своего мышления, т. е. доказать, что оно имеет действительную силу и не останавливается по эту сторону явлений. Спор же о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос» (Маркс).

Только получив крещение опытом и практикой, ваша гипотеза, т. е. мысль, не доказавшая еще своей адекватности действительным отношениям вещей, может превратиться в научную теорию ¹⁾. Чем разнообразнее становится человеческая практика, тем

¹⁾ Теория всемирного тяготения Ньютона и открытие Жаком Лавуазье Нептуна, электромагнитная теория света Максвелла и опыты Герца, теория происхождения видов Дарвина и позднейшие наблюдения над изменением видов под влиянием различных факторов, периодическая система элементов Менделеева (Лотаря Мейера) и открытия Лекко де-Буабодрана и Нильсона, Конечно, теории эти, в свою очередь, могли возникнуть только после того, как человечество

больше она, под влиянием развития механической и химической промышленности, исследует и воссоздает процесс образования различных веществ, тем больше выявляется *генезис* всего существующего, тем дальше отодвигаются пределы таинственного. Таким образом, «все таинственное, все то, что ведет теорию к мистицизму, находят рациональное решение в человеческой практике и в понимании этой практики».

Самым крупным шагом в этом направлении является *выяснение* общественных отношений; с них должен быть сорван покров таинственного, они должны превратиться в сознательный продукт людей, проникших в тайну своих общественных отношений. Если в теперь цивилизованное человечество, несмотря на раздражающую его борьбу классов, несмотря на относительно ничтожное число людей, принимающих сознательное участие в исторической жизни, вырвало столько тайн у природы, то во сколько раз увеличатся его познавательные силы, если природе будет противостоять объединенное в одну великую семью человечество, направившее все свои силы на борьбу с ней? Пока человечество не развернуло всех своих способностей, с нашей стороны было бы пошлым филлистерством подписывать человечеству *testimonium paupertatis* и сказать:—*Ignorabimus!*

Но вы хотите не только доказать свою истину, вы хотите ее сделать достоянием всех людей, вы хотите «воплотить истину в общественные формы»? И тут теория должна идти рука об руку с практикой. Хорошо зная, что люди представляют собой продукт обстоятельств, мы с вами, конечно, не забудем, что обстоятельства *изменяются людьми*,—а это часто делает вульгарный материализм: история *сама* делается,—и опять обратимся все к той же практике: *изменение мира конкретными явлениями, путем нашей конкретной практической деятельности, даст животельный толчок теоретическому усвоению наших истин*. Не будучи дополнена практикой, теория остается в области «чистого созерцания».

накоплено известный опыт. И тут решающее значение принадлежит «индустрии», практике, технике. Не надо забывать, что «все продукты мысли могут вырабатываться лишь при определенных успехах техники и при определенных продуктах творчества общественных форм» (П. Лавров, Опыт истории мысли нового времени, стр. 68).

«Философы лишь *объяснили* мир так или иначе: но дело заключается в том, чтобы *изменить* его» (Маркс).

Вы направляете свое оружие критики против данных общественных отношений, вы вскрыли ножом своего анализа таящиеся в них противоречия? Но этого еще недостаточно: «оружие критики не может заменить критики оружия», вы должны поэтому революционизировать эти общественные условия путем устранения их противоречий. Будучи революционерами в области теории, вы не можете не быть революционерами в области практики. Только революционная деятельность не знает обособления правды теоретического неба от правды практической земли, только она является настоящей практически-критической деятельностью. Социологическая теория дополняется соответствующей социологической практикой.

— Но ваша теория,—скажут нам наши противники,—сосредоточивается только на одной стороне этой общественной жизни, она игнорирует все остальные ее стороны.

Старая басня! Общественная жизнь в высшей степени сложна, она, как вы выражаетесь, имеет чрезвычайно много «сторон». Но исключает ли это для нас возможность найти в ней такой центральный пункт, откуда можно было бы—«изнутри»—«осветить» все стороны этой многосложной жизни? Мы с своей стороны думаем, что этим центральным пунктом является социально-экономическая структура общества. Но мы хотим не только «повянуть» этот общественный строй, мы хотим изменить его. И в пролетариате мы нашли силу, которая в состоянии сделать это. Пролетариат и есть тот рычаг, с помощью которого «философия» перевернет весь мир общественных отношений!

«Гипотеза» молодого Маркса все больше подтверждается «практикой». Она дала ему небывалую еще силу предвидения, она служила ему руководящей нитью в его теоретических исследованиях, она же помогла ему уверенно разбираться в сложных явлениях настоящего, она же создала для него возможность связать в одно нераздельное целое правду теоретического неба и правду практической земли. Правда-истина и правда-справедливость, так долго жившие в разладе между собою, в его теории слились в одну великую, двуединую правду.

VII

Новая «точка зрения» была найдена. Она вполне удовлетворяла поставленному нами условию: она не жертвовала правдой теоретического неба в угоду правде практической земли и наоборот.

Но, как бы ни хороша была новая идея, для ее более или менее массового усвоения требуются соответствующие условия. Правда, западно-европейский опыт все больше доказывал правильность точки зрения Маркса. Восьмидесятые годы для Западной Европы были годами неукротимого развития социал-демократии. Контраст между ними и семидесятыми годами бросался всем в глаза. Особенно ярко выражено это было на Парижском международном конгрессе 1859 года. Он как бы произвел смотр всем силам социализма и подвел итог одиннадцатилетней деятельности со времени 1878 года, когда социал-демократия могла считаться серьезной силой только в Германии, да и там находилась, как тогда казалось, на краю гибели. Результаты оказались блестящими. Социализм пустил прочные корни во всех странах. Всюду имелись более или менее значительные партии. Только наша страна должна была устами одного представителя (П. Лаврова) констатировать, после очерка истории некогда столь славного революционного движения, полный застой и устами другого (Г. В. Плеханова) выразить надежду, что русский рабочий класс даст опять возможность России войти в ряды международной социалистической армии.

Эта надежда оправдалась. Парижский конгресс дал, кроме того, в руки пролетариата всех стран, особенно «отсталых стран», могучее средство для распространения идей социализма среди индифферентных рабочих масс—*маевку*. 20 февр. 1890 г. германская социал-демократия получила на выборах около 1 427 000 голосов. Против пропавшего классовым самосознанием пролетариата оказались бессильными всякие исключительные законы. Бисмарк, человек железа и крови, вершитель судеб Европы, олицетворение грубой силы и деспотизма, должен был уйти.

Первого мая того же года вся Западная Европа представляла странное зрелище. Казалось, что у ее ворот стоит страшный враг, готовый все разрушить. Вся полиция на ногах. К городам стянуты войска. Мрачная тишина, как перед грозой. А, между

тем, день был весенний и мирный. Западной Европе не угрожало никакого нашествия. Что же случилось? Послушный постановлению своих представителей, пролетариат устроил самую мирную манифестацию. Что же приводило в такой ужас буржуазию?

«Если бы рабы сосчитали свое число, мы погибли бы». Но то, что римским оптиматам мерещилось только в минуту пресыщенной жизнью,—буржуазия теперь представлялось ужасающей пагубностью. Рабы капитала в первый раз сосчитали свое число и почувствовали, что они—сила, перед которой оковы капитализма так же мало могут устоять, как цепи, которыми холод сковывал живительные силы природы перед горячими лучами майского солнца. Чтобы стать этой силой, массам нужно было только сознание своих действительных интересов. И работа по просвещению рабочих масс закипела как никогда прежде.

Началась она и в России. Выборы 20 февраля 1890 года и первая маевка имели на Россию влияние, которое может поспорить с влиянием Интернационала и Коммуны. Социал-демократия являлась уже бесспорной, всеми признанной силой. Научный социализм или марксизм скоро должен был стать модным.

А тем временем в России все быстрее, все сильнее развивались условия, благоприятствовавшие усвоению этого учения. Практика приходила на помощь теории. Русское революционное движение в течение восьмидесятих годов умирало и к концу их, казалось, совершенно замерло. Старая «Народная Воля» умерла. Правда, она «умерла», как «умер» в свое время в Англии чартизм. Она заставила правительство провести целый ряд «реформ» и толкнула его на путь политики, девизом которой служит: «Enrichissez-vous!» («Обогащайтесь!»). Партия, которая хотела избавить Россию от шуйцы капитализма, от буржуазных порядков, ускорила, таким образом, процесс превращения нашего государства в западно-европейское, буржуазное. Россия все больше европеизировалась. Но этим самым «Народная Воля» ускорила его грядущую гибель. Способствуя всеми силами развитию капитализма, государство создавало тем самым и увеличивало класс, который явится его могильщиком, как и могильщиком капитализма. Городское, торгово-промышленное население возрастало в гигантских размерах, а вместе с ним рос и класс городских рабочих. Стихийное массовое движение росло и ширилось.

Примыкая к старым народолюбческим кружкам рабочих, во-

зобновляя прежние, на время прерванные сношения, первые адепты социал-демократии понесли проповедь идей научного социализма в рабочую среду. Много предрассудков и предубеждений приходилось преодолевать на каждом шагу. Работа была невидная, незаметная, не дававшая, казалось, никаких осязательных результатов. Но это только казалось. Те самые эпитоны, которые так несправедливо относились с «трансцендентальным презрением» к так называемой «кружковщине», после, при более благоприятных условиях, нашли в рабочих, распропагандированных первыми пионерами социал-демократии, деятельных сотрудников. А улучшение условий наступило очень скоро.

Голод 1891—1892 годов нанес окончательный удар народническим предрассудкам, ожившим в период реакции восьмидесятых годов. Пассивность крестьянства слишком сильно бросалась в глаза. А удар, нанесенный этим голодом, был непоправим. Дифференциация пошла еще сильнее. Остатки народолюбцев, особенно в России, все больше прониклись новым учением. Ряды его последователей начали быстро увеличиваться. Работа в среде рабочего класса пошла быстрее и интенсивнее. И скоро она принесла свои плоды.

Петербургские стачки 1896—1897 годов показали, что рабочий класс в России представляет единственную силу, которая может импонировать самодержавию и вынуждать его на уступки. А февральские и мартовские события 1901 года, значение которых нельзя достаточно высоко оценить, убеждали всяких маловеров, что рабочему классу дороги не только интересы «ножа и вилки», но и интересы свободы науки, интересы просвещения и знания. Русский рабочий класс оказался единственным классом, который, в союзе с «нами», вынесет на своих могучих плечах дело очищения России от всякой скверны.

Десятки лет «мы», «вверху стоящие, что город на горе», старались провести свои идеалы в жизнь. Но жизнь ответила нам жестокими преследованиями, а «трудящиеся и обремененные» упорно не хотели откликнуться на наш призыв. Настало, наконец, время, когда «протянутая молодежью рука» встретила теплое рукопожатие мускулистой руки миллионов рабочего люда,—когда «мы» почувствовали за собою «тяжелую поступь могучих рабочих батальонов»,—а «мы», во имя старых воспоминаний, старых предрассудков, все еще держимся за обрывки старой правды или ста-

раемся натянуть на нее новый костюм. Как будто все, что дорого нам в старой правде, не вошло целиком в новую, как будто новая правда не есть органическое развитие старой!

Старая правда умерла! Да здравствует новая правда!

А Михайловский?

Барон фон-Грипвальдус,
Известный в Германьи,
В забрале в латах,
На камне пред замком,
Пред ваяком Амальи,
Сдят, припахмурясь...

.
Года за годами
Бароны воюют,
Бароны пьруют,—
Барон фон-Грипвальдус
Все в той же познции
На камне сдят...

При чтении статей последнего периода деятельности Михайловского мне часто вспоминались эти стихи, приведенные им когда-то для характеристики литературной деятельности г. Пыпина. И мы можем теперь сказать ему: «Нет, 15—20 лет прошли педаром, они выяснили немало ошибок и увлечений, потребовали дальнейшего развития, новых приложений,—все той же, однако, я думаю,—основной мысли, которая одушевляла литературу в период возрождения... Было бы смешно засиживаться даже на наиболее жизненных сторонах старой литературы, оставляя их без дальнейшего развития и разъяснения».

Дальше пункта, которого г. Михайловский достиг в начале 80-х годов, он уже не пошел. Ему тогда удалось ярко и сильно отразить в литературе стремления тех, которые признавали, что «нужен прежде всего свет, а свет есть безусловная свобода мысли и слова, а безусловная свобода мысли и слова невозможна без личной неприкосновенности, а личная неприкосновенность требует гарантий». Это было для него «настоятельнейшим требованием нашей жизни; требованием столь настоятельным, что без его удовлетворения все добрые намерения даже самих народников должны расплыться в мире прекрасных слов и мечтаний». Он уже признавал, что «возможность непосредственного перехода к лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадию своего развития, ста-

дию буржуазного государства..., убывает, можно сказать, с каждым днем. Практика урезывает ее беспощадно, сообразно чему наша программа усложняется, оставаясь при той же конечной цели, но вырабатывая новые средства».

Михайловский никогда не был безусловным защитником нашей общины, а теперь ему «становится даже неловко за В. В.», когда этот «вполне добросовестный, но узкий и односторонний работник» свои благожелательные фантазии подставляет на место суровой и неприглядной действительности». Он знает, что «деревня раскалывается на два слоя, выделяя богатых кулаков, держащих под своей грубой пятой остальное население деревни, что это последнее утрачивает «самостоятельное положение в производстве». Но он не в состоянии понять всего исторического значения населения, лишенного «самостоятельного положения в производстве».

И в душу старого борца вкрадывается скептицизм. Он перестает верить в будущее, в «лучший, высший порядок». Его раздражает эта уверенность в других, и он раздражается по адресу уверенных следующей тирадой: «Относительно будущего Марксу (может быть, вместе с Энгельсом) принадлежит предвидение или прорицание исхода капиталистического строя. Оправдается оно или нет, покажет нам будущее, но так как ничего подобного истории человечества не видала до сих пор, то, во всяком случае, не на данные исторического опыта и исторической науки может это пророчество опираться... До сих пор историческая действительность еще нигде и никогда не давала нам такого завершения капиталистического строя. Это—идеал, который одни считают бытовым и прекрасным, другие—несбыточным или совсем нехорошим. Это дело веры, которая, по известному, совершенно справедливому определению, есть уверенность в невидимом, как бы в настоящем. Такова общая участь всех идеалов, и я не против них. Конечно, потому, что без них жизнь неполна, пуста и темна».

И до этого чисто филистерского взгляда на идеалы дошел тот самый писатель, который когда-то написал такие прекрасные строки об идолах и идеалах. Напомним ему его же слова: «Идолы—предметы поклонения, ужаса, обожания, причем твердо сознается невозможность сравниться с ними, достигнуть их величия и силы. Идеал, напротив, есть нечто для человека практически обязательное: человек желает и чувствует возможность достигнуть того или другого состояния... Возможность достижения известной

комбинации вещей собственными человеческими средствами составляет их необходимое условие. Известный идеал, может быть, сознанию человека недостижим ни сегодня, ни завтра, может быть, целый ряд поколений должен уложить к нему путь своими костями, но, во всяком случае, он близок, родственен человеку: человек признает для себя обязательным и возможным идти, приближаться к нему». Таким образом, «лучший, высший порядок»—из идеала близкого, родственного человеку—остался, правда, «чем-то прекрасным, но недостижимым, чужим, на что можно только любоваться». «Конечно, вещь хорошая, и я не против них,—без них жизнь неполна и темна».

А дальше вывод нетрудно сделать, и он был сделан. «Улита едет, когда-то будет». Вместо того чтобы стремиться к недостижимому, к «дальному», не лучше ли присмотреться к «ближнему»? На свете так много страданий и горя! Забудем ли мы все это для какого-то далекого будущего, которое, может быть, никогда не наступит? И оставшийся «без дороги» писатель, усомнившийся в цели, куда во время бно вели два пути, советует теперь Наташе, как Соломин Марianne, заняться «любовью к ближнему».

У нас много говорили за последнее время о «наследстве» и о том, кто отказывается от него. Мы думаем, что если бы этот вопрос был подвергнут более тщательному пересмотру, оказалось бы, что от него отказываются, а то и промотали его, очень часто сами обвинители. Тогда нетрудно было бы также понять, почему в речах «отказавшихся» так часто слышится «насмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом».

Июль — август 1901 года.

КАРЛ МАРКС И РКП

(ПО ПОВОДУ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЯ ПАРТИИ)

I

Когда в марте 1870 года Маркс получил от группы русских революционеров в Женеве предложение быть их представителем в Генеральном совете Первого Интернационала, он писал Энгельсу: «Курьезное положение. Именно я должен функционировать в качестве представителя молодой России. Человек никогда не знает, что сбудется еще в жизни с ним и в какую странную компанию он иногда может попасть». А в одном из следующих писем он уже шутливо подписывается: «К. Маркс. Секретарь для России».

И, действительно, трудно было бы представить себе большой курьез. *Россия*, только что освободившаяся от пут крепостного права страна, в которой тогда и в микроскоп нельзя было открыть никаких следов организованного рабочего движения, была с тех пор представлена в Интернационале, так же как и *Германия*, страна развитого рабочего движения, успевшего уже выдвинуть таких пролетариев, как Вейтлинг и Бебель, одним и тем же секретарем—творцом научного социализма, организатором международного рабочего движения—*Карлом Марксом*.

Восприимчивком революционной России в Интернационале,—а она до того времени не имела в Генеральном совете никакого представительства,—должен был стать заклятый враг официальной России, считавший еще в 1872 году одной из ближайших задач европейской революции войну не на жизнь, а на смерть со старым жандармом Европы, душителем Венгрии и Польши.

Через два года в России вышел раньше, чем в какой-либо другой стране, перевод первого тома «Капитала». А через тринадцать лет в той же самой Женеве маленькая группа русских

революционеров, во главе с Плехановым, развернула знамя революционного марксизма. Прошло еще двадцать лет, и русский пролетариат стал авангардом международного рабочего движения: он поставил в порядок дня вопрос о завоевании политической власти и через полтора десятка лет использовал благоприятную историческую конъюнктуру, чтобы впервые во всемирной истории организовать в господствующий класс, установить диктатуру пролетариата. В лице РКП русское революционное движение, которое в 1870 году получило, в лице Маркса, своего первого представителя в старом Интернационале, стало теперь, как руководящая партия Коминтерна, основным стержнем нового Коммунистического Интернационала. Вениамин старого Интернационала оказался очень восприимчивым, и если он в своем революционном устремлении иногда и ошибался, то никто из его старших братьев не усвоил себе в такой степени революционной сущности учения Маркса, как русский пролетариат и его авангард—РКП.

И в этом лежит одна из главных причин поразительно быстрого развития российского рабочего движения. Марксизм воспринимался не как «чистая» теория, не как теоретическая деятельность. Теоретическое понимание общественной жизни было только средством для революционного изменения ее с тем, чтобы в новой практике находить новые источники для теоретического постижения этой действительности.

Основными вопросами, которые занимал Маркса, на которых он сосредоточил свой теоретический анализ, были именно эти практические проблемы революционной деятельности. Каким образом пролетариат, который один только может покончить с эксплуатацией человека человеком, сумеет организовать в качестве господствующего класса? Каким образом удастся ему освободить от духовного и материального гнета крупного землевладения и крупной буржуазии те классы, которые еще не расстались с иллюзиями частных собственников,— в первую очередь, крестьянство,— и прикрепить их к своей победной колеснице? Эти два основных вопроса революционной стратегии были впервые поставлены Марксом еще до революции 1848 года и на основании ее опыта вновь перерешены. И эти же вопросы являлись главными темами наших бесконечных дискуссий, а в ответах на эти вопросы заключается вся практически критическая работа РКП, на опыте которой теперь учится всемирный пролетариат.

II

Каутский прав в одном пункте. «Словечко» диктатура не встречается у Маркса в его ранних произведениях. Его нет даже в «Коммунистическом манифесте». Но все содержание, которое мы вкладываем в слова: «диктатура пролетариата», закладывается уже во всех его работах, написанных им от 1846 до 1848 года. Целью Союза коммунистов объявляется *господство пролетариата*. В «Коммунистическом манифесте» мы имеем все элементы уже завоеванной «диктатуры пролетариата», сохраняющейся в течение всего переходного периода до полного осуществления коммунизма. Завоевание политической власти пролетариатом, возвышение пролетариата на степень господствующего класса, подчеркивание *классового* характера всякого государства, в том числе и пролетарского, определение государства как организованного в качестве господствующего класса, вчера класса буржуазии, сегодня класса пролетариев, который пользуется своим политическим господством, чтобы изменить коренным образом все условия производства,—все эти определения имеются уже в «Коммунистическом манифесте».

Нужен был опыт революции 1848 года, опыт июньских дней во Франции, опыт ноябрьских дней в Германии, нужен был, одним словом, опыт *диктатуры буржуазии и юнкерства*, которая находила свою опору не только в мещанстве и крестьянстве, но и в соглашательстве мелких демократических партий, но и в доктринерстве различных социалистов, чтобы Маркс пустил в ход это новое «словечко», которое резко подчеркивало непримиримость революционного коммунизма, необходимость противопоставить в классовой борьбе *диктатуру пролетариата диктатуре буржуазии*. Всякая приостановка революции означала *соглашение*, примирение с буржуазией. Отсюда лозунг «*непрерывной*» революции, Revolution in Permanenz, который Маркс в «Новой рейнской газете» противопоставлял всем соглашателям. Чтобы обеспечить *непрерывность* революции, ее превращение в *социальную*, необходима была *диктатура* наиболее революционного класса—*пролетариата*.

Эту основную идею Маркс впервые формулировал таким образом в тех статьях, из которых Энгельс составил сборник под

названием «Классовая борьба во Франции», который он снабдил «смягчающим» предисловием.

«Эта утопия, этот доктринерский социализм подчиняет все историческое движение одному из его факторов, заменяет весь общественный процесс, творящий историю, измышлениями отдельного педанта, а главное—устраняет в своей фантазии революционную борьбу классов со всеми ее необходимыми проявлениями посредством мелких кунштюков или крупных сентиментальничавий». С некоторыми изменениями, эта характеристика целиком относится к современной социал-демократии. «Пролетариат, наоборот, все больше группируется вокруг революционного социализма, коммунизма, который сама буржуазия окрестила именем Бланки. Этот социализм есть не что иное, как перманентная революция, классовая диктатура пролетариата, как необходимая переходная ступень к отмене всяких классовых различий, отмене всех производственных отношений, на которых покоятся эти различия, к отмене всех общественных отношений, соответствующих этим производственным отношениям, к перевороту всех идей, вытекающих из этих общественных отношений».

Характерно, что свою главную «заслугу» Маркс видел не в открытии борьбы классов,—он только связал ее, как и самое существование классов, с определенными историческими условиями развития производства,—а в установлении того факта, что *борьба классов необходимо приводит к диктатуре пролетариата*, что эта диктатура составляет только переход к уничтожению всех классов и к бесклассовому обществу. Но эта формулировка относится уже к 1852 году и только подтверждает, что «словечко» диктатура появляется у Маркса после 1848 года. Но что он и дальше продолжал видеть в «диктатуре пролетариата» не просто «словечко» или фразу, а краеугольный камень своей революционной теории, лучше всего показывает его «критика готской программы», писанная в 1875 году. «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного переустройства: одного в другое. Этому соответствует и в политике переходный период, во время которого не может быть иного государства, кроме революционной диктатуры пролетариата».

III

В связи с этим вопросом Маркс, на основании опыта февральской революции, пересматривает и вопрос о сохранении старой государственной машины. Анализируя причины, которые помогли Луи Бонапарту захватить политическую власть, он, между прочим, выдвигает два фактора. Наполеон мог использовать правительственную машину, которую февральская революция оставила неприкосновенной, ибо, начиная с великой французской революции, все перевороты не ломали, а совершенствовали правительственную машину. Вот почему, ему удалось привлечь на свою сторону крестьянство, которое было озлоблено налоговой политикой февральской революции.

Можно ли сломать эту правительственную машину, не лишая себя того преимущества, которое дает *централизованный* государственный аппарат? В крестьянской стране, каковой тогда являлась Франция, разрушение этого аппарата могло бы повлечь за собою крушение всех связей, при помощи которых центральное правительство утилизировало для своих хозяйственных и военных целей разьединенное крестьянство, которое представляет в современном обществе класс, но само для себя не есть еще класс, которое поэтому неспособно защищать свои классовые интересы от своего собственного имени. Крестьяне «не могут представлять себя, их должны представлять другие». Их представитель должен вместе с тем явиться их господином, стоящим над ними авторитетом, неограниченной правительственной властью, защищающей их от других классов и испосылающей им дождь и ведро.

И Маркс, который тогда еще стоял на точке зрения строгой централизации, делает следующий вывод:

«Разрушение государственной машины не подвергает никакой опасности централизацию. Бюрократия есть только низкая и грубая централизация, которая еще обременена своей противоположностью, феодализмом. Отчаявшись в наполеоновской реставрации, французский крестьянин расстанется и с верой в свой земельный участок, рухнет и все построенное на крестьянском землевладении государственное здание, и *пролетарская революция получит хор, без которого ее соло во всех крестьянских странах превращается в лебединую песнь*».

Это прекрасное место, из которого отчетливо видно, что Маркс решал основной вопрос о сохранении или разрушении правительственной машины в связи с вопросом о средствах удержать «гегемонию» над крестьянством за пролетарской революцией, во втором издании «18 брюмера» выпущено. Из него вообще удалены многие детали, посящие, так сказать, чисто местный, французский характер, как устранено и все, что имело чересчур злободневный характер, понятный только современникам. Так и цитируемое нами место заменено более общим положением: «Государственная централизация, в какой нуждается современное общество, может подняться лишь на развалинах военно-бюрократического механизма, выкованного в борьбе с феодализмом».

Коммуна дала повод Марксу сделать дальнейший шаг. Она заставила его изменить свои взгляды на роль великой французской революции в процессе создания политической централизации. Практика Парижской коммуны напомнила практику старой революционной коммуны после 10 августа 1792 года с ее секциями и секционными советами, весьма похожими на наши городские и районные советы. Оказалось, что диктатура Паризжа над Францией в 1792—1793 годах основывалась не на строго проведенной якобинской, политической централизации, а на самоуправлении революционных общин. Власть в центре опиралась на власть на местах. При таких условиях основательное разрушение старой бюрократической машины, на которую насела еще густая крепостническая ржавчина, являлось предварительным условием пролетарской диктатуры.

Коммуна в силу неблагоприятных условий была отрезана от остальной Франции. Ей не удалось прорвать блокаду, организованную Тьером и Бисмарком. Она осталась и без помощи извне. Поэтому ее героическая песнь не нашла себе отклика и превратилась в лебединую песнь парижского пролетариата.

Но без опыта Коммуны невозможен был бы опыт Октябрьской революции. Революционная практика Коммуны дала новый толчок революционной теории. И первые выводы успел сделать еще сам Маркс. Новая практика выдвигает новые проблемы, жизнь повелеательно гребует их решения. Теория революционного коммунизма даст нам надежную руководящую нить. Критический пересмотр основ революционной стратегии, выработанных Марксом, даст возможность РКП найти выход и из новых затруднений. Во-

оруженный самой революционной теорией, которую только создала революционная практика, российский пролетариат, под руководством РКП, сумеет справиться и с новыми трудностями. Старая правительственная машина—это чудовищное соединение крепостнических и буржуазных элементов—разбита вдребезги. Бесчисленное крестьянство лишилось своих старых руководителей и организаторов, употреблявших его как таран против всякого прогрессивного и революционного движения. Необходимо создать новую правительственную машину, которая позволила бы организованному в господствующий класс пролетариату закрепить те связи, которые установились между ним и крестьянством в процессе совместной борьбы против белогвардейщины. И в пролетариате, им самим из своей среды выделяемом, крестьянство находит своего лучшего представителя, своего непоколебимого защитника против всех сил старого режима.

Претворяя еще интенсивнее теорию революционного коммунизма Маркса в свою практику, авангард русского и международного пролетариата, РКП, позаботится о том, чтобы торжествующая песнь Октябрьской революции нашла себе могучий отголосок в победном хоре революционного крестьянства.

V

*ВЗГЛЯДЫ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА
НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ*

АНГЛО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОЦЕНКЕ К. МАРКСА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая теперь вниманию русских читателей работа была предпринята автором осенью 1908 года. Революция 1905—1907 годов показала, что старая программа внешней политики, которую социал-демократия, вслед за Марксом и Энгельсом, унаследовала от радикальной демократии, нуждается в критическом пересмотре. Чтобы решить эту задачу, требовалось, в первую голову, исследовать эволюцию взглядов Маркса и Энгельса на вопросы внешней политики. А как раз в этой области то, что можно назвать «марксведением», отличалось большими пробелами. Собрание сочинений Маркса и Энгельса, изданное Мерингом, остановилось на революции 1848—1849 года. Попытка Элеоноры Маркс издать некоторые работы отца, относящиеся к пятидесятым годам, оказалась, при ближайшем рассмотрении, весьма недостаточной. Мне пришлось поэтому произвести большую предварительную работу и привести сначала в известность все литературное наследство, оставленное Марксом и Энгельсом. В значительной степени облегченная тем, что покойные Лафарги и Бебель предоставили в мое распоряжение весь архив Маркса и Энгельса, эта работа все же потребовала тщательного пересмотра многочисленных журналов и газет и дала в результате совершенно новые материалы.

Всемирная война приостановила опубликование собрания сочинений Маркса и Энгельса за период 1850—1852 годов, равно как и издание документальной истории Первого Интернационала. Только отдельные части этой работы были опубликованы в журналах немецкой и австрийской социал-демократии,—в «Neue Zeit» и «Kampf», а также в «Архиве по истории социализма и рабочего

движения», выходящем в Вене под редакцией проф. Карла Грюнберга.

Издаваемый теперь на русском языке критический этюд впервые познакомил европейскую социал-демократию со взглядами Карла Маркса, — опубликованная с тех пор переписка его с Энгельсом показала, что и тут многое из повлиявшего под именем Маркса написано Энгельсом, — на историческое развитие русской гегемонии в Европе. И он же явился первым опытом «реви́зи» взглядов Маркса и Энгельса на восточный вопрос и вопрос о роли России в области международной политики. Предшествовавшая попытка Розы Люксембург и Карла Каутского, в их полемике с Вильгельмом Либкнехтом по поводу критского и армянского вопросов, указать на невозможность догматического повторения старых взглядов Маркса и Энгельса, несмотря на ряд верных критических замечаний, явилась уже потому недостаточной, что она исходила из совершенно неверного представления о развитии соответствующих взглядов основателей научного социализма.

Русское издание является почти буквальным воспроизведением немецкого, которое появилось отдельным приложением к «Neue Zeit». Восстановлены только, по сохранившемуся у меня манускрипту, некоторые места, которые Каутский считал слишком специальными для немецкого читателя, и несколько критических замечаний по адресу Меринга, занявшего в споре между Марксом и Лассалем по вопросам внешней политики такую же оппортунистическую позицию, какую он занял в споре между Либкнехтом и Бебелем, с одной стороны, и Швейцером, с другой, по вопросам внутренней политики, — замечаний, выпущенных по просьбе Каутского.

Практическая деятельность в настоящее время мешает мне переработать и дополнить некоторые главы. Как раз после появления моего этюда, и даже одновременно с ним, были опубликованы новые данные и работы как в русской, так и в иностранной литературе, которые могли бы еще более ярко иллюстрировать развиваемые мною положения (работы Д. М. Полиевиктова, И. Любименко, Чэнса, Виллиама Роберта Скотта и друг.).

Я надеюсь, что мне удастся в следующем издании, хотя бы в отдельных примечаниях, коснуться и тех возражений, которые вызвала моя работа.

Сентябрь 1918 года.

1. КОНТР-РЕВОЛЮЦИОННАЯ РОЛЬ АНГЛИИ И РОССИИ В 1848—1849 ГОДАХ

Революция 1848 года, как вихрь пропеснялся по всей Западной Европе, подпльшая не только Вену, но и Берлин, остановилась у границ России. Мигутная тревога, вспыхнувшая в Петербурге, улеглась скоро, как только получены были из третьего отделения рапорты, что «все обстоит благополучно». И, притаившись, точно зверь, выжидающий удобного момента, чтобы броситься на свою добычу, русский абсолютизм внимательно следил за перипетиями революционной борьбы в Германии, в то же время концентрируя свои войска на западной границе.

«Царь стоит перед воротами Торпа», писала «Новая рейнская газета»¹⁾.

Этот факт определял всю внешнюю политику немецкой демократии и ее крайнего левого крыла, группировавшегося вокруг «Новой рейнской газеты». Ее редакторы открыто заявляли, что «только война с Россией есть война революционной Германии, война, в которой она смывает грязь прошлого, в которой она вернет себе свои силы, в которой она может победить своих собственных самодержцев, в которой она, как то прилипствует народу, стряхнувшему цепь долгого ненужного рабства, пропаганду цивилизации оплатит жертвою своих сынов и освободит себя от своих внутренних врагов, освободив себя от внешних».

С другой стороны, Николай в Нессельроде, завязавшие уже тогда тайные переговоры с «Картечным принцем» (будущий Вильгельм I), следовали только традициям русской дипломатии, когда

¹⁾ Следующая цитата из доклада Нессельроде (20 ноября 1850 года), в котором он, по поводу 25-летия со дня воцарения Николая I, дает обзорную оценку внешней политики, служит прекрасным комментарием к словам «Новой рейнской газеты»: «События 1848 года придали еще более важное значение той роли охранителя и блюстителя порядка, которая возложена на Вас правительством с 1830 года. Достигнуто же это было спокойствием, с которым В. В. дал уступить первым последствиям бури, разразившейся над Европой, не выказывая ни издешней торопливости, ни робости, ни страха и выжидал, для того чтобы вступить на сцену, лишь момента, который бы Вы, в своей мудрости, сочли наиболее подходящим. Оставшись один на развалинах дровяных государств континентальной Европы, Вы молча собрались с силами, чтобы, в случае надобности, защитить неприкосновенность Вашей территории и обратиться эту силу на защиту других» («Сборник Русского ист. общества», том 98, стр. 294).

в циркуляре 6 июля горько жаловались на несправедливые подозрения, жертвой которых Россия со времени мартовской революции стала в Германии.

«Война против России,—писал Нессельроде,—была провозглашена как одна из наиболее необходимых задач момента».

Русский абсолютизм напоминал об уважении к трактатам 1815 года, целью которых было увековечить разделение Германии, и протестовал самым энергичным образом против объединения, о котором «мечтала демократия, жаждавшая во что бы то ни стало вовлечь Германию в войну с соседями».

Тяжелая лапа «русского медведя» чувствовалась еще в той энергии, с которой была подавлена попытка восстания в прусской Польше. И русский абсолютизм еще совершенно открыто выступил в вопросе о Шлезвиге, заставив Пруссию вести только «показную войну», чтобы сейчас же закончить ее перемирием. В числе «трех наиболее реакционных держав Европы», ставших на сторону Дании, «Новая рейнская газета» упоминает, наряду с Россией и Пруссией, также и Англию. «Пруссия, Англия и Россия— вот три державы, которые больше всего боятся немецкой революции и ее первого следствия, немецкого объединения: Пруссия—потому что в этом случае она перестает существовать, Англия—потому что она лишится возможности эксплуатировать немецкий рынок, Россия—потому что демократия таким путем доберется не только до Вислы, но и до Двины и Днепра».

Уже в корреспонденциях «Новой рейнской газеты» из Лондона можно проследить этот поворот в отношении к Англии и тогдашнему руководителю ее внешней политики Пальмерстону, который не только членам «Священного союза», но и европейским либералам казался чемпионом конституционализма и национального объединения после итальянских и швейцарских событий 1847 года. Но ожесточенный враг английского рабочего движения и верный слуга английского капитала, охранявший конституционную Бельгию, как оплот против Франции, поддерживавший своим «нравственным» авторитетом и деньгами швейцарских либералов и отстаивавший интересы английской торговли на Аппенинском полуострове против Австрии, был «шокирован» революцией 48 года в не меньшей степени, чем Николай. Он слишком хорошо понимал, что всякий новый успех революционного движения на континенте укрепляет мартизм в Англии, и употреблял все усилия,

чтобы ввести революцию в определенное русло. Отсюда и его упорное противодействие германскому объединению, поскольку оно могло совершиться только путем победы народа над короной. Каждое поражение революции во Франции и в Германии означало в то же время и поражение английского чартизма и усиление контр-революционной роли Англии.

Подводя итоги революционного движения в 1848 году, «Новая рейнская газета» пишет в новогодней статье 1 января 1849 года:

«А страна, которая превратила целые народы в своих пролетариев, которая своими исполинскими руками охватила весь мир, которая уже раз своими деньгами оплатила издержки европейской реставрации, страна, в которой классовые противоречия отличилась в наиболее отчетливые и бесстыдные формы,—эта страна, Англия, высится точно скала, о которую разбиваются все революционные волны. Она хочет задушить новое общество еще в чреве матеря. Коренное изменение экономических отношений в какой-либо стране европейского континента, на всем европейском континенте—без Англии—явилось бы бурей в стакане воды. Условия промышленности и торговли каждой нации зависят от ее сношений с другими нациями, определяются отношением к всемирному рынку... Старая Англия будет низвергнута только путем мировой войны, которая одна лишь может создать для партии чартистов, для организованной партии английских рабочих, условия успешного восстания против их всемогущих угнетателей. Чартисты во главе английского правительства—только с этого момента социальная революция переходит из царства утопии в царство действительности. А каждая европейская война, в которую втянута Англия, является всемирной войной: она ведется как в Канаде, так и в Италии, в Ост-Индии и в Пруссии, в Африке и на Дунае. Европейская война—это первое следствие победоносной рабочей революции во Франции. Как в эпоху Наполеона, Англия будет стоять во главе контр-революционных армий, но самым ходом войны вынуждена будет стать во главе революционного движения и искупить, таким образом, свою вину против революции восемнадцатого столетия. Революционное восстание французского рабочего класса, всемирная война—вот программа 1849 года».

Если еще 2 июля 1848 года «Новая рейнская газета» беспощадно развешивает длинный список всех грехов, совершенных

Германпей против свободы различных народов и в защиту абсолютной власти; если она тогда указывала, что, даже в глубине России, немцы служили главной опорой единого и всех маленьких самодержцев, что в Англии реакция поддерживалась при помощи ганноверских войск,—то 15 февраля она пишет уже несколько мягче:

«До сих пор всегда утверждали, что немцы были лапdeckнехтами деспотизма во всей Европе. Мы несколько не думаем отрицать позорного участия немцев в позорных войнах против французской революции от 1792 до 1825 годов, в покорении Италии с 1815 и Польши с 1772 года. Но кто стоял за немцами, кто пользовал их как своих наемников или свой авангард? *Англия и Россия*».

В предисловии к статьям о «Наемном труде и капитале», в котором Маркс объясняет, почему «Новая рейнская газета» до тех пор не останавливалась подробно на анализе экономических отношений, образующих материальную основу классовую и национальную борьбу, он указывает, что редакция считала своей главной задачей, прежде всего, следить за проявлением классовой борьбы в текущей повседневной практике. Затем он перечисляет опять главные этапы революций февральской и мартовской и показывает, как «Европа, победив революционных рабочих, опять впала в свое старое двойное рабство, в *англо-русское рабство*». И, обещая теперь подробно анализировать экономические условия, Маркс хотел, кроме исследования отношений между наемным трудом и капиталом и доказательства, что средняя буржуазия при современной системе обречена на неизбежную гибель, изобразить еще, как «*Англия, этот деспот всемирного рынка, подчиняет и эксплоатирует в торговом отношении буржуазные классы различных европейских наций*».

Но ему не удалось выполнить свое обещание.

19 мая появился последний «красный» номер «Новой рейнской газеты», в котором Маркс повторяет заключение передовицы новогоднего номера:

«Революционное восстание французского рабочего класса, всемирная война—вот программа 1849 года. И на Востоке уже противостоят старой коалиционной Европе, представленной в русской армии, новая революционная армия, составленная из борцов всех наций, и из Парижа грозит уже красная республика».

Маркс и Энгельс ошиблись. Венгрия была раздавлена русской армией, а надежды на социальную революцию в Англии, на победу чартизма, оправдались так же мало, как и надежда на то, что французский пролетариат оправится после июньской бойни и даст новый, еще более сильный толчок революционному движению.

Усилившаяся реакция преследовала Маркса по пятам. Поражение мелко-буржуазной демократии 13 июня 1849 года заставило его уехать из Парижа в Лондон, где он скоро приступает к изданию «Новой рейвской газеты» в форме журнала.

Если Пруссия и Австрия шли на буксире России, то французская буржуазная республика шла на буксире Англии, где внешней политикой продолжал руководить Пальмерстон.

«Посредническая роль, которую Кавеньяк и национальное собрание играли в *Северной Италии*, чтобы сообща с Англией передать ее Австрии,—один этот день власти уничтожил восемнадцать лет оппозиции «National». Нет ни одного правительства менее национального, чем правительство партии «National», ни одного—зависимее от Англии... ни одного—более холопского по отношению к Священному союзу».

И кто доставлял России те деньги, которые давала ей возможность совершать ее контр-революционную миссию? *Англия*. В начале 1850 года Нессельроде писал князю Воронцову следующие восторженные строки:

«Мы недавно имели опять блестящее доказательство симпатий, которые существуют еще в Англии по адресу России. Свидетельство—прим, оказанный нашему займу, несмотря на Кобдена и К^о, как «Morning Chronicle» остроумно называет лидера фритредеров. Представьте себе, что подписка дошла до 16 миллионов ф. ст. Пусть говорят после этого, что в Англии уже не любят больше России»¹).

Действительно, трудно сказать, кто усерднее поддерживал предводителя французских черносотенных банд в деле восстановления «порядка» во Франции—Россия или Англия. В номере от 29 декабря 1851 года английский «Экономист» писал:

«На всех европейских биржах президент Французской республики признан теперь охранителем порядка».

¹ Из письма Нессельроде к Воронцову 7/19 февраля 1816 года. (См. «Архив князя Воронцова», том XXX, стр. 361.)

А Нессельроде писал, что Россия в своих представлениях президенту всегда подчеркивала его «неоспоримые заслуги, которые он приобрел, укротив революционный дух», одобряла все, что он делал в интересах «порядка», и рекомендовала идти все так же неуклонно по этому пути ¹⁾.

Переворот 2 декабря 1851 года означал окончательное торжество контр-революции.

В Австрии была отменена конституция, а в Германии, после кельнского процесса коммунистов и уничтожения последних остатков рабочих союзов, господствовала самая мрачная и циничная реакция. После варшавского унижения следовал ольмюцкий позор, и лондонским протоколом 8 июля 1852 года Шлезвиг-Гольштейн был опять укреплен за Данией.

А кто были главными авторами лондонского протокола? *Англия и Россия.*

Старое англо-русское рабство опять распространилось на всю Европу. Пруссия лакействовала перед Россией более, чем когда-либо прежде. Как выразился Александр II, горячо любимый племянник еще более горячо любимого дяди, будущего Вильгельма I:

— «Чем более оскорбляют Пруссию, тем более она льнет к нам».

Отношения России и Англии носили самый дружественный характер, настолько дружественный, что Николай I уже собирался вместе с Англией разделить наследство «больного человека», так как в Пруссии и Австрии он был вполне уверен. Первый русский рабовладелец был плохо знаком с психологией рабов.

Для Маркса это победоносное шествие реакции не было неожиданностью. Он уже осенью 1850 года пришел к заключению, что о действительной революции не может быть больше речи.

К этому выводу его привели внимательное изучение тогдашних экономических условий и анализ событий 1849 и 1850 годов. Он показал, каким образом начавшийся еще в течение 1848 года и усилившийся в 1849 году расцвет промышленности и торговли парализовал революционный подъем и сделал возможными победы реакции.

¹⁾ Из письма Нессельроде к князю Воронцову от 7/19 марта 1852 года. («Архив князя Воронцова», т. XL, стр. 421.)

Экономическая зависимость континента от Англии проявилась так же ярко в эпоху процветания, как и в эпоху кризиса. Континент рабски следует за Англией:

«Точно так же, как кризис разразился на континенте позднее, чем в Англии, так и фазис процветания начался в последней раньше. Первичный процесс совершается всегда в Англии, ибо она является демнургом буржуазного космоса».

Политическое порабощение континентальной Европы *Россией* дополнялось *экономическим* порабощением ее *Англией*.

Революция 1848 года разбилась о сопротивление России, этого деспота Европы, в не меньшей степени, чем о сопротивление Англии, этого деспота всемирного рынка.

Если из Лондона исходили все экономические нити, которыми опутывается всемирный рынок, которыми закреплялась зависимость континентальной Европы от лондонской биржи, то в Петербурге неустанно выковывались те оковы, в которых билась побежденная революция, сплетались все козни и интриги реакции, которыми европейские дворы, от Берлина до Мадрида и Лиссабона, опутывали свои народы¹⁾.

Такова была политическая атмосфера, когда Маркс опять возобновил свои экономические занятия, прерванные революцией. На первом плане для него стояло изучение «Демнурга буржуазного космоса», стремление разрешить загадку буржуазного общества. «Колоссальный материал для истории политической экономии, накопленный в Британском музее, удобный пункт, каким Лондон является для наблюдений над буржуазным обществом, наконец, новая фаза, в которую вступило развитие этого общества со времени открытия калифорнийского и австралийского золота», — все это побудило Маркса взяться снова за свое исследование с самого пачала и опять критически переработать весь новый материал.

Первым плодом этой работы явилась «Критика политической

¹⁾ «Основной принцип нашей политики, — писал Нессельроде в 1833 году Ливену в Лондон, — заставляет нас прилагать все старания для сохранения власти повсюду, где она существует, для укрепления ее там, где она ослабевает, и, наконец, для спасения ее там, где она открыто подвергается нападениям». Эта депеша предназначалась для прочтения Пальмерстону, который в бельгийском вопросе оказался менее уступчивым, чем в польском. «Великобритания, ваш старый друг и союзник, слишком долго разделяла с нами те же взгляды, чтобы не знать их освоенным образом» (*Мартенс, Ф., Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами, т. XII, стр. 24—25*).

экономист», в которой Маркс начал выполнять обещание, данное за десять лет перед этим читателям «Новой рейнской газеты».

Но Маркс занимался в пятидесятых годах не только исследованием «буржуазного космоса». Не менее усердно изучал он «мистерии международного государственного искусства». Лондон представлял не только самый благоприятный пункт для наблюдения экономических отношений всемирного рынка, но, как и Гаага в XVIII столетии, место, где быстрее, чем где-либо в биржевых бюллетенях, отражались, как в чувствительном барометре, малейшие колебания атмосферы, всякая, хотя бы незначительная, пертурбация в области международных политических отношений.

Только в Англии того времени возможно было такое явление, как образование по всей стране целого ряда Foreign Affairs Committees—обществ, посвящавших себя исключительно изучению вопросов внешней политики, внимательно следивших за деятельностью министерства иностранных дел и подвергавших каждый акт его политики самой придирчивой критике.

Но не только личные наклонности Маркса побуждали его «исследовать мистерии международного государственного искусства и следить за дипломатическими проделками правительств». Повелительная необходимость в хлебной работе заставила его принять на себя обязанности европейского редактора «New-York Tribune», первой англо-американской газеты того времени. Так как он, по его словам, собственно газетным корреспондированием занимался очень мало, то это влекло за собой чрезвычайное разбрасывание в выборе тем для работ. И среди таких занятий, отвлекавших его от главных экономических исследований и, повидимому, очень мало связанных с этим предметом, не малое место занимало именно изучение истории международных дипломатических сношений.

Мы видели уже, под влиянием каких впечатлений у Маркса, еще до приезда в Лондон, складывалось убеждение, что Англия и Россия являлись фактическими союзниками в борьбе с революцией. Пребывание в Лондоне еще более убеждало его в контр-революционном характере политики Пальмерстона, который прусской камарилье того времени казался агентом революции, а прусским либералам—чемпионом конституционализма и таким же защитником национальной идеи, как Наполеон III. Вполне понятно поэтому, что его должны были заинтересовать работы Давида Уркарта, который в продолжение 20 лет неустанно разоблачал

штриги русской дипломатии, обвиняя Пальмерстона в угодничестве перед Россией, и также усердно расхваливал прелести турецкого владычества на Балканском полуострове. Именно эта ненависть к России и постоянная оппозиция против Пальмерстона послужили поводом к сближению Уркарта не только с революционной эмиграцией (польской и венгерской), но и с Марксом.

Не следует, однако, думать, что Маркс находился под исключительным влиянием Уркарта. Это было невозможно уже просто в силу того, что оба они исходили из совершенно различных принципов, что задачи их совершенно расходились. Маркс не только не разделял туркофильских тенденций Уркарта, но осмеивал их, как это видно из следующей юмористической характеристики упрямого оригинала, который восторгался турецкой свободой не меньше, чем турецкими банями:

«Шотландец по происхождению, протестантский насквозь средневековыми и патриархальными предрассудками своей родины и Греции против турок, попал в страну последних и сделался вскоре их страстным поклонником. Романтически настроенный горец чувствовал себя в горных ущельях Пинда и Балкан как у себя дома. Все его сочинения о Турции, содержащие, впрочем, много очень ценных сведений, можно резюмировать в трех парадоксах, которые гласят буквально следующим образом: во-первых, если бы Уркарт не был английским подданным, то он, наверное, сделался бы турком; во-вторых, если бы он не был пресвитерианцем, то он не хотел бы исповедовать никакой другой религии, кроме Ислама; и, в-третьих, Англия и Турция—единственные страны в мире, которые наслаждаются благами самоуправления, религиозной и гражданской свободы»¹⁾).

Вот что рассказывает Маркс в своем известном памфлете «*Hege Vogt*» о своих отношениях к Уркарту и его партии:

«Сочинения Уркарта о России и против Пальмерстона заинтересовали меня, но не убедили. Чтобы составить себе определенное мнение, я подверг отчеты Ганзарда о парламентских прениях и снятые книги от 1807 до 1850 года внимательному анализу. Первым плодом этих занятий явился ряд передовиц в «*New-York Tribune*» (конец 1853 года), в которых я доказал связь Пальмерстона с петербургским кабинетом на основании его действий по отноше-

¹⁾ *Karl Marx, The Eastern Question. London, 1897, pp. 24 — 26.*

вию к полякам, туркам, черкесам и т. д. Вскоре после этого я перепечатал эти статьи в «Peoples Paper», в органе чартистов, выходившем под редакцией Эрнста Джонса, и прибавил к ним новые главы о деятельности Пальмерстона. Тем временем «Glasgow Sentinel» перепечатал одну из этих статей («Пальмерстон и Польша»), которая привлекла внимание Д. Уркарта. После свидания, которое я имел с ним, он предложил г. Теккеру в Лондоне издать часть моих статей в форме памфлетов. Эти пальмерстовские памфлеты разошлись в количестве от 15 до 20 000 экземпляров».

Памфлеты Маркса, действительно, имели огромный успех и в немалой степени способствовали разрушению легенды, создавшейся вокруг имени Пальмерстона не только в Европе, но и в Англии. Маркс беспощадно вскрыл все противоречия пальмерстовской политики и показал, что *фактически* он являлся таким же агентом контр-революции, как и петербургские дипломаты ¹⁾:

«Он борется против влияния заграницы на словах и склоняется перед ним на деле. От Каннинга он унаследовал миссию Англии пропагандировать конституционализм на континенте, и у него всегда имеется наготове повод, чтобы разжечь национальные предрассудки, оказать противодействие революции на континенте и вместе с тем возбуждать подозрительную ревность иностранных держав. И в то время как он этим путем заслужил себе при континентальных дворах репутацию зловердного человека, он у себя дома считается образцом настоящего английского министра... Одна партия называет его карбонарием... В то время, когда поляки, итальянцы, венгры или немцы потерпели поражение, Пальмерстон стоял у власти, но деспоты этих народов всегда подозревали его в том, что он был связан тайным договором с их жертвами, на подчинение которых он спокойно смотрел. Доныне можно

¹⁾ *Karl Marx*, Herr Vogt. London, 1860, pp. 58 — 59. Статьи о Пальмерстоне собраны в книжке «The story of the life of lord Palmerston», издание которой подготовлено было еще Элеонорой Маркс, но вышло после ее трагической смерти. В форме памфлетов, упоминаемых Марксом, появились: третья глава, под названием «Пальмерстон и Польша», и пятая глава, под названием «Что сделал Пальмерстон» («Palmerston what has he done»). Обе брошюры в отдельном издании, особенно вторая, были дополнены. Они появились в издательстве Теккером серия «Political Flysheets», Vol. I, №№ 1 и 2.

было во всех случаях считать шансом на успех иметь его в числе врагов и предзнаменованием верного поражения—иметь его в числе друзей»¹⁾.

Маркс мог бы прибавить: за исключением героев порядка. Эти всегда могли рассчитывать на его верную дружбу.

Насколько верно Маркс оценил эту контр-революционную роль Пальмерстона, его фактический союз и сотрудничество с другими деятелями европейской контр-революции, показала и вся дальнейшая политическая деятельность почтенного лорда.

Нужно было обладать всей политической прозорливостью немецких либералов пятидесятых годов, чтобы и после революции 1848 года продолжать видеть в Пальмерстоне защитника принципов конституционализма *quand même* и покровителя угнетенных национальностей.

Характерно, что Фогт объяснял нападки «кшкин» Маркса на Пальмерстона враждою Маркса против Фогта и его друзей. Даже Лассаль находился под гипнозом этой континентальной легенды и склонен был объяснять и оправдывать многие акты Пальмерстона,—в том числе и те, которые совершены были под давлением петербургского кабинета или встречали полное одобрение эзотерической русской дипломатии,—его антирусской политикой.

Как правы были Маркс и Энгельс, считая крымскую войну, поскольку она являлась актом официальной Англии, только «показной войной», хотя она стоила миллиона человеческих жизней и миллиардов франков, показывает вся позднейшая литература о севастопольской кампании.

Со статьями Маркса о Пальмерстоне тесно связаны его многочисленные статьи о восточном вопросе и крымской войне в «New-York Tribune» за 1853—1856 годы, собранные и изданные Элеонорой Эвелинг под общим заглавием «The Eastern Question»²⁾.

И отделяться от анализа и объяснения соответствующих

1) *Karl Marx, The story of the life of lord Palmerston. London, 1899, pp. 8—9.*

2) На них мы намереваемся остановиться подробнее в другом месте. Тогда же мы более подробно рассмотрим взгляды Маркса на политику Пальмерстона в связи с восточным вопросом и политикой Англии в эпоху крымской войны. (Это сделано мною в «*Gesammelte Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels. 1852 bis 1862*». Stuttgart, 1917. Два тома. В это издание вошли как статьи о восточном вопросе, так и о Пальмерстоне.)

взглядов Маркса простой ссылкой на то, что он—*quelle bogteug!*—в частных письмах называл Пальмерстона купленным русским агентом—это чересчур легкий способ обойти действительный вопрос о том, насколько верна была марксовская оценка политики Пальмерстона. Достаточно указать, что русским агентом считали Пальмерстона и подозревали его честность не только Уркарт, но и многие другие англичане, в том числе и Портер, автор известной работы «Progress of the Nation».

Меринг мог прийти к своему выводу, что по существу прав был Лассаль, только потому, что и он сводит спор Лассаля и Маркса, главным образом, к вопросу о том, был ли Пальмерстон русским агентом или нет. Этим объясняется и неожиданное заключение Меринга, что политика Пальмерстона защищена против обвинения в сознательной измене всем фактическим ходом событий!

Пальмерстон руководил внешней политикой Англии с маленькими перерывами от 1830 до 1851 года и затем—тоже с небольшими паузами—от 1852 до своей смерти в 1865 году. Вполне естественно, что Марксу все сильнее навязывалась мысль, что за *фактическим* сотрудничеством Англии и России в борьбе с революцией скрывалось и личное сотрудничество, идейная солидарность между сент-джемским и петербургским кабинетами. Как ни казался со стороны противоестественным такой союз между конституционной Англией и деспотической Россией, целый ряд фактов—не только после 1850 года, но и до этого года—указывал на существование такого скрытого сотрудничества, которое не прекращалось и в те эпохи, когда в Англии господство вигов сменялось господством ториев.

«Когда в марте 1849 года лорд Дэдлей Стюарт внес в палату общин предложение, осуждавшее русскую оккупацию дунайских княжеств, лорд Пальмерстон энергичным образом защищал действия императорского правительства и доказывал его право защищать порядок в княжествах. Однако наиболее красноречивым защитником русской политики на Востоке оказался Дизраэли, впоследствии лорд Биконсфилд. Когда русский посол Брунов сообщил Пальмерстону о вступлении русских войск в Венгрию, благородный лорд выслушал это заявление с видимым равнодушием и только промолвил в ответ: «кончайте поскорее», а убежденный торий, герцог Веллингтон, рекомендовал следующий план: «Постарайтесь действовать массами, силами, достаточными для со-

крушения смуты одним ударом. Ведите большую войну, большими средствами. Вы их имеете»¹⁾).

Только после крымской войны более или менее кристаллизовались антирусские тенденции английских консерваторов. А до шестидесятых годов, находилось ли у кормила правления торийское министерство или вигистское, — английская крушая буржуазия, в союзе с русским абсолютизмом, так же охотно топтала в грязь всякие принципы либерализма, раз дело шло о *восстановлении «порядка»*, как и в наше время, когда радикальное министерство Асквита и Грея, в союзе с русскими Ляховыми, помогает персидскому шаху бомбардировать меджлис и душить персидских революционеров. И павные европейские либералы пятидесятых годов, в своих надеждах на конституционную Англию, оказывались не менее павными, чем русские кадеты, когда они поддерживают современный англо-русский союз и все еще «отказываются» видеть за Ляховым Гартвига и «не могут верить», что за Гартвигом скрывается Грей.

Но Маркс не ограничился только изучением дипломатических книг от 1807 до 1850 года. Весьма прочные симпатии влигов к России должны были заставить его сделать экскурсию и в область истории XVIII века, когда вигистская олигархия почти бессменно управляла Англией. И его предположение, что старое англо-русское рабство, в которое Европа опять впала после февральской революции, является результатом союза Англии и России, что неподлежащее для Маркса никакому сомнению *фактическое* сотрудничество основано было на определенной связи между английскими и русскими дипломатами, превратилось в прочное убеждение, когда он, «по просмотре находящихся в Британском музее дипломатических бумаг, нашел ряд английских документов, которые тянутся от эпохи Петра Великого до конца XVIII столетия и свидетельствуют о постоянном тайном сотрудничестве между лондонским и петербургским кабинетами, причем колыбелью этого сотрудничества является как раз эпоха Петра Великого». Но не только найденная им дипломатическая переписка дала ему совершенно новый материал, тогда, как казалось ему, никак еще

¹⁾ И русский офицер, проф. Мартенс, прибавляет: «Слова герцога Веллингтона обратили на себя серьезное внимание государя, который их подчеркнул в донесении барона Бруннова от 29 апреля (11 мая) 1849 года» (Мартенс, там же, стр. 253 — 255).

же использованный; не менее новые данные извлек он также из памфлетной литературы XVIII столетия, в знакомстве с которой он не имел соперников. Со свойственной ему страстностью он приступил к научной обработке этих материалов. К сожалению, из большого труда об указанном предмете, как он сообщает в «Herr Vogt», он успел опубликовать только введение под названием «Revelations of the diplomatic history of the 18-th century». Эта работа появилась сначала в шеффилдской, а после лондонской «Free Press», — в газетах, которые обе были органами Давида Уркарта. Это та же самая работа, которая была также подготовлена к изданию Элеонорой Маркс, но, как и «The story of the life of Lord Palmerston», издавна уже после ее трагической смерти под названием: «Secret diplomatic history of the 18-th century» ¹⁾.

В «Новой рейнской газете» Маркс дал недосягаемый образец публицистической деятельности, умеющей из запутанной массы, повидимому, совершенно случайных, не связанных и не соединенных друг с другом факторов живой текущей истории извлекать и выдвигать на первый план те из них, которые являются основными, чтобы вскрыть в настоящем корни прошлого и найти в нем зародыши будущего. В «18 брюмера Людовика Бонапарта» он, по горячим следам, сейчас же вслед за совершившимся событием, кистью гения набрасывает основные контуры истории французской революции 1848 года и мастерски показывает, что наполеоновский *coup d'état* явился ее необходимым последствием. В «Революции и контр-революции в Германии» перед нами развертывается сжатая характеристика главных моментов революции в Германии и Австрии. Но, по происхождению своему, эти работы, как и «Гражданская война во Франции», были не историческими трудами, а публицистическими, и если для нас они превратились в образцовые истории соответственных событий, если их основные выводы подтверждаются и дополняются всей позднейшей исто-

¹⁾ Должно быть, этим обстоятельством объясняется небрежность, с которой напечатана книга Маркса. Не указано ни где, ни когда была напечатана эта работа. Не говоря уже о корректурных ошибках, одна из глав, по небрежности издателей, обезображена огромным пропуском. Статья первоначально была напечатана в лондонской «Free Press» 16 и 23 августа, 13 и 20 сентября, 4 октября, 8 и 29 ноября, 6 и 20 декабря 1856 года, 4, 18 и 25 февраля и 1 апреля 1857 года.

рической литературой, то это только лишний раз доказывает, как глубоко *историчен* был публицист Маркс, как *объективно* было его изложение, несмотря на весь его *субъективизм*.

Напротив, в «Разоблачениях» мы имеем единственный опыт Маркса в области изучения политической истории Англии и в особенности России. В этом далеком прошлом он ищет разгадку колоссального могущества России, а вместе с тем и того старого англо-русского рабства, под гнетом которого стонала вся Европа.

Был ли этот опыт так же удачен, как его другие работы? Удалось ли Марксу дать материалистическое объяснение истории русского колосса, удалось ли ему осветить тайны англо-русской дипломатии с точки зрения материалистического понимания истории? Не дает ли эта работа ключа к объяснению ошибок, сделанных им в оценке некоторых событий современной истории, — ошибок, которые теперь с наслаждением пережевывает всякий сокрушитель Маркса? И если такие ошибки, несомненно, были, то объясняются ли они непригодностью самого метода исследования или непоследовательным проведением этого метода?

Прежде чем ответить на эти вопросы, мы познакомим читателей с содержанием этой работы Маркса. Мы должны будем сделать это более обстоятельно, потому что она осталась совершенно неизвестной огромному большинству читателей.

2. МАРКС О РУССКО-АНГЛИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Маркс начинает свои «Разоблачения» перепечаткой трех писем английских резидентов и посланников при петербургском дворе.

Одно из них писано Рондо к Вальполю и относится к 1736 году, когда Россия вела войну с Турцией; второе принадлежит Георгу Макартнею (Macartney) и писано графу Сандвичу (Sandwich) в 1765 году, когда Англия хлопотала о заключении торгового договора с Россией; автором третьего письма является Джемс Гаррис (будущий граф Мальмсбюри), который в 1782 году в письме к Гравтаму говорит об уступке России острова Минорки, чтобы задобрить ее в пользу Англии.

Думая, что эти письма были совершенно неизвестны тогда, Маркс ошибался только относительно третьего письма. Последнее

было опубликовано внуком Джеймса Гарриса—графом Мальмсбюри еще в 1844 году ¹⁾.

Дипломатическая переписка английских посланников XVIII столетия была также использована прусским историком Раумером, тем самым, о котором Маркс говорит в письме о Прудоне, что он составлен из «с одной стороны и с другой стороны» ²⁾. Интересуясь, главным образом, историей Пруссии, он извлекал из этих депеш материалы, которые бросали свет на отношения между Пруссией и Англией и сообщали пикантные подробности о русском дворе XVIII столетия.

С этой же точки зрения использованы английские депеши в известной книге «La cour de la Russie il y a cent ans», изданной в Берлине в 1858 году, уже после появления работы Маркса.

Впервые опубликована была переписка английских дипломатов с сент-джемским кабинетом Русским историческим обществом, которое, начиная с 1872 года, напечатало ее в своем «Сборнике», но далеко не за весь XVIII век и далеко не в полном виде ³⁾. Отметим пока, что письма Гарриса совершенно отсутствуют—почему, мы увидим позже.

¹⁾ «Diaries and correspondence of James Harris, first lord of Malmsbury...» Edited by his Grandson. London, 1844, vol. 4. Приводимое Марксом письмо— в более полном виде—напечатано в первом томе, pp. 528—535.

²⁾ «Beiträge zur Neuren Geschichte aus dem Britischen Museum». Leipzig, 1836—1839.

³⁾ «Сборник Имп. русского истор. общества», Петербург, 1877—1901, 14 томов; в томах 39, 50 и 61 напечатана переписка за время Петра I (с 1704 до 1719 года), в 66, 76 и 80—с 1728 до 1739, в 85—с 1740 по 3 марта 1741, в 91, 99, 102 и 110—с 1741 по 1750, в 12 и 19 томах—переписка с 1762 по 1776 годы. Так как извлечения составлялись чиновниками министерства иностранных дел, то все шекотливое и шокирующее русский двор тщательно исключалось. Перевод на русский местами очень плох и неверен—иногда предвзято. Но и в таком виде эти томы дают в высшей степени важный материал для изучения истории отношений Англии и России в XVIII веке. Так как английские депеши напечатаны в оригинале, то русским изданием охотно пользуются теперь также английские историки. К счастью этой переписки в Англии приступили только недавно. Так, Королевское историческое общество (Royal Historical Society) опубликовало в 1900—1902 годах переписку английского посланника графа Бекингампшайфа за 1762—1765 годы под редакцией г-жи А. д'Арси Коливер. Достаточно сравнить это издание с соответствующим томом русского издания, чтобы видеть, как телеграфно было сделано последнее и как примитивно оно в научном отношении.

Таким образом, Маркс в общем имел тогда дело с совершенно неиспользованным материалом, который открывал ему доступ в тайники международной дипломатии XVIII века.

И вот изучение этой переписки показывает, по его мнению, что английская дипломатия была систематически одурачиваема русской, что английские посланники являлись покорными орудиями в руках петербургского двора.

Следующая саркастическая характеристика, которую Маркс дает всей этой переписке, лучше всего показывает пути, которыми пришел Маркс к своему выводу:

«При чтении этих документов гораздо больше поражает их форма, чем содержание. Все эти письма—«конфиденциальные», «частные», «секретные», «весьма секретные». Несмотря, однако, на эту конфиденциальность, тайну и конспирацию, английские государственные люди говорят друг с другом о России в таком тоне почтительной сдержанности, жалкого подхалимства и цинической преданности, который поразил бы нас даже в официальных депешах русских государственных мужей. Чтобы скрыть свои интриги против других наций, русские дипломаты прибегают к тайне. Английские дипломаты пользуются очень охотно тем же самым методом, правда, для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение перед каким-нибудь иностранным двором. Тайные депеши русских дипломатов пропитаны каким-то двусмысленным ароматом. С одной стороны, это—«запах фальшивости» (*fumée de fausseté*), который отличает и мемуары герцога Сен-Симона, а с другой стороны, то тщеславное парадирование собственным превосходством и хитростью, которое кладет такую неизгладимую печать на отчеты французской тайной полиции. Даже мастерские депеши Поццо ди Борго отмечены этим скверным духом ретирадной литературы (*littérature de mauvais lieu*). И в этом отношении английские тайные депеши еще превосходят их. Но английские дипломаты парадируют не своим превосходством, а глупостью. Можно ли себе представить что-нибудь более глупое, чем мистера Ровдо, который извещает Гораса Вальполя, что он сообщил письма турецкого великого визиря, адресованные английскому королю, русским министрам, и в то же время передал им, что он не сообщил бы им этих писем, в которых имеется несколько резких замечаний о русском дворе, «если бы они сами не требовали этого так настоятельно».

И он же просит еще русских министров не сообщать Порте, что они видели эти письма. Подлость такого образа действий совершенно покрывается глупостью этого дипломатического представителя.

«Или возьмем Джорджа Макартнея. Можно ли найти что-нибудь более глупое, чем его восторг по поводу того, что Россия по видимому, настолько «благоразумна», чтобы не требовать от Англии «уплаты всех расходов» за ту руководящую роль, которую Россия будет играть в Стокгольме. Или когда он льстит себя надеждой, «что ему удалось убедить русский двор» не быть настолько неблагоразумным, чтобы требовать в мирное время от Англии субсидий на войну с Турцией (тогда союзницей Англии). Или же его просьба обращаться к графу Сандвичу: не упоминать русскому посланнику в Лондоне о тех секретах, которые были ему сообщены в Петербурге русским канцлером. Можно ли найти что-нибудь более глупое, чем конфиденциальная депеша Джемса Гарриса, в которой он сообщает лорду Грантаму, что Екатерина Вторая «лишена здравого рассудка, точности мышления, рассудительности и дара комбинаций». Эта афишированная глупость может быть прослежена до самого последнего времени: пайдется ли в истории дипломатии что-нибудь подобное тому предложению, которое лорд Пальмерстон сделал в 1839 году маршалу Сульту, а именно, взять штурмом Дарданеллы, чтобы обеспечить султану поддержку франко-английского флота против России.

«Сравните, с другой стороны, хладнокровное бесстыдство, с которым Джордж Макартней сообщает своему министру, что так как шведов в высшей степени раздражает и озлобляет зависимость от России, то петербургский двор советует, чтобы Англия обдeldывала в Стокгольме его дела под британским флагом свободы и независимости».

А сэр Джемс Гаррис, который советует Англии уступить России Мниорку, отказаться по отношению к России от права осмотра судов и предоставить России монопольное положение в качестве главного посредника во всех международных делах—и все это не для того, чтобы добиться какой-нибудь реальной выгоды или хотя бы формального обязательства со стороны России, а лишь для того, чтобы добиться «теплой дружбы» императрицы и перепоса ее «плохого расположения на Францию».

«Во всех тайных русских депешах легко проследить одну и

ту же очень простую идею, а именно, что Россия сама знает, что она не имеет каких бы то ни было общих интересов с другими нациями, но необходимо убедить каждую отдельную нацию, что она имеет с Россией общие интересы, исключаящие всякую другую нацию.

«Напротив, английские депеши не осмеливаются даже намекнуть, что Россия имеет общие интересы с Англией, но пытаются только убедить Англию, что она имеет русские интересы. И из уст самих английских дипломатов мы знаем, что, при сношениях с русскими potentатами, они развивали именно эту точку зрения».

Маркс кончает свою характеристику английских дипломатов следующими жестокими словами:

«Если бы английские депеши, которые мы предлагаем публике, были адресованы частным друзьям, то они только покрыли бы позором послов, которые писали их. Писанные же под строгим секретом британскому правительству, они навсегда пригвозждают последнее к позорному столбу истории. Бессознательно это, кажется, сознавалось всеми, даже вигистскими писателями, так как никто не осмелился опубликовать их»¹⁾.

Мы видели уже, что Маркс ошибся. Третье письмо, которое всего больше возмутило его, было напечатано за 12 лет перед этим и не вызвало никакого негодования. Интересно однако, что Давид Уркарт в особой редакционной заметке, в которой он обращает глубокое внимание читателей на статьи Маркса, видимо, соглашается с этой характеристикой и приводит, с своей стороны, ряд фактов из истории англо-русской дипломатии первой половины XIX столетия, чтобы показать, что английские дипломаты этого времени были не лучше и не умнее дипломатов XVIII столетия.

Считая установленным свой тезис,—ограниченность и рабскую зависимость английской дипломатии XVIII столетия от петербургского двора,—Маркс задает вопрос, с какого времени берет свое начало этот «русский» характер английской дипломатии, ставший обычной ее чертой в течение XVIII столетия.

Этим временем Маркс считает эпоху Петра Великого, которую он и выбирает центральным пунктом своего исследования. В виде вступления он считает необходимым перепечатать некоторые английские памфлеты, которые были изданы в эпоху Петра Велико-

¹⁾ «Secret diplomatic history», pp. 22 п сл.

го и либо совсем ускользнули от внимания современных историков, или, по их мнению, не заслуживали его. Он выбирает с этой целью три памфлета, направленные против России и в защиту Швеции в их борьбе за преобладание на Балтийском море. Первый из них—«Северный кризис», вышедший в 1716 году—разоблачает общую политику России и указывает на опасность, которая грозит Англии и ее торговле вследствие руссификации Швеции¹⁾; второй—«Оборонительный союз», вышедший в 1717 году, рассматривает политику Англии с точки зрения трактата, заключенного между Англией и Швецией в 1700 году²⁾; и, наконец, третий—«Правда только тогда правда, когда она во-время сказана», вышедший в 1719 году³⁾,—доказывает, что новые политические планы, которые привели к превращению России в первенствующую державу на Балтийском море, находятся в резком противоречии с традиционной политикой, которую Англия преследовала в течение всего XVII столетия.

Этих трех памфлетов, по мнению Маркса, вполне достаточно, чтобы опровергнуть предрассудок, общий всем континентальным и английским писателям, что истинные намерения России были поняты или заподозрены только в более позднюю эпоху и притом слишком поздно; что дипломатические отношения между Англией и Россией,—мы цитируем дословно, настолько невероятны в устах Маркса этот тезис,—«были только естественным результатом взаимных материальных интересов этих двух стран и что, следовательно, обвиняя британских государственных людей XVIII столетия в руссофильстве, мы совершаем непростительный *hysteron-proteron*».

Маркс еще готов был бы простить их, если бы они только разделяли понятие своего времени. И вот на каком основании:

«Чтобы понять определенную историческую эпоху, мы должны выйти за ее пределы и сравнить ее с другими историческими эпохами. Чтобы судить правительства и их акты, мы должны ме-

1) «The Northern Crisis, or impartial reflections on the politics of the Czar» London, 1716. Большое значение придает этому памфлету и цитирует его неоднократно Дрозен в *Geschichte der preussischen Politik*, IV, 2, p. 193.

2) «The defensive treaty concluded in the year 1700, between his late Majesty, King William, of our glorious memory, and his present Swedish Majesty, King Charles XII».

3) «Truth is but Truth as it is timed». London, 1719.

рять их меркой их собственной эпохи и сознанием их современников. Никто не будет обвинять британского государственного деятеля XVII столетия, совершающего какой-нибудь акт в силу своей веры в колдовство, когда он видит, что даже Бэкон поместил демонологию в каталог наук. С другой стороны, если Стэнгоп, Вальполь, Тоунсенд и др. были заподозрены, встречали оппозицию и были обвинены в своей же стране своими современниками в том, что они были орудиями или сообщниками России, то они уже не будут прикрывать их политику обычными фразами о предвзвесах и невежестве, которые были свойственны их эпохе»¹⁾.

И все названные памфлеты, по мнению Маркса, неопровержимо доказывают, что английские государственные деятели XVIII столетия были совершенно ослеплены, что они совершенно не замечали опасности, о которой так красноречиво предупреждал их неизвестный автор памфлета «Северный кризис»²⁾, что они, как это доказывали авторы двух других памфлетов, самым вероломным образом пожертвовали Швецией в угоду России и, обеспечив последней гегемонию на Балтийском море, воспитали и вскормили своего будущего врага. Более того. Они совершенно пренебрегли коммерческими интересами своей родины—преступление, которое в Англии не прощается.

Маркс, с своей стороны, приходит на помощь авторам памфлетов и, опираясь на статистические данные, показывает, что повеишие историкки «ничего не преувеличивали так сильно, как размеры торговли, которую Англия могла вести на предоставлен-

1) «Secret diplomatic history», p. 49.

2) «Он (Петр) будет, паверное, тогда нашим противником и нам в такой же мере опасен, в какой его теперь считают неопасным. И мы, возможно, должны будем тогда вспомнить все, что наши собственные министры и купцы рассказывали нам о его планах, которые сводятся к одной главной цели: захватить всю северную торговлю и с помощью рек, которые он соединяет каналами и делает судоходными на всем протяжении от Каспийского и Черного моря до Петербурга, овладеть также турецкой и персидской торговлей. Тогда мы будем удивляться нашей слепоте, которая мешала нам видеть его планы, хотя мы слышали о всех крупных делах его, совершаемых им в Петербурге... Так как он хочет, чтобы планы, с которыми он посылается, не оказались выкидышами, то он не назначает определенного срока для их выполнения, но предоставляет их естественному процессу созрания при помощи времени и удобного случая, подобно тем удивительным китайским художникам, которые приготавливают формы для орудий впереди времени, хотя оно будет построено лет через сто». («Secret diplomatic history», p. 38.)

ном ей при Петре и его преемниках обширном русском рынке». После анализа цифр вывоза и ввоза в Швецию и Россию от 1697 до 1760 года он приходит к следующему заключению:

«Втечение первых шестидесяти лет XVIII столетия вся англо-русская торговля составляла очень незначительную долю всей торговли Англии, а именно, меньше чем $\frac{1}{45}$. Ее быстрый рост в первые годы, после того как Петр укрепился на Балтийском море, несколько не повлиял на общий баланс британской торговли, так как он представлял простой перенос со шведского счета на русский. В последние годы царствования Петра, а также при его непосредственных преемниках—Екатерине I и Анне—англо-русская торговля положительно падает. Втечение всей эпохи, начиная от окончательного утверждения России в Балтийских провинциях, вывоз британских мануфактурных изделий в Россию постоянно падал... Ни современники Петра I, ни ближайшее британское поколение не получили никаких выгод от возвышения России на Балтийском море. Вообще,—прибавляет Маркс,—тогдашняя балтийская торговля Великобритании имела значение не по количеству вложенного в нее капитала, а по ее характеру. Она доставляла Англии необходимые материалы для судостроения. Но и в этом отношении для англичан было выгодно,—что доказывали не только авторы памфлетов, но понимали и некоторые британские министры,—чтобы Балтийское море оставалось в руках шведов, а не русских» ¹⁾.

Но каким же образом объяснить такое странное явление, как упорное содействие России, если Англия была заинтересована в том, чтобы не допустить русских утвердиться на Балтийском море.

Оказывается, что в Англии все-таки существовала незначительная часть британских купцов, интересы которых совпадали с интересами России. Это—«Русская торговая компания» (Russian trade company). Именно она поднимала крик против Швеции, именно она забрасывала парламент своими петициями, именно она каждый раз собиралась перед открытием парламента в 1714, 1715, 1716 годах, чтобы составлять сообща жалобы против Швеции.

Но каким образом эти купцы могли оказывать такое влияние на правительство, что последнее постоянно поддавалось их внушениям? Дело в том, что олигархия, которая после «Glorious

¹⁾ «Secret diplomatic history», pp. 53 — 54.

Revolution» захватила в свои руки власть и богатство за счет массы британского народа, должна была, конечно, искать себе союзников не только вне страны, но и внутри ее. Последних она нашла в том, что французы называют «la haute bourgeoisie», как она представлена была Английским банком, ростовщиками, государственными кредиторами, крупными мануфактуристами. Как тщательно и любовно она соблюдала материальные интересы этого класса, видно из изданных ею законов.

Понятно, что и в области внешней политики эта олигархия была также вынуждена придавать ей хотя бы по внешнему виду характер политики, руководимой торговыми интересами. А это тем легче было устроить, что всегда можно было отождествить исключительные интересы той или иной ничтожной фракции торгового класса с той или другой мерой министерства. Заинтересованная фракция поднимала тогда вопль в «защиту интересов торговли и мореплавания», а нация тупо ему вторила.

Таким образом, внешняя политика этой олигархии оставалась себе верна только в одном отношении: она стремилась во что бы то ни стало угодить России. Она только *прикрывалась* интересами торговли и промышленности, которые *post factum* подыскивались кабинетом. В эпоху северной войны английские министры для своих враждебных действий против Швеции нашли необходимый торговый повод в тех убытках, которые шведские каперы причиняли английским купцам, хотя шведы поступали в полном согласии с тогдашним международным правом.

Может показаться, что Англия тогда следовала только примеру Голландии, которая тоже объявила конфискацию ее кораблей со стороны шведов простым пиратством. И действительно, в одном отношении Голландия так же, как и Англия, была связана тем же оборонительным союзом, который Англия заключила со Швецией в 1700 году: она не имела права предпринимать какие-либо враждебные действия против Швеции.

Но в другом отношении положение Голландии резко отличается от положения Англии. Утративши свою торговую и морскую гегемонию, Голландия уже вступила тогда в эпоху упадка. Подобно Генуе и Венеции, когда изменение торговых путей лишило их старой торговли, она вынуждена была теперь ссужать другим нациям свои капиталы, для которых она у себя не находила приме-

нения. Россия оказалась огромным рынком в меньшей степени для ее торговли, чем для ее капиталов и населения.

Еще в первой половине XIX столетия Голландия была главным банкиром России. А в эпоху Петра Великого она снабжала Россию судами, офицерами, оружием и деньгами. Флот России тогда мог быть назван скорее голландским, чем русским. Голландцы хвастались тем, что послали первый европейский корабль в новый Петербург, и платили за торговые привилегии, которые они получили от Петра, той визостью, которая характеризует их сношения с Японией.

Маркс поэтому гораздо снисходительнее к Голландии. Если ее государственные люди были руссофилами, то тут налицо было совершенно другое, солидное основание, чем в Англии.

Маркс так убежден во враждебном отношении англичан к шведам, что, несмотря на это «солидное основание», объясняет именно давлением англичан протест Голландии против шведских каперов, хотя ему в то же время известно, что Петр пользовался голландцами, чтобы оказать давление на английских дипломатов в свою пользу.

Итак, вся политика Англии и находившейся под ее влиянием Голландии способствовала возвышению России.

Но Маркс имеет еще и другие доказательства, что главным источником могущества России является усердное пособничество и попустительство со стороны Англии. Вся история России до Петра Великого показывает, что без Балтийского моря современная Россия была бы невысказана. Чтобы доказать свою мысль, Маркс дает блестящий очерк истории русского государства до эпохи Петра Великого.

3. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ИЗОБРАЖЕНИИ К. МАРКСА

«Непреодолимое влияние России застигало Европу в различные эпохи врасплох и приводило в ужас народы Запада: ему подчинялись как фатуму или конвульсивно сопротивлялись. Но рядом с очарованием, которое производит Россия, идет скептицизм, который каждый раз вновь оживает, преследует Россию как тень, растет вместе с ее ростом, примешивает ироническую мелодию к словам терзаемых до смерти народов и издевается над ее громад-

ностью, как над шутовским фарсом, который разыгрывается, чтобы ослепить и обмануть зрителей. Другие империи тоже встречали при своем зарождении такие сомнения, но Россия стала колоссом, не изжив их. Она представляет единственный во всей истории пример необозримой империи, которая, несмотря на всемирно известные достижения, все еще трактуется скорее как предмет веры, а не как предмет действительности. С конца XVIII столетия и до наших дней каждый, собирався ли он хвалить или ругать Россию, считал необходимым сначала доказать ее существование. Но будем ли мы по отношению к России материалистами или идеалистами, будем ли мы рассматривать ее могущество как осязаемый факт или призрак, терзающий преступную совесть европейских народов,—все же каждый раз возникает вопрос: каким образом могла эта империя или этот фаятом империи разрастись до таких колоссальных размеров, чтобы, с одной стороны, встретить горячее сочувствие, а с другой—страстное обвинение в том, что она угрожает миру возобновленным универсальной монархией?»

Некоторые историки утверждают, что северный призрак, испугавший Европу XIX столетия, возник уже в девятом веке, что политика Романовых представляет естественное продолжение политики Рюрика и его преемников, тех самых норманнов, которые в девятом веке явились из Швеции в Россию и основали государство¹⁾.

Несмотря, однако, на кажущееся сходство, политика первых Рюриковичей коренным образом отличается от политики современной России.

Она представляла собой ни более, ни менее, как политику германских варваров, завозивших Европу. История современных народов началась лишь после того, как этот поток схлынул. Готический период России, в частности, представляет лишь одну главу в истории норманнских завоеваний. Как империя Карла Великого предшествует образованию современной Франции, Германии и Италии, так империя Рюриковичей предшествует образованию Польши, Литвы, Балтийских поселений, Турции и самого Московского государства. Ускоренный темп расширения норманнской державы является следствием не какого-нибудь заранее выдуман-

¹⁾ Маркс имеет в виду Фальмерайера, который, по его словам, бессовестно идет по следам русских историков.

ного, хитроумного плана, а естественным результатом примитивной организации норманнских завоеваний—вассалитет без ленных отношений или лены, составлявшиеся только из жалования, причем необходимость новых завоеваний диктовалась непрекращающимся притоком новых авантюристов, жаждавших славы и добычи. Своих главных конунгов, которые стремились к покою, дружина вынуждала двигаться дальше, и в русской, как и во французской Нормандии наступал момент, когда великие князья посылали в новый поход своих неукротимых и ненасытных дружинников просто для того, чтобы от них избавиться. Ведение войны и организация завоеваний у Рюриковичей ничем не отличаются от такой же организации у норманнов в остальной Европе. Если славянские племена были покорены не только мечом, но и путем договорных соглашений, то эта особенность объясняется исключительным положением этих племен, которые под угрозой нашествия как с севера, так и с юга предпочли первое как избавление от второго.

То же самое магическое очарование, которое влекло других северных варваров к западному Риму, влекло варваров к восточному Риму. Именно продолжавшиеся переносы русской столицы, которую Рюрик основал в Новгороде, Олег—в Киеве, а Святослав пытался перенести в Болгарию, бесспорно показывают, что завоеватели только прокладывали себе дорогу и рассматривали Россию как переходный этап, как остановку, чтобы вновь отправиться на завоевание державы на далеком юге. Если современная Россия стремится захватить Константинополь, чтобы укрепить свое всемирное господство, то Рюриковичи, напротив, вынуждены были упорным сопротивлением Византии при Цимисхии отказаться от своего намерения и окончательно основаться в России.

Если еще можно говорить о каком-нибудь славянском влиянии в эту эпоху, то разве только о влиянии Новгорода, славянского государства, вся политика и традиции которого настолько диаметрально противоположны традициям современной России, что последняя могла развиваться только на развалинах Новгородской республики.

«При Ярославе господство варягов было сломлено, но вместе с ним исчезают и завоевательные традиции первого периода: начинается упадок готической России. Как раз история этого упадка

еще больше, чем история завоевания и образования варяжского государства, доказывает исключительно готический характер державы Рюриковичей».

Она разделила судьбу всех средневековых монархий.

«Неповоротливая, аляповатая и скороспелая империя, скроенная Рюриковичами, распалась, как и все подобные империи, на уделы, делилась и подразделялась между потомками завоевателей, разрывалась из части междоусобными войнами и крошилась в куски под ударами внешних завоевателей. Верховная власть великого князя исчезает под напором требований семидесяти родовых князей. Попытка Андрея Суздальского собрать часть этой империи путем переноса столицы из Киева во Владимир оказывается успешной лишь постольку, поскольку она переносит разложение с юга в центр. Третий преемник Андрея отказывается и от последней тени верховенства, от титула великого князя и чисто номинального почета, все еще оказываемого ему. Уделы на юге и западе становятся поочередно литовскими, польскими, венгерскими, ливонскими, шведскими. Киев, древняя столица, живет собственной судьбой, превратившись из главного центра великого княжества в простой город. Так исчезает с арены всемирной истории норманнская Россия, и немногие слабые остатки, в которых она пережила себя, гибнут при страшном появлении Чингис-хана. *И не в славном варварстве норманнской эпохи, а в кровавом болоте монгольского рабства придется искать колыбель Московии. А современная Россия, ведь, только метаморфоза бывлой Московии.*»

Татарское иго уничтожило все традиции норманнского периода русской истории, оно, кроме того, оказало глубокое влияние на психологию русского народа.

«Татарское иго тяготело над народом от 1224 до 1462 года, т. е. больше двух столетий; оно было не только тяжким, но и бесчестящим, и снедало самую душу народа, ставшего его жертвой. Татары установили господство систематического террора, основами которого являлись опустошения и массовые избиения. Так как они, в сравнении с их колоссальными завоеваниями, были немногочисленны, то они вынуждены были окружать себя Nimbus ужаса и путем повторной резни уничтожали народы, которые поднимались у них в тылу. И когда они превращали страны в пустыни, они в сущности руководились тем же экономическим принципом, который обезлюдил горные местности в Шотландии и римскую»

Кампанию: вытеснение людей овцами и превращение плодородных земель и населенных местностей в пастбища».

Завоеватели не разрушали княжеств, которые они находили, и ограничивались тем, что делали их зависимыми и облагали данью. Татарское иго длилось уже почти столетие, как из среды княжеств, которые в Золотой Орде старались уничтожить друг друга при помощи самого беззастенчивого подкупа своих господ и взаимных клевет, начала возвышаться Москва.

«В этой бесчестной борьбе московская ветвь одержала окопательную победу. В 1328 году Юрий, старший брат Ивана Даниловича Калиты, получил из рук Узбек-хана ярлык на великое княжение, которое было отнято у тверской линии путем клеветы и убийства. Иван Калита и Иван III, прозванный Великим, представляют: первый—Москву, возвысившуюся при помощи татарского господства, второй—Москву, ставшую самостоятельной вследствие исчезновения татарского господства. В истории этих двух личностей воплотилась вся политика Москвы со времени выступления ее на историческую арену».

Маркс дает затем выпуклую характеристику политики Ивана Калиты, основавшего могущество Москвы.

«Политика Ивана Калиты состояла в следующем: он играл отвратительную роль орудия хана, узурпируя в свою пользу его власть, пользовался ею против своих соперников из среды князей и против собственных подданных. Чтобы достигнуть своей цели, он старался всеми средствами приобрести милость татар; циническая лесть, частые путешествия в Золотую Орду, униженные просьбы руки ханских дочерей, подчеркивание своей преданности интересам хана, рабское выполнение его приказов, гнусное оклеветание своих сородичей, соединение черт татарского баскака, прихлебателя и главного холопа. Он непрерывно тревожил ханов своими разоблачениями заговоров. Стоило тверской линии проявить хотя бы малейшее стремление к национальной независимости, как он спешил в Орду с доносом. Если он наткнулся где-нибудь на сопротивление, он прибегал к помощи татар, чтобы раздавить его. Но недостаточно было играть эту роль,—чтобы сделать себя приемлемым, требовалось золото. Постоянный подкуп хана и его приближенных был единственным основанием, на котором он мог воздвигнуть свое здание обмана и узурпации. Но откуда мог раб получить деньги, чтобы подкупить своего господина? Он убедил

хана поручить ему сбор ордынской дани со всех князей. Снабженный этим полномочием, он, под разными предложениями, вымогал деньги. Богатство, собранное путем запугивания татарам, он пускал в ход, чтобы развращать самих татар. С помощью подкупа он уговорил митрополита перенести свою резиденцию из Владимира в Москву и, сделав, таким образом, последнюю столицей церковной, превратил ее этим самым и в столицу политическую. С помощью подкупа он склонял бояр, своих соперников, к измене и привлекал их к себе как главному центру. Пуская в ход совокупное влияние мусульманских татар, греческой церкви и бояр, он соединяет удельных князей в крестовый поход против самого опасного из них, — тверского князя, а затем, вышудив, наглыми попытками узурпации, своих недавних союзников восстать против него самого, он предпочитает уклониться от войны и спешит к хану. И с помощью обмана и подкупа он опять вызывает хана на жестокое убийство родичей — соперников. Традиционным приемом татарской политики по отношению к русским князьям являлось натравливание их друг на друга, разжигание их раздоров. Татары старались уравновешивать силы князей и не давать одному чересчур возвыситься за счет остальных. Но Иван Калита превращает хана в орудие, при помощи которого он освобождается от наиболее опасных конкурентов и снимает с пути всякие препятствия, мешающие его захватной политике. Он не захватывает удельных княжеств, но обманным путем использует власть татарских завоевателей в собственную пользу. Он обеспечивает своему сыну великокняжеский стол при помощи тех же средств, которыми он создал московское великое княжество, эту странную смесь княжества и рабства. Впродолжение всего своего княжения он ни разу не отклонялся от политической линии, которую начертал для себя, придерживаясь ее с упорной настойчивостью, проводя ее с методической смелостью. Таким образом, он стал основателем московской державы. Характерно, что народ дал ему прозвище Калиты, т. е. кошель, ибо не мечом, а рублем прокладывал он себе дорогу. Как раз в период его княжения совершается быстрое образование литовского государства, которое отделяет русские земли от Запада, между тем как татары сдвигают их в одну массу с Востока. В то самое время, когда Иван не осмеливается оказывать сопротивление одной опасности, он точно старается преувеличить размеры другой. Ничто не могло отвлечь его от

основной цели: ни увлечение славой, ни угрызения совести, ни тяжесть унижений. Вся его система может быть характеризована в немногих словах: маккиавеллизм жадного холопа. Свою собственную слабость—свое холопство—он превратил в главный источник своей силы».

Но Иван Калита заложил только основу, на которой было построено господство Москвы. Действительным создателем Московского государства был Иван III.

«В начале своего княженья (1462—1505) Иван III все еще был данником татар; власть его все еще оспаривалась другими удельными князьями; Новгород, стоявший во главе русских народоправств, господствовал на севере России; Польша, Литва стремились к завоеванию Москвы; а ливонские рыцари все еще не были сокрушены. К концу своего княженья Иван становится совершенно независимым государем, женою его делается дочь последнего императора Византии, Казань лежит у его ног, и остатки Золотой Орды стремятся к его двору. Новгород и другие народоправства приведены к повиновению, Литва уцерблена, и великий князь ее—игрушка в руках Ивана, ливонские рыцари побеждены. Изумленная Европа, которая в начале царствования Ивана III едва подозревала существование Москвы, зажатой между литовцами и татарами, была огорошена внезапным появлением колоссальной империи на ее восточных границах. Сам султан Баязет, перед которым трепетала Европа, услышал впервые высокомерную речь от москвитянина».

Чтобы показать, каким путем Иван III, которого и русские историки считают трусом, мог совершить все эти подвиги, Маркс дает обзор важнейших событий его царствования: борьбы с татарами, подчинения Новгородской республики, борьбы с другими удельными князьями и, наконец, борьбы с Польшей и Литвой.

«Иван освободил Москву от татарского ига не путем решительного удара, а посредством упорного, почти двадцатилетнего труда. Он не сломил ига, а высвободился из-под него украдкой. Свержение этого ига поэтому больше похоже на естественно-исторический процесс, чем на дело рук человеческих. Когда татарское чудовище, наконец, испустило дух, Иван появился у его смертного одра скорее в качестве врача, предвидевшего эту смерть и спекулировавшего на нее, чем в качестве воина, причинившего ее».

В связи с этим, в общем, правильным изображением,—Соло-

вьев тоже говорит не о свержении татарского ига, а о его крушении.—Маркс делает следующее заключение: «Дух каждого народа растет и укрепляется вместе с освобождением от внешнего ига; дух Москвы, наоборот, точно умалывается в руках Ивана. Достаточно сравнить Испанию в ее борьбе с арабами и Москву в ее борьбе с татарами... Устраняя восстания против Орды, Москва следовала бы только примеру татар. Но Иван не хотел восстания, он покорно признал себя подручником Золотой Орды... Он хочет не завоевать, а стащить могущество. Он старается не выбить врага из его крепости, а выманеврировать его из нее. Продолжая унижаться перед ханскими посланцами, объявляя себя его данником, Иван III, под разными предлогами, уклоняется от платежа дани, пуская в ход все уловки беглого раба, который боится встретиться со своим хозяином и старается ускользнуть от него. Наконец, татары пробуждаются от своей апатии, и бьет час решительного сражения. Иван, трепеща при одной мысли о вооруженном столкновении, стремится укрыться за собственным страхом и хочет обезоружить ярость своего врага, удаляя объект, на который он мог бы обрушить свое мщение. Его спасает только вмешательство крымских татар, его союзников».

Еще трусливее ведет себя Иван III при следующих нашествиях. «Одного татарина он ловит при помощи другого. Добычей, захваченной у побежденного татарина, он опутывает победоносного. Но если он слишком благоразумен, чтобы, на глазах у очевидцев его унижения, взять на себя вид завоевателя, то этот обманщик прекрасно понимает, какое впечатление должно произвести падение татарской империи на внешний мир, какой славой может оно покрыть его и в какой степени обеспечить ему торжественное вступление в среду европейских государств. И соответственно этому он принимает театральную позу завоевателя. Ему действительно удается скрыть, под маской гордой подозрительности и высокомерной раздражительности, заносчивость татарского холопа, который все еще помнит, как он целовал стремя рядового ханского посланца. В более пониженном тоне он копировал голос своего старого хозяина, все еще наполнявший ужасом его душу».

Влияние этой татарщины Маркс хочет видеть и во фразеологии новой русской дипломатии.

«Некоторые ходячие обороты, как, например, ссылка на вели-

кодушные, оскорбленное достоинство государя, точно замаскированы из дипломатических инструкций Ивана III».

Если освобождение от татарского ига было в глазах Ивана III первой предпосылкой для создания московской гегемонии, то второй являлось уничтожение русской свободы. Одна за другой приводятся к подчинению старые русские городские республики: Вятка и Новгород, тогда как Псков сохраняет только тесть своей прежней самостоятельности.

«Достоинно замечания, сколько Москва—как и современная Россия—готова была затратить усилий, чтобы уничтожить эти республики. Новгород и его колонии являются первыми жертвами; за ними следуют казацкие, а Польша замыкает круг. Кто хочет понять подчинение Польши России, тот должен изучать историю подчинения Новгорода, которое длилось от 1478 до 1528 года.

Покончив с республиками, Иван III покончил также с последними удельными княжествами.

«Иван III, казалось, вырвал у монголов оковы, которыми он опутал Москву, только для того, чтобы сковать ими русские республики. И он точно для того лишь покорил эти республики, чтобы сделать республиканцами турок».

С таким же искусством вел Иван III борьбу с Литвой, против которой он мобилизовал как императора Максимилиана и Матвея Корвина, так и Стефана, господаря молдавского, и того самого Менгли-Гирея, крымского хана, который в борьбе с Литвой оказался таким же могучим орудием, как и в борьбе с Золотой Ордой.

Неоценимые услуги в деле укрепления власти оказала Ивану III православная церковь.

«Но кого именно выбрал во всем мире Иван III, чтобы захватить наследство Византии, чтобы скрыть клеймо монгольского раба под мантией порфиророжденных, чтобы соединить трон московского высочайшего со славной державой святого Владимира и в своем лице дать греческой церкви нового светского главу? Человека, который должен был ему помочь во всем этом, Иван III нашел в римском папе».

При дворе последнего и на его попечении жила София Палеолог, которая, после падения Константинополя, переселилась с отцом в Рим. Именно ее, наследницу византийского царя, римский папа выдал за московского князя, укрепляя, таким обра-

зом, религиозно-политическую гегемонию Москвы на всем православном востоке.

В политике Ивана III Маркс находит уже все основные элементы политики новой России.

«Достаточно заменить ряд одних имен и дат другими, чтобы ясно стало, что между политикой Ивана III и политикой современной России существует не только сходство, но и равенство. Иван III только усовершенствовал традиционную московскую политику, которую завещал ему Иван Калита. Последний достиг могущества тем, что он, монгольский раб, использовал силу своего крупнейшего врага, татар, против своих мелких врагов, против русских князей. Только при помощи низких интриг мог он направлять эту силу. Он вынужден был ту силу, которою он действительно обладал, скрывать от своего господина, а своих товарищей по рабству он должен был пугать силой, которой он не обладал. Чтобы решить эту задачу, он должен был возвести все низкие уловки раба в настоящую систему и проводить ее с упорным терпением раба. Даже открытое насилие превращалось в интригу. При такой системе интриги, коррупции и тайных захватов он должен был сначала отравить свою жертву, прежде чем он мог ее открыто добить. Единство цели превращалось у него в двойственность действия. Добиваться для себя выгод путем обманного использования враждебной силы, ослаблять эту силу как раз путем ее использования и, в конце концов, погубить ее именно потому, что она позволяла использовать себя как орудие,—вся эта политика навязывалась Ивану Калите своеобразным характером как господствующей, так и покоренной расы. Его политика осталась также и политикой Ивана III. И она осталась политикой Петра Великого и новой России, как бы ни менялись имена, страна и характер той враждебной силы, которая ими используется. Действительно, Петр Великий является создателем современной русской политики, но он стал им потому, что отнял у старой московской методы незаметного внедрения и присвоения ее чисто местный характер и освободил ее от случайных примесей, потому что он отлил ее в абстрактную форму, обобщил ее задачи и выше поставил ее цель: таким образом, стремление ее уничтожить определенные и данные пределы власти превратилось в стремление к ничем не ограниченной власти. Он осуществил преобразование Москвы путем обобщения своей системы, а не одним только механическим присоединением не-

скольких областей. Итак, Москва выросла и развивалась в отвратительной и гнусной школе монгольского рабства. Своего могущества она достигла только потому, что, будучи сама рабой, стала виртуозом в искусстве порабощения. Даже после своего самоосвобождения Москва продолжала еще играть свою традиционную роль раба в качестве господина. Только Петр Великий сумел, наконец, соединить политическую увертливость монгольского холопа с гордым устремлением монгольского господина, которому Чингисхан в своей последней воле завещал завоевание мира»¹⁾.

Но если Московское государство выработало все основные элементы политики Петра Великого, если еще до Петра непрерывное расширение государства было лейтмотивом всей деятельности московских государей, то только со времени Петра эта политика приобрела твердую почву, и только он заложил основу для расширения России на Запад.

Дело в том, что до эпохи Петра одной из самых характерных черт славян, которая поражает всякого последователя, является то обстоятельство, что почти всюду они оседают в глубине материка, предоставляя морское побережье другим, неславянским народностям. Где бы славяне ни приближались к морскому берегу, они подчинялись иноземному господству. Русский народ делил эту общую судьбу всех славян. Материковый по преимуществу, он до Петра Великого не в состоянии был добыть себе выход в море, за исключением Белого моря, покрытого льдом в течение трех четвертей года. Место, на котором построен Петербург, в течение тысячелетий служило яблоком раздора для финнов, шведов и русских. Все остальное побережье Балтийского моря, принадлежащее теперь России, берег Черного моря,—все это было приобретено Россией уже после Петра. Мало того: как бы для того, чтобы подчеркнуть материковую особенность славянской расы, ни одна часть Балтийского побережья не стала в сущности и до сих пор славянской. Так же мало, как черкесское и мингрельское побережье Черного моря.

Только Петр порвал со всеми традициями славянской расы. «Вода—вот что нужно России»—эти слова, сказанные им в форме выговора князю Каптемиру, являются лозунгом всей его жизни.

¹⁾ Вся цитата, по оплошности издателей, пропущена в отдельном издании «Secret diplomatic history». Ср. «Free Press», 25 febr. 1857.

Завоевание Азовского моря было целью его первой войны с Турцией, завоевание Балтийского моря—войны с Швецией, Черного моря—второй войны с Турцией и Каспийского моря—его погрома на Персию.

«Для системы местных захватов достаточно было материковых земель; для системы универсального наступления необходимо было море. Только путем превращения Московии из чисто континентальной страны в империю, окруженную морями, можно было разбить традиционные пределы московской политики и создать тот смелый синтез, который, соединяя в одно целое захватные методы монгольского раба с импрозавоевательскими тенденциями монгольского хана, образует жизненную силу современной русской дипломатии».

И когда нам в объяснение политики Петра Великого говорят, что никакая великая нация не может существовать без моря, что Россия не могла оставить устьев Невы, Дона, Днепра и Буга в чужих руках, что Петр захватил только то, что было абсолютно необходимо для развития его страны, то при этом забывают один крайне важный факт—*тот tour de force*, при помощи которого он перенес столицу империи из глубины материка на морское побережье, поразительную смелость, с которой Петр воздвиг новую столицу на первом захваченном им клочке Балтийского побережья, на расстоянии почти пушечного выстрела от границы, и создал, таким образом, для своих владений *эксцентрический центр*.

Можно смело сказать, что во всей русской литературе, в которой спор о значении реформ и дела Петра Великого до сих пор не прекращается, в которой оба главных направления русской политической мысли—славяпофильское и западническое со всеми их новейшими видоизменениями—всегда характеризовались враждебным или дружественным отношением к Петру, вряд ли удастся найти более яркую, более пластичную характеристику главного дела Петра, которым открывается петербургский период русской истории, когда она, по словам первоначальных славянофилов, стала жертвой гнилого Запада, а, по мнению западников, впервые приобщилась к европейской цивилизации, чем следующие строки Маркса:

«Перенести трон царей из Москвы в Петербург значило поставить его в такое положение, при котором он не мог быть безопасен даже от простых оскорблений, пока не будет покорево все побе-

режье, от Ливавы до Торнео,—задача, которая в полном объеме разрешена была только в 1809 году».

«Петербург—это окно, из которого можно следить за всей Европой,—сказал Альгаротти.—С самого начала это был вызов Европе и стимул к дальнейшим завоеваниям для русских... Петербург, этот эксцентрический центр империи, указывал на периферию, которая должна еще быть проведена. Таким образом, не одно только завоевание балтийских провинций отличает политику Петра Великого от политики его предков, но именно перенос столицы, в котором проявляется настоящий смысл этих балтийских завоеваний. Петербург не был, подобно Москве, центром для особой расы, а резиденцией правительства; он был не результатом длительной работы целого народа, а творческой импровизацией отдельной личности, не источником, из которого излучаются все особенности материкового народа, а морским каналом, в котором они пропадали, не традиционным ядром национального развития, а преднамеренно выбранным театром космополитической интриги. Путем переноса столицы Петр перерезал естественные связи, которые соединяли захватную систему старых московских царей с естественными стремлениями и способностями великой русской расы. Построив свою столицу на морском побережье, он бросил открытый вызов противоморским инстинктам этой расы и низвел ее на степень простого балласта в своем политическом механизме. Начиная с XVI столетия, Москва все свои значительные завоевания совершила только со стороны Сибири, а до XVI столетия все сомнительные завоевания за счет запада и юга приобретались только путем прямого воздействия на Восток. Перенос столицы, Петр точно заявил открыто, что он, напротив, намеревается воздействовать на Восток и соседние страны при помощи Запада. Если воздействие через посредство Востока было тесно ограничено стационарным характером и узкими сношениями азиатских народов, то воздействие через посредство Запада сразу становилось неограниченным и универсальным в силу подвижного характера и всесторонних сношений Западной Европы. Перенос столицы возвещал новый план изменений в системе воздействия, а завоевание балтийских провинций доставляло средство для осуществления этого плана; оно сразу обеспечивало России гегемонию среди соседних северных стран, оно ставило ее в непосредственный и постоянный контакт со всеми пунктами Европы,

оно создавало основу материальной связи с морскими державами, которые, в силу этого завоевания, становились в зависимость от России в деле приобретения кораблестроительных материалов, зависимость, которой не существовало, покуда Московия, страна, производившая главную массу кораблестроительных материалов, не имела собственных гаваней, тогда как Швеция, страна, державшая в своих руках эти гавани, не могла завоевать страны, лежащие за ними.

«Если московские цари, совершавшие свои захваты, главным образом, при помощи ханов, вынуждены были *татаризировать* Москву, то Петр Великий, который решил действовать при помощи Запада, вынужден был *цивилизировать* Россию. Захватив балтийские провинции, он тем самым приобрел все необходимые для этого процесса орудия. Эти провинции доставляли ему не только дипломатов и генералов, т. е. головы, в которых он нуждался для проведения в жизнь своей системы политического и военного воздействия на Запад; они в то же время выставили ему целую армию бюрократов, школьных учителей и военных инструкторов, усердно покрывавших русских людей лаком той цивилизации, которая развивает способность усваивать технические навыки западных народов, но не их идеи.

«Ни Азовское море, ни Черное, ни Каспийское море не могли открыть Петру этот прямой проезд в Европу... Из четырех войн, которые наполняют всю военную жизнь Петра Великого, первая война против турок, все плоды которой потеряны были во время второй турецкой войны, продолжала в одном отношении традиционную борьбу против татар. В другом отношении это было только прелюдией к войне против Швеции, в которой вторая турецкая война является эпизодом, а вторая с Персией—эпилогом. Таким образом, война со Швецией, длившаяся двадцать один год, поглощает почти всю военную жизнь Петра Великого. Рассматриваем ли мы ее цели, результаты или продолжительность, мы можем с полным основанием назвать ее войной Петра Великого. Все его творчество опирается на завоевание Балтийского побережья».

Маркс думал, что он нашел, наконец, решение задачи и разгадал загадку сфинкса, которой является существование русского колосса. А вместе с этим он также установил, откуда ведет свое происхождение англо-русское рабство, под игом которого пахотилась Европа его времени.

«Разве тот факт, что преобразование Московского государства в великорусское совершалось путем превращения его из полуазиатской континентальной страны в господствующую державу Балтийского моря,—разве уже один этот факт не приводит нас к убеждению, что Англия, величайшая морская держава того времени, к тому же еще морская держава, расположенная у входа в Балтийское море, где она с середины XVII столетия играла роль главного арбитра, должна была играть выдающуюся роль в этом превращении? Что она должна была быть или главной опорой, или главным противником Петра при осуществлении его планов, что в течение долгой и смертельной борьбы между Швецией и Россией она должна была играть решающую роль, что если она не употребила всех своих сил, чтобы защищать Швецию, то мы с уверенностью можем сказать, что она пустила в ход все, чтобы помочь России? И все же в том, что обыкновенно называется историей, Англия едва появляется на сцене и изображается больше как зритель, чем актер этой драмы. *Действительная история* покажет нам, что ханы Золотой Орды не в большей степени были орудиями для выполнения планов Ивана III и его предшественников, чем Англия—орудием Петра и его преемников, планы которых она помогала осуществлять».

Рассмотрим поближе, чему учит нас эта «действительная история».

4. ТАТАРСКОЕ ИГО И РУССКОЕ САМОДЕРЖАВИЕ

«Непреборимое влияние» России, которое с XVIII столетия поражало всех мыслящих людей Западной Европы и окончательно установилось в первой половине XIX столетия, в меньшей степени являлось загадкой и для русской интеллигенции, слишком осязательно чувствовавшей на себе весь политический гнет русского колосса. Непрерывное развитие и укрепление «государства», наряду с полной пассивностью «общества», превратило весь русский народ в одну компактную массу, которую русский абсолютизм бросал на весах внешней политики с решительностью, не останавливавшейся ни перед какими жертвами. Чем больше на Западе обнаруживалась противоположность между «государством и обществом», тем ярче обнаруживался контраст между ним и Россией. Если «правители» Европы смотрели с завистью на русский абсо-

лютизм, не стесняемый никаким парламентом, а демократические элементы питали к нему ненависть, то и для тех, и для других одинаково не подлежало никакому сомнению, что внешнее политическое могущество России объясняется именно нераздельным господством абсолютизма. Наоборот, то обстоятельство, что внешняя политика и успехи в ней являлись самой сильной стороной русского царизма, укрепляло его еще больше внутри страны и помогало ему безжалостно сокрушать всякие попытки оппозиции. И если традиционное представление о государственной власти, как о демнурге национальной истории, продолжает господствовать и в Западной Европе, то в России оно было твердо установленным «догматом».

Одни проклинали царизм, другие его благословляли. Но видели ли в нем, как во всей русской истории, совершенно самобытное явление или только одну из фаз общественного развития, давно пройденную Западной Европой,—он для всех одинаково являлся источником всего исторического развития России, ее главным определяющим фактором. И теперь еще наиболее видные представители русской исторической науки проводят резкую грань между Западной Европой и Россией. Там, на Западе, государство было создано гражданским обществом, и в последнем приходится поэтому искать ключ к пониманию его исторического процесса развития. В России, наоборот, государство создало «гражданское общество», и именно оно было движущей силой русской истории.

Послушаем, например, Милюкова:

«Дело в том, что у нас государство имело огромное влияние на общественную организацию, тогда как на Западе общественная организация обусловила государственный строй. Европейское общество строилось, так сказать, изнутри, органически, от низших этажей к высшим. Фундамент этой исторической постройки—крестьянство—сложился в главных чертах уже во время народных переселений VI—VIII столетий. Затем, на этом фундаменте надстроен был в средние века второй этаж—европейской феодальной аристократии, сильной своим крепостным крестьянством. Наконец, только к новому времени, путем упорной борьбы с этим вторым общественным слоем, путем отдельных мелких побед над правами и привилегиями частных лиц, сословий, провинций, выдвинулось сильное государство, постепенно и медленно расширявшее пределы своей компетенции. У нас [в России] исторический процесс шел

как раз обратным порядком—сверху вниз. Если оставим в стороне Киевскую Русь, у которой были совсем другие условия исторического развития, в северно-восточной Руси представитель государственной власти, князь, был чуть ли не первым оседлым жителем государства. Вокруг него все находилось в движении, все население приходило и уходило... Среди этого «жидкого элемента» нашей истории, как любил выражаться историк Соловьев, мало по малу выделяется небольшой круг личных помощников князя, его «вольных слуг»... Из последних образовался класс землевладельцев, прикрепленных к князю. Только благодаря усиленным совместным стараниям правительства и землевладельцев удается, наконец, привести и этот элемент в твердое, в «крепостное» состояние. Таким образом, у нас государственная власть закрепляет под собой землевладельцев,—землевладельцы закрепляют под собой земледельцев. Этот способ постройки надолго сохранили за верхом русского общества, за правительственной властью, руководящую роль в процессе исторического домостроительства. Русскому государству не только не приходилось бороться с правами и привилегиями частных лиц и общественных групп, но оно само старалось вызвать эти общественные группы к существованию и деятельности, с тем, чтобы воспользоваться этой деятельностью для своих собственных целей» 1).

Мы нарочно цитировали г. Милокува, так как и в Германии его «Очерки—неожиданно для самого автора—были представлены как «марксистская история культуры России». Так же мало марксист, как и Лампрехт, хотя несомненно испытывавший на себе влияние марксизма, г. Милоков принадлежит к числу тех русских историков, которые придавали большое значение «экономическому фактору» в истории России и много сделали для изучения ее социально-экономической и финансовой истории. И все-таки, несмотря на этот крупный шаг вперед в сравнении со старой исторической школой, и для них государство, как мы видели, с известного момента, в отличие от Западной Европы, становится главным определяющим фактором русской истории.

Это традиционное представление разделялось и русскими революционерами. И для них было несомненно, что наши обществен-

1) Милоков, П., Очерки по истории русской культуры. Петербург, 1898 стр. 115—117.

ные формы обязаны своим существованием государству, что оно, по своему произволу, создавало общественные классы, что оно давало направление всему общественному развитию, что оно является главным источником угнетения и эксплуатации трудящихся классов. Связанный с идеализацией порядков древней, домосковской России, этот тезис одинаково признавался и Бакуниным и Ткачевым, он же лежал в основе всей тактики и политической деятельности «Народной Воли». Русский царизм превращался в тяжелое наследие старого прошлого, не имевшее никаких корней в настоящем, только мешавшее общественному развитию.

В несколько модернизированном виде этот тезис вошел и в новую социал-демократическую программу, которая заявляет, что «царское самодержавие является самым значительным из всех пережитков докапиталистических общественных отношений и что по самой природе своей оно враждебно всякому общественному движению».

Откуда же взялся этот пережиток, отличавшийся, правда, не только удивительной живучестью, но являвшийся и источником жизни для создаваемых якобы им общественных классов? К какому хронологическому пункту можно было приурочить его происхождение? На какой стадии докапиталистических общественных отношений зародился этот архаический продукт, по самой природе своей враждебный всякому общественному движению?

Первые русские историки решали этот вопрос так же просто, как решают вопрос о грехопадении человечества теологи. Добродушные славяне призвали «лемцев» устроить в их страде порядок, и после их политического грехопадения в России установилось самодержавие. С этих пор судьбы России определялись судьбами самодержавия. Была ли русская монархия результатом добровольного призвания варягов славянами или, по мнению других, являлась результатом завоевания—самодержавная власть представляет первичный фактор всей дальнейшей русской истории. В зависимости от личных свойств тех или других монархов самодержавие слабело или укреплялось, а вместе с ним слабела или процветала Россия. После расцвета при первых Рюриковичах единая Россия распадается, вследствие ошибочной политики Ярослава Мудрого, на многочисленные уделы и, благодаря этому обстоятельству, становится жертвой татар, чтобы после, благодаря на этот раз мудрой политике московских князей, опять объединиться при

Иоанне III. Со времени же Романовых, благодаря их еще более мудрой политике, начинается непрерывный рост могущества и благоденствия России.

Это примитивное представление, превращавшее Рюриковичей и Романовых в таких же создателей России, какими Гогенцоллерны, по мнению официальной прусской историографии, являлись для Германии, встретило протест уже среди декабристов, но продолжало господствовать до пятидесятых годов как официальная философия истории николаевской России. Правда, под влиянием гегелевской философии, уже в конце сороковых годов замечается новое течение, но и оно, разрушая старую легенду, старалось только рационализировать русских князей и государей, отвлекаясь от конкретных Рюриковичей и Романовых, и, превращая их в «первых служителей государства», делало из русской истории процесс непрерывного развития идеи государства.

Если первые русские историки старались больше доказать, что самодержавие было полезно и что Россия должна быть благодарна своим самодержцам, то новая школа доказывала его историческую необходимость и целесообразность при наличности тех внешних исторических условий, в которых протекала история России. Взгляды ее приобрели господство только в шестидесятых годах и тогда же вызвали оппозицию со стороны демократических течений, указывавших на значение «народа» и «общества» в старой русской истории и видевших упорную борьбу между «государством» и «народом» там, где только что упомянутые историки видели органический процесс. И тот фактор, который помог московским князьям окончательно справиться с традициями Киевской Руси, видели именно в татарском нашествии.

Мнение, что татарские завоеватели произвели глубокое изменение в политических отношениях русского общества, что они создали совершенно новую политическую иерархию, пользуется и до сих пор популярностью среди демократических элементов. В борьбе между народом и князем, которой исчерпывается, по их мнению, содержание русской истории до XV века, московские князья победили только потому, что они были ставленниками хана. Опираясь на помощь татар, которых они наводили на Русь, московские князья не нуждались в поддержке бояр или народа для укрепления своей власти и могли беспрепятственно заниматься расширением своей территории. Таким же образом, в противоположность

тем историкам, для которых единодержавие явилось результатом органического процесса и которые почти совершенно отрицали значение татарского ига, демократические элементы видели начало русского единодержавия в татарском иге и смотрели на него как на чуждый нарост на народном организме. В лице московских самодержцев победила Азия, заглушившая Европу, частью которой была норманнская Русь. Прошло не одно столетие, пока начался петербургский период русской истории, который, с этой точки зрения, превращался в период, когда под влиянием, в особенности петровских реформ, начался процесс европеизации России.

Главным научным авторитетом, на который опирались приверженцы этого взгляда, являлся близкий друг Чернышевского историк Костомаров. В наиболее полном и систематическом виде он изложил свои взгляды в особой монографии: «Начало единодержавия в древней Руси», опубликованной через 15 лет после напечатания разбираемых нами статей Маркса. Сходство некоторых основных идей этой работы со взглядами Маркса на значение татарского ига иногда доходит до буквального совпадения, как это видно из следующей цитаты:

«В дотатарский период не вырабатывалось никаких основ для будущего единодержавия в России, а тем более не было сознательного стремления к нему... С татарским завоеванием произошел быстрый и крупный поворот... Прежде пад Русью не было единого господина,—теперь он явился впервые в особе грозного завоевателя, хана. Русь, покоренная его оружием, стала его военною добычей, его собственностью; все русские, от князя до холопа, стали его рабами без исключения. В этом-то рабстве Русь нашла свое единство, до которого не додумалась в период свободы... Ханы подняли звание старейшего князя, дали ему власть и силу... Оно получалось одним путем—поклонами и угодничеством владыке... Раболепство перед завоевателем служило единственным ручательством за спокойствие страны» ¹⁾...

Для Маркса татарское пашествие играет роль стихийного фактора, вторгнувшегося в русскую историю: одним ударом татары сместили все *европейские* начатки и превратили Киевскую Русь

¹⁾ Костомаров, Н., Собрание сочинений, том V. «Начало единодержавия в древней Руси». Петербург, 1905, стр. 5—95.

в *азиатскую* страну. Татарское иго деморализовало не только князей, но и весь народ, превратив его в раба. Татарщина пагубила Россию деспотизмом, она же дала ей крепостное право. Московская Россия до самого Петра остается азиатскою страной.

Маркс не щадит черных красок для описания всех гнусностей московских князей. Так же поступают Костомаров и его последователи. Но в то время, как последние стараются отделить князей от народа и, беспощадно разоблачая легенды о личных доблестях московских Иванов, Дмитриев и Василиев, указывают на упорное сопротивление и геройскую борьбу против татар, Маркс отрицает у русского народа те качества, которые он признает за испанцами. Увлеченный своей основной мыслью, он забывает, что и испанцам понадобилась не одна сотня лет, чтобы избавиться от арабского господства. Даже Костомаров, своей беспощадной критикой разрушивший легенду о личном геройстве Дмитрия Донского, при котором татарам нанесено было первое сильное поражение, характеризует Куликовскую битву (в 1380 году) такими же словами, какими обыкновенно определяется значение сражения при Las Navas de Tolosa (в 1212 году).

Маркс совершенно прав, когда указывает на глубокое отличие норманнской России от московской. Так же мало, как империя Оттонов может быть названа колыбелью Бранденбурга, может и Киевская Русь считаться колыбелью Москвы. Но из этого еще не следует делать вывод о какой-нибудь непроходимой пропасти между этими двумя периодами русской истории. Не следует забывать, что татарское нашествие нашло Киевскую Русь далеко не в таком виде, какой она имела в период своего расцвета в X—XII веках. Хотя она и тогда находилась на большой дороге народов, через которую из глубины Азии выливались на Западную Европу один поток кочевников за другим, хотя в течение всего этого времени ей приходилось бороться с казарами, печенегами и половцами, ей удавалось справляться с набегами. Киев тогда был цветущим торговым городом, через который шла торговая дорога между скандинавскими странами и Константинополем. Как раз тогда, когда Германия, остававшаяся долго изолированной от главных дорог мировой торговли и соприкасавшаяся с ними очень слабо на Рейне, с началом крестовых походов и перенесением центра тяжести всемирной торговли из Константинополя в Италию, начинает выходить из натурального хозяйства, Киевская Русь

перестала играть старую роль посредника между Константинополем и скандинавскими странами. Продукты охоты и рыболовства, направлявшиеся прежде в Киев, теперь, при посредстве Пскова и Новгорода, направляются к Балтийскому морю, где торговля изменяет коренным образом свой характер, как раз в течение XII и XIII столетий, где к тому времени начинается быстрое развитие городов Любека и Висби. Ко времени татарского нашествия Киев уже давно потерял свое торговое значение, и центр тяжести политической и экономической жизни переместился с юго-запада на северо-восток.

Маркс сам указывает, что прошло около ста лет со времени татарского нашествия, пока Москва начала выделяться из среды остальных княжеств. Кроме относительной безопасности от татарских набегов, ее возвышению в значительной степени способствовало то обстоятельство, что она находилась на перекрестке двух самых торговых путей—с Волги к Западной Двине и из Новгорода в Рязанскую область. В Москву в XV веке стекалось множество европейских торговцев из Польши и Германии для покупки мехов. Главная отрасль промышленной деятельности старого времени—добывающая: охота, бортничество и рыболовство—дополняется и сменяется земледелием. Увеличивается оседлое население, прикрепленное своими запятками к земле. В Москве и в других городах увеличивается посадское, т. е. торгово-промышленное население.

Конечно, союз с татарским ханом давал известные преимущества, но в борьбе между Тверью и Москвой победили в последней инстанции не козны и интриги московских князей—в этом отношении тверские князья мало чем уступали своим соперникам,—а экономическое превосходство Москвы, наполнявшее деньгами тот кошелек, при помощи которого Иван Калита и его преемники могли в Золотой Орде покупать себе ярлыки на великое княжение и право на сбор данн. Как и во всех других случаях, когда речь идет о внешнем влиянии, характер и сила последнего определялась внутренними условиями. Как ставленник хана, московский князь одержал победу не в борьбе за укрепление абсолютизма, а в конкуренции между отдельными князьями. Он стал, в конце концов, самодержцем всея Руси не в смысле абсолютного, неограниченного государя, а в смысле независимого, суверенного государя. Московский князь не был абсолютным государем даже в пределах собственного княжества, и прошло еще много десятков лет,

пока ему удалось, опираясь на торгово-промышленное население и служилое сословие, справиться с потомками старых удельных князей и боярской оппозицией.

Татарская опасность в истории образования России играла точно такую же роль, как «турецкая опасность» в истории создания Австро-Венгрии, сарацинская—в истории Испании, шведская—в истории Пруссии и т. д. Заставляя напрягать все военные средства страны, она решала спор в пользу той ее части, которая могла выставить самую крупную силу, а этот вопрос решался не личными качествами Габсбургов, Гогенцоллернов, Рюриковичей, а экономическими и финансовыми средствами области, во главе которой они стояли. Что касается истории русского абсолютизма, то в ней мы встречаем ровно столько же специфически татарских влияний, сколько в истории, скажем, прусского и английского.

Лучшим доказательством служит история русского самодержавия со времени Иоанна III, когда оно, по общему признанию, окончательно установилось в России. На всем протяжении «докапиталистических отношений», вплоть до эпохи великих реформ, оно менее всего является *primus agens*. Характер и даже внешняя форма его сильно и непрерывно менялась. Так же как Западная Европа, Россия пережила процесс образования сословной монархии. И если этот процесс, как и процесс смены сословной монархии, длился дольше, чем в некоторых странах Западной Европы, то это обстоятельство может и должно быть объяснено так же, как аналогичное развитие абсолютной монархии в Пруссии и Австрии. Элементы, из которых создавался абсолютизм в России, так же мало являются его продуктом, как и элементы, из которых образовался абсолютизм в Пруссии, являются продуктом последнего. Развитию абсолютизма в большей или меньшей степени благоприятствует наличие внешней опасности, наличие национальных или областных антагонизмов, но он немислим без централизации экономической жизни, без товарного производства, без денежного хозяйства, как он немислим без армии и без финансов.

Он так мало является «пережитком докапиталистических отношений», что, наоборот, только на известной стадии развития капитализма достигает апогея своего развития.

«По самой природе своей» он является орудием экономической и политической эксплуатации, и история абсолютизма в России, как и в Западной Европе, сводится к истории борьбы господствующей

щих классов и их фракций за обладание этим могучим орудием и приспособление его к потребностям.

Для Маркса все эти внутренние условия развития абсолютизма в России совершенно исчезают. Поэтому в его изображении совершенно пропадают два столетия русской истории от Иоанна III до Петра, которые отмечаются коренной перегруппировкой общественных классов. Достаточно указать, что в начале этого периода мы еще находим свободное крестьянство, которое окончательно закрепощается при Петре I. Как и в Германии, капиталистическая эпоха в деревне имела своей провозвестницей эпоху сельскохозяйственного крупного производства на основе крепостного и барщинного труда. Победа абсолютной монархии над старым родовым дворянством куплена была за счет свободного крестьянства, которое было отдано в жертву новому дворянству. Как раз, когда абсолютизм выступает на европейскую арену в полном блеске своего могущества, он становится окончательно орудием в руках дворянства. XVIII век—это эпоха разнузданного господства дворянства, и самым дворянским царствованием является царствование Екатерины II, преданного «друга» европейских энциклопедистов.

Пропустив всю внутреннюю историю России от Иоанна III до Петра I, Маркс запер себе путь к пониманию ее внешней политики. Как мало помогло России присвоенное ею себе, по словам Маркса, могущество Золотой Орды, показывает история России в течение XVI и XVII столетий, когда ей приходится вести упорную борьбу на севере со Швецией, на западе с Ливонией и Польшей, на юге с крымскими татарами и после турками, на востоке опять-таки с татарами. Как будто повторяя историю Пруссии, русские историки изображают процесс превращения России в военную монархию под влиянием этих непрерывных войн, опустошавших многие области Московской России несравненно сильнее и более систематически, чем татарское иго. Крымский хан самым непочтительным образом относился к преемнику Чингисхана и так же настойчиво требовал дани, как ханы Золотой Орды. Если в конце XV столетия венецианцы, папы и Максимилиан делают еще попытки привлечь Москву к участию в борьбе с «турецкой опасностью», то проходит почти двести лет, пока в конце XVII столетия Россия настолько укрепляется, что перестает быть *quantité négligeable* в области европейской политики.

Одной из причин, задержавших темп развития России, была

та же самая причина, которой Маркс объяснял задержку в развитии Германии, начиная с XVI столетия: новое изменение торговых путей. Характерно, что самая упорная борьба между Польшей и Ливонией, с одной стороны, и Москвой за обладание Балтийским морем происходила как раз тогда, когда ось мировой торговли переместилась с балтийского меридиана на побережье Атлантического океана. Падение Ганзы нанесло новгородской торговле более жестокий удар, чем подчинение Москве. Соперничество ливонских городов и шведских купцов добивало уже падшую Ганзу. Политическое значение ее падало вместе с ее экономическим могуществом. Господство на Балтийском море переходит от поляков к шведам, которые окончательно запирают русским выход в Балтийское море. Нарву, которою русские овладели в 1558 году, они вынуждены были отдать шведам в 1581 году. Таким образом, Россия, торговля которой получила сильный толчок вследствие приобретения Казани и Астрахани, лишилась возможности принимать самостоятельное участие в торговле на Балтийском море как раз тогда, когда она присоединила к себе Сибирь и когда Волга стала вполне русской рекой.

России, таким образом, грозил полный экономический застой. Но торговля с Западной Европой, шедшая до сих пор главным образом через Балтийское море, нашла себе новый выход. Его проложили англичане через Белое море. В 1584 году основан был Архангельск, который с тех пор становится главным центром внешней торговли России и остается им до основания Петербурга. За англичанами явились голландцы. Тем, что Петр I сумел укрепиться на Балтийском море, он в последнем счете обязан англичанам и голландцам. И если уже говорить о «випе», которая падает на Англию, как главную виновницу возвышения России, то это преступление совершено Англией задолго до северной войны. Чтобы понять, как и почему складывались отношения между Англией и Россией в XVIII столетии, нам необходимо познакомиться с той ролью, которую Англия сыграла в деле «европеизации» России.

Б. ЕВРОПЕИЗАЦИЯ РОССИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ АНГЛИЙСКОЙ ТОРГОВЛИ

Огромная роль, которую играла колониальная система, как один из главных моментов первоначального накопления, заставляет часто забывать, что классическая страна капитализма, Ав-

глия, вплоть до XVII века, почти не имела колоний, что только со второй половины этого века можно говорить об Англии как о колониальной державе.

В то время как португальцы и испанцы постепенно овладевали Новым миром и торговлей азиатскими продуктами, англичане заняты были тем, что освобождались от зависимости от ганзейцев, в руках которых находилась вся их внешняя торговля. В 1552 году у Галзы были отняты ее главные привилегии в Англии, и почти в это же время из купцов и некоторых представителей дворянства составила в Лондоне компания с целью подорвать португальскую торговлю пряностями. В 1553 году снаряжена была экспедиция, которая должна была направиться в Индию через северо-восточный проход. Экспедиция кончилась неудачей. Начальник ее Виллоуби (Willoughby) погиб с двумя кораблями, но капитан третьего корабля, «Благое предприятие», Ричард Ченслер (Chancelor), был прибит к берегу Белого моря, к устьям Северной Двины. Оттуда он попал в Москву, где и был принят очень радушно Иваном Грозным ¹⁾.

Когда Ченслер вернулся в Лондон, то общество его получило хартию на право монопольной торговли с Россией и со всеми странами, которые ему удастся открыть. Это было общество «Merchant Adventurers for the Discovery of Lands, Countries, Isles, not before Known or frequented by any English» («общество купцов предпринимателей для открытия стран, земель, островов, даже еще неизвестных или не бывших в сношениях с Англией»), больше известное под названием «московской» (Moscovy) или «русской» (Russian) компании, под которым упоминает ее и Маркс. После «Merchant Adventurers of England», получившей свою хартию в 1505 году, это самая крупная торговая компания в XVI столетии.

В 1555 году Ченслер был снова послан в Россию, где он опять принят был очень милостиво. Русской компании было пожаловано право на беспошлинную торговлю всякими товарами по всей России. Кроме того, все споры между английскими купцами и русскими должны были разбираться самим царем. Иван Грозный, которому в английской грамоте дан был громкий титул «emperor of

¹⁾ Ливония, Польша, Швеция не хотели пропускать в Россию на оружие и техника. Как раз незадолго перед этим кончалась неудачей попытка доставить в Россию несколько десятков ремесленников, паборщиков, врачей. Император Рудольф II поступал не лучше.

all Russia» (император всея России), решил завязать непосредственные сношения с английским правительством. Вместе с Ченслером был отправлен царский посланник Осип Непей. Корабль потерпел крушение, богатый груз из русских произведений—воск, сало, меха, войлок и капатная пряжа—погиб, большая часть экипажа вместе с Ченслером потонула, но Непее удалось спастись. В Лондоне ему был оказан самый почетный прием. Вместе с Непеей в Россию поехал Дженкинсон, известный путешественник. Ему, с разрешения Грозного, удалось добраться по Волге и Каспийскому морю до Средней Азии. После этого путешествия Русская компания начинает добиваться свободной торговли через Россию с Персией. В 1569 году монополия англичан была подтверждена, и компании было разрешено беспошлинно провозить товар в Бухару и Catchay (Китай и Индию).

Но следом за англичанами явились голландцы. Явившись позднее англичан, они получили меньше льгот и часто должны были прибегать к посредничеству англичан. Отношения между конкурентами скоро обострились, и голландцы пользовались всякими средствами, чтобы лишить англичан их монопольного положения, Они указывали, что Англия торгует чужими товарами и берет за них неслыханные цены.

В обмен на те льготы, которые он предоставил англичанам, Грозный надеялся добиться от Англии помощи в борьбе с Польшей и Швецией. Но Елизавета упорно отказывалась от всякого союза, — не потому, что она боялась возвышения России: такой союз мог быть выгоден только последней и совершенно бесполезен для Англии.

«По мере того как Англия начала выдвигаться как торговое государство, интересы ее становились враждебны интересам Испании, великой торговой державы шестнадцатого столетия, которая господствовала в западной части Средиземного моря и стремилась к исключительному господству на океане. Почти всюду, где английская торговля пыталась упрочиться, она наталкивалась на сопротивление или задержки со стороны Испании... Таким образом, в шестнадцатом столетии Испания стала для Англии исконным врагом, сосудом всякой мерзости» ¹⁾.

Этим антагонизмом определялась вся внешняя политика Ан-

¹⁾ *Karl Kautsky, Thomas More und seine Utopie, Stuttgart, 1907, pp. 237—238.*

глии в эпоху Елизаветы. Создавать себе новых врагов и мануше Армады было бы очень неосторожно, тем более, что русско-английские торговые сношения на Белом море вызывали сильное неудовольствие балтийских держав.

Упорство Англии рассердило, наконец, царя, и он, после сердитого письма Елизавете ¹⁾, в 1570 году отнимает у англичан все привилегии и право торговли с Персией. Русская компания немедленно подняла крик и обратилась к Елизавете с просьбой спасти английскую торговлю от разорения. Несмотря на ругань Грозного, она посылает опять Дженкинсона, которому удается— правда, ненадолго—добиться старых льгот. Больше всего Грозного возмущало то, что «купеческие дела поставлены впереди и сочтены важнее наших (царских) дел, хотя их успех должен бы зависеть от сих последних», и он грозился передать всю торговлю в руки венецианцев и германцев. Гнев на милость он сменил только в 1580 году, когда был вынужден обратиться к Англии, чтобы получить военные припасы для войны против Швеции и Польши. Елизавета поспешила удовлетворить эту просьбу, и весною 1581 года в Россию было отправлено 13 судов со всякими припасами. Новое предложение Грозного заключить союз против Стефана Батория было отклонено. Несмотря на происки голландцев, Грозный должен был опять утвердить привилегии англичан, так как к этому времени он окончательно потерял все свои завоевания на Балтийском море. Когда вскоре затем Грозный умер (в 1584 году), один из заклятых врагов англичан и благоприятель немцев в торговле, дьяк Щелкалов (которого англичане обвиняли в том, что он подкуплен голландцами), сказал английскому послу: *английский царь умер* ²⁾.

Мы видели, что Англия, в высшей степени дорожа торговыми сношениями с Россией, упорно отказывалась от всякого политического союза с ней и смотрела на нее только как на колонию.

¹⁾ «И мы чаяли того, что ты на своем государстве государя и сама владеешь и своей государской чести смотришь и своему государству прибылька. И мы потому такие дела хотели с тобою делать. Ажно у тебя мимо тебя люди владеют и не токмо люди, но мужики торговые, и о наших государских гозовах и о честах и о землях прибылька не смотрят, а ищут своих торговых правыток. А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица». Худшего ругательства Иоанн не мог подобрать.

²⁾ Костомаров, Очерк торговли Моск. гос. в XVI и XVII столетиях и Собрания сочинений, том VIII, стр. 284. Петербург, 1906.

Вопрос о господстве на Балтийском море в это время ее совершенно не интересовал. Она так же мало была склонна помогать Швеции, как и России. На первом плане стояли торговые интересы и желание сохранить в своих руках монополию торговли с Россией через Белое море, где ей меньше приходилось считаться с соперничеством голландцев и шведов. В 1583 году Елизавета, вопреки настойчивым просьбам Густава, короля шведского, заключила с Данией договор о свободном пропуске английских кораблей к устью Двины, при чем выговорила для них право беспрепятственно заходить, если случится бурная погода, в норвежские и исландские гавани. Число английских кораблей, посещавших Россию, увеличивалось из года в год и в 1582 году дошло до 9. В 1584 году у устьев Двины был заложен новый город, получивший название Новых Холмогор и в 1637 году переименованный в Архангельск. До основания Петербурга это был главный коммерческий порт России, через который шла вся ее торговля. Наиболее важными предметами вывоза в Англию были меха, кожи, лен, пенька, канаты, мячтовый лес, сало, смола и деготь; ввозили же англичане в Россию, главным образом, сукна, шерстяные и шелковые материи, галантерейные товары, сахар, бумагу и металлы.

После смерти Грозного положение англичан ухудшилось: они должны были платить пошлины, правда, в половинном размере, и только с воцарением Бориса Годунова они получили в 1602 году опять право на беспошлинную торговлю, которое было подтверждено им в 1605 году. Но на всякое предложение о союзе Англия отвечала отказом.

«Смутное время» очень чувствительно отзывалось на торговых оборотах англичан, и в Англии принимали самым радушным образом посла с извещением о вступлении на престол Михаила Романова. Московское правительство оставило за англичанами все их привилегии. Англия опять-таки отказалась от союза, но предложила свое посредничество в заключении мира между Швецией и Россией, чтобы обеспечить за собой право торговли с Персией и право отыскивать путь в Индию. В 1617 году в Столбове был заключен мир, причем английский посол жаловался на интриги голландских послов, также фигурировавших в качестве посредников. Англичане все сильнее начинают чувствовать конкуренцию голландцев, которые тогда уже успели завоевать господствующее положение в балтийской торговле. Кроме того, все сильнее станови-

лась оппозиция московских купцов, с которыми Романовым пришлось серьезно считаться.

Повторилась—только в другом масштабе—та же история, что в Англии с ломбардцами и гавзейцами. Московские купцы оказались такими же горячими «националистами», как и лондонские, и они не успокоились, пока у англичан не были отняты привилегии.

При Михаиле Россия делает первую попытку обеспечить себе путем союза с Англией субсидию, но ей удалось получить всего 40 000 ефимков в виде пособия. Московское купечество, наконец, добилось, чтобы англичанам не давали права беспошлинно торговать с Персией. Это был первый шаг. Английская революция доставила желанный повод лишить англичан тех льгот, которыми они пользовались почти сто лет. Больше всего негодовали против мятежных англичан и возбуждали, вместе с московским купечеством, против них правительство шепче протестанты и республиканцы—голландцы.

В 1646 году московские купцы подали царю Алексею жалобу на иностранных купцов и просили спасти их от разорения.

«Всеми торговыми, которыми искони мы торговали, завладели английские немцы и оттого мы от своих вечных промыслов отстали и к Архангельску больше не ездим». Англичане «все Московское государство оголодали: покупая в Москве и в городах мясо и всякий харч и хлеб, вывозят в свою землю». К этому они прибавляют аргумент, который должен быть особенно убедителен для правительства: англичане «крадут государеву пошлину», и уличают их в том, что они не могут ссылаться на свою хартию, потому что англичане «торговые люди от короля своего Карлуса отложились и бьются с ним четвертый год».

Но только 1 июня 1649 года, после казни Карла I, царским указом высланы все английские купцы из Москвы и других городов: «великому государю нашему ведомо учинилось, что англичане всею землею учинили большое злое дело: государя своего Карлуса убили до смерти и за такое злое дело в Московском государстве вам быть не довелось».

Но негодование было не настолько сильно, чтобы совершенно отказаться от английской торговли. За англичанами оставлено было право проезжать в Архангельск, но отменялось их право

торговать беспошлинно. Во всяком случае для Русской компании это был чувствительный удар.

Претенденту (будущему Карлу II), обратившемуся с просьбой о денежной помощи, было отказано, и вместо 100 000 руб. ему было послано соболей на 15 000 руб. и хлеба на 5 000 руб. Попытка Кромвеля вернуть привилегии английских купцов кончилась неудачей. Но и восшествие на престол Карла II, несмотря на возобновившиеся дружеские отношения с Англией, не привело к восстановлению старых привилегий; английский резидент от имени Карла II признал царский указ 1649 года знаком особой дружбы к королю и выразил надежду, что теперь, после реставрации, это наказание, наложенное на непокорных подданных короля, будет снято. Но несмотря на это угодничество, после долгих переговоров, англичане получили только право ездить в Москву в количестве не больше 10 купцов. С 1664 года, когда Англия получила этот отрицательный ответ, до начала XVIII века старые дружеские отношения изменились к худшему.

Англичане, правда, не ушли. Они только вынуждены были отказаться от беспошлинной торговли. Голландцы добились уравнивания в условиях конкуренции.

Но Россия была уже опять связана с Европой крепкими узлами внешней торговли. Именно в XVII веке, под влиянием англичан и голландцев, начался так называемый процесс европеизации России.

Денежное хозяйство, развитие которого было задержано в XVII веке, пока совершался процесс перемещения торговых путей, сейчас же после смутного времени начинает быстро развиваться. Образуется целый ряд новых торговых центров, по главным дорогам к Москве и из Москвы на север в Архангельск. Из Москвы шло 6 торговых путей: «Москва была средоточием торговой деятельности для всей России. Значение ее возвышалось еще тем, что правительство само занималось торговыми операциями, и сам царь, как выразился один англичанин, был первым русским купцом в России»¹⁾. Из Москвы товары чрез Ярославль, Ростов и Переяславль отправлялись в Вологду, где англичане скупали привозившийся туда лен и имели складочный пункт для своих товаров и откуда они направлялись в Архангельск. Рядом с Москвой в

¹⁾ Н. Костомаров, там же, стр. 284.

центре России развивался Нижний-Новгород, который в XVIII веке сделался складочным местом для азиатских товаров, привозимых из Астрахани, западно-европейских—из Архангельска, сибирских—из Казани, московских для отправки на Восток. Этот же город сделался местом закупки хлеба и сбыта его в северные области. С помощью целой сети мелких скупщиков крупное купечество опутало всю страну и захватило в свои руки всю внутреннюю торговлю. Отстаивая свои привилегии, англичане совершенно верно указывали, что их торговля была выгодна для мелких торговцев. Но именно это обстоятельство настраивало против них крупное купечество. Оно хотело стать исключительным посредником между иностранными торговцами и русскими производителями и потребителями. Новоторговым уставом 1667 г. иностранцам было дозволено торговать во внутренних городах России только по особым государевым грамотам, и притом со зысканием с них особых дополнительных сборов. Они были обложены проезжей пошлиной в размере 20 денег с рубля как за ввозимые, так и за вывозимые из России товары.

О размерах вывозной торговли через Архангельск трудно составить себе точное понятие. В 1653 году, т. е. в год, когда торговля с англичанами в значительной степени пострадала, вывоз равнялся 1 032 406 тогдашним рублям—сумма для того времени крупная ¹⁾. Средняя сумма таможенного дохода в Архангельске составляла 70 000 руб. в год. К началу царствования Петра вывоз через Архангельск равнялся уже 3 миллионам.

В XVII же веке началось насаждение индустрии при помощи голландцев, англичан, гамбургцев. В 1630 году голландский капиталист Виннус получил привилегию на устройство железного завода около Тулы. Таким путем возникли знаменитые Тульские заводы. В 1670 году составила компания под руководством гамбургского капиталиста Марселиуса и голландского Аклма, получившая такую же привилегию на устройство железных заводов на Ваге, Костроме и Шекспе.

Купечество, которое так ревниво относилось к привилегиям иностранных торговцев, поощряло правительство в выдаче привилегий промышленным. «Как станет у англичан какой промыш-

¹⁾ По расчету Ключевского, рубль 1651 — 1700 годов соответствовал 17-ти нынешним.

сел, то и государевы люди станут тем же промышлять. Если англичане будут находить руды и выделывать железо, то никому убытку не будет, а только прибыль».

Москва становится во второй половине XVII века средоточием, куда массами стекаются ремесленники, техники, авантюристы и шарлатаны. Уже около половины XVII века, по свидетельству Олеария, в Москве считалось до тысячи одних только протестантских семейств,—главным образом англичан (шотландцев) и голландцев. Немецкая слобода была немецкой только по имени. Первое место в ней занимают англичане и шотландцы. Та самая революция, которая дала повод московскому правительству лишить англичан их привилегий, пригнала в Москву всех недовольным Кромвелем,—Дрюмондов, Гамильтопов, Дальцеллей, Крауфордov, Грэхамов, Лесли, Гордонов. В этой атмосфере Петр воспринимал не только европейскую культуру, но и симпатии к английской династии Стюартов.

И не со стороны Петра, а раньше его начинается процесс политической централизации, предпринимается ряд реформ в области военного дела и финансового устройства. Развитие денежного хозяйства дало возможность превратить многие натуральные подати и повинности в денежные. Земские сборы, игравшие такую видную роль в XVI и XVII веках, упраздняются. Намечается реформа областного и городского управления. Свообразные внешние формы, которые принимает этот процесс образования абсолютной монархии, несколько не скрывают тождества его основных черт с соответственным процессом в Западной Европе, как его описывает в своем «Thomas More» Каутский.

«Вполне естественно, что новая политическая центральная власть кристаллизовалась вокруг личности государя, что он образовал вершину централизованного управления и армии. Его интересы и интересы торговли были одинаковы... Торговля нуждалась в армии для защиты ее интересов как вне, так и внутри страны... Но новому государству необходим был государь не только в качестве вождя армии, но и в качестве главы государственного управления. Феодальный, партикуляристический аппарат управления рухнулся, новый же, централистический механизм управления, бюрократия, едва только зарождался. Политический централизм, явившийся для товарного производства с развитой торговлей, на пороге капиталистического способа производства, эконо-

номической необходимостью, чтобы способствовать экономической централизации,—как и, наоборот, сама эта экономическая централизация обуславливала и вызывала усиление политической централизации,—этот политический централизм нуждался в начале своего существования в *главенстве одной личности*, которая была бы достаточно сильна, чтобы отстаивать единство управления от центробежных элементов, в особенности от дворянства. Такой силой обладал только вождь армии. Сосредоточение всех нитей власти как военного, так и административного аппарата в *одной руке*, другими словами, государственный абсолютизм был *экономической* необходимостью в век реформации и еще долго спустя после нее» ¹⁾.

Такой же экономической необходимостью явился государственный абсолютизм в России. В Петре Великом он нашел свою персонафикацию, которая по своей энергии и преданности идее государства может занять место рядом с классическими представителями этого типа. И только потому, что Маркс не заметил, что Петр был в сущности продуктом зарождающегося европейского капитализма, он мог увидеть в нем просто преобразованного татарины: вопрос о том, принадлежит ли Россия к Азии или к Европе, был уже решен бесповоротно в конце XVIII столетия, и восприимчивыми Россией, ее воспитателями, были наиболее крупные торговые-промышленные страны того времени—*Англия и Голландия*.

6. ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ТОРГОВЛИ ДЛЯ АНГЛИИ

Но торговые сношения между Россией и Англией имели большое значение и для Англии. Во второй половине XVI века эта торговля служила, наряду с морским разбойничеством и торговлей рабами, одним из главных источников «первоначального накопления». Когда сломлена была монополия Ганзы на Балтийском море, торговое преобладание на нем перешло к Голландии и оставалось за ней вплоть до XVIII века. Попытки Англии захватить в свои руки наследство Ганзы окончились неудачей, и Eastland Company, получившая свою хартию в 1579 году, в течение целого столетия не могла сломить конкуренцию голландцев. По словам Чайльда, торговля голландцев превышала еще в конце XVII столетия английскую торговлю в 10 раз.

¹⁾ *Karl Kautsky, Thomas Moro und seine Utopie, Stuttgart, 1907, pp. 17 — 18*

Но «Русская компания» сыграла большую роль и в другом отношении. Она организовала китоловный промысел около Шпицбергена. Конкуренция в этой области шла опять-таки с голландцами, которые не замедлили поспеть вслед за англичанами. Русская компания смотрела на Северный Ледовитый океан как на свою собственность. Если она позволяла заниматься китоловным промыслом, то только за большую пошлину. Голландцы, отстаивавшие и тут принцип *mare liberum*, снаряжали туда военный флот для защиты своих китоловов. Пользуясь своим превосходством, голландцы наносили большие убытки Русской компании, которая должна была заключить соглашение с недавно основанной East India Company. Особенно обострились отношения между Англией и Голландией как раз в 1617 году, когда, как мы видели, англичане и голландцы явились посредниками при заключении мира между Швецией и Россией. Вообще антагонизм между голландцами и англичанами, который привел к открытому разрыву при Кромвеле, пытался в первой половине XVII столетия столько же конкуренцией в области колониальной торговли, сколько и борьбой за обладание севером и русским рынком. Торговля с Россией приносила не менее колоссальные барыши, чем колониальная. При Алексее (1645—1676) эксплуатация превосходного мачтового леса по р. Югу была сдана иностранной компании, которая нагрузила лесом 4 корабля. Дерево ей обошлось в 25—30 коп., а продано за границей по 4—5 руб. Когда голландцам удалось вытеснить англичан, разжигая негодование русских мопархистов против «цареубийц», то в несколько лет они в одном Архангельске уже имели около 200 агентов.

Так созданы были в России «британские интересы», которые требовали дипломатической защиты. Как в Нидерландах, Германии и скандинавских странах английскими дипломатическими агентами служили, главным образом, члены компании «Merchant Adventurers of England», так в России ими являлись члены «Russian Company». Посредником со стороны Англии при заключении мира в Столбове был также член правления этой компании Меррик.

«Колониальная система в необычайной степени ускорила развитие торговли и мореплавания. Торговые общества, «monopolia» (как их называл Лютер), служили могущественным рычагом концентрации капитала. Возникающим мануфактурам колонии обес-

печивали рынок сбыта и, при помощи монополии рынка, усиленное накопление» (Маркс).

В Англии 1550—1650 годов господствующую роль играли общества-монополии, главной сферой деятельности которых оставалась Европа. За ними стояла расцветающая шерстяная промышленность. Если Англия уже к началу XVIII столетия могла обеспечить за собой торговую супрематию, то она этим обязана была и тогда своей промышленной супрематии. Ост-Индская компания, до конца XVII столетия, играет еще незначительную роль в сравнении и с Merchant Adventurers of England, которая обеспечивала английской шерстяной промышленности сбыт сначала через Антверпен, а после через Гамбург, и с Русской компанией, которая организовала этот сбыт в России.

Вполне понятно, что Русская компания пользовалась большим влиянием и могла «поднимать крик». Что к ее «крику» прислушивались очень внимательно, мы видели на протяжении всей истории сношений между Англией и Россией. Следует еще вспомнить, что среди членов Русской компании, как и Гамбургской, было много представителей из среды «gentleman'ов». Если в списке членов Гамбургской компании мы встречаем Sidney, earl of Carlisle ¹⁾, earl of Leicester, lord Churchill, lord Ashley и т. д., то еще в первой партии Русской компании мы находим среди имен ее учредителей маркиза Винчестера (Winchester), графа Арондела (Arundel), графа Бедфорда, графа Пемброка.

Но уже в первой половине XVII столетия «крик» ее не был настолько силен, чтобы заглушить «крики» представителей других «британских интересов». Если отношения между этой компанией и Гамбургской продолжали быть дружественными, то еще в конце XVI столетия возникли новые компании, интересы которых далеко не совпадали с интересами Русской компании. Вспомним, что ее процветание, в отличие от Гамбургской, зависело не только от сбыта английских мануфактурных изделий в России, но и от удачного хода ее капиталового промысла и транзитной торговли персидским шелком через Россию. Естественно, что интересы ее пришли в столкновение и с интересами Eastland Company, основанной в 1579 году для торговли на Балтийском море, которая,

¹⁾ Тот самый, который в 1664 году неудачно пытался добиться возобновления привилегий англичан в России.

конечно, не соблюдала строго запрета торговать с Россией через Нарву, и с интересами Turkey (Турецкой) Company, основанной в 1581 году и сейчас же принявшей за организацию скупки сырого шелка в Персии. Если конкуренция первой оказалась неопасной, то конкуренция второй растет непрерывно в течение всего XVII столетия, — между прочим, и потому, что на турецких султанах казнь Карла I не произвела никакого впечатления ¹⁾. Но это была конкуренция только в одной области, в торговле сырым шелком, в которой и Русская компания и Турецкая компания скоро встретили более опасного соперника, Ост-Индскую компанию. Хотя Русская компания, как мы увидим, еще в XVIII столетии не теряла надежды захватить в свои руки торговлю персидским шелком, ей пришлось уже в конце XVII века сосредоточиваться на торговле продуктами русского происхождения, тем более, что китоловный промысел, становившийся все менее выгодным, вследствие уменьшения числа китов, перестал для нее играть особенное значение после того, как в 1670 году организовалась Hudson Bay Company в Северной Америке. С этой же стороны ей начала грозить конкуренция и в области торговли различными кораблестроительными запасами (naval stores). В 1699 году постановлено было, чтобы таможенные комиссары (Commissioners of Customs) в течение каждой парламентской сессии представляли обеим палатам отчет о количестве кораблестроительных запасов, которые будут кем-либо вывозиться из России в Англию. Андерсон думает, что правительство в это время предполагало принять меры с целью поощрения вывоза этих материалов из Северной Америки.

Таково было положение Русской компании к началу XVIII века. В 1699 году положен был конец вечным пререканиям с так называемыми «interlopers'ами», т. е. англичанами, которых привлекала прибыльная торговля с Россией, но которые торговали без разрешения компании, не желая платить ей высокий взнос: в этом году он был понижен до 5 ф. ст., т. е. торговля фактически перестала быть монопольной. Компания продолжала по-прежнему представлять интересы торговли с Россией и отстаивать их в Сити и в парламенте.

¹⁾ 18 августа 1648 года был смещен «законным путем» Ибрагим I в убит. Это первый султан, которого постигла такая участь.

Но она, как мы видели выше, была не единственной компанией. Рядом с ее «криком» раздавались «крики» других заинтересованных компаний или группы купцов и промышленников. Не подлежат никакому сомнению, что эти группы старались влиять на правительство в своих интересах, стараясь подчинить его политику себе. Но, чем более усложнялись торговые и промышленные интересы, чем обширнее и многочисленнее становились внешние сношения, чем более усложнялись отношения с другими странами, тем упорнее и ожесточеннее должна была разгораться борьба между этими различными группами. Скорее всего побеждала та из них, чей частный интерес совпадал в данное время с общим направлением внешней политики, которое *à la longue* определялось общими интересами всей «национальной» торговли.

При Елизавете вся внешняя политика определяется антагонизмом между Англией и Испанией. Отсюда постоянный союз с Нидерландами. Отношения с Францией в общем также носят дружественный характер, поскольку Франция продолжает старую борьбу с испанскими Габсбургами.

В первой половине XVII века все сильнее разгорается антагонизм между Англией и Голландией, который при Кромвеле доходит до продолжительной войны. В конце XVII века, со времени революционной войны, Франция снова становится таким же наследственным врагом, каким была во время столетней войны. Голландия, по выражению Фридриха II, превращается в простую шлюпку английского корабля. Так называемая система политического равновесия определяется антагонизмом между Францией и державами, входящими у нее на буксире, с одной стороны, и Англией, Австрией и Голландией, с другой.

Россия нет места ни в одной из этих комбинаций. Если в конце XV века турецкая опасность заставила Венецию, папу, императора Максимилиана сделать неудачную попытку втянуть Россию в европейские дела, то теперь, наоборот, сама Россия вынуждена — и чем ближе к концу XVII века, тем настойчивее — искать союза у европейских держав.

Непосредственными врагами России являлись теперь Польша, Швеция и Турция. Но во всех этих странах преобладало влияние Франции, которая пользовалась ими против Габсбургов.

И пока внешняя политика Англии не определялась антагонизмом с Францией, союз Англии с Россией был политической

невозможностью. Это, в конце концов, повлияло и московские дипломаты и оставили в покое Англию. Плохо разбирался в политических отношениях Западной Европы, они в 1687 году предлагают союз Людовику XIV, но им категорически заявляют, что «между Францией и императором существует вечная вражда, а между султаном и королем, наоборот, вечный мир и прочная дружба».

Россия принимает участие в священной лиге против турок, но ее третируют как третьестепенную державу. Вплоть до северной войны она в политических комбинациях Западной Европы никогда не принимается в расчет.

В начале XVIII века, когда война за испанское наследство совпадает с северной войной, положение дел меняется. Создается возможность для союза между Англией и Россией. Но преобразилась ли эта возможность в действительность, как думает Маркс? Верно ли, что олигархия, захватившая власть после 1689 г., вместе с «Русской компанией» систематически поддерживает Россию и помогает ей уничтожить Швецию? Действительная история нам уже показала, что не татарские ханы создали абсолютизм и Петра, что «европеизировал» Москву англо-голландский капитал, что Англия так же «виновата» в создании Москвы, как она «виновата» в создании Японии. Посмотрим теперь, правда ли, что действительная история разоблачает английских государственных людей XVIII века, как систематических пособников Петра I?

7. СЕВЕРНАЯ ВОЙНА

Маркс совершенно прав, когда придает такое огромное значение северной войне в деле возвышения России. В борьбе за политическое преобладание на Балтийском море господство переходило поочередно от Ганзы к Польше, Дании и Швеции. В 1617 году Россия окончательно потеряла надежду приобрести себе выход на запад. Со второй половины XVII века Швеции почти удается превратить Балтийское море в шведское озеро. В 1700 г. отношение длины береговых линий составляло, если припять длину береговой линии Дании за 1, для Германии—3, для Швеции—10, для России—0. Таким образом, северная война сводилась к поединку между Швецией и Россией: кто был за Швецию, тот был против России, и наоборот. В результате северной войны

Швеция потеряла свое первенствующее положение на севере. Политическая гегемония на Балтийском море переходит к России, которая сохраняет ее до последней четверти XIX столетия ¹⁾.

Маркс прав также, когда говорит, что северная война является поворотным пунктом в том отношении, что Россия лишь после нее стала европейской державой. Только получив прочную точку опоры на западе, она могла начать свое расширение на юг и восток, чтобы, набравшись новых сил, опять начать свой *Drang nach Westen* и, начиная со времени Екатерины II, играть роль вершительницы судеб Европы.

Так характеризует значение этой войны и русский историк Соловьев:

«Стешной, восточный период русской истории кончился—морской, западный период начался. Впервые славяне, после обычного отступления своего перед германским племенем на восток, к степям, повернули на запад и заставили немцев отдать себе часть берегов северного Средиземного моря, которое перестало быть немецким» ²⁾.

Разница только в том, что один приветствует то, что другой прокликает.

Еще лучше Маркс изображает последствия, которые имел перенос столицы из Москвы в Петербург. Если он приписывает успех этого акта личной инициативе Петра, то это объясняется тем, что от него совершенно ускользнул весь внутренний процесс, совершившийся в России XVII века и подготовивший необходимые для этого условия. Петербург на первых порах занял место Архангельска. Характерно, что, после петровского приказа направлять все вывозимые товары в Петербург, вывоз из Архангельска увеличился почти на столько же (2 049 000 руб.), на

¹⁾ Длина береговых границ прибалтийских стран:

	1700	1800	1900
Дания	1	1	1
Германия	3	2½	5
Швеция	10	7	7
Россия	0	3½	10

Эта таблица, из которой особенно отчетливо виден рост русской береговой границы на Балтийском море, приведена у *Kirchhof, Seemacht in der Ostsee-Kiel, 1907, p. 9.*

²⁾ *Соловьев. История России, том XVII, стр. 387.*

сколько (2 135 000 руб.) он возрос в Петербурге. Общая сумма вывоза из этих городов сначала не изменилась. Петр только переменил русло, по которому направлялись на запад русские товары. Экономика и на этот раз оказалась сильнее политики. Попытка перенести после смерти Петра столицу в Москву кончилась неудачей. Окно в Европу было окончательно прорублено.

Но в то время, как русские историки убеждены, что Англия систематически мешала Петру в его борьбе со Швецией, Маркс, наоборот, утверждает, что Петр мог победить Карла XII только благодаря Англии. Если Мартенс отождествляет поведение Англии в эпоху северной войны с поведением ее во время крымской войны, если он в том и в другом случае видит только желание вредить интересам России, то Маркс следует его примеру, с той только разницей, что поведение Англии ему представляется в противоположном свете. Русские историки, объясняющие политику Англии торговыми интересами, несколько не смущаются тем, что Англия притом рисковала крупными торговыми интересами в России; она, — говорит Мартенс, — боялась усиления русского влияния на Босфоре, — Маркс обвиняет Англию в том, что, ради ничтожных, по его мнению, торговых интересов купцов, прикрывавших своими жалобами преступное поведение английских миссионеров, Англия сама себе возрастала сильного врага на Босфоре. И русские историки, и Маркс одинаково смотрят на события начала XVIII века сквозь призму симпатий и антипатий второй половины XIX века. Мы могли бы привести целый ряд цитат, которые показывают, что и другие современные историки — западноевропейские и русские — до сих пор еще продолжают оценивать события северной войны с этих двух точек зрения.

В 1900 году, т. е. почти одновременно с новым изданием работы Маркса, в *Transactions of the Royal Historical Society*, vol. X, была напечатана статья на ту же тему, представлявшая изложение доклада, читанного в Королевском историческом обществе. Это — «Замечание о дипломатической корреспонденции между Англией и Россией в первой половине XVIII столетия».

Автор — г-жа д'Арси Коллиер — считает пужным сначала указать, что она имеет дело с совершенно неразработанным материалом: «Поскольку я могу судить, политика английского правительства во всех ее деталях в течение этого периода дипломатических сношений с Россией может быть изучена только по манускрип-

там в рукописном отделении Британского музея». Каков же вывод из изучения этих документов, которые она предлагает вниманию ученого общества? Они до того совпадают с выводами Маркса, что иногда кажутся букввальным их повторением.

Чтобы понять «действительную историю» отношений между Англией и Россией, не надо упускать из вида, что северная война хронологически совпала с войной за испанское наследство. В то время как замышлялась коалиция против Карла XII на севере, подготавлилась на юге новая коалиция против Людовика XIV. И та и другая война велась в пределах Европы. Но в то время как в войне за испанское наследство решался, параллельно с вопросом о господстве в Средиземном море, вопрос о господстве на Атлантическом океане, этой главной магистрали всемирной торговли в XVII веке, вопрос о том, кому будет принадлежать торговое преобладание и господство в Новом мире,—в северной войне решался вопрос о преобладании на Балтийском море, которое еще в большей степени, чем Средиземное море, стало внутренним морем, простым подъездным путем. Время, когда Балтийское море, с одной стороны, и Средиземное, с другой, являлись главными резервуарами европейской торговли, давно миновало. То, что было вопросом политической жизни или смерти для прибалтийских держав,—кому будет принадлежать преобладание на Балтийском море?—с точки зрения Англии и крупных европейских держав, имело чисто локальный интерес. Голландия, воспользовавшаяся упадком Ганзы, чтобы захватить торговое преобладание на Балтийском море, и Англия, явившаяся туда вслед за ней, старались только, чтобы Зунд оставался открытым, и в зависимости от этого поддерживали каждая то Данию, то Швецию. Прибалтийские державы для них были только, как Россия, объектом экономической эксплуатации. Политически Швеция и Польша шли на буксире Франции, которая, время от времени, за хорошую денежную подачку, натравливала их, как и Турцию, на империю Габсбургов. Для теоретиков европейского политического равновесия Швеция была в такой же степени неевропейской страной, как и Россия.

Еще в разгар войны за испанское наследство один публицист писал:

«Нам не нужно объяснять читателю, что мы под Европой понимаем только те части Европы, которые принимают участие в

настоящей войне с Францией, в союзе с нею или против нее. Нам нечего заниматься делами Швеции или Московии, Венгрии или Турции. Эти страны, правда, находятся в Европе, но так как Западная и Центральная Европа представляют собою руководящую часть Европы, то применение этого слова исключительно к последней части освящено как временем, так и практикой»¹⁾.

Факты заставили очень скоро изменить это представление. Оказалось, что интересы Англии, Франции и Австрии слишком сильно затрагиваются северной войной, что так же мало, как можно отделить север от запада, можно было отделить восток Европы от севера. То, что давно уже совершилось в области экономики, должно было получить свое признание в области политики. Европейские державы могли сколько угодно желать возвращения тех времен, когда Россия относилась к Азии, но их пожелания были так же бессильны, как и страстные стремления оппозиции Петра оторвать Россию от Европы.

«Насколько упорно держались старые политические воззрения, видно из того, что факт появления новой влиятельной державы, в лице России, не оказал сначала никакого воздействия на идею европейского равновесия. Европейская политическая мысль прибегла к обходу. Точно так же, как внутренние отношения немецких держав связали с общими европейскими таким путем, что конструировали особое немецкое равновесие и от сохранения последнего сделали зависимым сохранение европейского, так и теперь возникла идея северного равновесия, связанного подобным же образом с интересами сохранения европейского равновесия».

Конечно, это пожелание было всего сильнее во Франции. Там хлелели эту надежду после смерти Петра и не отказывались от нее еще в половине XVIII столетия. Но об этом мечтали и другие европейские державы, особенно те, интересы которых приходили в столкновение с интересами России. На политику европейских держав при петербургском дворе такие надежды оказывали влияние вплоть до Екатерины II.

А до окончания войны за испанское наследство Англия была целиком поглощена борьбой с Францией. И вопрос об отношении

¹⁾ «The Balance of Europe», London, 1711. Цитировано у Kaebler, Die Idee des europäischen Gleichgewichts in der publizistischen Literatur des sechzehnten bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Berlin, 1907, p. 78.

к Швеции решался только в связи с этим вопросом. Нужно было не допустить Швецию до союза с Францией. И нужно было удерживать Турцию от войны с Австрией. Все усилия английской и голландской дипломатии концентрировались на этой задаче.

9 июля 1698 года Франция, на этот раз при сильной оппозиции со стороны антифранцузской партии, заключила со Швецией оборонительный союз. Но Вильгельму III удалось в 1700 г., от имени Голландии и Англии, заключить со Швецией такой же союз,— тот самый союз, на который так часто ссылается Маркс. Между Швецией и Россией отношения были тогда дружественными. Карл XI не только позволил Петру заказать в Швеции 600 пушек, но обещал даже подарить 300 пушек, что и было сделано уже после его смерти. Это было во время войны с Турцией. Опасаться войны между Швецией и Россией не было оснований. Превосходство Швеции не подлежало никакому сомнению.

А с каким пренебрежением относились к России главные европейские державы, показал Карловщ, где в 1699 г. Англия и Голландия были главными посредниками при заключении мира между Австрией, Венецией, Польшей и Россией, с одной стороны, и Турцией, с другой. Это был первый опыт участия России в европейской коалиции. Русский посол горько жаловался на Голландию и Англию, которые хлопотали исключительно об интересах Австрии и даже о Венеции заботились больше, чем о России. Но Англия и Голландия нужно было освободить силы Австрии для готовившейся войны с Францией. Конгресс в Карловщ— первый, на котором русским дипломатам пришлось встретиться с европейскими— показал, какими неучами являлись азиаты в сравнении с европейцами, как «свято» выполняют свои обязательства европейские державы. Только в эпоху северной войны русские дипломаты научились пользоваться разногласиями между европейскими державами, и непосредственными «учителями» их в этом высоком искусстве, как и в военном деле, были шведы.

Но, может быть, Англия, несмотря на все, поступала прямо обратно: не исполняла своих обязательств перед Швецией и помогала России? На это дает ответ опять-таки действительная история.

Мы видели, что даже московские дипломаты, в конце концов, поняли, что от Англии, несмотря на все выгоды для нее торговли с Россией, нельзя добиться согласия на уступление в политиче-

ский союз. Мы видели, каким фиаско кончилась попытка заключить союз с Францией. Участие в коалиции против турок показало, что и Австрия нуждается в России лишь постольку, поскольку последней можно было пользоваться против Турции.

Но союзники были непобедимы. После неудачного посольства Карлейля (Carlisle) в 1664 году, когда голландцы так усердно интриговали против привилегий Русской компании, англичане решились воспользоваться первым благоприятным моментом, чтобы приобрести снова свое прежнее монопольное положение в России. Таким было путешествие Петра в Голландию и в Англию. В октябре 1697 года английские посланники во главе с лордом Пемброком (Pembroke)—из почтенного рода тех Пемброков, которые были учредителями Русской компании, обратились к Петру с коллективным письмом, в котором, ссылаясь на то, что англичане «прежде всех народов, которые в Европе суть, торговлю и содружество имели с Россией с великой пользой и прибытком для обоих народов», просили, «дабы торговые англичане столь многие годы продолженное подворье паки вновь восприяли и обыкновенные вольности и без налога употребляли». Одним словом, они хотели, чтобы в Москве был восстановлен старый английский Seelyard (торговый двор). Кроме того, они просили для себя монополию на привоз табаку.

Восстановить привилегии, отнятые в 1649 году, самодержавный Петр, несмотря на все свое расположение к англичанам, не мог, но монополию на привоз «травы викоцианской, вообще табак именованной» англичане получили. Табак позволялось разводить только в Малороссии, но провоз в другие области Московского государства воспрещался под страхом конфискации. В 1702 году англичане получили монополию на торговлю и вывоз льна из России, несмотря на сильный протест русских купцов.

В ответ на свои авансы Петр получил только любезности и в подарок от Вильгельма III (в 1697 году) старый фрегат. Англия оставалась глуха ко всем его предложениям. В 1704 году в Россию послан был в качестве чрезвычайного посланника Витворт ¹⁾. Он должен был уверить Петра, что Анна, в случае заключения мира между Россией и Швецией, не будет пренебрегать его интересами. Настоящей целью его посольства было

¹⁾ Он прибыл в Москву в феврале 1705 года.

выхлопотать новые привилегии в пользу англичан. К монополии льна и табака им хотелось прибавить другие монополии. В особенности же он должен был хлопотать, чтобы им дозволено было покупать и вывозить смолу, деготь и прочие предметы, необходимые для процветания корабельного дела «в нашем королевстве» ¹⁾.

Прият был Витворт необычайно торжественно. Петр хотел подчеркнуть этим приемом, насколько он дорожит хорошим отношением Англии. Витворт, наоборот, держал себя высокомерно. На предложение принять посредничество между Швецией и Россией он ответил отказом; уверениям Петра, что он не будет строить военных кораблей на Балтийском море, он не верил, а на замечание, что Нарва и Петербург могут развить торговые сношения с Англией, он возразил, что шведы не допустят английских кораблей. Он предупреждал, впрочем, правительство, что, «если обращаться к русским исключительно по торговым делам, они способны заподозрить, что мы крайне нуждаемся в их товарах, насколько не уважая их силы и дружбы» ²⁾.

Действительно, Петр и его помощники скоро это поняли. Витворт в России и английское правительство в Лондоне дали ему два наглядных урока на эту тему. Первому, в интересах табачной монополии англичан, поручено было немедленно выпроводить из пределов России обратно в Англию английских мастеров, обучавших русских обработке табаку, и, кроме того, домашним образом уничтожить все материалы и другие производства. Исполнив первое поручение, английский посол взялся за второе. Вот как он описывает свой подвиг.

«Вечером я явился на фабрику в сопровождении Пэрсона, моего секретаря, и четырех слуг; мы большую часть яочи провели в разрушении матерпалов и инструментов, из которых некоторые оказались до того прочными, что нам при ломке их пришлось поднять порядочный шум... Но данные мне приказания выражены настолько определенно, что времени терять было некогда, да я и не решился бы вынести что-нибудь из дома, боясь возбу-

¹⁾ «And particularly that they may be permitted to buy and export pitch and tar and other naval stores for the use of this our own kingdom». «Сборник Имп. Русского имп. общества», том XXXIX, стр. 3.

²⁾ *Mariners, P.*, Собрание трактатов и конвенций... и т. д. Том IX. Петербург, 1892, стр. 9 — 10.

дить подозрение. Как слышно, бурмистерская палата очень раздражена этим разрушением».

И все-таки Петр I смолчал. Сам Витворт объяснил эту снисходительность желанием Петра I, чтобы Англия взяла на себя посредничество между Россией и Швецией и содействовала заключению почетного для России мира.

Посмотрим теперь, как в Лондоне обращались с русским послом. В конце 1706 года Петр послал туда посланника в Гаете А. А. Матвеева. Он должен был объяснить, как выгодно будет для англичан, когда Россия получит удобные пристани в Балтийском море: «русские товары будут безопасны, скоро, несколько раз в год перевозиться в Англию, не так, как теперь из Архангельска; русские товары станут дешевле, потому что балтийские гавани близко от Москвы и от других значительнейших городов и водной путь к ним удобный» ¹⁾. Мало того. Так как Петр уже знал, что для английского правительства нужны еще другие аргументы, то он через Матвеева предложил вступление в «Grande Alliance» против Людовика XIV. Кроме того, Матвееву—повое доказательство «европеизации» русской дипломатии—поручено было нащупать почву, можно ли подкупить кого-нибудь из английских министров, в особенности же—Марльборо ²⁾. Петр согласен был в крайнем случае уступить все свои завоевания в Прибалтийской области, даже Нарву, он не соглашался только отдать Петербург: «об отдаче оного ниже в мыслях иметь».

Но английские министры вели Матвеева за нос и кормили его «словами гладкими и бесплодными». Прошло несколько месяцев. С приходом Марльборо дело изменилось. Петр уже соглашался предоставить ему одно из русских княжеств на выбор: Киевское, Владимирское или Сибирское, и обеспечить ему пожизненный доход в 50 000 ефимков.

Прижатые, наконец, к стене, английские министры заявили Матвееву, что не могут предложить своего посредничества. Про-

¹⁾ *Соловьев*, История России, том XV, стр. 195.

²⁾ Петр уже слышал о высоких требованиях знаменитого полководца и прибавляет собственноручно: «Не чаю, чтобы Малбурка до сего склонить, понеже чрез меру богат, одяко обещать тысяч оного двухсот или более». *Соловьев*, там же, стр. 195.

фессор Мартенс, которому замыслы «коварного Альбиона» хорошо известны, объясняет это поведение тем, что «английское правительство не желало допустить мысли, чтобы Россия сделалась прибалтийской державой. Но Марльборо и Годольфия, по словам Матвеева, заявили ему: «можно ли из-за одних торговых выгод с Москвою раздражать шведского короля при вышешней ее силе и во время войны с Францией».

Эти переговоры проходили как раз в то время, когда Карл XII находился в апогее своего могущества, когда он только что заключил мир в Альтранштадте, когда он стал «арбитром Европы» и собирался, как новый Густав-Адольф, под предлогом покровительства протестантам, напасть на империю Габсбургов,—когда Франция, с одной стороны, и «Grande Alliance», с другой, напрягали все усилия, чтобы привлечь на свою сторону Карла XII. И Марльборо только что вернулся в Лондон после своего путешествия в лагерь Карла XII, где ему и императору с большим трудом удалось утихомирить шведского короля. Чтобы отнять у него всякий предлог ко вмешательству в дела империи, перед ним обязались дать полное удовлетворение сilesким протестантам. Предлагать Карлу XII посредничество при заключении мира с Россией, даже на тех выгодных условиях, на которые соглашался Петр, как раз в тот момент, когда Карл XII, сокрушив датского короля и Августа, собирался преподать Петру второй марвский урок,—требовать этого могли только наивные «азнапы», которые забывали, что Англия имеет еще и другие торговые интересы, кроме российских.

Матвеев особенно негодовал на Русскую компанию. «Много я потерял труда, ходя за теми мужиками, английскими купцами, но они, кроме одного Стельса (Stales) не только не оказали мне никакой помощи, даже и ответа не дали». Но негодование его достигло своего апогея, когда во время сборов к отъезду, 21 июля 1708 года, шериф предписал задержать его за долг в 50 ф. ст. и когда полицейские служители, избив его самым беспощадным образом, отвезли его в долговую тюрьму, откуда он был освобожден только благодаря поручительству купца Стельса.

Что же удивительного, что наш бедный «азнап», получив такой урок тонкого европейского обращения, был в восторге, когда 30 июля 1708 года покинул наконец Лондон и избавился от необ-

ходимости иметь дело с этим «христоненавистным народом и канальского злочестия исполненным» ¹⁾.

Несмотря на свое пренебрежение к России, даже английское правительство успокоилось. Но оно быстро успокоилось, когда Витворт ответил из Петербурга, что «к вопросам чести здесь относятся не очень строго», что «москвитяне опасны только тем, кто их боится, и лучшее средство образумить русских—не уступать им».

9 октября 1708 года Левенгаупт был разбит при Лесном, а 27 июня (8 июля) 1709 года Карл XII был разбит при Полтаве. «В отчете, который Петр послал своим людям о сражении, он прибавляет в постскриптуме: этим положен краеугольный камень для Петербурга. И действительно, это был краеугольный камень для всего здания его государства и политики. С тех пор,—прибавляет Ранке,—Россия начала диктовать законы на севере» ²⁾.

Положение дел сразу изменилось. Когда Петр совершил свой триумфальный въезд в Москву, то в самых льстивых выражениях его поздравлял тот же Витворт. Вспоминая английские традиции XVI века, он приветствовал Петра титулом «императора» и доставил ему этим такое большое удовольствие, что, несмотря на все свои подвиги в России, получил в подарок портрет Петра, усыпанный алмазами. Из Савла, поведение которого могло бы удовлетворить даже Давида Уркарта, он превратился в Павла ³⁾.

5 февраля 1710 года Витворт извинился от имени королевы Анны за оскорбление, нанесенное Матвееву, и, преподнеся экземпляр только что проведенного через парламент акта о преимуществах членов дипломатического корпуса при сент-джемском дворе, разъяснил Петру, что нет никакой возможности казнить всех оскорбителей Матвеева. Убедившись, что, «за оскудением прежних прав государственных», Анна не может расправляться со своими подданными, как он с непокорными стрельцами, Петр решил удовлетвориться этим извинением. Профессор Мартепс, кото-

¹⁾ Изначает этот подробно рассказав у *Соловьева*, История России, том XV, стр. 318—319.

²⁾ *Ranke*, Die grossen Mächte. См. «*Werke*», Band XXIV, p. 18.

³⁾ Этому Витворту, тогда одному из наиболее выдающихся дипломатов, принадлежит и книга о России в 1710 году, в которой он с большой прощальностью объясняет победы русских «пассивной храбростью» и выносливостью русских крестьян.

рый еще через 200 лет пылает негодованием на «коварный Альбион», объясняет эту уступчивость тем, что «великий преобразователь не считал возможным пожертвовать высшими политическими интересами России справедливому чувству негодования, выванному лондонской историей с Матвеевым». Петр все еще не терял надежды добиться посредничества Англии при заключении мира со Швецией: 9 (20) августа подписано было соглашение между Англией и Россией, в силу которого «его царское величество ко удовольствию морского купечества за благо и полезно изобрели во всем своем государстве бумажные, маячные, вожевые и якорные деньги с великобританским народом в равном учредить состоянии» 1).

Произвела ли полтавская победа на английских министров то же впечатление, как на Витворта? Успел ли уже новый факт военного превосходства России над Швецией войти в их сознание? Нет. И в этом мнении их укреплял сам Петр, который, настойчивым требованием изгнать Карла XII из пределов Турции, навлек на себя новую войну. Только к концу 1711 года он выпутался из беды, пожертвовав Азовом и Таганрогом и отдав на съедение туркам славян, восставших в расчете на помощь Петра.

В этом эпизоде северной войны мы в первый раз встречаем характерные черты новой завоевательной политики России или ее постоянную «ошибку», в которой обвиняют ее русские патриоты, — неумение сосредоточиться на одной задаче и стремление осложнять решение одного вопроса поднятием другого или, выражаясь менее эвфемистически, ее неумеренные аппетиты. В течение всего XVIII и XIX века восточный вопрос перепутывается со шведским и польским вопросами и, к великому негодованию русских реальных политиков, мешает поступательному движению России на Запад, заставляя ее каждый раз делать ненужные уступки то «хищной и конквистантской» Пруссии, то неизменно «неблагодарной» Австрии.

Но в этом эпизоде мы встречаем еще другое, не менее любопытное явление. Если печальная Марксу Русская компания, несмотря на все ее русофильство, не могла помочь заключению союза с Россией, то ее конкурентка, Турецкая компания, не-

1) У Маркса это соглашение приводится в тогдашнем немецком переводе. Том IX, стр. 22 — 26.

смотря на то, что главное ее внимание было устремлено на борьбу с французским влиянием в Константинополе, уже очень рано забила в набат против России, гораздо раньше, чем это сделали авторы отырытых Марксом памфлетов.

Мы уже видели, как третировали Россию на карловицком конгрессе. Оставшийся недовольным, Петр заключил с турками только перемирие, условия которого должны были быть окончательно обсуждены в Константинополе. Русский посол Украинцев явился с такой же помпой, как 150 лет спустя Мельшиков. Но произвел он несравненно более сильное впечатление: он явился на первом русском военном фрегате и салатовал султану залпом из сорока пушек. Турки были поражены этим явлением не меньше, чем члены Турецкой компании.

Если в XVII веке дипломатические сношения между Россией и Англией в большинстве случаев велись через посредство членов Русской компании, то уже с XVIII века это явление исчезает, хотя частые жалобы английских посланников на неполучение жалованья показывают, в какой материальной зависимости находились они от английских купцов в России, т. е. от той же Русской компании. В Турции дело обстоит еще проще. Вплоть до 1803 года английский дипломатический корпус состоял на жалованье у Турецкой компании. Первыми английскими посланниками в Турции были члены этой компании. И если до XVIII века главным конкурентом в левантской торговле были французы, то с начала этого века Турецкая компания начинает свою антирусскую компанию. Ее влияние уже было заметно на карловицком конгрессе. В. Миллер, автор очень интересной статьи о «Европе и Османской империи до XIX ст.», ошибается, думая, что впервые это антирусское влияние проявилось только в 1711 году, во время похода Петра в Турцию.

«Достоин замечания, — говорит он, — что в этом случае влияние Англии было в первый раз употреблено против России. Со времени образования русского флота английская Levant Company, которая в начале XVIII столетия держала всю торговлю Ближнего Востока в своих руках, была обеспокоена конкуренцией русских купцов, и английский посланник в Константинополе, противясь возвращению русского посла в Константинополь, указал Порте

на всю опасность политической и религиозной пропаганды русских агентов среди христианских подданных султана»¹⁾.

Подробности относятся к истории восточного вопроса, но мы не можем не указать тут, что именно в этом обстоятельстве мы можем найти ключ к объяснению политики «коварного Альбиона» на Ближнем Востоке в XVIII столетии и того самостоятельного положения, которое занимали английские посланники в Константинополе. Они часто ставили сент-джемский кабинет перед совершившимися фактами и если не в состоянии были всегда—так же мало, как Русская компания—проводить свою то антирусскую, то антифранцузскую политику, то все же составляли крупный фактор во внешней политике Англии и не мало способствовали усилению в ней противоречий по мере осложнения торговых интересов Англии.

Выпутавшись с большим трудом из турецкой войны, Петр с такой же стремительностью, с которой он полез на Прут, бросается на запад. Война за испанское наследство еще не была кончена. Чтобы обезопасить себя от новых осложнений на севере, Англия, Голландия и Германская империя еще 10 марта 1710 года выступили с декларацией, направленной против Петра, относительно сохранения нейтралитета во всех землях Германской империи, следовательно, и в Померании. Оправдываясь тем, что ему необходимо сделать диверсию против шведов, Петр вступил в Померанию.

17 апреля 1711 года умер император Иосиф I, и на престол должен был вступить Карл, претендент на испанский трон. Торги, которые одержали победу над вигами, воспользовались этим обстоятельством, чтобы заключить с Францией мир 8 октября 1711 года.

В начале 1714 года война за испанское наследство закончилась. Теперь Англия была свободна.

Но если Маркс безусловно ошибается в своей оценке английской политики до 1714 года, то, может быть, он прав для периода 1714 года? Правда, Петр уже укрепился на Балтийском море, он захватил Финляндию, он расположился уже в Германии; правда, Карл, с непопулярным для современников упорством, торчал в Турции, но все же, если бы Англия послушалась голосов, предупреждавших ее о новой «русской опасности», и помогла Швеции, как

¹⁾ «English Historical Review», 1901, July, p. 456.

ее обязывал оборонительный союз 1700 года, то Россия была бы отброшена в глубину Азии.

Что же мы видим? Как раз в 1715 году Англия вступает в союз с Россией и начинает вновь войну со Швецией. Вот что рассказывает Маркс об этом:

«В 1715 году был заключен северный союз между Россией, Данией, Польшей, Пруссией и Ганновером для раздела не собственно Швеции, а Шведской империи. Этот раздел является первым крупным подвигом новой дипломатии и логической предпосылкой раздела Польши. Договоры раздела, касавшиеся Испании, привлекали внимание потомства, так как они являлись предвестником войны за испанское наследство, а раздел Польши произвел еще большее впечатление, потому что его последний акт разыгрывался на арене новейшей истории. Не подлежит, однако, сомнению, что введением к современной эре международной политики послужил раздел Шведской империи. Договор о разделе 1715 года не заботился даже о присказании приличного повода: решено было просто использовать затруднительное положение намеченной жертвы. Впервые в Европе нарушение всех договоров, в целях установления общих основ нового договора, было не только выполнено, но и провозглашено совершенно открыто. И во главе этого заговора поставлена была сама Польша, шедшая на буксире у России, представленная таким образом пошлости, как Август II, одновременно курфюрст саксонский и король польский. Он подписал свой собственный смертный приговор и не воспользовался даже той привилегией, которую Полифем обещал Одиссею—быть последним обреченным на сожраание... Участие в этом договоре раздела втянуло Англию в орбиту России, к которой она со времени «славной революции» тяготела все больше и больше. Георг I, как английский король, был связан со Швецией оборонительным союзом 1700 года, но, как ганноверский курфюрст, он объявил Швеции войну, которую он вел как английский король»¹⁾.

Мы не будем останавливаться на всех ошибках Маркса в этом изложении, на безусловно неверной оценке этих событий, на противоречиях с его же статьями о шлезвиг-гольштейнском вопросе. Основная ошибка его состоит в том же самом, в чем состояла и основная ошибка Петра, который негодовал на Англию за то, что

¹⁾ «Secret diplomatic history», p. 25.

ла, вопреки союзу его с Георгом I, отказывается помогать ему в борьбе со Швецией. Заключив с Георгом I, в качестве курфюрста Брауншвейг-люнебургского (en qualité d'Electeur de Brunswick-Luneburg), союз против Швеции, который в сущности являлся возобновленным союзом, заключенного с Ганновером еще в 1710 году, Петр был убежден, что, наконец, он добился союза с Англией.

Мы присутствуем при одном из самых любопытных эпизодов всемирной истории: целый ряд «самодержавных» государей заключает с маленьким немецким князьком союз в полной уверенности, что он и в Великобритании может распоряжаться так, как он распоряжался в Люнебургской степи. Сам Георг I, которому на старости лет свалился такой лакомый кусок, как великобританский трон, очень плохо верит, что ему придется долго держаться на этом троне, и, вместе со своими верными ганноверцами, старается изо всех сил поскорее нагреть себе руки и обеспечить себе несколько новых приобретений в Германии, в особенности же Бремен и Верден. Это—единственная цель, которую он преследует с упорством зажиточного крестьянина, желающего приобрести лишний клочок земли. В борьбе партий, происходящей в Англии, он разбирается так же плохо, как его другие самодержавные коллеги. Он знает только, что есть претендент, который хочет у него отнять великобританский трон, что есть в Англии партия, помогающая этому претенденту, что он должен держать сторону другой партии, и искренно удивляется, когда последняя партия не может оказать ему такую маленькую услугу, как посылка десятка-двух фрегатов в Балтийское море против шведов.

Английские министры, чувствуя за своей спяной оппозицией торней и в то же время убежденные в необходимости сохранения ганноверской династии, т. е. всего того, что дала «Glorious Revolution», металась между Георгом, которому они должны были делать некоторые поблажки, и парламентом, для которого они должны были подыскивать приличные предлоги, чтобы прикрыть конституционным флером свои уступки ганноверским министрам.

Во все время северной войны Англия ни разу не объявляла войны ни Швеции, ни России. Напротив, официально она соблюдала нейтралитет. Но вел ли Георг войну со Швецией, как это было до 1719 года, или вступал с ней в союз против России,—он неизменно раздражал своих союзников, потому что он никогда не

мог выполнить взятых на себя обязательств. Трудно сказать, когда он больше повредил Швеции—когда был ее врагом или союзником.

Начиная с 1715 года на Балтийском море крейсируют английский флот. Но Георг I, курфюрст ганноверский, может отдавать приказанья английскому адмиралу только как великобританский король, а Великобритания не воюет ни со Швецией, ни с Россией. Когда Георг еще не успел поссориться с Петром, он мог ему доставить удовольствие, и в один прекрасный день Петр командовал флотом во время маневров, в которых, вместе с датским флотом, участвовали английский и голландский флоты. Но, проводив английские торговые корабли в балтийские гавани, английский адмирал должен опять вернуться в Лондон, и только, явно нарушая свои официальные инструкции, может тайком оставить несколько фрегатов Георгу в его качестве курфюрста ганноверского.

Петр скоро понял, что Георг, как великобританский король, ему совершенно бесполезен, и, когда он занес свою лапу на Мекленбург, он даже был удивлен, что Георг, спокойно наблюдавший, как он свирепствовал на других германских территориях, вдруг запротестовал. Недавние друзья так перессорились, что Георг замыслил захватить Петра. Экспедиция в Сконе кончилась неудачей еще в периоде приготовления. Союзники не доверяли друг другу. Датчане подозревали Петра—и не без основания,—что он намерен упрочиться в Дании и захватить Зунд. Петр, ссылаясь на то, что его союзники не выполняют принятых на себя обязательств, и сам не торопился исполнять их. И только с большим трудом удалось его выжить из Дании.

А в это время Карл XII или, вернее, его советники Герц и Гилленбург, посланники в Лондоне, решили избавиться от непрошеного вмешательства Георга ганноверского в качестве короля великобританского. Опора протестантизма в Германии, Карл XII, через посредство своих советников, вступает в переговоры с якобитами и испанским министром Альберони, чтобы свергнуть Георга I с престола. Мало того. Решив использовать озлобление Петра против Георга, шведы вступают в переговоры с ним, в то время как русский посол в Гааге Куракин завязывает сношения с Альберони.

Эта сложная игра лопнула, когда в начале 1717 года в Лондоне был арестован шведский посланник Гилленбург и одновременно с ним несколько ториев. Английское правительство после-

шило опубликовать переписку Гилленборга, в которой, между прочим, найдены были письма лейб-медика Петра Арескини.

Но переписка Гилленборга разоблачила и другие секреты. Будущий главарь шведских «шляп», кроме дипломатических талантов, обладал прекрасным пером. В нескольких памфлетах, которые выходили одновременно на французском и английском языках, этот дипломатический Жиль Блаз, замышлвшийся одной рукой восстановить Стюартов в Англии, другой—краспоречно доказывал англичанам, что они должны, протестантизма ради, поддерживать Карла XII и что они должны положить, ради своих торговых интересов, конец поступательному движению русских и помочь шведам вернуть их потерянные владения.

Эти памфлеты начали появляться с 1715 года со времени возвращения Карла XII из Турции и начала деятельности Герца. Кроме первых двух памфлетов, напечатанных Марксом, имеются еще и другие, достоверно принадлежащие Гилленборгу. Аргументация последних до того сходится с аргументацией памфлетов «Northern Crisis» и «Defensive Treaty», что трудно отказаться от предположения, что последние тоже вышли из-под пера Гилленборга или его помощников.

Все эти памфлеты вращаются вокруг одного вопроса. Английские и голландские купцы поспешили завязать торговлю с Петербургом и Нарвой. Чтобы помешать этому, Карл XII объявил эти порты под блокадой и начал перехватывать английские и голландские корабли. Положение еще больше обострилось, когда Петр издал указ, которым все товары, направлявшиеся к Архангельску, должны были быть вывозимы из Петербурга.

Понятно, что ни английские, ни голландские купцы не имели никакого желания ждать, пока Карл XII снова завоюет свои старые владения. И вот памфлеты стараются им доказать, что они не имеют права делать это, что интересы протестантизма выше интересов нескольких купцов, что в этом вопросе не может быть различия между честными торгашами и честными выгами. Все это сопровождается постоянным припевом о возрастающем могуществе России ¹⁾.

¹⁾ Все эти памфлеты опубликованы в собрании de *Lamberty, Mémoires pour servir à l'histoire du XVIII siècle*, vol. IX. Amsterdam, 1735. В том числе «Lettre d'une personne de distinction de Rotterdam à Amsterdam», «Lettre d'un ami à Dantzick» и т. д.

Но кто же были те английские купцы, которые поднимали этот крик? У Маркса—готовый ответ: Русская компания. Но до того, как Петр закрыл Архангельск, сильнее всего страдала от шведских каперов Eastland Company, которую часто смешивают с Русской. Последняя, наоборот, первое время выигрывала, и выигрывала вдвойне. Она пользовалась монополией вывоза из России тех товаров, в которых Англия тогда особенно нуждалась. Некоторые из них вывозились из Швеции, но, с развитием шведского флота, вывоз этих материалов, необходимых для кораблестроения, обставлен был значительными трудностями. В Швеции организовалась компания, которая получила монополию на сбыт дегтя (Tar Company of Sweden) и других кораблестроительных материалов. Уже в 1703 году английский парламент должен был установить премии за вывоз этих материалов из американских колоний, но пока это мало помогало. И, как указывал один из памфлетов, пугавших англичан чрезмерным могуществом Петра, «царь бесспорно является безусловным хозяином трех четвертей дегтя всего мира, всей конопля, лучших мачт и всех товаров, которые обычно получают с Севера». (*Il est incontestablement le maître absolu des trois quarts des houdrons de tout l'univers, de tout le chanvre, des meilleurs mâts et de toutes les marchandises qu'on avait coutume de tirer du Nord*)¹⁾.

Что Русская компания не могла быть особенно довольной завоеваниями Петра на Балтийском море,—по крайней мере, на первое время,—видно из следующего аргумента: «Вы ведь сами признаете, что если царю удастся сохранить за собою хоть один порт на Балтийском море, то архангельская торговля сама собою пропадет в ущерб тысячам наших соотечественников»²⁾. Этим объясняется холодность, которую встретил со стороны илецов компания Матвеев.

Но с 1715 года конкуренты соединились и, вместе с голландцами, яро отстаивали «свободу торговли» с Петербургом и с Нарвой. А когда памфлетисты говорили голландцам, что «вы сами готовы были бы топтать эту свободу торговли, как вы топтали крест в Японии»³⁾, то они отвечали спокойно, что «не важно,

¹⁾ *Lamberty, Mémoires d'une personne intéressée et sensible au commerce de la mer Baltique. Vol IX, p. 663.*

²⁾ *Lamberty, Ibid., p. 225.*

³⁾ *Lamberty, Ibid., p. 232.*

кому принадлежат восточные области Балтийского моря: царю или Швеции»¹⁾.

Маркс сам признает, что балтийская торговля в это время приобрела особое значение не по своим размерам, а по своему характеру. Это было время, когда в кораблестроении происходила революция, аналогичная той, которая ознаменовала собою первую половину XIX столетия. Весельное судоходство умирало. Галеры становились таким же анахронизмом, как теперь парусные суда. Английские, голландские и французские верфи соперничали в постройке больших парусных кораблей, — двух-, трех- и четырехпалубных. Ост-индские фрегаты — «Great Eastern» того времени — все чаще спускались с верфей. Для выделки парусов и канатов требовалось огромное количество льна и конопля. На обыкновенное судно требовалось для парусов до 10 000 ярдов полотна в 24 дюйма шириною. Ирландия насильственно превращалась в страну, производящую парусное полотно (sailcloth). Через Гамбург из Германии вывозился опять-таки холст. И в таких же огромных количествах потребовались поташ, деготь и смола (в поташе вываривались паруса), вывозился мачтовый лес и т. д. Одним словом, для промышленности и торговли Англии эти naval stores (кораблестроительные материалы) имели такое же значение, как хлопок в XIX столетии. Прекращение подвоза этих naval stores останавливало работу на верфях²⁾.

«Азиат» Петр, кораблестроительный талант которого так восторженно описывает автор памфлета «Northern Crisis», понимал это так же прекрасно, как он понял, наконец, что, возбуждая общественное мнение против ганноверского короля, он лучше всего может воздействовать на парламент. Он усвоил себе уроки Герда и Гилленборга. И это научились понимать даже такие истинно-московские дипломаты, как Куракин.

Когда в 1718 году Карл XII был убит пулей не то датчанина, не то паемников шведской олигархии и всякая опасность шест-

¹⁾ *Lamberty*, IX, p. 242.

²⁾ «Если балтийские корабли, — писал Тоунсенд в 1715 году, — не придут, то недостаток в кораблестроительных материалах будет так велик, что его величество не было бы в состоянии к следующей весне спармить флот». Цитировано у *Chance, J.*, *England and Sweden in the time of William III and Anne.* — «*English Historical Review*», October, 1901, p. 684.

вия со стороны Швеции исчезла, когда Георг I поспешил заключить союз со Швецией, Куракии писал из Лондона:

«Пусть с их стороны начнутся неприятельские действия, что-бы можно было парламенту и народу показать справедливость России и неправоту короля и министерства. Нам надобно сблизиться с главами партии тори и через них препятствовать в парламенте проведению предложений от двора; побуждать английское купечество, заинтересованное в русской торговле, делать свои представления в форме писем от одного друга к другому, безыменно печатать в Англии для народного ведения о том, какие дальние виды имеет министерство к предосуждению английской свободы, какой вред произойдет для балтийской торговли и т. д.»

Петру I и его министры в роли защитников английской свободы! Но, рабски копируя приемы своих шведских учителей, азнаты превзошли их своей практичностью: 28 июня 1719 года Петр опубликовал одну декларацию, адресованную всем дворам, но предназначавшуюся, главным образом, для Англии и Голландии, в которой он гарантировал «свободу торговли», а другую—специально к английскому купечеству, торгующему в пределах Российского государства. Во второй декларации, между прочим, писалось:

«Того ради указал его царское величество аглицким купцам, пребывающим ныне в Российском государстве, всеилостиво объявить, что хотя его царскому величеству чувственно (хотя он огорчен) о вышеупомянутом короне швецкой против его царского величества споможении, однакож ту причину народу аглицкому его царское величество причитать не изводит, но токмо ганноверцам и их партии. Того ради всех купцов народу аглицкого, пребывающих в Российском государстве, изволяет попрежнему содержать в милостивом призрении и вольной коммерции, и чтобы оные помянутые аглицкого народа купцы за вышеупомянутые для ганноверского интереса интриги никакого себе в Российском государстве озлобления не опасались».

Несмотря на это, отношения между Россией и Англией с каждым днем обострялись. В 1719 году сторону Швеции принял не только Ганновер, но и Англия. Упорно отказываясь от посредничества между Россией и Швецией в первую половину северной войны, она теперь также упорно предлагала свое посредничество в пользу Швеции и подкрепляла свои предложения посылкой эскад-

ры под начальством Норриса. Так как Англия все-таки не объявила войны России, то присутствие этого «честного маклера» не принесло никакой пользы. Русские войска в виду английского флота высадились в Швеции и свирепствовали там не меньше, чем в Померании.

Надо помнить, что, хотя отношения между Англией и Россией дошли до того, что 23 ноября 1720 года русскому посланнику предложено было в 8 дней выехать из Лондона, войны все-таки не было объявлено. В открытой вражде с Петром находился не Георг великобританский, а Георг ганноверский. Несмотря на все внешнее сходство операций английского флота в Балтийском море с операциями того же флота во время крымской войны, эта война уже потому не могла быть только показной войной против России, что официально не было войны. С такой показной войной против России, причины которой лежали не в руссофильстве английских государственных людей, как думал Маркс, а в противоречивости торговых интересов Великобритании, вступавших ее временами в войну с Россией, но заставлявших ее падать своего главного поставщика сырья и охранять интересы балтийской торговли, мы впервые встречаемся только в эпоху семилетней войны.

Но Георг ганноверский, в качестве великобританского короля, и Георг великобританский, в качестве ганноверского курфюрста, вводил в обман не только Маркса, не только автора перепечатанного им третьего памфлета, пмеющего очевидное ганноверское происхождение: он до сих пор еще продолжает путать историков этого периода. Там, где Маркс видел руссофильство, антиганноверская оппозиция в Англии видела угодничество перед Ганновером. Современные историки употребляют огромные усилия, чтобы разъяснить всю эту путаницу: одни видят в ней подчинение интересам Ганновера, другие объясняют ее глубокими макиавеллистическими соображениями английских министров, стремившихся установить политическое равновесие на Севере, а третьи—в особенности английский историк Chance—стараятся доказать, что Англия была солидарна с Ганновером только тогда, когда этого требовали ее торговые интересы. Но все они с одинаковым трудом отделяют Англию от Ганновера и часто забывают, что Георг был поваром в Англии и кучером в Ганновере, что Англия в течение всей северной войны не воевала ни со Швецией, ни с Россией.

Но мы забыли, как и Маркс, еще одного персонажа, который

играл если не возвышенную роль, то очень выгодную во всей этой путанице. Это—немецкий Иван Калита, как его называет один русский историк, Фридрих-Вильгельм I. Высшие государственные соображения должны были, конечно, заставить его принять участие в разделе Швеции. «Королю было выгодно находиться в союзе с наиболее могущественным, умным и деятельным государем севером»¹⁾.

Гарантируя Петру его завоевания, он получил гарантию на Штеттин. Большой германский патриот, который клялся не успокоиться, пока останется хоть один швед на германской почве, он спокойно относился к хозяйничанью Петра в Мекленбурге. «Фридрих-Вильгельм,—говорит Ранке,—был в этом вопросе гораздо менее решителен, чем Дания и Ганновер».

Конкуренция последнего была ему более страшна, чем ревизии русских. Дружба Петра давала больше. Но он попал в трагическое положение, когда Георг поссорился с Петром. За Георгом ганноверским стоял Георг великобританский. Война между Россией и Англией казалась неизбежной: «Находясь под сильным принуждением как восточной, так и западной силы, с одной стороны, собираясь окончательно захватить большую территорию, а с другой, опасаясь отказаться от союза с Россией, Фридрих-Вильгельм пришел в такое возбуждение, что в результате всех этих колебаний, бросивших его из одной крайности в другую, слег в постель»²⁾.

Но страх перед союзом Георга I, короля великобританского, в качестве курфюрста ганноверского, со Швецией превозмог страх перед Петром. 17 августа 1719 года Фридрих-Вильгельм заключил союз с Ганновером и с Англией. На векселе, который он имел на Штеттин, теперь, кроме бляки Петра, стоял еще бляк Англии.

В 1720 году даже для Швеции стало ясно, что Георг может предоставить в ее распоряжение только свои ганноверские войска, т. е. нуль. Согласившись, по его предложению, удовлетворить Данию и Пруссию, чтобы изолировать Петра, удовлетворив самого Георга, Швеция, совершенно обессилевшая, осталась одна на один с Россией: потеряв всякую надежду на посредничество Англии, которая тогда поглощена была крахом Южно-Океанской компа-

¹⁾ *Ranke, L., Zwölf Bücher preussischer Geschichte.* Leipzig, 1874, p. 12.

²⁾ *Ibid.*, p. 27.

нии, она должна была заключить мир с Петром на более тяжелых условиях, чем она его заключила бы прежде.

С английскими государственно-политическими деятелями Петр рассорился настолько, что дипломатические сношения между Англией и Россией возобновились только долго спустя после его смерти. Та самая Англия, которая еще в грамоте Чесслера назвала первого русского царя «императором всея России», которая, устами Витворта, приветствовала его сейчас же после Полтавы «императором», признала за Россией императорский титул только в 1742 году.

Но, несмотря на все свое озлобление против английских государственных деятелей, Петр не трогал английской торговли. Это значило повредить экспорту, следовательно, фиску. Но он решился нанести удар британскому импорту, иными словами, сухопутной промышленности.

Вылечившись от своей лихорадки или избавившись от страха потерять Штеттин, Фридрих-Вильгельм опять помирился с Петром. «В 1724 году Пруссия получила право поставки сукна для всей русской армии. И Англия закрыла себе своим политическим соперничеством с царем русский рынок вплоть до 1730 года и тщетно пыталась затем отвоевать его назад».

Прусские дружбы с Россией пошла впрок. И в то время, как Дания, Россия, Швеция и Германия залечивали раны, нанесенные долгой войной, «Пруссия с каждым следующим годом лишь становилась сильнее и увереннее»¹⁾.

Но та же северная война оставила Германию в наследие шлезвиг-гольштейнский вопрос, который дал России повод впервые играть роль арбитра в Германии. Если верить Бунзену, прусскому посланнику в Лондоне, то «тяжелое иго, в котором Россия держала Австрию и Пруссию до 1848 года, началось в 1717 году».

Итак, «действительная история» показывает, что в возвышении России английские государственные люди так же мало «виноваты», как татарские ханы. Действительным виновником является

¹⁾ *Droysen, Geschichte der preussischen Politik, Band IV, Leipzig, 1869, p. 193.* Для немецкого историка прямо поразительно его умение прикляпывать через самые невозможные положения, в которые он попадает благодаря необходимости защищать весьма невозвышенную прусскую политику, и не менее поразительная непременная готовность находить во всех ее неожиданных колебаниях глубокий исторический смысл.

ся европейский капитализм, который сделал из Романовых своих конквистадоров так же, как оп Гогенцоллернов превратил в своих коммивояжеров.

8. АНГЛО-РУССКИЙ СОЮЗ В XVIII СТОЛЕТИИ

Поскольку работа Маркса была напечатана, она более или менее подробно анализирует отношения между Англией и Россией только время северной войны. Поскольку же речь идет о последних трех четвертях XVIII столетия, он в напечатанной части ограничивается только опубликованным писем трех английских посланников и выдержек из одного манускрипта. Но ему кажется, что эти документы вполне доказывают его главный тезис.

Мы уже видели, как, увлеченный своей основной идеей, Маркс запутался в лабиринте «тайн» и интриг международной дипломатии в начале XVIII века. Вместо анализа всего тогдашнего международного исторического положения, который ясно показывает, какое подчиненное значение имела северная война в сравнении с борьбой за господство на Атлантическом океане, он заставляет Англию действовать в начале XVIII века так, как будто она была в союзе с Россией. «Действительная история» показывает, что и в этом отношении Маркс ошибался, как он ошибается, сваливая всю вину за руссофильскую политику на вигов, ибо, если можно говорить об определенных русских симпатиях какой-нибудь английской партии в начале XVIII века, то этой партией, как мы уже видели, являлись тории.

Внешняя политика вигов продолжала определяться антагонизмом с Францией, с которой Англия сталкивается в Ливалге, в Америке и в Азии. Но справиться с Францией Англия могла только в том случае, если ей удавалось найти против нее каких-нибудь союзников на континенте. Тогда она могла, пользуясь своим преобладанием на море, наносить ей удары во всех частях света. В силу этого ее отношения к другим державам продолжали определяться, главным образом, отношениями Франции к этим державам. Если она временно, как это было после окончания войны за испанское наследство, когда Франция должна была откаться от всякой наступательной политики, находилась с ней в «дружественных» отношениях, то она тем самым попадала во вра-

ждебные или холодные отношения к постоянным антагонистам Франции. Таким была, главным образом, Австрия.

Когда Карл Форт в своих «Этюдах о современном положении Европы» утверждал, что «с Австрией Англия никогда не могла ужиться в согласии», то Маркс ему ответил:

«Действительно! Общая борьба Англии и Австрии против Людовика XIV продолжалась, с маленькими перерывами, от 1689 до 1713 года, следовательно, почти четверть века. В войне за австрийское наследство Англия около шести лет сражается вместе с Австрией против Пруссии и Франции. Только в эпоху семилетней войны Англия соединяется с Пруссией против Австрии и Франции, но уже в 1760 году лорд Бют бросает на произвол судьбы Фридриха Великого, чтобы делать попеременно то русскому министру Голицыну, то австрийскому министру Кауниццу предложения о «разделе Пруссии»... Протестантская Англия питает антипатию к католической Австрии, либеральная Англия—к консервативной Австрии, фритредерская Англия—к протекционистской Австрии, платежеспособная Англия—к обанкротившейся Австрии. Но патетический элемент всегда оставался чужд английской истории».

А те же самые материальные интересы, которые связывали Англию с Австрией, связывали ее с Россией. Правда, с существенной разницей, сохранявшей свое значение еще на протяжении XVIII столетия. Непосредственный антагонизм между Россией и Англией существовал только из-за Турции, и с конца XVIII столетия к нему прибавляется непосредственный антагонизм в Азии из-за Ост-Индии. Во всех же других областях Англия и Россия сталкивались лишь постольку, поскольку Россия была за Францию или против нее, за Австрию или против нее. В зависимости от этого продолжали сталкиваться или совпадать их интересы в Швеции, в Польше и даже в Турции, где непосредственный антагонизм с Россией до последней четверти XVIII столетия отступал на задний план перед таким же антагонизмом с Францией.

Мы видели также, что во внешнюю политику Англии начал с 1714 года вторгаться новый элемент,—ганноверская династия,—который вносит в нее путаницу, заставляя вигов на первых порах считаться с интересами Георгов ганноверских, не всегда совпадавшими с интересами Георгов великобританских. Этой ценой виги охраняли плоды «glorious revolution», освобождение

от гегемонии Франции. Вокруг ганноверской династии концентрировались защитники привилегий английского банка, государственные кредиторы, которые, при одном слове «Стюарт», хватались в страхе за свои карманы, влиятельные акционеры Ост-Индской компании и т. д., и т. д. И скрепя сердце они делали уступки ганноверцам, каждый раз навлекая на себя громы антиганноверской оппозиции, т. е. ториев, которые не уставали доказывать, что ганноверская политика вигов наносит ущерб торговле с Россией. Несмотря на все желания вигов поменьше вмешиваться в дела континента, им приходилось считаться в известной степени с интересами Ганновера.

Если главным поводом для разрыва между Петром и Георгом послужило занятие Мекленбурга, то гарантия, которую Дания получила от Англии на владение Шлезвиг-Гольштейном, должна была служить новым яблоком раздора, пока существовала опасность нападения России на Данию в интересах герцога гольштинского, мужа одной из дочерей Петра Великого¹⁾. С устранением его от наследования при Анне Иоанновне отпадает с 1731 года одна из причин вражды между Англией и Россией. В этом же году происходит примирение между Австрией и Англией: Австрия удовлетворяет Англию по вопросу о компании в Остенде, конкуренция которой раздражала одинаково и голландскую и английскую ост-индскую компании. Англия признает прагматическую санкцию. Таким образом, создается еще новый момент для сближения между Англией и Россией, связанной тогда тесным союзом с Австрией. И в 1731 году Англия делает первый шаг к возобновлению дипломатических сношений с Россией, назначая Рондо (Rondeau) своим резидентом. «Крюк» Русской компании был, наконец, услышан. Как пишет сам Рондо, его главной целью было «послужить орудием для оживления такой драгоценной для нас отрасли промышленности, как наши шерстяные мануфактуры, переживавшие уже несколько лет угнетенное состояние»²⁾. Через его посредство представлена была любопытная записка Русской компании о положении торговли с Россией (7 октября 1732 года).

¹⁾ Одновременно с поддержкой притязаний герцога гольштинского на Шлезвиг-Гольштейн Россия поддерживала его кандидатуру на шведский престол. Новая причина для конфликта в Швеции, где тогда русской партии противостояла англо-французская.

²⁾ «Сборник Русск. ист. общ.», том 66, стр. 176 — 7.

«Англичане вывозят две трети всей конопли, более половины всех кож, столько же льна, свыше трех четвертей всего полотна, столько же железа, весь поташ, большую часть ревеня, рыбьего клея, щетины, воска. Зато ввоз из Англии уменьшился в два раза. До 1724 года солдатское сукно покупалось у англичан, после 1724 года—в Пруссии. Если пруссаков удастся лишить их монополии, то это задержит рост прусской суконной промышленности и вывоз сукон из Пруссии прекратится»¹⁾.

Этот факт—продолжающийся рост вывоза из России в Англию и уменьшение ввоза Англии в Россию от 1716 года до 1730 года—известен Марксу. Для него он служит новым доказательством нелепости английских министров, променявших в угоду России более выгодную торговлю со Швецией на менее выгодную с Россией.

Но мы уже видели, что если ввоз имел особенное значение для английской суконной промышленности, то вывоз из России имел первостепенное значение для английского судостроения, т. е. для той промышленности, развитие которой для Англии являлось *conditio sine qua non* ее торговой супрематии.

Англия и Россия находились от 1719 до 1731 года в самых враждебных отношениях между собою, но так же мало, как Англия могла отказаться от вывоза из России, так последняя могла отказаться от ввоза в Англию. Для России это было не только экономической, но и финансовой невозможностью, так как это было бы равносильно отказу от таможенных доходов, составляющихся, главным образом, из вывозных пошлин²⁾. От разрыва страдала только английская мануфактурная промышленность и выигрывала русская. Если еще прибавить, что строго протекционный тариф, установленный Петром в 1724 году, был заменен в 1731 году либеральным тарифом, то мы поймем, какой гвалт должны были поднять в Англии противники ганноверской политики вигов. Это значило бы для них окончательно потерять русский рынок в пользу своих конкурентов.

В 1734 году между Россией и Англией был заключен торговый договор, который предоставил Англии права наиболее благоприят-

1) Сборник Русск. ист. общ., том 66, стр. 518.

2) Поэтому в 1736 году, когда Англия, для защиты Данцига, послала свой флот в Балтийское море, русское правительство опять опубликовало декларацию, упоминая английских купцов.

ствуемой державы, полученные Пруссией еще по договору 1726 года. И уже очень скоро Рондо мог с торжеством известить английских министров, что ему удалось склонить русское правительство заказать у английских купцов 40 000 ярдов солдатского сукна, «что очень огорчило пруссаков».

Но торговое сближение далеко еще не означало политическое. Повторилась старая история. Видя, как англичане настойчиво добиваются торгового трактата, русские дипломаты решили воспользоваться этим случаем, чтобы заключить с Англией союзный договор. Но, несмотря на всю их назойливость, сент-джемский кабинет упорно отказывался. Союз с Россией пока требовал бы только жертв, тогда как торговый договор приносил только выгоды.

В политическом отношении Россия все еще оставалась второстепенной державой, которая многого не могла дать. После смерти Петра она была целиком поглощена борьбой между сторонниками реформ Петра и их противниками и если играла какую-нибудь роль во внешней политике, то лишь как союзник Австрии.

Положение изменилось только после войны за испанское наследство и тесно связанной с ней новой войны с Турцией, пачавшейся в 1735 году. Неожиданные успехи русских войск под предводительством Миниха и Ласси производили тем более сильное впечатление, что рядом с ними австрийские войска терпели одно поражение за другим¹⁾. Хотя, в конце концов, когда Австрия, не предупредив свою союзницу, заключила с Турцией сепаратный мир, Россия должна была отказаться от большей части своих завоеваний, ее военный престиж все же поднялся в очень сильной степени.

С предложением посредничества Англия обратилась, когда начата, главным образом, по инициативе Остермана война обещала полное торжество над Турцией. И оно было тем более подозрительно, что исходило от английского посланника в Константинополе, Фаузенера. Наоборот, когда Турция оправилась после первых поражений, то Англия очень неохотно откликнулась на предложение России о посредничестве, и мир был заключен при посредничестве Франции.

Именно к этому времени, к началу сороковых годов, Россия

¹⁾ Именно к этому времени относится письмо Рондо, напечатанное Марксом. Теперь оно помещено в «Сборнике Русского истор. общ.», том 80, стр. 13 — 19.

впервые становится равноправным членом европейского концерта.

Началась война за австрийское наследство (1741). Австрия, которая вышла из последней войны с Турцией ослабевшей и униженной, имела теперь в самой Германии опасного соперника в лице Пруссии. Влияние Франции господствовало в Швеции, Польше, Турции и западной Германии. Союз с Россией приобретал при таких условиях большое значение. «И понятно, что теперь Петербург или Москва, смотря по тому, где находится императорский двор, становятся средоточием европейской дипломатической деятельности,—ареною, где министры различных европейских дворов борются друг с другом, кто осилит, кто склонит русское правительство помочь Марии-Терезии и тем поддержать европейское равновесие»¹⁾.

И в первый раз за два столетия с просьбой о союзе обращается не Россия к Англии, а, наоборот, Англия к России. Только тогда в инструкциях английским послам в Петербурге начинают все чаще слышаться речи о том, что Россия и Англия являются естественными союзниками. «Его величество король,—говорит Картерет русскому посланнику в Лондоне,—ничего так не желает, как дружбы с ее императорским величеством (Елизаветой), мы довольно знаем силу России в делах европейских. Многие ищут дружбы вашего двора, но никакой союз не будет так согласен с интересами России, как союз ее с морскими державами, который и Петр Великий старался содержать для сохранения европейского равновесия (что ему это не всегда удавалось, Картерет умалчивал). Надеюсь, что и ее величество не оставит этих великих правил. Ни из какого государства не приходит к вам столько пустых кораблей для загрузки вашими товарами, как из Англии; из других земель могут приходиться к вам корабли с вином и другими пустяками, но такая торговля столько чистых денег у вас не оставит, как наша».

В 1742 году заключен был первый оборонительный союз между Англией и Россией. Но если Англия в нем отказалась приять за *casus foederis* войну России с Турцией, то Россия признавала таким только войну в *пределах Европы*. Именно на этот пункт направлялись главные нападки оппозиции в Англии, доказывавшей, что он имеет значение только для Георга галловверского. В 1747

¹⁾ *Соловьев*. История России, т. XXI, стр. 201.

году между Англией и Россией была заключена еще конвенция, в силу которой Россия должна была отправить на Рейн корпус в 30 000 человек. Это были первые русские солдаты, появившиеся в сердце Германии.

Даже Семилетняя война не в состоянии была разорвать этот союз, несмотря на вестминстерский договор (16 января 1756 года) с Англией, которым последняя обязалась всякую вооруженную чужеземную силу, которая вступит на немецкую почву, изгнать вооруженной рукой. Англия ограничивалась только тем, что она платила Фридриху субсидию, и оставила его на произвол судьбы, как только убедилась в бессилии Франции. России она не трогала. Английский посол Кейт оставался все время в Петербурге и употреблял все усилия, чтобы рассорить Францию с Австрией и Россией. Русские войска беспощадно опустошали Восточную Пруссию, Померанию и Марку, а Англия палец о палец не ударяла, чтобы выполнить свои обязательства.

Но наш историк забыл, что без русского привоза Англия не могла бы вести своей морской войны, что, несмотря на все свои старания превратить Северную Америку, путем вывозных премий, и Ирландию, путем жестоких репрессий, в мастерские для производства необходимых ей кораблестроительных материалов, она не могла обойтись без этих русских материалов. И как хорошо понимал это Фридрих Великий, видно хотя бы из того, что когда Петр III хотел услужить своему идолу и удержать Англию от «измены» прусскому королю, он писал под диктовку графа Гольца русскому посланнику в Лондон:

«А особливо приметить им надлежит, что если Россия следующие товары отнимет у Англии, а именно: пеньку, мачтовые деревья, медь, железо и конопляное масло, без которых англичане не могут обойтись, то будут они приведены в окончательное разорение».

Через несколько дней после этой инструкции гр. Воронцову Петр III был свергнут, и угроза была приведена в исполнение.

И опять мы встречаемся с характерным явлением, с которым мы уже встречались, когда Англия вела такого же рода показную войну в союзе со Швецией против России. Вывоз из России в Англию не только не уменьшился, но, наоборот, увеличился, а ввоз из Англии в Россию в 1760 году был ниже даже, чем в 1730 году. Маркс делает из этих цифр все тот же вывод, что дружба с Рос-

сией приносила торговый ущерб интересам Англии, что вывоз из Англии в Россию постоянно падал до 1760 года, но это такая же ошибка, как и его прежний вывод. При всяком охлаждении между Россией и Англией вывоз последней немедленно уменьшался, вывоз первой продолжал неуклонно возрастать ¹⁾.

Конечно, наряду с этой главной причиной, играла роль и другая материальная причина, на которую указывает Меринг. «Ни один английский министр не смел затронуть балтийскую торговлю. Когда Питт получил власть в свои руки, он сейчас же заявил прусскому королю, что он не может рассчитывать на точное выполнение условий вестминстерского договора» ²⁾. Меринг забыл только, что, когда летом 1757 года дела Фридриха шли хорошо и Англия сделала попытку особой декларацией напомнить, что она не может допустить какой бы то ни было державе ввести свои войска в Германшию, то она получила тот же ответ, который дан был Петром I и Екатериной I, а именно, что Россия не отделяет английских интересов от русских, но что она перестанет это делать, как только Англия нападет на ее флот. Но Меринг прав, говоря, что ущерб, наносимый балтийской торговле, был губителен для престижа английского министерства. Поэтому Англия воспользовалась первой возможностью, чтобы предоставить Фридриха II его судьбе.

Только теперь мы дошли до момента, когда Россия начала играть ту роль в европейской политике, которая надолго сделала ее вершительницею судеб Европы. «Никогда не была мировая конъюнктура так благоприятна для завоевательных планов царизма, как в 1762 году, когда великая блудница Екатерина II вступила на престол после убийства своего супруга. Вся Европа была Семилетней войной разбита на два лагеря» ³⁾.

Сокрушив колониальное могущество Франции в Америке и Индии, Англия в самой Европе очутилась в «блестящем одиночестве». Поссорившись со своим «ancient ally» (старым союзником), поступив только что с Фридрихом как с выжатым лимоном, Англия нынула теперь к своему «natural ally», к России, по Ека-

¹⁾ 1730 год — 258 802 ф. ст., 1760 — 576 265 ф. ст. Я впрочем беру данные Маркса.

²⁾ *Mehring, F.*, *Lessing-Legende*, p. 169.

³⁾ *Engels, F.* *Die auswärtige Politik des russischen Zarentums*, «*Neue Zeit*», 1890, p. 150.

терина II тем холоднее относилась к этому ухаживанию, чем сильнее разгоралась борьба партий в самой Англии, чем более натянутыми становились отношения между Англией и ее американскими колониями. Именно это обстоятельство накладывает особый отпечаток на всю дипломатическую переписку английских посланников. Вынужденные делать уступки России, они стараются уменьшить их размеры при помощи самой низкой лестницы северной Семирапиде. И они делали это тем усерднее—обстоятельство, ускользнувшее от Маркса,—что прекрасно знали, что официальная переписка их вся перлюстрируется, что даже шифрованная очень часто попадала по своему назначению лишь после того, как копии с нее оставались в руках русского правительства. Чем затруднительнее становилось положение Англии, тем холоднее становилась Россия. Чем больше уступок делала Англия, тем сильнее становилась уверенность, что, прижав Англию, можно добиться от нее большего. Екатерина соглашается на оборонительный союз (*alliance défensive*)—об *alliance offensive* она не хочет и слышать, потому, мол, что *se terme d'offensive la répugnait* ¹⁾,—но только в том случае, если Англия согласится считать войну с Турцией *casus foederis*, если она даст деньги на поддержку русской политики в Швеции и Польше. Именно к этому времени относятся письма Макартнея и Гарриса: одно из них писано в начале этого периода, другое—к концу. Оба они принадлежали к числу способнейших и бессовестнейших английских дипломатов, оба они, подчиняясь настойчивым требованиям из Лондона, осыпали петербургский двор комплиментами, и оба же они в своих секретных посланиях не щадили красок для описания всех гнусностей и варварства, которыми была пропитана атмосфера петербургского двора. Они не только не были слепыми поклонниками Екатерины, но—в особенности Гаррис—оставили злое и яркое описание Петербурга того времени. Когда в Петербурге узнали, что Макартнея опять хотят назначить послом в Россию, там протестовали против этого назначения, а Гаррис, которому пришлось действовать при самых неблагоприятных условиях—когда Англия находилась в войне не только с американскими колониями, но и

¹⁾ «Diaries and correspondence of James Harris». Vol. I, p. 169.

с Францией и Голландией, — в конце концов, не выдержал и просил об отставке ¹⁾.

Несмотря на «крик» Турецкой компании или, что то же, английских посланников в Константинополе, несмотря на все сильное раздававшийся вопль «East India Company», Англия, не соглашаясь на такой *casus foederis*, как война с Турцией, не только пропустила без всякого протеста первую войну с Турцией, не только сквозь пальцы смотрела на то, что русский флот, отправленный в Средиземное море, фактически находился под руководством английских офицеров и пополнен был, при посредстве английского адмиралтейства, английскими матросами, не только оказывала ему помощь втечение всего пути, но и заявила свое решительное veto, когда узнала о желании Франции притти на помощь Турции и уничтожить флот. Когда в Петербург пришла весть о заключении Кучук-кайнарджийского мира, то Екатерина на придворном балу выразила желание видеть за своим картонным столом только веселые лица и пригласила вместе с датским послом *английского*.

В то время как Фридрих II, пылая «дружбой» к Екатерине и советуя ей успокоить Австрию за счет Польши, вместе с ней и Марией-Терезией, горько плакавшей при этом случае, совершал первый раздел Польши, Англия беспокоилась только о своих торговых привилегиях в Данциге, и, когда Фридрих II эдиктом 11 мая 1744 года гарантировал ей эти преимущества, она сказала «аминь» ²⁾.

Но ничто не помогало той камарилье, которая, с маленькими перерывами, поддерживала «личный режим» Георга III. Трудно

¹⁾ Письмо Маккартнея, напечатанное Марксом, не вошло в переписку его, опубликованную Русским историческим обществом, хотя в ней имеется его ссылка на это письмо. Несмотря на то, что письма для Р. И. О. были тщательно профильтрованы, в них встречается много ярых и метких характеристик. Что касается письма Гарриса, то мы уже заметили, что оно было напечатано еще в 1844 году. Маркс не заметил, что в этом письме Гаррис дает краткое резюме своей пятилетней деятельности при петербургском дворе, чтобы показать бесполезность своего дальнейшего пребывания. Характерно, что его переписка — в выдержках — могла появиться только в этом году. Для автора «*La cour de Russie il y a cent ans*» письма Гарриса служили главным источником для описания петербургского двора, — описания, которое безусловно нельзя назвать «русофильским».

²⁾ *Michael, W., Englands Stellung zur ersten Teilung Polens. Hamburg, 1890.*

себе представить, до чего доходили в то время английские министры в Лондоне в своем угодничестве перед Россией. Что может быть дичинее ответа русскому посланнику в Лондоне, что английское правительство не может послать денег в Швецию потому, что английскому посланнику (Goodrick) в Стокгольме можно доверить все, кроме денег? ¹⁾

От всей души желая англичанам новых затруднений, Екатерина принимала их уступки, как должное, и устраивала им в благодарность новые затруднения. Каждое новое поражение английского короля в его борьбе с восставшими подданными ее искренне радовало, и она ответила отказом на просьбу Георга послать вспомогательный корпус в 20 000 чел. в Америку, предлагая это делать германским князьям. В 1779 году она советует Симолину в Лондоне держаться «одних неопределенных генеральностей» и подготавливает «вооруженный нейтралитет» 1780 года, направленный исключительно против Англии, отделяясь от протестов Гарриса простодушным вопросом: чем может повредить Англии эта nullité armée (вооруженный нулитет)?

Георг III и его министры, которые не хотели допустить мысли о каком-либо посредничестве иностранной державы «между ними и своими подданными-бунтовщиками», предлагали Екатерине в 1781 году уступить ей Минорку, а когда министерство Норта сменилось министерством Фокса, то они, наконец, согласились включить даже Турцию в casus foederis, но Екатерина отказалась. Это было время, когда лучшие дипломаты ancien régime'a даже в Австрии, Франции, Пруссии были убеждены в неизбежном крушении английского могущества.

На упорный отказ Екатерины Англия ответила заключением союза с Пруссией в 1784 году. Это было формальное возмущение двух «рабов» против своего господина. Но первая же попытка Питта объявить войну России в 1791 году в защиту Турции показала, как сильны материальные интересы, связывающие Англию и Россию. Лидером противников войны с Россией явился Фокс, который произнес в палате общин сильную речь против Питта.

«Фокс говорил как ангел,—писал русский посол в Лондоне С. Р. Верещагов.—Он доказал, что проклятый вооруженный нейтралитет, из-за которого столько негодовали, держала не одна Рос-

¹⁾ Соловьев, История России, том XXVIII, стр. 199.

сия, что Швеция также приняла большое участие в его создании... Он показал, насколько справедлива была позиция, занятая в этой войне императрицей, он указал на значение тех связей, которые соединяют нашу страну с Англией, и убедил, наконец, и несколько друзей Питта, говоривших также в его духе».

В том же письме Воронцов прибавляет: «Через несколько дней Русская компания внесет в министерство меморандум об опасностях войны для торговли»¹⁾.

Итак, во главе компании в пользу России стояли выиг. И чей «крик» раздается вместе с соловьиными речами Фокса? Все той же «Русской компании»²⁾.

Но мы сделали бы такую же ошибку, как Маркс, если бы позабыли, какие могучие материальные интересы стояли за этими «прислужниками» России, чьими классовыми интересами определялась эта политика.

Дружба была все той же, но материальная основа ее изменилась не только в сравнении с XVI столетием или с началом XVIII столетия, но даже в сравнении с 1760 годом. Мы находимся в разгаре промышленной революции, и, кроме части лондонского Сити, кроме Норвича и Векфилда, во главе агитации стоят Лидс и Манчестер. Россия, которая до 1760 года как страна английского ввоза имела еще значение только для сухопутной промышленности, становится теперь местом сбыта хлопчатобумажной промышленности. Что же касается вывоза, она продолжает оставаться, главным образом, поставщиком кораблестроительных материалов, но, одновременно с этим, превращается в поставщицу сырья для английской крупной промышленности. И если еще в конце XVIII столетия Воронцов и другие ставлепники Екатерины были убеждены, что прекращение торговли между Россией и Англией больше отразится на последней, то континентальная система показала

¹⁾ «Архив князя Воронцова», т. IX, стр. 190. Екатерина поручила Воронцову купить для нее мраморный бюст «великого оратора» и поставила его в Царском Селе между бюстами Демосфена и Цицерона.

²⁾ Как мало известно истории этого общества, видно из того, что авторы специальной работы, посвященной торговым компаниям, Коустон и Квин (*Couston and Keane, The early chartered companies, London, 1896, p. 32 — 59*), убеждены, что Русская компания «умерла от истощения к концу XVIII столетия». Между тем Мак-Келлох говорит еще в 1852 г. об этой компании как существующей («*Dictionary of Commerce*»). Шюллер ее смешивает с Eastland Company.

ны, что это очень вредная для коммерческих интересов России иллюзия.

А начиная с 1815 года—года новых хлебных законов и присоединения главного поставщика хлеба на английский рынок—Варшавы—к России,—во фритредерской литературе на все лады прославляется союз с Россией, этой «старой» «естественной» союзницей Англии, которая никогда не оставит своего друга без хлеба.

Так менялась материальная основа дружбы между Россией и Англией. Милые бранились—только тешились. А Русская компания, давно потерявшая всякое значение, как «торговое сообщество», продолжала неукоснительно воспевать все выгоды союза с Россией. И, накануне отмены хлебных законов, которой с особенным нетерпением ждали в России, Роберт Пиль в блестящей речи на ежегодном обеде, даваемом Русской компанией, высказал желание, чтобы русский царь и европейский жандарм посетил Англию. Свою речь он окончил тостом «за вечную дружбу между Великобританией и Россией». И даже когда, наконец, против воли почти всех английских государственных людей, вспыхнула война, то она оказалась, да и не могла не оказаться, сначала только показной.

Даже тории, которые со времени Питта младшего взяли на себя специальную защиту интересов Турции против России, которые ревниво следили за успехами России в Средней Азии, должны были считаться с этим фактом. И «героическая» эпоха антиякобинской войны показывала им, что даже такой руссофоб, как Питт, не колебался вступить в союз с Россией, когда речь шла о защите «высших благ» капиталистического общества.

9. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И РЕВОЛЮЦИИ

Тот факт, что Маркс, еще в полемике против Фогта (1860 год), цитирует работу о дипломатических отношениях между Россией и Англией в XVIII столетии и приводит свой главный вывод, показывает, что он и в начале шестидесятых годов оставался при своем старом мнении. Внутреннее развитие России от Петра I до Александра II ускользнуло из поля его зрения. Он не замечал ни той эволюции, которую переживал в течение этого периода русский абсолютизм, ни экономического развития России и его тесной связи с экономическим развитием Англии. Он просмотрел тот

факт, что Россия была одной из главных колоний капиталистической Англии в XVI—XVIII веках, что в XVIII век на вывозе из России основывалось благосостояние кораблестроительной промышленности в Англии, а следовательно, и ее торговой гегемонии в течение всего мануфактурного периода, что в XIX веке, еще до шестидесятых годов, Россия была мастерской, поставлявшей сырье для крупной промышленности в Англии и хлеб для ее плотов. Одним словом, он просмотрел, что коммерческое подчинение и эксплуатация буржуазных классов различных европейских наций деспотом всемирного рынка—Англией—возможны были, между прочим, только при помощи политического деспота—России¹⁾.

Русский абсолютизм продолжал оставаться для него чем-то неизменным. И в том же «Herr Vogt» он еще пишет, что «освобождение крестьян преследует не что иное, как завершение самодержавия путем сношения всех преград, которые великий самодержец встречал до тех пор в лице оправившихся на крепостное право маленьких самодержцев из среды русского дворянства, а равно и тех преград, которые ставились самоуправляющимися крестьянскими общинами, материальная основа которых, общинное землевладение, должна быть уничтожена так называемой эммансипацией». Русский абсолютизм будет поэтому продолжать свою агрессивную политику. Мало того, «освобождение крепостных в смысле русского правительства, впрочем, увеличило бы агрессивную силу России в сотни раз».

Другого мнения был уже тогда Энгельс, и в словах Маркса я вижу скрытую полемику против него. Энгельс писал в своей брошюре «Савойя, Ницца и Рейн»:

«Том временем мы получили нового союзника в русских крепостных. Борьба, которая вспыхнула в России между господствующим и поработанным классами сельского населения, подкапывает всю систему русской внешней политики. Лишь постольку, поскольку в России отсутствовало внутреннее политическое развитие, которому правительство и дворянство препятствовали всякими средствами, крепостное угнетение достигло такой степени, которая несовместима больше с существующими социальными от-

¹⁾ А между тем, он еще в «Zur Kritik...» указал, что «русские давно уже продали, что деньги — товар, как это доказывает не только английский хлопковый ввоз в 1839—1842 годах, но и вся история русской торговли». А учителями рус. школ были англичане (*Mars, K., Zur Kritik der politischen Oekonomie, p. 198*)

ношениями. Уничтожение их стало, с одной стороны, необходимою, а с другой—невозможно без пасивистического изменения. А с Россией, которая существовала от Петра Великого до Николая, рушится также и внешняя политика России».

И Энгельс оказался прав. Он уже тогда совершенно верно указал главную причину европейского господства России в основной максиме всей внешней политики Екатерины II—в том, что Россия предоставляла в меру сил и возможности другим европейским державам терзать и ослаблять друг друга,—и он же верно указал на ту главную причину, которая должна подорвать источник этого могущества—неизменность и постоянство целей внешней политики России,—на внутреннее политическое развитие России.

Уже восстание декабристов служило зловещим предзнаменованием. А неуклонный рост революционного движения в России все больше и больше обнаруживал, что Россия потеряла свое главное преимущество, которое позволяло ей еще в 1848 году смотреть с суверенным презрением на всю Европу, на «глилой Запад».

Как прежде мне казались тяжки
Проступки девушки бедняжки!
Для прегрешения чужого,
Бывало, не находилъ слона.
Бывало, черно все червяшь, —
А надо больше — говоришь!
Гордилася я в собственных глазах!
А вот сама я во грехах!

(«Фауст». Пер. Фста.)

Именно это сознание—что Россия, «коль ест иль пьет, так этим двух питает», абсолютизм и революцию—отравляло в течение всего его царствования жизнь Николая I, именно оно заставляло его быть палачом у себя дома и жандармом для всей Европы, именно оно сдерживало размах его внешней политики.

В шестидесятых годах XIX столетия, как раз тогда, когда, при помощи Германии и Англии и полустыительстве Франции и Австрии, была окончательно раздавлена мятежная Польша, которая в 1795—1796 годах и в 1831, и в 1859 годах являлась тяжелым ядром на ногах русского колосса, мешавшим его свободным движениям, началось в России революционное движение, родился этот «позаконный сын» азиатской России и европейского капитализма. С тех

пор внешняя политика русского абсолютизма окончательно утратила свое фатальное постоянство. Если даже новые расколы и раздоры в Западной Европе—и в особенности раскол после франко-прусской войны, которая внесла еще большее взаимное отчуждение в среду западно-европейских народов, чем раскол после семилетней войны—вливали новую силу в русский абсолютизм, то необходимость постоянно считаться с революционным движением внутри страны каждый раз останавливала его на полпути. Мало того. То, что прежде было главной целью, теперь само превратилось в средство. Продолжение традиционной агрессивной внешней политики превратилось в единственное средство задержать взрыв революции внутри страны.

Завоевательные войны предпринимались теперь не в то время, когда Западная Европа была ослаблена революцией или войной, а когда того требовало «внутреннее политическое развитие». Между тем, удовлетворение минимальной программы той самой революции, которой хотели таким путем избежать, было необходимым условием успешности завоевательной политики. Войны еще более обнаруживали всю несостоятельность русского «порядка».

Вот почему внешняя политика русского царизма, потерявшая вместе со своей неизменностью одно из своих главных преимуществ, теперь, в силу этого *внутреннего противоречия*, терпела на каждом шагу банкротство.

Первым, не только в европейской литературе, но и в русской, вскрыл все эти противоречия Энгельс. Он уже в своей блестящей критике народнических предрассудков—в ответе Ткачеву ¹⁾—указал на классовую сущность русского абсолютизма, на его зависимость от определенных социально-экономических отношений. И когда это внутреннее экономическое развитие выдвинуло на сцену городской пролетариат, когда зародилась русская социал-демократия, Энгельс в статье, написанной специально для первого социал-демократического журнала на русском языке, дал свой блестящий очерк «Внешней политики русского царизма».

Он показал, что, несмотря на быстрое развитие России со времени Петра Великого, несмотря на рост ее влияния в Европе, она только при Екатерине II начала играть роль вершительницы

¹⁾ «Sozialen aus Russland», 1875. Перепечатано в сборнике «Internationale aus dem Volksstaat», 1894. Русский перевод В. Засулич: «Фр. Энгельс о России», Женева, 1894.

судеб Европы. Он показал также, что беспорные успехи внешней политики русского царизма основывались не столько на выдающихся способностях русских дипломатов, сколько на благоприятных для нее общих условиях европейского политического положения, которые она умела использовать и использовала бы еще лучше, если бы не Польша, эта «заноза в теле России». И, развивая мысль, высказанную им еще в 1859 году, он показал далее, что внутреннее политическое развитие России все больше приближает день, когда русский народ примет участие в определении внешней политики России, и забота о собственных делах отнимет у русского царизма всякую охоту заниматься такими делами, как завоевание Константинополя, Индии и мирового господства.

Энгельс оказался хорошим пророком. Он верно определил сущность вопроса. Но, вместе с этим, старая схема внешней политики европейской демократии, которую в главных чертах усвоили себе Маркс и Энгельс,—здесь Западная Европа, там Азиатская Россия, здесь—революция, там—очаг европейской реакции, абсолютизм,—все больше теряла свой смысл. Традиционные представления были сильны, и только с трудом изменяла международная социал-демократия свои взгляды на целый ряд «вопросов», поставленных буржуазным обществом. Точно так же, как демократия, она оперировала, в области внешней политики, с окаменевшими понятиями революционных и реакционных рас и государств, не замечала исторического процесса, который менял социальный характер данного правительства и классовый состав того народа, который «заслужил» это правительство.

Как ни странно звучат для нас диатрибы Маркса против англо-русского рабства, в которое Европа опять впала после 1848 г., в них заключалось уже признание, что в Европе имеется еще другой очаг реакции, кроме русского абсолютизма: это—буржуазия, отрекшаяся от своей исторической миссии, это—европейский капитализм, который своими капиталами поддерживает русский абсолютизм.

Никогда еще этот факт не получал такого яркого выражения, как именно в 1905 году. История 1848 года была поставлена на голову. Революция, начатая в 1848 году, надвигалась с запада на восток и остановилась у польской границы; теперь стучалась она в дверь Западной Европы. Царь, который в 1848 году явился

угрозой для демократии Запада, теперь сам был пленником русского пролетариата.

Энгельс опять оказался хорошим пророком.

«И в тот день, когда главная крепость абсолютизма сама перейдет в руки революции, исчезнет без следа самоуверенность и спокойствие реакционных правительств Европы. Все они тогда должны будут рассчитывать только на себя и скоро узнают, какую огромную разницу это представляет. И вполне возможно, что они еще были бы в состоянии вести свои армии в Россию, чтобы восстановить власть царя—какая пророчья всемирной истории!»

Эта пророчья воплотилась в действительность. В Петербурге в это время ходили упорные слухи—и реакционная печать не только не отрицала, но с торжеством их повторяла,—что немецкий император концентрирует свои войска у польской границы.

Точно так же, как Маркс и Энгельс, как немецкий пролетариат со страстной тоской обращал свои взоры на запад и ждал взрыва социальной революции в Англии, так и русские революционеры, так и русский пролетариат в своей геройской борьбе с абсолютизмом возлагали свои надежды на специальную революцию на западе. Но помощи не являлось, и пролетариат изнемог в борьбе с абсолютизмом: истратив всю свою революционную энергию, накопленную многими годами, русский пролетариат был побежден.

Горе побежденным! Но, когда над свежими трупами борцов, под стук новых виселиц, воздвигаемых каждый день, дряблые флистеры и трезвенные полгубканы с холодным бесстрашием студня высчитывают пролетариату его ошибки и как ворона причитают: «революция умерла», то приходится сказать: пусть русский пролетариат согрешил, пусть он «делал ошибку за ошибкой», но его самой крупной ошибкой было то, что его революция была *национальной*, в то время как за абсолютизмом стоял *интернациональный* капитал.

Если революция 1848 года потерпела поражение потому, что она разбилась о русский абсолютизм, потому, что за ней не последовало революции в Англии, то русская революция обречена была еще в большей степени на поражение, поскольку она оставалась национальной, поскольку в остальной Европе революция не двигалась с места. Если она не превращается в международную, то она «есть и, поскольку она хочет быть окончательной, остается благом пожеланием».

Точно так же, как в 1848 году, пролетариат самого прогрессивного буржуазного государства Европы и теперь еще слишком слаб, чтобы помешать своей буржуазии в ее реакционной внешней политике. Как и тогда, русский царь афиширует свою «тектоническую» дружбу с Англией. И если тогда английская буржуазия не мешала русскому царю свирепствовать в *Венгрии* во-всю, то она теперь, рука об руку с Ляховым, в интересах русского абсолютизма в России и английского абсолютизма в Индии, убивает свободу. *Персии*.

Ноябрь 1908 года.

К. МАРКС И Ф. ЭНГЕЛЬС О ВОСТОЧНОМ ВОПРОСЕ

1. МАРКС И ЭНГЕЛЬС КАК ТУРКОФИЛЫ

I

Взгляды Маркса на восточный вопрос обыкновенно отождествляются с теми взглядами, которые были высказаны Либкнехтом в его известной брошюре «К восточному вопросу, или должна ли Европа стать казацкой?». Как немецкие, так и русские и южнославянские марксисты всегда думали, что Маркс был таким же туркофилом, как и пресловутый Давид Уркарт, что, вместе с последним и Либкнехтом, он был всегда приверженец *status quo* на Балканском полуострове, что славянским народам, стоявшим под турецким игом, он отказывал в каком бы то ни было «праве на самоопределение» и смеялся над той «глупой сентиментальностью», которая видит «во всяком разбойнике, вступающем в конфликт с Турцией, представителя угнетенной национальности». Балканская политика Маркса, таким образом, отождествлялась с балканской политикой вульгарной демократии. Точно так же, как и последняя, она определялась только безграничной ненавистью к русской гегемонии на Балканском полуострове.

«За стремлениями к независимости балканских народов скрывается опасность русской гегемонии, и именно поэтому нужно бороться против национального движения в балканских государствах, пока не настанет время, когда на Босфоре водрузит свое знамя революционная европейская свобода, все равно—в каком национальном одеянии».

Так формулирует взгляды Маркса на восточный вопрос Макс Шиппель.

Бывший архирадикал, теперь почти окончательно ликвидировавший свою связь с марксизмом, убежден, что все свои доказательства Маркс «черпал из одного источника, из разоблачений

Уркарта, теперь производящих впечатление болезненных, патологических фантазий». Маркс превращается в попугала, повторяющего без всякой критики все откровения Уркарта, и в этом отношении ничем не отличается от Лотара Бухера, который в пятидесятых годах с одинаковым пылом обличал английский парламентаризм и Пальмерстона и действительно все свои аргументы заимствовал у эксцентричного английского публициста.

А, между тем, достаточно перелистать чартистские журналы пятидесятых годов, чтобы увидеть, что Марксу, даже в том случае, если бы он поставлен был в необходимость искать где-нибудь аргументов против внешней и внутренней политики Пальмерстона, во всяком случае, нечего было обращаться к сочинениям этого «реакционного утописта», как он сам называет Уркарта, для которого даже чартистское движение было делом тех же русских интриг, а лидеры чартистов—игрушками в руках русских агентов. В блестящих статьях и речах Гарни и Джонса, этих «враждующих братьев» чартизма, он мог найти и беспощадную критику дешевого «либерализма» Пальмерстона, и попытки самостоятельно наметить основы балканской политики с точки зрения интересов пролетариата. Так, Эрнест Джонс самым резким образом критиковал теорносохранения *status quo* на Балканском полуострове и важнейший фактор в деле политического возрождения угнетенных балканских национальностей видел в молодой Греции. И если Маркс был не вполне согласен с ним, то разногласие это относилось не к вопросу о сохранении *status quo*, которое для Уркарта составляло краеугольный камень всей его балканской политики. Ненависть к русскому деспотизму делала Маркса так же мало, как и Джонса, защитником турецкой «цивилизации», и он прекрасно понимал, что именно сохранение *status quo* на Балканском полуострове является главным препятствием для развития балканских народов, источником растущего влияния России, а вследствие этого и причиной усиления этого главного врага европейской революции.

Более внимательное изучение статей Маркса о восточном вопросе, писанных им в эпоху крымской войны, лучше всего показывает, как основательно такое отождествление его взглядов со взглядами Уркарта. Статьи эти были собраны покойной Элеонорой Маркс еще в 1897 году, когда армянская резня в Константинополе, волнения на Крите и греко-турецкая война вновь поставили на очередь дня восточный вопрос. К сожалению, в это издание вкра-

лось еще больше неточностей, чем в ее же издание статей Маркса по истории дипломатических сношений между Россией и Англией в XVIII столетии.

Подготавливая немецкое издание статей Маркса, собранных Элеонорой Маркс, я пришел к заключению, что некоторые из них не могли быть написаны ни им, ни Энгельсом, и что, с другой стороны, в этом сборнике имеются пробелы. Я считал, поэтому, необходимым сравнить указанные статьи с оригиналом в «New-York Tribune». Мои предположения вполне оправдались.

Как известно, Маркс начал свое сотрудничество в «New-York Tribune» в 1851 году статьями о «Революции и контр-революции в Германии». В 1852 году, он стал постоянным, хотя и не единственным, корреспондентом этой газеты из Лондона. Первая из этих корреспонденций напечатана была 21 августа 1852 года, а за ней последовал ряд других, в которых Маркс раз, а то и два в неделю давал обзор текущих событий не только в Англии, но и на всем континенте. Но хотя восточный вопрос уже в конце 1852 года вступил в общую фазу, Маркс впервые упоминает о нем только в марте 1853 года, когда, вследствие экстраординарной миссии Меншикова, события на Балканском полуострове приняли угрожающий характер. Именно в этой корреспонденции он дает обещание подробно рассмотреть восточный вопрос, этот «rons asinorum» европейской дипломатии.

Свое обещание Маркс выполнил в четырех статьях, которые были напечатаны в «New-York Tribune» в апреле 1853 года (7, 12, 19 и 21). Из них только три напечатаны в сборнике, изданном Элеонорой Маркс, а четвертая, составляющая необходимое дополнение и заключение первых трех, по какой-то оплошности опущена. А, между тем, именно она в корне разрушает старую легенду о «туркофильстве» Маркса. Правда, она еще больше подчеркивает неважность к непрошеным «цивилизаторам» в лице всяких «ташкентцев», но в этом отношении с Марксом были согласны все, кто еще в семидесятых годах разоблачал действительную подоплеку с такой помпой предпринятого похода «турок внутренних» против «турок внешних».

Прежде чем мы дадим перевод затерявшейся на столбцах «New-York Tribune» статьи Маркса, мы считаем необходимым вкратце изложить содержание трех предыдущих статей, являющихся коллективной работой его и Энгельса.

II

Как только ураган революции на время утихает, можно с уверенностью сказать, что снова всплывает на поверхность все тот же упорно возвращающийся вопрос: вечный восточный вопрос. Так, когда пронеслась буря Великой французской революции, и Наполеон, и Александр, после Тильзитского мира, разделили между собою господство над всей континентальной Европой, Александр воспользовался временным миром, чтобы двинуть в Турцию армию и «дать выход» силам, которые изнутри разрывали уже на части это падающее государство. И опять, едва только революционное движение в Западной Европе было остановлено, на конгрессах в Лайбахе и Вероне, преемник Александра, Николай, совершил новое нападение на Турцию. Когда, несколько лет спустя, июльская революция и последовавшие за ней восстания в Польше, Италии, Бельгии завершили свой цикл, и Европа, вновь перестроенная в 1831 г., казалось, освободилась от всяких внутренних тревог, восточный вопрос в 1840 году чуть не вызвал европейской войны. Так и теперь, когда близорукие пигмеи, стоящие у власти, гордятся тем, что счастливо избавили Европу от опасностей революции и анархии, он возникает опять,—этот неразрешимый вопрос, никогда не иссякающий источник затруднений: что нам делать с Турцией?

Турция—это больной пункт легитимистской Европы. Все бессилье легитимистских, монархических правительств со времени Великой французской революции резюмируется в одном положении: охранение status quo. В этом всеобщем соглашении сохранить все так, как оно сложилось случайно или с грехом пополам скроено, заключается признание своей неспособности содействовать развитию цивилизации или прогрессу; в нем господствующие силы выдают сами себе свидетельство о бедности. Герои посредственности, как их называет Беранже, без исторических знаний, без способности понять совершающиеся вокруг них конфликты, без идей, без инициативы, они возводят в степень божества status quo, которое они сами кое-как смастерили, с полным сознанием полной негодности этого дела рук своих.

Но Турция остается так же мало неизменной, как весь остальной мир; именно тогда, когда реакционерам удастся восстановить в цивилизованных странах то, что они называют status quo, они,

к своему удивлению, открывают, что тем временем *status quo* в Турции сильно изменился, что там возникли новые вопросы, новые отношения, новые интересы.

Сохранить *status quo* в Турции! С таким же успехом можно было бы попытаться сохранить труп околелшей лошади в том фазисе гниения, в котором он находится, прежде чем окончательно подвергнется разложению. Турция гниет и будет все больше гнить, пока будет сохраняться существующая система «европейского равновесия» и политика охранения *status quo*.

Дальше Маркс характеризует положение Турции и различных национальностей на Балканском полуострове накануне крымской войны. Он приходит к результатам, что турки в Европе образуют серьезное препятствие для развития фракийско-иллирийского полуострова. Как мало видел он в борьбе за независимость балканских народов опасность укрепления русской гегемонии, показывают следующие слова, верность которых подтвердила вся дальнейшая история:

«Если греко-славянское население когда-либо сделается самостоятельным в стране, где оно составляет три четверти всего населения, то несомненно, что в их среде разовьется антирусская прогрессивная партия—и в силу тех же условий, которые до сих пор неизбежно вызывали к жизни такую партию в каждой части Турции, достигшей хотя бы частичной независимости».

В следующей статье Маркс излагает причины, в силу которых Англия должна быть наиболее серьезным и неуступчивым противником всех попыток России аннектировать новые земли на Балканском полуострове. Англия не может допустить, чтобы Россия овладела Босфором и Константинополем. Такое событие принесло бы Англии колоссальный торговый и политический ущерб и, быть может, нанесло бы смертельный удар ее торговому и политическому могуществу. Чтобы убедиться в этом, достаточно бросить взгляд на торговые сношения Англии с Турцией.

«Арена, на которой разыгрывается торговая конкуренция между Россией и Англией, перенесена с Инда в Малую Азию, и русская торговля, которая и тогда осмеливалась проникать до пределов английской империи на Дальнем Востоке, теперь отгеспена до своей таможенной границы. Факт этот будет иметь очень большое значение при будущем решении восточного вопроса, и в связи с ним определится роль, которую сыграют Англия и Россия. Как и

теперь, так и в будущем они на Востоке всегда останутся врагами».

Вся быстро развивающаяся торговля на Черном море, по словам Маркса, находится в зависимости от доверия, которое оказывается стране, владеющей Дарданеллами и Босфором, этим ключом к Черному морю. И кто может ожидать, что Россия, раз овладев Константинополем, будет держать открытой ту дверь, через которую Англия проникла на ее торговую территорию?

Это коммерческое значение Дарданелл и Босфора превращает их также в военные позиции, имеющие первоклассное значение, еще более важное, чем Гибралтар и Гельсингэр в Зунде. Несколько искусно сделанных и хорошо вооруженных укреплений, которые Россия, несомненно, воздвигла бы сейчас же после взятия Константинополя, могли бы оказать сопротивление соединенному флоту всего мира. Но если бы Россия овладела Турцией, то могущество ее возросло бы в колоссальных размерах, и она бы приобрела перевес над всей остальной Европой. Такое событие принесло бы делу европейской революции непоправимый вред. Поддерживать турецкую независимость или помешать русским планам в том случае, если Османская империя рухнет—вот важнейшая задача. Именно постольку интересы революционной демократии и Англии солидарны.

В третьей статье Маркс опять возвращается к теории status quo. К чему привело на практике приложение этой теории?

Да просто к тому, что, благодаря невежеству, инертности и трусости западно-европейских правительств, Россия в существенных пунктах проводила медленно и упорно свою политику. И когда это постоянное и успешное наступление России вызывало, наконец, в кабинетах западно-европейских держав неопределенное предчувствие надвигающейся опасности, то дипломатия открыла новую панацею: сохранение status quo в Турции составляет необходимое условие сохранения европейского мира. Либо русские вступают в Константинополь, либо нужно поддержать status quo—никого выхода для европейской дипломатии и даже для европейской прессы не существует!

В виде иллюстрации Маркс приводит консервативную газету «Times» и либеральную «Daily News». Первая из них в то время держала еще сторону России и старалась доказать, что крушение Османской империи далеко не будет иметь тех страшных послед-

ствий, которых опасались противники русской балканской политики. Наоборот, либеральная «Daily News» употребляла все усилия, чтобы доказать, какая опасность грозит со стороны России и как необходимо охранять независимость и целостность Турции. И Маркс дальше, самым ядовитым образом, осмеивает туркофильство «Daily News» и ее главного вдохновителя Давида Уркорта.

«Разве раздел Турции не является таким же преступлением, как и раздел Польши? Разве христиане не пользуются в Турции большей религиозной свободой, чем в Австрии и России? Разве Турция не является раем в сравнении с Россией и Австрией? Разве жизнь и собственность не находятся там в полной безопасности? И разве торговля Англии с Турцией не больше торговли с Австрией и Россией, взятыми вместе, да к тому же еще с каждым годом растет?»

Все эти дифирамбы переходят на страницах «Daily News» в прямой апофеоз, который для обыкновенного читателя представляется совершенно непонятным.

«Но ключ к этому странному энтузиазму можно найти в сочинениях Давида Уркорта. Этот джентльмен, шотландец по происхождению, со средневековыми и патриархальными предрассудками, которые он впитал в себя с детства, и в то же время прошедший всю современную школу британской цивилизации, попал в Турцию после того, как три года сражался против нее в рядах восставших греков, и влюбился в турок. Романтически настроенный горец почувствовал себя, точно у себя дома, в скалистых горах Пинда и Балкан. Все его сочинения о Турции, хотя они изобилуют ценными данными, резюмируются в следующих трех парадоксах, которые могут быть сформулированы таким образом. Если бы Уркорт не был британским подданным, он предпочел бы быть турком; если бы он не был пресвитерианином, он выбрал бы только ислам; и, в третьих, Британия и Турция— вот те две страны во всем мире, где можно найти самоуправление и полную гражданскую и религиозную свободу».

Даже такой аргумент туркофилов, как развитие торговли при господстве турок, по мнению Маркса, не выдерживает критики. «Если бы завтра все турки были выгнаны из Европы, то торговля бы от этого ничуть не пострадала. Кому обязана цивилизация своими успехами во всех частях Европейской Турции? Не туркам, а греческим и славянским средним классам городов и торговых

портов. Если бы турки не имели в своих руках монополию власти и войск, они скоро исчезли бы... Так или иначе, от них пужно избавиться. Но если думают, что это возможно только в том случае, если на их место посадить австрийцев или русских, это тоже самое, что утверждать, будто современное политическое положение Европы навсегда останется неизменным. А кто осмелится это утверждать?

Именно в следующей четвертой статье, оставшейся до сих пор совершенно неизвестной, Маркс и дает свой ответ на вопрос, как устранить те препятствия, которые мешают развитию народов, населяющих Балканский полуостров.

Было бы странно, после всего вышеизложенного, утверждать, как это делают и некоторые русские биографы Маркса, что в своих взглядах на восточный вопрос он был верным «учеником» Уркарта. Следующая статья его, которую мы даем в полном переводе, покажет, какую роль отводил он южным славянам в борьбе с гегемонией России на Балканском полуострове.

III

«Мы видели уже, как закоренелое невежество, старая рутинная и традиционная неподвижность мысли отпугивают европейских «государственных мужей» от всякой попытки дать какой-нибудь определенный ответ на вопрос, что должна сделать с Турцией Европа. Эбердин и Пальмерстон, Меттерних и Гизо, не говоря уже о их республиканских и конституционных заместителях в 1848—1852 годах, давно уже потеряли надежду на решение этого вопроса.

«А в это время Россия, не обращая никакого внимания на дипломатические ноты, на планы и интриги Франции и Англии, шаг за шагом, медленно, но неуклонно, подвигается вперед.

«И, хотя все партии, во всех европейских странах, прекрасно видят это непрерывное поступательное движение России, все же до сих пор ни один «государственный муж» не мог объяснить это явление. Они видят результат, они видят его дальнейшие последствия, но они не замечают главной причины, хотя она очень проста.

«Как раз то самое средство, которое должно помешать успехам России на Балканском полуострове, и является главной движущей

щей силой, которая толкает ее по направлению к Ковстантинополю. Это—лишенная всякого смысла, никогда еще на практике не осуществленная, теория сохранения status quo.

«В чем состоит это status quo? Для христианских подданных оно означает увековечение турецкого гнета. Пока они находятся под турецким игом, они видят в главе греческой церкви, в повелителе шестидесяти миллионов православных своего естественного покровителя и освободителя. Та самая дипломатическая система, которая была создана с целью задержать поступательное движение России, заставляет, наоборот, десять миллионов христиан в Европейской Турции обращаться за помощью к России.

«Что говорят нам исторические факты? Еще до Екатерины II Россия пользовалась всяким случаем, чтобы создать для себя выгодные условия в Молдавии и Валахии. Это удалось ей в такой степени, что в силу адрианопольского договора 1829 года она в придунайских княжествах получила больше прав, чем там имела сама Турция. Когда в 1804 году вспыхнула сербская революция, Россия сейчас же приняла восставших под свое покровительство, и, оказав им поддержку в двух войнах, она обеспечила внутреннюю независимость Сербии. Кто решил исход борьбы во время греческого восстания? Не заговоры и бунты являнского паши, не сражение при Наварине, не французская армия в Морее, не лондонские конференции и протоколы, а Дибич, вступивший с русской армией в долину Марпцы. И в то время как Россия без всяких стеснений занималась расчленением Турции, западно-европейские дипломаты не уставали читать проповеди на тему о сохранении status quo и о неприкосновенности Турции. Пока эта традиция останется лейтмотивом дипломатии западно-европейских держав, девять десятков всего населения Европейской Турции будут искать в России свою опору, своего освободителя, своего мессию.

«Предположим на время, что греко-славянский полуостров освободился от турецкого ига, что там существует правительство, лучше приспособленное к потребностям населения. Как сложилось бы в этом случае положение России?

«Известно, что в каждом государстве на Балканском полуострове, которое сумело вполне или отчасти сделаться независимым, сейчас же развивалась сильная антирусская партия. Если это было общим явлением еще в то время, когда вассальные государства считали Россию единственной защитницей против турец-

кого гнета, то с еще большей вероятностью можем мы ожидать этого, когда окончательно исчезнет страх перед турками.

«Не вспыхнет ли всеобщая война, когда исчезнет турецкое владычество на Босфоре, когда различные национальности и религии на Балканском полуострове почувствуют себя свободными, когда настежь раскрыты будут двери махинациям и интригам, противоречивым вожделениям и интересам всех европейских великих держав? Такой вопрос задает себе трусливая рутинная дипломатия.

«Конечно, нечего ожидать, что Пальмерстоны, Эбердины, Кларендоны и другие министры иностранных дел в состоянии сделать это. Одна мысль о чем-либо подобном повергает их в ужас. Но кто при изучении истории научился наблюдать вечную смену человеческих судеб, в которой остается постоянным только непостоянство, неизменным только изменение; кто следил за железным ходом истории, колеса которой безжалостно катят через обломки великих государств и без всякого сострадания раздавливают целые поколения; кто знает, что никакое демагогическое воззвание, никакая возмутительная прокламация не оказывают такого огромного революционного воздействия, как простые голые факты человеческой истории; кто в состоянии схватить революционный характер современной эпохи, когда пар и ветер, электричество и печатный станок, артиллерия и золотые россыпи, соединившись вместе, в течение одного года производят больше изменений и революций, чем прежде производило целое столетие,—кто видит и понимает все это, тот не убоится поставить этот исторический вопрос только потому, что единственное верное решение его может повлечь за собой европейскую войну.

«Но правительства с их старомодной дипломатией никогда не сумеют справиться с этим затруднением. Как решение многих других вопросов, так и решение восточного остается на долю европейской революции. В этом утверждении нет ничего невероятного. Со времени 1789 года революция охватывает все более обширные области, границы ее становятся все шире и шире. Ее последними пограничными пунктами были Варшава, Дебречин, Бухарест, крайними пунктами ближайшей революции будут Петербург и Константинополь. Это—два наиболее уязвимых места, где можно нанести удар русскому антиреволюционному классу.

«Составлять теперь точный план раздела Европейской Турции было бы только праздною фантазией. Можно было бы придумать чуть ли не двадцать таких схем, из которых каждая была бы так же осуществима, как и другая. Но мы не имеем никакой охоты заниматься праздыми фантастическими проектами и предпочитаем сделать несколько общих выводов из вполне достоверных фактов. А с этой точки зрения интересующий нас вопрос представляет две стороны.

«Во-первых, не подлежит никакому сомнению, что полуостров, называемый Европейской Турцией, представляет естественную наследственную область южно-славянской расы. Из двенадцати миллионов населения к ней принадлежит семь. Она владеет этой областью уже 1200 лет. Если не считать немногочисленной группы, которая, несмотря на славянское происхождение, усвоила греческий язык, ее главными конкурентами являются турецкие или арнаутские варвары, которые давно уже показали себя закоренелыми врагами всякого прогресса. Наоборот, южные славяне внутри страны являются исключительными носителями цивилизации. Они еще не образовали нации, но в Сербии они составляют здоровое и относительно цивилизованное ядро нации. Сербия имеет уже свою историю, свою литературу. Своею независимостью они обязаны одиннадцатилетней мужественной борьбе против значительно превосходившего их численностью врага. В последние двадцать лет они сделали большие культурные успехи, и христиане во Фракии, Болгарии, Македонии и Боснии смотрят на них как на средоточие, вокруг которого все они соберутся во время предстоящей борьбы за независимость. Можно с уверенностью сказать, что чем больше окрепнет Сербия и сербская национальность, тем дальше будет отеснено на задний план прямое русское влияние на турецких славян. Ибо Сербия, чтобы сохранить свое положение независимого государства, должна была заимствовать у Западной Европы политические учреждения, школы, научные познания, промышленную технику. Именно этим объясняется и та аномалия, что, несмотря на покровительство России, Сербия со времени своего освобождения является конституционной монархией.

«Пусть кровное родство и общая религия создают общие связи между русскими и южными славянами,—все же интересы их разойдутся с того дня, когда последние освободятся от турецкого

ига. Потребности торговли, возникающие из географического положения обеих стран, легко объясняют это явление. Россия, представляющая сплошную континентальную массу, производит непосредственным образом сельскохозяйственные продукты, но в будущем она будет производить и продукты промышленности. Греческо-славянский полуостров имеет, правда, относительно небольшие размеры, но его растянутые берега омываются тремя морями, из которых одно принадлежит ему целиком; он представляет, главным образом, торговую страну с преобладанием транзитной торговли, хотя имеет в своем распоряжении все средства для самостоятельного производства. Хозяйство России стремится к монополии, хозяйство южных славян — к расширению. Кроме того, они являются конкурентами в Средней Азии; в то время как Россия живейшим образом заинтересована в том, чтобы там сбывались только ее собственные продукты, южные славяне уже теперь не менее сильно заинтересованы в том, чтобы сбывать на восточном рынке продукты Запада. Мыслимо ли поэтому, чтобы между этими нациями царил согласие? Турки, южные славяне и греки уже имеют более общие интересы с Западной Европой, чем с Россией. А когда железные дороги, которые теперь идут от Остенде, Гавра и Гамбурга к Будапешту, будут продолжены до Белграда и Константинополя, то влияние западной цивилизации и западной торговли на юго-востоке Европы станет еще прочнее.

«С другой стороны, славяне Турции в особенности сильно страдают от гнета целого класса военных землевладельцев, которых они должны содержать. Эти военные гарнизоны соединяют все общественные функции, как военные, так и гражданские и судебные. А что иное представляет собою русская правительственная система всюду, где она не сплетена тесно с феодальными учреждениями, как не такую же военную оккупацию, где гражданские власти и судебная иерархия организованы на военный лад и где народ должен все это оплачивать? И кто думает, что такая система соответствует южно-славянскому характеру, пусть бросит взгляд на историю Сербии с 1804 года. Кара-Георгий, основатель сербской независимости, был покинут народом, и Милош Обренович, восстановитель независимой Сербии, был выгнан с позором из страны: оба они пытались ввести русский авторитарный режим с его необходимыми аксессуарами: взяточничеством, полуполнон

бюрократией и эксплуатацией со стороны вслких сатрапов или пашей разного калибра.

«Только в этом может состоять окончательное решение вопроса. Как историк, так и современныя факты указывают на необходимость создания свободного независимого государства на развалинах Турецкой империи. Уже ближайший революционный взрыв может повлечь за собою давню подготовляющийся конфликт между русским абсолютизмом и европейской демократией. И Англия—какое бы правительство ни стояло у власти—должна занять определенное положение в этом конфликте. Она не может допустить, чтобы Россия овладела Константинополем. Она должна вступить в союз с врагами царя и способствовать образованию независимого славянского государства на месте старческой, сгнившей «Высокой Порты».

Не все предсказания Маркса оправдались. В течение последних 50 лет произошли крупные перемены в области политических и экономических отношений, которые нельзя было предвидеть накануне крымской войны. Едва антагонизм между Францией и Англией, определявший политику последней на Балканском полуострове в XVIII и еще в первой половине XIX столетия, сменился антагонизмом между Англией и Россией, как уже в середине 80-х годов ясно стало, что главным соперником Англии на Балканском полуострове является не Россия, а Германия вместе с Австрией. Колоссальные успехи немецкой промышленности и торговли быстро свели к минимуму экономическое влияние России и в Европейской Турции, и в Азиатской. О южно-славянских государствах и говорить нечего. Мало того. Главным стражем независимости и целостности Турции стала теперь не Англия, а Германия. После захвата Египта на очередь стала оккупация независимой Аравии, капиталистическое «возрождение» Месопотамии, необходимость «стать твердой ногой» на берегах Персидского залива. А во всех этих предприятиях Англия встречает сопротивление не только со стороны Турции, но также—и главным образом—со стороны Германии. Румыния, как и Австрия, давно уже превратилась в аванпост германского капитализма против российских претензий на Балканский полуостров. То лаской, то угрозой Германия поуклонно выталкивает Россию с Ближнего Востока и толкает ее на Дальний—сегодня против Японии, завтра против Китая.

А среди южно-славянских государств, рядом с сербским, воз-

нико новое, болгарское, которое оказалось не менее строптивым по адресу своих «освободителей», чем во время оно «неблагодарные» сербы.

За 17 октября 1905 года последовало 24 июля 1908 года в Константинополе. В этом отношении предсказание Маркса буквально оправдалось. Но status quo рухнул не только на Ближнем Востоке. На этот раз волна европейской революции докатилась не только до Константинополя: после первого приступа (5 августа 1906 года), кончившегося неудачей, она захлестнула 13 июля 1909 года также Тегеран. Теперь она докатилась к извечному воплощению status quo—к Пекину.

И никто не работает так усердно, чтобы проложить ей дорогу, как все те же охранители status quo. Все изменилось в течение последних 50 лет, но неизменными остаются старая рутинная и традиционная неподвижность мысли европейских «государственных мужей»!

2. МАРКС и УРКАРТ.

В своих воспоминаниях о Марксе Либкнехт описывает также тех лиц, с которыми ему приходилось встречаться во время своего лондонского изгнания в доме или обществе Маркса. «В высшей степени интересно было знакомство с Давидом Уркартом, лучшим знатоком русской дипломатии и турецких дел. Благодаря Уркарту, самым усердным учеником и последователем которого был также Лотар Бухер, великогермаец по своим симпатиям, мы излечились от увлечения романтикой Байрона и греческими песнями Вильгельма Мюллера, воспевавших «парод Гомера» и другие христианские народы Турции. Согласно представлениям, распространенным в то время во всех культурных странах и особенно в Германии, каждый грек был героем, а каждый турок—жестоким, вероломным чудовищем. Мы поняли, что это отчасти легенда, отчасти просто выдумка; Давид Уркарт, проживший в Турции много лет, изъездивший ее вдоль и поперек и бывший в течение целого года членом британского посольства в Константинополе, успел завязать близкое знакомство со многими влиятельными и оттопыренными «у самого источника власти» государственными людьми и дипломатами, с которыми продолжал и позже поддерживать сношения. Он был поэтому весьма осведомлен во всем, что имеет отношение к «восточному вопросу», и являлся авторитетом пер-

вого ранга, а может быть, и вообще самым крупным авторитетом. Изумительное знание людей и вещей, связанное с истинно-шотландской остротой ума, придавало каждому слову Уркорта особую вескость. Генеральный, упорный, настоящий дипломатический сыщик, он следовал по пятам за русской политикой во всех ее потаенных путях и кротовых ходах и зорко следил за своим смертельным врагом, лордом Пальмерстоном, которого он, — пожалуй, не без основания, — считал сознательным орудием русской политики... Маркс убедился в правильности суждений и воззрений Уркорта и стал сам защищать их со свойственным ему жаром и силою в прессе и в своих сочинениях, главным образом во время крымской войны».

Желание — не только «отец мысли», оно дает также определенное направление работе нашей памяти. Когда Либкнехт, спустя сорок лет после этих событий, писал свои воспоминания, он был втянут в полемику, в которой главную роль играл именно восточный вопрос. И потому вполне понятно, что он постоянно ссылается на Маркса, придерживавшегося, по его словам, тех же воззрений. Противники Либкнехта, справедливо указывавшие, что воззрения Маркса *потерпели поражение* в ходе истории, точно так же не сомневались в их тождественности с воззрениями Либкнехта и в том, что Маркс был приблизительно таким же туркофилом, как Уркорт, и что он вместе с ним и Либкнехтом был сторонником *status quo* на Балканском полуострове. По их мнению, он отрицал за томящимся под турецким игом славянскими народами всякое «право на самоопределение» и смеялся над той «глупой саптиментальностью», которая видит «угнетенную национальность в каждом похитителе баранов, вступившем в конфликт с Турцией».

В сочинениях Маркса и Энгельса, известных к тому времени, когда Либкнехт писал свои воспоминания, было уже достаточно материала для того, чтобы подвергнуть критике это воззрение, а в 1897 году появился сборник Элеопоры Эвелинг, неопровержимо доказавший, что балканская политика Маркса во время крымской войны отнюдь не совпадала с политикой Уркорта. В моем предисловии к статье Маркса: «Чем должна стать Турция в Европе» («Neue Zeit», XXVIII, 2, 4—12 стр.), которая по недосмотру пропущена в английском издании, я сделал первую попытку изло-

жить воззрения Маркса на восточный вопрос в том виде, как он их действительно защищал во время крымской войны.

Мое изложение нашло подтверждение в опубликованной позднее «Переписке Маркса с Энгельсом», но оно нуждается в одной поправке. А именно: я полагал, что все касающиеся этого вопроса статьи принадлежат перу Маркса, но оказалось, что большая часть этих статей написана не им, а Энгельсом.

Чтобы сдержать свое обещание—«вернуться к этому вопросу вновь возвращающемуся восточному вопросу» в ближайшем номере для «Трибуны»,—Маркс обратился к Энгельсу.

«Я обязательно должен написать более длинную статью о haute politique (высокой политике), чтобы не дать остынуть Дала. Речь идет, конечно, об этом отвратительном восточном вопросе, в котором со мной в «Трибуне» пытается конкурировать этот несчастный янки из Лондона. Но это больше всего военный и географический вопрос, следовательно—не моего департамента. Ты, стало быть, должен еще раз exécuter себя (принести себя в жертву). Что должно стать с Турецкой империей—это для меня вроде китайской грамоты. Я не имею, следовательно, никакой общей точки зрения».

Но для этой статьи ему кажется необходимым исходить из следующих соображений, начиная непосредственно с Черногории.

1) Несмотря на все каверзы и политическую болтовню газет, question orientale (восточный вопрос) никогда не послужит главным поводом к европейской войне. Он будет все снова затушевываться дипломатическими средствами, пока всеобщий крах не положит конец затушевыванию и в этом вопросе. 2) Encroachments of Russia (захваты России) в Турции. Вождедения Австрии, амбиция Франции. Интересы Англии. Коммерческое и военное значение этого «яблока раздора». 3) В случае всеобщего краха Турции принудит Англию выступить на стороне революции, так как в этом вопросе неизбежна коллизия Англии с Россией. 4) Необходимое разложение мусульманской империи. D'une main ou de l'autre она попадет в руки европейской цивилизации. Следовало бы еще специально остановиться на этой истории с Черногорией, на жалкой роли, которую теперь официально играет Англия. Султан уступил только потому, что Франция и Англия не обещали ему помощи. В этом вопросе обе державы под маской entente cordiale кокетничали с идеей Священного союза. Указать на то,

что господство олигархии в Англии должно пасть уже потому, что она потеряла способность играть свою старую роль во внешней политике и поддерживать первенство английской нации по отношению к континенту».

Здесь нет ни малейшего следа Уркарта и его воззрений. Письмо Маркса размишулось с письмом Энгельса. Любопытно сравнить с изображением Либкнехта следующее место этого письма, где характеризуется Уркарт.

«Читаю сейчас Уркарта, который убежден, что Пальмерстон состоит на содержании у России. Дело объясняется просто: этот молодец—кельтский шотландец, с саксонско-шотландским образованием, романтик по своим наклонностям, фритредер по образованию. Он поехал в Грецию в качестве филэллина, по, просражавшись три года с турками, поехал в Турцию и там сделался поклонником турок. Он увлечен исламом, и его принцип: если бы я не был кальвинистом, то мог бы быть только магометанином. Турки, особенно времени расцвета Османской империи,—самый совершенный народ на земле во всех отношениях. Турецкий язык—самый совершенный и благозвучный в мире. Вся эта нелепая болтовня о варварстве, жестокости, смешной варварской надменности турок происходит только из невежества европейцев во всем, что касается Турции, и является корыстной клеветой греческих драгоманов».

Еще резче Энгельс выражается о «старой филистерской глупости» насчет неприкосновенности Турции. «Если эта история еще затянется, то все эти милостивые государи принуждены будут скоро прибегнуть к другим аргументам и прийти к выводу, что только революция на континенте может положить конец всей этой пакости. Что без революции пельзя ничего разрешить, в этом должны будут убедиться современем даже худшие филистеры».

Эти основные мысли развиты также—местами дословно—в статьях в «Трибуне». В борьбе против «старой филистерской глупости» оба друга, вопреки Уркарту, были вполне солидарны. На вопрос: «чем должна стать Турецкая империя?», тот самый вопрос, который был для Маркса «китайской грамотой», Энгельс дает ответ в статье: «Что должно стать с Европейской Турцией?». «Балканский полуостров,—доказывается в этой статье,—является естественным уделом южно-славянской расы. Южные славяне являются там единственными посетителями цивилизации. Правда, они еще не

образовали нации, но в Сербии уже имеется крепкое и сравнительно образованное ядро нации. Сербы имеют собственную историю, собственную литературу, и они образуют центр, вокруг которого соберутся все южные славяне в своей грядущей борьбе за независимость. Экономическое и политическое развитие уже позаботится о том, чтобы интересы южно-славянского государства разошлись с интересами России, несмотря на кровное родство и общую религию, связующие столькими узлами южных славян с Россией. До тех пор, пока поддержание священного «status quo» будет лейтмотивом европейской дипломатии, южные славяне в Турции будут взирать на Россию как на своего освободителя, своего мессию».

То, что Энгельс говорит здесь о южных славянах в Турции, является лишь дальнейшим развитием мысли, выраженной им уже в статье о «Демократическом панславизме» в «Новой рейнской газете» и лишь примененной к новой исторической обстановке. «Мы повторяем: кроме поляков, русских и, в лучшем случае, *турецких славян*, ни один славянский народ не имеет будущности на том простом основании, что всем остальным славянам недостает элементарных исторических, географических, политических и промышленных условий для самостоятельности и жизнеспособности».

Как мало Энгельс и Маркс в своей балканской политике находились под влиянием Уркарта и насколько решающей являлась для них и в этом вопросе их общая точка зрения, показывает также сравнение с чартистской литературой. Общность критерия приводила к аналогичным выводам. Эрнест Джонс также критиковал самым резким образом теорию поддержания status quo на Балканском полуострове, но, будучи ярким филэллитом, он видел важнейший фактор прогресса на Балканах не в славянах, а в греках, которых он считал наследниками древней Эллады. Энгельс же, а также и Маркс не были в этом отношении такими энтузиастами. В этом пункте Либкнехт был совершенно прав, но только он спутал лица. От романтических иллюзий, видевших в каждом греке героя, Маркс и Энгельс были «исцелены» не Уркартом, а Фальмерайером, которого они оба высоко ценили. Защищая Либкнехта против общих нападков Фогта, направленных против них обоих, Маркс говорит: «Либкнехт мог смело писать лондонские письма в такой газете, в которой Гейне писал свои «Парижские», а Фальмерайер свои «Восточные письма».

Сочинения Фальмераера окончательно убили иллюзию, будто в восставших греках «можно еще узлать эллишов, по крайней мере, времеп Павзания и Плиниш». Он доказал, что древние обитатели Греции вымерли под ударами разнообразных бедствий и исчезли окончательно, за исключением небольших остатков. Фальмераеру же принадлежит знаменитая теория, что современные греки происходят главным образом от славян. У него же мы находим восхваления сербов, которые, не получая, в отличие от греков, ниоткуда поддержки в своей борьбе за независимость и «будущи предоставлены самим себе, никогда не забывали, что у народа, который хочет достигнуть лучшего положения, в конечном счете нет никаких других средств, кроме своей собственной силы и мужества» ¹⁾).

Маркс принял предложенное Энгельсом решение, но он приводит также и мнение Эрнеста Джонса в позднейшей статье, где он еще резюмирует свои взгляды по восточному вопросу. «Слишком слабые и трусливые, чтобы предпринять возрождение Европейской Турции путем *основания греческого государства и федеративной республики* славянских штатов, они (западные державы) направляют все свои стремления только на поддержание status quo, т. е. той стадии разложения, которая мешает султану освободиться от царя, а славянам—от султана».

Нет ни малейшего сомнения, что Энгельс пользовался для своих статей сочинениями Уркорта о Турции, которые по его словам, несмотря на все причуды автора, все же содержат много ценного материала. Но отсюда совершенно не следует, чтобы Энгельса или Маркса можно было считать последователями Уркорта в восточном вопросе. Кроме Уркорта, Энгельс ссылается также на «немецких филологов и критиков», которые «познакомили нас с ее (Европейской Турцией) историей и литературой». Кроме Фальмераера, имени которого он не упоминает, он имеет в виду историка Гаммера ²⁾, которого считает «похвальным исключением» среди осведомленных дипломатов. Но и среди английских

¹⁾ S. Ph. Fallmerayer, Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters, 1836, 2 Band, S. XIX, и «Welchen Einfluss hatte die Besetzung Griechenlands durch die Slaven auf das Schicksal der Stadt Athen und der Landschaft Attika?» Stuttgart, 1835.

²⁾ Joseph v. Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, zehn Bände, Pest 1828 bis 1832.

писателей имеется, кроме Уркарта, еще один писатель—один из английских уполномоченных, которые собрали большой материал о социальном положении Турецкой империи и о которых Энгельс отзывается с большой похвалой. Он не называет имени этого писателя, но несомненно, что последний оказал сильное влияние на самую важную часть изложения Энгельса, в которой изображается коммерческое соперничество между Россией и Англией в Европейской и Азиатской Турции. Это—писатель Джон Мак-Нейл, автор знаменитого, вышедшего анонимно памфлета «Progress and present position of Russia in the East» (Лондон, 1836), который даже Уркарт считает наилучшим изображением агрессивной политики России. Следы влияния Мак-Нейля на обоих друзей особенно ярко выступают наружу, если сравнить названный памфлет с их статьями по восточному вопросу.

Вообще совершенно незачем искать в Уркарте источник антирусских настроений Маркса. История Германии сама по себе уже представляла наиболее блестящий образец того, как далеко простиралось влияние русской дипломатии. «Новая рейнская газета» служит достаточным доказательством того, что Маркс и Энгельс несколько не нуждались в Уркарте для того, чтобы понять реакционные основы внешней политики России или ту контр-революционную роль, которую играл Пальмерстон в союзе с Россией именно в 1848—1849 годах. Верно только то, что они в то время мало обращали внимания на связь немецкой революции с восточным вопросом. Войну с Россией они всегда обосновывали с точки зрения *европейской* революции и приводили ее в тесную связь с гражданской войной в самой Германии. Чтобы обосновать свою вражду к России, они никогда не ссылались на специальные интересы Германии на Балканском полуострове, на «германскую миссию», на необходимость защитить «немецкую торговлю» у устьев Дуная, освободить «немецкий Дунай». Они горячо отстаивали восстановление Польши в границах 1772 года, независимость Венгрии и придунайских княжеств, объединение и независимость Италии; но мы не находим в их статьях ни малейшего намека на связь восточного вопроса с интересами *германской* революции. Можно этот факт оценивать как угодно, но это—факт. Беспощадные враги всяких феодальных ограничений на пути экономического развития, они, тем не менее, никогда не поступают на службу к капитализму. Великогерманцы и рес-

публиканцы, они были убеждены, что германская республика, к которой они стремились, будет в союзе с революционной Европой обладать такой огромной внутренней силой, что ей не пужно будет ни пяди польской, венгерской или итальянской земли и что она, во всяком случае, будет жизнеспособна и без колонизации областей, принадлежавших раньше Турции. И потому это—не случайность, что, когда в пятидесятых годах вновь вспыл восточный вопрос, тотчас обнаружилась противоречия между Лассалем и Марксом. Точки зрения, с которых они обсуждали события крымской войны, были в корне различные. Стоит, хотя бы бегло, просмотреть богатую памфлетную литературу, наводнившую немецкий книжный рынок в период от 1853 до 1855 г. и приведшую впервые к ясному разграничению взглядов в восточном вопросе, для того чтобы убедиться, как далеки были Маркс и Энгельс от всех этих «мало»-и «велико»-германских рецептов и насколько доступнее всем этим «практическим» и «национальным» аргументам был Лассаль, который, тщетно отстаивал, как он писал однажды Родбертусу, зачастую против своих лучших друзей тот взгляд, что турецкое наследство должно достаться Германии. От его буржуазных единомышленников его отличает только его революционная точка зрения, предпочитающая и в этом вопросе революционное решение, решение путем германской революции. Маркс и Энгельс, напротив, никогда не теряли из вида связи восточного вопроса со всем европейским развитием; турецкое наследство они уступали молдаво-валахам, южным славянам и грекам, стараясь доказать, что решение, правильное с точки зрения интересов всеевропейской революции, наилучшим образом соответствует также интересам германской революции.

МАРКС И ПАЛЬМЕРСТОН

I

Статьи о Пальмерстоне, написанные для «Трибуны», Маркс одновременно дал Эрнесту Джонсу для «People's Paper», где они были напечатаны за его подписью. В «Трибуне» же они появились в виде передовых статей, т. е. без подписи, и потому были в некоторых местах сокращены или изменены Дала.

В «Трибуне» две статьи совершенно выпущены. Из восьми статей, напечатанных в «People's Paper» под общим заглавием «Лорд Пальмерстон» (номера от 22 и 29 октября, 5, 12 и 19 ноября, 10, 17 и 24 декабря 1853 года), в «Трибуне» появились только шесть: первая и вторая, под заглавием «Пальмерстон»—19 октября 1853 года, третья—«Пальмерстон и Россия»—4 ноября, четвертая и пятая—«Восточный вопрос, глава из новейшей истории»—21 ноября, седьмая—«Восточный вопрос, Англия и Россия»—лишь 11 января 1854 года. Итак, три статьи появились в «People's Paper» раньше, чем в «Трибуне». Шестая и восьмая статьи не были даны вовсе напечатаны.

Поэтому Маркс, несомненно, ошибается, утверждая в «Господине Фогте», что статьи о Пальмерстоне были первоначально напечатаны в «Трибуне»: «Вскоре после этого я дал перепечатать эти статьи в редактируемом Эрнестом Джонсом чартистском органе «People's Paper», присоединив к ним новые статьи о деятельности Пальмерстона».

Статьи обратили на себя внимание не только в Соединенных штатах, но и в Англии. Конечно, на них обратили бы меньше внимания, если бы они были напечатаны только в «People's Paper». Но это произошло как раз после того, как Джон Брайт в Нижней палате во время прений о палате на объявлении стэль подробно расписал все преимущества «Трибуны» по сравнению с английскими газетами. И поэтому в английской прессе обратили гораздо больше внимания на американскую газету и на статьи в ней, чем прежде.

Э. Текер издал отдельно третью главу, перепечатанную из «Трибуны», в своей серии политических памфлетов («Political Fly-sheets: Palmerston and Russia» с эпиграфом: «Out of thine own mouth will I judge thee»). Она нашла быстрый сбыт: в несколько недель было распродано 50 000 экземпляров. Так же велик был успех второго памфлета: «Palmerston, what has he done?» или «Palmerston and the treaty of Unkiar Skelessi» с эпиграфом: «Thou wicked servant», составлявшего сокращенную перепечатку четвертой и пятой глав.

Маркс, следовательно, вторично впал в ошибку, утверждая, что инициатива этих отдельных изданий исходила от Д. Уркарта.

Перепечатка статьи в «Glasgow Sentinel», на что он ссылается¹⁾, последовала 26 ноября 1853 г., и из писем Маркса к Энгельсу мы узнаем, что в январе 1854 г. он уже вступил в переговоры с Текером по поводу *второго* памфлета; первая же встреча его с Уркாரтом имела место лишь в начале февраля, как можно видеть из его письма к Энгельсу (9 февраля 1854 г.).

Верно только то, что статьи Маркса обратили на него внимание Уркாரта. Вероятно, посредником между ними был Текер, который находился в сношениях с Уркாரтом и печатал в своей серии памфлетов также и его сочинения. К тому же времени относится также попытка Уркாரта—она была не первая—завязать сношения с чартистами. Так, в «People's Paper», в номере от 21 января 1854 г. (т. е. за несколько недель до встречи), мы находим письмо Уркாரта о Турции. Но эта попытка потерпела неудачу вследствие той особенности Уркாரта, которую Маркс называл его мономанпией.

«Я имел свидание с Уркாரтом. Первый комплимент, которым он меня огорошил, был тот, что статья моя как будто написана настоящим «турком», в чем его никоим образом не укрепило мое заявление, что я «революционер». Это полнейший мифман. Он твердо уверен в том, что в один прекрасный день сделается премьером Англии. Когда все остальные будут повержены в прах, Англия придет и скажет: «Уркாரт, спаси нас». И тогда он спасет ее... Любимая идея этого чудака: «Россия господствует над миром благодаря своему избытку ума. Чтобы состязаться с ним, нужно быть самому человеком уркாரтовского ума, и если имеешь несчастье не быть самим Уркாரтом, необходимо, по крайней мере, быть уркாரтистом, т. е. верить в то, во что верит Уркாரт, в его «метафизику», его «political economy» (политическую экономию), и т. д. Необходимо иметь за собой пребывание на Востоке или, по крайней мере, усвоить себе турецкий «дух» и т. д.»

Как велик был успех сочинения Маркса и как велик был интерес именно к его изображению карьеры Пальмерстона, показывают также некоторые другие факты. 27 июля 1854 г. он со-

¹⁾ Между том «Glasgow Sentinel» также перепечатала одну из этих статей («Пальмерстон и Польша»), обратившую на себя внимание господина Д. Уркாரта. В результате встречи, которую и имел с ним, он убедил господина Текера в Лондоне выдать одну часть этих статей в форме памфлета». — Маркс, Непт Vogt, Лондон, 1860, стр. 59.

общает Энгельсу, что «отец Текер» пишет ему следующее: «Милостивый государь! Как раз теперь имеется весьма оживленный спрос на памфлеты. Не можете ли прислать мне некоторые статьи из «Трибуны», которые отвечали бы вкусам публики? Третий памфлет о Пальмерстоне ускорил бы сбыт первых двух». Ввиду этого Маркс предлагает Энгельсу вступить с Текером в переговоры, впервых, относительно совместного памфлета их обоих о Пальмерстоне и, вторых, относительно памфлета о дипломатии и методах ведения войны англичан. Известно объявление, которое обещает, что в случае если найдется 500 подписчиков, т. е. Текер издаст большое сочинение д-ра Карла Маркса о Пальмерстоне под заглавием: «The political Biography of Lord Palmerston» (Политическая биография лорда Пальмерстона), с эпиграфом: «The truth, the whole truth and nothing but the truth, so help me God». (Правда, вся правда, и ничего кроме правды, клинусь богом). Цена 5 шиллингов.—Из этого дела ничего не вышло, может быть, вследствие нежелания Текера принять на себя риск.

Лишь спустя два года после появления статей в «Трибуне» и в «People's Paper» главный орган уркартистов «Sheffield Free Press» перепечатал статью «Пальмерстон и Россия» (17 ноября 1855), которая была напечатана также в лондонском издании «Free Press». После этого все статьи из «People's Paper» были перепечатаны под общим заглавием «Жизнь лорда Пальмерстона» (17 ноября и 29 декабря 1855, 5 и 12 января, 9 и 16 февраля 1856).

Первая статья была напечатана без разрешения Маркса. Как можно видеть из одного письма Текера к нему (21 ноября 1855), он вначале протестовал против этого, но потом дал свое согласие. Из «Free Press» мы узнаем, что статьи были изданы также отдельно. Еще четыре года спустя на обложке книги «Господин Фогг» в числе других сочинений Маркса указана эта книга. Также и в кратком перечне своих сочинений, который Маркс приготавливал для русского перевода «Капитала», в 1868 г., он приводит свои памфлеты против Пальмерстона, написанные в 1848—1854 гг., причем указывает как место издания Лондон, Бирмингем и Глазго ¹⁾.

¹⁾ Ни в Британском музее, ни в других более крупных лондонских библиотеках, а также среди оставшихся от Маркса и Энгельса вещей не оказалось ни одного экземпляра этих изданий, кроме памфлетов Текера.

Уже эти факты показывают, что работы Маркса представляли собою много нового и для уркартистов, что они, следовательно, никоим образом не были компиляцией или пересказом сочинений Уркарта. В противном случае был бы совершенно непонятен тот большой интерес, который они возбудили. Правда, изложенные в них взгляды не столь противоположны взглядам Уркарта, как, например, в статьях о восточном вопросе, но они являются плодом совершенно самостоятельного исследования, исходящего из совершенно другой точки зрения, о писаниях Уркарта они имеют общего только то, что оба сильно нападают на Пальмерстона и в отдельных пунктах приходят к одним и тем же выводам.

II

Новый свет на происхождение статей Маркса о Пальмерстоне бросают его письма к Энгельсу. Впервые он пишет об этом 8 октября 1853 г. «Со времени заключения в тюрьму Пипера я послал шесть статей, в том числе громовый обвинительный акт против Пальмерстона, в котором я прослеживаю его карьеру с 1808 по 1833 год. Продолжение я вряд ли смогу доставить до вторника, так как надо перелистать еще много Синих книг и Гапзарда». В письме от 12 октября 1853 г. он пишет: «Что касается «Трибуны», то я до пятницы приготовлю две статьи о Пальмерстоне. Статья 3-я и последняя, охватывающая период с 1848 по 1853 г., требует пересмотра такого количества Синих книг и парламентских дебатов, что я не смогу доставить ее до вторника, так как, поскольку идет речь о Британском музее, воскресный день пропадает».

Лишь в ходе работы, после того как Маркс подробнее исследовал карьеру Пальмерстона после 1833 г., он пришел к заключению, что Пальмерстон—русский агент. «Тебе,—пишет он Энгельсу 2 ноября 1853 г.,—может показаться курьезным; тщательно преследив деятельность благородного виконта за двадцать лет, я пришел к тому же заключению, что и мопоман Уркарт, а именно, что Пальмерстон уже несколько десятков лет тому назад продался России. Как только ты прочтешь продолжение моей статьи (особенно о сирийско-турецком конфликте), ты должен сообщить мне свое мнение по этому поводу. Я рад, что случай заставил меня ближе ознакомиться с иностранною дипломати-

ческию политикою за последние двадцать лет. Мы слишком пренебрегали этим вопросом, а необходимо знать, с кем приходится иметь дело. Вся дипломатия воспроизводит в большом масштабе Штибера и компанию».

К сожалению, в переписке не имеется ответа Энгельса о том, что Маркс в последующие годы держался тех же взглядов, но из его недавно опубликованной переписки с Лассалем можно видеть, что Маркс резко выступал против иллюзий, которые пытали тогда прусские либералы и демократы. Сторонники союза с западными державами исходили из предположения, что Англия твердо решила вести войну с Россией с напряжением всех сил, и гарантию этого они видели в том, что душою министерства является «либеральный» Пальмерстон. Напротив того, Маркс несколько не доверял ни коалиционному министерству, которое своею решительной политикой лишь поощряло Россию, ни тем менее Пальмерстону, выступающему в роли «убежденного» врага абсолютистской России. Отсюда его убеждение, что Англия будет вести войну только для вида и что Пальмерстон, как доказывает все его прошлое, является «тайным агентом России», тем более опасным, что «он выдает себя за воплощение национальной ненависти к России».

Но в то время, как Маркс во всем ходе войны находил все новые доказательства в пользу того, что «освободительная война» Англии и Франции, которую представители революционной эмиграции и большинство континентальных демократов приняли всерьез, на самом деле есть только показная война,—он после апреля 1854 г. никогда больше не возвращался к своему утверждению, что Пальмерстон—агент России. Во втором томе мы печатаем его статьи о Пальмерстоне в том виде, как он их переработал для «Новой одерской газеты». Они написаны, поскольку это возможно, еще резче по своему тону, но мы не находим в них, как и в других статьях, в которых он продолжал заниматься Пальмерстоном, повторения старого обвинения. А между тем именно во второй половине 1854 г. и в течение всего 1855 г. Уркарт неумоимо продолжал свои нападки против Пальмерстона, которого он обвинял в сознательной государственной измене. Но даже Уркарт, который имел все основания презирать Пальмерстона, как бессовестного лжеца, и который часто был ослеплен личной ненавистью к последнему, никогда не изображал дело так, будто

Пальмерстон является обыкновенным «паемным агентом России». Это приписывают Уркарту только те невежественные публицисты, которые и теперь еще делают из Пальмерстона либерального английского государственного деятеля, видевшего задачу своей жизни в борьбе против русского деспотизма и припимавшего ближе всего к сердцу благо английского народа.

Разрушение этой легенды являлось целью Маркса, и это ему удалось блестяще. Большей частью он предоставляет цинику Пальмерстону говорить собственными словами. Читая все статьи, как они вышли из-под пера Маркса в первой редакции, легко видеть, что нигде его изложение не находится под влиянием гипотезы, что Пальмерстон «купленный русский агент». Но вся политическая карьера почтенного «лорда-поджигателя» стоит в таком вопиющем противоречии с его репутацией, что не удивительно, если в конце концов и Марксу, которому Пальмерстон никогда не внушал особого почтения, пришлось поставить себе вопрос: мог ли бы пастоящий «купленный русский агент»—принимая во внимание *внутренние политические условия* Англии и необходимость считаться с «общественным мнением»—лучше защищать интересы России, чем то делал этот мнимый «руссофоб» и «красный» государственный деятель. В истории, и не в одной только английской истории восемнадцатого столетия, можно найти много примеров того, что министры и правящие классы двух государств, находясь в состоянии спянейшего дипломатического конфликта или даже в открытой войне, тем не менее продолжают свосигаться друг с другом. Яркие примеры этому можно найти в истории самого последнего времени. Такого рода нравы могут показаться предвзвотрительными лишь «простопародью» или павным людям, не имеющим никакого понятия об истинных «принципах» государственного искусства или дипломатии.

Такого рода явления, обнаруженные и в ходе крымской войны, вызывают не только у Маркса, но и у других наблюдателей подозрение, что все ведение войны определялось чисто «дипломатическими» соображениями, указывавшими на тайные связи между кабинетами воюющих государств.

Даже Лассаль, все еще продолжавший считать Пальмерстона «действительным врагом России», вынужден был признать в своем втором письме, что «имеются факты, которые, если хорошенько разобрать их с точки зрения этого подозрения, могут в высшей

степени озадачить и вызвать сомнения». А еще через несколько лет, когда он убедился, что Пальмерстон никогда не был принципиальным «руссофобом», он сделался таким же горячим «антипальмерстоновцем», как Маркс или Энгельс.

Не надо также забывать того, что марксовская критика Пальмерстона исходила из совершенно другой точки зрения, чем критика Уркорта. Это различие лучше всего освещается в маленькой статье, — без подписи, но написанной, вероятно, Вейдемейером или Клюсом, — которая появилась в американской «Реформе» в такое время, когда друзья Маркса уже были знакомы с его статьями против Пальмерстона. Возможно, что эта статья, как и некоторые другие статьи Вейдемейера или Клюса, основывается на сведениях, доставленных Марксом или скорее Энгельсом.

«Уркорт раз навсегда оседлал одну определенную идею. Впродолжение двадцати лет он безуспешно разоблачал Пальмерстона и русские интриги и возни и потому, естественно, должен был, наконец, свихнуться, как всякий человек, который имеет одну определенную верную идею, в которой он, однако, не может убедить мир. То, что Пальмерстон со своею дипломатиею смог удержаться до настоящего времени, он объясняет раздором между вигами и ториями, что отчасти, — но, конечно, только отчасти, — правильно. Борясь против нынешнего английского парламента, который оценивает каждую вещь не по ее собственному достоинству, а исключительно с точки зрения «правительства» или «оппозиции», он, будучи по своей природе консерватором, не видит никакого другого выхода, кроме усиления королевских prerogatives, с одной стороны, и *местного муниципального самоуправления* — с другой. Чтобы создать фронт против России, он хочет, чтобы Запад образовал такую же компактную, однородную массу, как русская масса. Поэтому он и слышать не хочет о партиях и является сильнейшим врагом всяких стремлений к централизации. Так как все прежние революции, начиная с 1848 года, временно благоприятствовали усилению России, то он каким-то нелепым образом пришел к заключению, что этот результат входил с самого начала в намерения русской дипломатии. Поэтому он убежден, что русские агенты являются тайными и главными руководителями всех революций. Так как в пределах консервативной старой системы Австрия представляла прямой противовес России, то он обнаруживает пристрастие к Австрии и

отрицательно относится ко всему тому, что может ослабить международную мощь Австрии. В противоположность русской уравнительности, с одной стороны, и революционной уравнительности, с другой, он твердо отстаивает индивидуальность и своеобразие народов. Поэтому в его глазах евреи, цыгане, испанцы и магометане, включая черкесов, являются самыми лучшими народами, ибо они еще не затронуты пошлостью (*vulgarism*) Парижа и Лондона. Из всего этого видно, что его понимание истории должно было принять весьма субъективный характер; история казалась ему более или менее исключительным продуктом дипломатии. Что касается объективного, материалистического взгляда на историю, то это, по его мнению, было бы то же самое, как если бы решили суд над преступлениями заменить обобщением их в виде законов. «Это—почтенный упрямый старик, стремящийся к истине, работающий с воодушевлением, взнурияющий свой ум в сильнейших предрассудках и совершенно лишенный здравого смысла»,—так характеризует его один критик. Но так как он имеет перед собой только *одну* жизненную задачу—борьбу против России, которую он ведет с талантом мономана и с большим знанием дела, то все это совершенно безвредно. Рыцарь одной жизненной задачи, он по необходимости должен быть «благородным рыцарем печального образа», причем у него, конечно, нет недостатка в Санчо-Пансо, здесь, как и в Европе. Видоизмененным экземпляром этого вида является А. Р. С., недоучившийся корреспондент «Трибуны» из Лондона»¹⁾.

Но если Маркс в своей критике Пальмерстона и не был подражателем Уркарта, то он, может быть, находился в этом отношении под влиянием чартистов. Но и это утверждение, само по себе очень вероятное, должно быть, с исторической точки зрения, точнее формулировано. Само собою разумеется, что чартисты с самого начала протестовали против польской политики Пальмерстона, которая была менее всего враждебна России. (Другими вопросами иностранной политики старейшие чартисты, как, например, О'Коннор, интересовались значительно меньше.) Когда

1) «Die Reform», Нью-Йорк, понедельник 19 декабря 1853 года. Последнее слово показывает также на цель, которую друзья Маркса преследовали в Америке этой статьей. Они хотели показать в ней различие между статьями Маркса о Пальмерстоне и корреспонденциями А. Р. С., в которых последний первоначально копировал Уркарта.

в 1840—1841 гг. на первый план политической жизни выступил восточный вопрос и Уркарт в первый раз попытался мобилизовать широкие массы против Пальмерстона, между ними и чартистами в некоторых городах произошло сближение. В Бирмингеме, Карлейле, Нортгемптоне и особенно в Ньюкестле, где против Пальмерстона вела сильную кампанию чартистская газета «Northern Liberator», сторонники Уркарта совместно с чартистами устроили ряд митингов, на которых наряду с Уркартом выступали также Аттвуд, Мезон, Лауери, Ричардс, резко порицавшие руссофильскую политику Пальмерстона, выступавшего в союзе с Россией против Франции. О'Коннор стоял в стороне от всей этой агитации; он опасался, чтобы она еще больше не отвлекла рабочие массы от их главной задачи. Несмотря на это, Уркарту удалось тогда привлечь на свою сторону нескольких чартистов. Поскольку уркартизм впоследствии приобрел некоторое влияние в рабочих массах в форме торийско-демократических стремлений (не все сторонники Уркарта разделяли его реакционные предрассудки), организаторами этого движения являлись как раз старые чартисты. Они играли также большую роль в «Комитетах иностранной политики», обществах, основанных в 1855 году сторонниками Уркарта для наблюдения и контроля за иностранной политикой правительства.

Гораздо более сильный интерес к вопросам иностранной политики проявляло молодое чартистское поколение, вступившее в сороковых годах в более тесную связь с различными иностранными революционерами в Лондоне. Это усиление чувства интернациональной солидарности происходило в значительной степени под влиянием Маркса и Энгельса. Параллельно с борьбой против внутренней политики вигистского министерства, которое показало, что оно несколько не отказывается от насильственных методов действия, развилась борьба против иностранной политики, т. е. против Пальмерстона. На первом месте следует назвать Джулиана Гарни, на долю которого выпала также важная задача лично разделиться с Пальмерстоном. На выборах 1847 г. Гарни выступил в избирательном округе Пальмерстона, Тивертоне, в качестве его соперника. Он воспользовался этим случаем, чтобы подвергнуть резкой критике всю карьеру и иностранную политику Пальмерстона. Он был, вонечно, побежден на выборах, но речь его произвела такое сильное впечатление, что Пальмерстон считал необходимым

издать отдельной брошюрой свой подробный ответ Гарни, в котором он очень серьезно отнесся к своему противнику¹⁾.

Но едва ли можно говорить о влиянии этой рвчи на Маркса в том смысле, что он заимствовал из нее свои аргументы против Пальмерстона. Если Маркс и Гарни сходились в отрицательном отношении к мнимому либерализму Пальмерстона, то это необходимо вытекало из общности их исходной точки зрения. В этом смысле Маркс и Энгельс вели борьбу совместно с Гарни и Джонсом во всех чартистских газетах, которые издавались последними в 1850—1852 годах, при чем помещикие коммунисты постоянно выступали в роли учителей. Когда Гарни временно удалился от активной политической жизни и единственным литературным защитником революционного чартизма остался Джонс, Маркс больше всего способствовал тому, что «*People's Paper*» посвящал так много места обсуждению вопросов иностранной политики²⁾. Ему и Энгельсу принадлежит та заслуга, что газета не ограничивалась резкою критикой отдельных действий коалиционного министерства, но делала также попытку научно объяснить иностранную политику и дипломатические события при помощи обильного исторического материала. Именно в этом лежит различие между обвинительным актом Гарни против Пальмерстона и статьями Маркса.

Какою новизною отличалась данная Марксом историческая картина всех противоречий мнимо-антирусской и лже-прогрессивной политики Пальмерстона, показывает впечатление, которое она

1) «*Speech of Lord Viscount Palmerston, Secretary of State foreign Affairs to the Elector of Teverton on the 31 July 1847.*» Лондон, 1847 г. В той части, в которой Пальмерстон полемизирует против социалистических взглядов Гарни, он представляет своим слушателям обычные буржуазные пошлости; но в более объемистой части, посвященной защите его политики, он стремится доказать, что действительно сделал все для развития среди чужих народов конституционной свободы.

2) Тов. Ротштейн делает необъяснимую ошибку, утверждая в своей очень содержательной работе «*Aus der Vorgeschichte der Internationale*» (Ergänzungshefte zur «*Neue Zeit*», № 17, S. 32), что «*People's Paper*», единственная сохранившаяся газета, почти не посвящала никакого внимания иностранным делам; и в доказательство приводит как раз 1853 г., когда Маркс опубликовал там свои статьи о Пальмерстоне и сам Джонс написал много статей об иностранной политике. Также неточны и отчасти ошибочны сведения, которые сообщаются о «*People's Paper*» в книге Беера «*Geschichte des Socialismus in England*» (Dietz, Stuttgart, p. 415).

произвела не только на сторонников Уркарта, сделавших, как мы видели выше, так много для распространения сочинений Маркса, но также на английских радикалов. Очень популярный в свое время памфлет Вашингтона Уилькса во всем своем построении находился под влиянием не Уркарта, но Маркса. Местами Уилькс буквально повторяет мысли последнего, и вся его работа построена на том самом методе, который впервые был применен Марксом при анализе Синих книг и парламентских дебатов ¹⁾.

Как сильно господствует еще поныне в английской историографии «Сент», условная ложь, показывают все биографии Пальмерстона, которые все еще изображают его величайшим «патриотом Англии», «истинно-английским министром» и принципиальным врагом России. Все еще считают его взгляды бесспорными, все еще не дают себе труда изучить другие источники, кроме его собственных изречений, и все еще верят на слово Синим книгам, изуродованным и искаженным им и его коллегами.

III

В статьях Маркса знаменитое обвинение Уркарта против Пальмерстона только мельком упоминает, что оно не оказало никакого влияния на самое изложение. Маркс говорит об этом в 1853 г. и повторяет в немецкой переработке своих статей в 1855 г. лишь следующее: «Одна партия обвиняет его в том, что он состоит на жаловании у России; другая подозревает его в карбонаризме». Первая партия—это партия Уркарта, вторая—партия континентальных реакционеров, взгляды которых нашли свое литературное выражение в сочинениях Фикельмона ²⁾.

1) *Washington, Wilks, Palmerston in three epochs, a comparison of facts with opinions, London, 1854.* Он написал также историю Англии в первой половине девятнадцатого столетия, содержащую много фактов, о которых умалчивается в других буржуазных исторических сочинениях. В рабочих кругах Уилькс был также очень популярен, как пропагандист и агитатор.

2) *Graf Fiquelmont, Lord Palmerston, England und der Kontinent, Wien, 1852.*

Нигде не обнаруживается так ясно, как в этом сочинении, антагонизм между внешнею политикою рыцарей Священного союза и политикою английских министров, которые, по словам Фикельмона, «хотят быть одновременно и политическими аристократами, и либеральными промышленниками».

По словам самого Маркса, его главным источником были Си-ние книги и парламентские отчеты (Гаязард). Большую услугу ему могли оказать дебаты в Нижней палате, вызванные там Уркартом и Австи, так как в ходе этих прений вся политическая карьера Пальмерстона была освещена со всех сторон. Кроме того, можно предположить, что Маркс использовал изданное Дж. Френсисом с апологетической целью собрание различных выдержек из речей Пальмерстона.

Трудно прибавить хотя бы одну новую черту к блестящей характеристике Пальмерстона, данной Марксом. Несмотря на все противоречия, которые политика Пальмерстона обнаруживала из года в год, он неизменно оставался верен себе в одном пункте: в «цинической наглости», которая позволяла ему прикрывать интересы господствующих классов Англии интересами «отечества» и облекать старо-английскую политику в бессодержательные либеральные фразы. В этом отношении он остается до настоящего времени несравненным образцом дипломатического искусства. Если в качестве тория он уже в 1808 г. провозглашал необходимость сохранения втайне всех дипломатических переговоров и оправдывал нарушение нейтралитета Дании и бомбардировку Копенгагена тем, что этот нейтралитет под давлением Франции *мог бы* превратиться в открытую враждебность, то и впоследствии, в качестве вига, он старался обосновать те же принципы теми же штиберовскими аргументами и постоянно отказывал парламенту в каких бы то ни было сведениях, пока «переговоры продолжаются». Ни один государственный деятель не преподносил «ареонагу народов» самой бесстыдной лжи со столь великосветскою небрежностью, как Пальмерстон, приводя в восторг своих аристократических поклонников. Он не останавливался ни перед какой фальсификацией отчетов, ни перед каким искажением Синих книг, если этого, по его мнению, требовал интерес «нации». Он неоднократно заявлял, что принципы, регулирующие отношения между частными лицами, не применимы к отношениям между нациями: *«Что касается романтического представления, будто дружба и прочие, бог знает какие, вещи оказывают на нации большое или длительное влияние, то я утверждаю, что те, которые питают подобные романтические идеи и стремятся применить отношения между отдельными людьми к отношениям между нациями, предаются пустым мечта-*

ниям. *Единственное, ради чего одно правительство следует совету другого или принимает его представления, это надежда на награду, которая получится от этого принятия, или опасение дурных последствий, которые будут вызваны отказом».*

Эти именно взгляды Маркс и имел в виду, когда десять лет спустя в «Учредительном адресе» Первого Интернационала бичевал методы тайной дипломатии и выставил требование, чтобы в качестве высшего закона для отношений между нациями были установлены те простые законы нравственности и права, которые управляют отношениями между отдельными лицами.

Отсюда также главная ошибка Маркса, изобразившего Пальмерстона *принципиальным* другом России. Наоборот, последний был так же мало принципиальным руссофилом, как принципиальным руссофобом или принципиальным французофобом, каким его изображает его французский биограф Ложель. Вообще непоколебимая верность каким-либо принципам совершенно несовместима с государственною мудростью Пальмерстона. Его верховным «принципом» были интересы английской олигархии. Если сегодня он нуждался в союзнике против Франции и находил его в лице России, то он осыпал своего компаньона самыми преувеличенными комплиментами, не задумываясь о том, что будет завтра. Он вообще совершенно не понимал вопросов о будущем: «Поэтому я говорю, что было бы малодушною политикою предполагать, что та или иная страна предназначена быть вечным союзником или постоянным врагом Англии. У нас нет вечных союзников или постоянных врагов. Вечны и постоянны только наши интересы, и следовать им—наш долг. Если мы видим, что другие страны идут в том же направлении и преследуют ту же цель, что и мы, мы считаем их нашими друзьями и для *данного момента* принимаем, что мы с ними в дружбе; если мы видим, что другие страны становятся на другую точку зрения и становятся нам поперек дороги в нашем стремлении к целям, которые мы преследуем, то наш долг принять в расчет те различные способы, какими они преследуют эту же цель».

Этим объясняется, почему Пальмерстон, говоря словами его «принципиального» противника графа Фикельмона, «поднимал такой шум из-за нескольких калтар серы в Сицилии, из-за пары тысяч драм в Афинах, из-за мелких торговых и таможенных

льгот в Испании и Португалии», находил для «романтических бредней» вроде независимости Польши лишь несколько пустых фраз или, как он это обыкновенно называл, «мнение». Когда оппозиция или необходимость заставляли его считаться с «общественным мнением», он предлагал свое «мнение» русскому или австрийскому правительству, но всегда в такой форме, что государства Священного союза отлично понимали, что это «мнение» почтенного лорда не обязывает их ни к чему другому, кроме быстрого энергичного действия в противоположном духе. По отношению к полякам он остался верен этой политике также впоследствии, и трудно сказать, кто принес польскому восстанию 1863 года больше вреда, он или Бисмарк. Удивительно только то, что Пальмерстон всегда находил достаточно наивных людей среди английских «радикалов», польских эмигрантов и континентальных либералов, принимавших всерьез его мнения ¹⁾. «Угнетенные национальности» и стремления, которые казались деспотам Священного союза и испанским и неаполитанским Бурбонам порождением «революционного духа», а на самом деле были лишь безобидными конституционными упражнениями, служили «либеральному» Пальмерстону средством давления в его дипломатической игре с континентальными правительствами; причем он ради мигуточных выгод своего отечества самым циническим и бессовестным образом приносил в жертву те самые народы, которые он якобы брал под свою защиту.

Что отличает его от континентальных коллег—лишь в Наполеоне и Моррии он имел достойных партнеров, вышедших из той же школы,—так это то, что он внес во внешнюю политику методы биржевой игры и всегда обнаруживал необыкновенно тонкое понимание интересов лондонской биржи. Как ни воинственен он в своих заявлениях, но он постоянно избегал войны, если это не была война против слабого противника или война в надежной компании. Но зато он всегда ценил неопасные конфликты, которые вносят оживление в торговлю, заставляют колебаться биржевые фонды, тем более, что его собственные Ротшильды не имели никакого основания жаловаться, подобно парижским, на

¹⁾ Так Гилебранд («Zeiten, Völker und Menschen», 3. Band, «Aus und über England», S. 72—86) сообщает нам, что Пальмерстон постоянно защищал дело угнетенных, что он никогда не делал ни одного сомнительного шага, что никто вернее его не следовал высшим принципам чести и истины!

то, что он не всегда оповещает их заранее о предпринимаемых им действиях. Другим его любимым правилом, особенно превозносимым его секретарем и биографом, было рассматривать каждое дипломатическое дело лишь с точки зрения непосредственно данного момента, под углом тех выгод, которые оно может принести сегодня, немедленно же, не ломая своей головы над тем, какие последствия оно может иметь в будущем. «Довлеет днєви злоба его», а потом уже какой-нибудь выход найдется. «Доктринерство» было ему столь же ненавистно, как и «романтика».

Поэтому, хотя Маркс в общем и целом правильно изображает все противоречия пальмерстоновской политики, он все же постоянно впадает в одну и ту же ошибку, когда пытается то, что он называл «холопством» Пальмерстона по отношению к России, представить в виде непрерывной, *последовательной* руссофильской политики. Во всех случаях, когда он, в соответствии с действительными фактами и вопреки господствующей легенде, разоблачает в Пальмерстоне друга России, он забывает спросить себя, не поставлен ли как раз в этот момент на карту какой-либо интерес, непосредственно затрагивающий Англию и представляющий благородного лорда надевать свою русскую маску. Так величайшая победа восточной политики России в 1833 г., Унклар-Скелесский договор, делавший русского царя протектором Турции, объясняется тем обстоятельством, что для Пальмерстона в тот момент на первом плане стоял антагонизм с Францией, действовавший в высшей степени агрессивно как в Бельгии, так и в Африке. Но зато после, когда он, по словам его поклонников, «создал» «независимую Бельгию» в качестве защитного вала против Франции, он обратился против России. Он поддерживает руссофильскую политику Уркорта, тогда секретаря посольства в Константинополе, ратует за целостность Турции, против которой он еще несколько лет тому назад так определенно выступал, содействует опубликованию «Портфолио», закрывает с польскою эмиграцией, имея в виду создать для России, демонстративно усиливавшей тогда свой флот на Балтийском и Черном морях, затруднения на Кавказе и в Польше. Но тут снова начались осложнения с Францией из-за испанского вопроса, и Пальмерстон опять делает поворот. Он самым циничным образом выбрасывает за борт Уркорта, нагло отрицает свое участие в «Портфолио» и в других делах, предпринятых Уркортом и поляками с его ведома, как, например,

посылка торгового судна «Виксен», и подставляет под удары оппозиции своего помощника Бэгауза, снимая с себя всякую ответственность за все это. Но в лице Уркарта он натолкнулся не на обычный тип чиновника, которого начальство по мшованию надобности может без длинных разговоров выбросить вон, точно выжатый лимон, но на необыкновенно энергичного и талаатливого человека, совершенно не склонного подчиниться своей участи без борьбы. Уркарт защищает себя так умело, приводит так много доказательств, что даже «общественное мнение» вынуждено признать, что Пальмерстон сыграл во всей этой истории весьма непримлядную роль (ср. «Мемуары» Гренвилля, IV, стр. 121—125, 164, 165) и нанес сильный удар «национальной чести и достоинству английских государственных деятелей».

Вскоре после этого наступает новый конфликт с Францией из-за Египта. Восточный вопрос снова ставится во всем своем политическом объеме, и Пальмерстон превращается в «убежденного» руссофила. В союзе в России он объединяет «всю Европу», совершенно изолпует Францию и принуждает ее к «позорному» отступлению. На раздающиеся в Нижней палате голоса, что «если бы Россия имела в британском парламенте человека, исключительно преданного ее интересам, он не мог бы служить ей более старательно», Пальмерстон ответил следующей аполгиею России: «Долг справедливости и искренности заставляет меня заявить, что ни одна держава ни в одном вопросе не могла бы действовать с большею честностью и большею добросовестностью, чем действовало русское правительство по отношению к другим державам в вопросе о Турции. Я считаю себя обязанным сказать это, ибо точно знаю все обстоятельства настоящего случая. О намерениях России мы можем судить только по ее поведению, и я должен сказать, что несправедливо упрекать эту державу в том, что ее поведение носит характер, враждебный неприкосновенности Турецкой империи».

Эта полоса деятельности Пальмерстона не нашла себе места в сочинении Маркса. Если бы Маркс довел свое изложение еще дальше, если бы он рассмотрел период 1846—1851 гг., когда Пальмерстон был в третий раз министром иностранных дел, он мог бы найти еще больше доказательств в пользу того, что «лорд-поджигатель» был до 1853 года менее всего руссофобом. До революции 1848 года он ведет яростную борьбу из-за Испании

с Францией и из-за Сицилии с Австрией. Во время революции он не ударяет пальцем о палец для того, чтобы выступить против агрессивных действий России; он одобряет продвижение русских войск в придунайские княжества и, несмотря на свою горячую любовь ко всем «угнетенным национальностям», спокойно взпрает на то, как Россия усмиряет венгров. Он снова играет роль «либерала» в деле с венгерскими эмигрантами, но лишь после того, как убедился, что Россия уже не поддерживает венгерского правительства в его главном требовании. В деле Пасифико, где «старый» филэллин, придравшись к плохо обоснованному денежному требованию, выпустил против маленькой Греции весь английский флот для блокады этой страны, он имеет своим противником опять-таки не Россию, но Францию, с которою доводит дело до разрыва дипломатических сношений, чтобы впоследствии уступить в главном вопросе, а через год после этого приветствовать с энтузиазмом Наполеона как творца государственного переворота.

Маркс, который, как мы видели, уже раньше указывал на контр-революционную роль Пальмерстона в 1848—1849 гг., был поэтому вполне прав в 1853 году, делая из всей прежней карьеры Пальмерстона тот вывод, что ничто не может быть печальнее взгляда, будто почтенный лорд является непримиримым врагом России. Правда, при этом он впал в противоположную крайность, но именно эта ошибка предохранила его от иллюзий, которые пытались другими представителями революционной эмиграции. Если он ошибался во второстепенном вопросе, то зато он оказался правым в главном вопросе, в отличие от Барбеса, Кинне, Гюго, Лассалля. Пальмерстон и Наполеон, эти беззащитные враги рабочего класса и демократии, ни в какой мере не собирались оказывать какие-либо услуги делу революции или серьезно вести войну против русского деспотизма. Освободительная война под руководством подобных господ могла быть только «показной войной».

МАРКС О ПАДЕНИИ КАРСА

I

Если не считать взятия маленькой крепости Кинбурга, последовавшего 17 октября 1855 г., союзники в течение долгих месяцев пребывали в бездеятельности у развалин Севастополя. Русские, по-

топившие сами остаток Черноморского флота, крепко держали в своих руках почти весь Крым, но не обнаруживали никакого желания считать себя побежденными и просить мира. Моральный вес завоевания Севастополя грозил в значительной степени сойти на нет благодаря прекращению всякого решительного продвижения вперед со стороны союзников и тем паче, что русские развивали энергичное наступление на азиатском театре военных действий и окружили крепость Карс со всех сторон. Русские надеялись взятием этого ключа к Малой Азии отыграться и затем вести с западными державами переговоры о мире не в роли разбитой, а равноправной державы.

Карс был, кроме того, хорошим объектом для обмена в целях получения обратно потерянных пунктов. Если Россия продолжала оставаться «немой», то она, по выражению Горчакова, не была «глухой» в отношении к мирным предложениям.

Франция энергично настаивала на мире. Продолжать войну возможно было, только расширив ее базу. Перенести центр тяжести на Кавказ и в Малую Азию, чего хотели англичане, Наполеон не мог, и тем более, что во Франции и без того открыто утверждали, что война в Азии служит только английским интересам, имея своей задачей защиту Индии. Чтобы воодушевить французов в пользу войны, нужны, как Наполеон объяснял английской королеве и ее супругу, более возвышенные военные цели—более французские, более национальные: Польша, Италия, левый берег Рейна. А так как Англия на это не соглашалась, так как там ни под каким видом не думали вести «национальную войну», то не оставалось ничего другого, как искать других союзников, с помощью которых можно было заставить Россию скорее заключить мир. После Сардинии шла Швеция, но в первой линии шли немецкие государства и Австрия. Пруссия продолжала упорно соблюдать нейтралитет и еще меньше, чем раньше, высказывала охоту принять участие в войне. Напротив, Австрия очень охотно воспользовалась случаем освежить союз с Францией. Четыре пункта после падения Севастополя и полного уничтожения Черноморского флота перестали для России быть непримлемыми. Больше того: казалось вероятным, что Россия сейчас, будучи сильно ослаблена, под угрозой присоединения Австрии к западным державам, будет вынуждена пойти на уступки. Поэтому решено было дать первому пункту более резкую редакцию. В обмен на крепости и области,

которыми завладели союзники, Россия должна была дать свое согласие на «исправление» ее границ с Турцией и, таким образом, уступить приднестровским княжествам половину Бессарабии. Третий пункт тоже подвергся изменениям. Вместо ограничения, вместо «точного определения» русских морских сил было выставлено требование «нейтрализации» Черного моря.

Эти предварительные условия были приняты, причем Англия не принимала участия в переговорах. Когда в Лондоне были получены эти условия мира, их там читали с большим интересом, но, как писала королева Кларендону, «не без тягостного чувства сознания, что в восточном вопросе и в войне наступают большие изменения, которые мы не в состоянии направлять, о которых мы можем даже не иметь точных сведений». Пальмерстон настоял на том, что Англия не может принять предложенные ей условия мира так, как они есть. Ввиду этого третьему пункту была дана более резкая редакция и затем был прибавлен пятый пункт, который за воюющими державами «оставлял право прибавлять в европейских интересах к четырем пунктам особые условия». Под требованиями, которые должны были дать этому пункту реальное содержание, имелись в виду срытие Николаева, запрещенное укреплять восточный берег Черного моря, уступки в пользу кавказских горных племен и т. д.

Когда эта редакция была принята в Лондоне и в начале декабря послана в Вену, откуда Австрия должна была передать ее в Петербург в виде ультиматума, в Европе еще не знали о падении Карса. Только 12 декабря падение Карса стало здесь известно. Австрия в виду этого сочла удобным оставить пятый пункт открытым и не упоминать специальные требования Англии. Между тем Россия отклонила и более мягкие условия. Россия думала, что Карс является достаточной компенсацией, и об «исправлении» границ она и слышать не хотела. Австрия, которая уже не могла идти назад, держалась прочно: Франция оказывала сильное давление на маленькие немецкие государства, заявляя, что Германия будет нести ответственность за исход дела мира. Таким образом, Россия была вынуждена уступить дружескому совету Пруссии и небольших немецких государств и принять 20 января предварительный проект. Россия, которая недавно спасла «честь своего оружия» завоеванием Карса, могла заявить, что она не

намерена продолжать войну из-за «второстепенных споров» и поэтому «склоняется перед желанием, высказанным всей Европой и коалицией, стремящейся принять все более обширные размеры».

II

Во всем этом Маркс совершенно прав. Без падения Карса не было бы пяти пунктов, не было бы конференции, не было бы Парижского договора. Совсем другое дело, входило ли в планы кабинета Пальмерстона с самого начала падение Карса и проводил ли он его систематически до конца, как Маркс хочет доказать в своих статьях.

«Когда в Лондон прибыло известие, — пишет Либкнехт в корреспонденции для *«Allgemeine Zeitung»* (2 февраля 1856 г.), лондонским сотрудником которой он являлся с сентября 1855 г., — что Карс взят русскими, *«Morning Chronicle»* (орган Гладстона) выразила ликование. Она была того мнения, что сейчас нет никаких препятствий для заключения мира. Ее заблуждение длилось недолго. Падение Карса стало скоро опасным оружием в руках партии войны. Народ рассматривал падение Карса как результат дипломатического заговора, и с каждым днем все больше укреплялся в этой вере. Нет никакого сомнения, что здесь, вольно или невольно, а было совершено большое преступление».

В конце января 1856 г. появилась книжка Гемфри Седвича (*«Anarrative of the Siege of Kars»*, London, 1856), который проделал всю кампанию осады в качестве главного врача медицинского штаба. Это было живое описание всех страданий гарнизона и апология генерала Виллямса. «Нельзя отрицать, что падение Карса является пятном на блестящей военной славе союзников, — писал Седвич, — и блеск Англии потерпел благодаря этому такой урон, что не может не вызвать общего сожаления. Падение Севастополя было, несомненно, большим триумфом, который должен был оказать огромное влияние на всю Европу и весь Запад, но азиаты вряд ли знали о существовании этой крепости, тогда как толпы страствующих дервишей и факиров из Центральной Азии, Персии и северной Индии неоднократно посещали Карс и убеждены в его большом значении. Эти люди заменяют на Востоке газеты, и распространяемые ими вести должны будут отразиться

неблагоприятным образом на престиже Англии» («Die Geschichte der Eroberung von Kars», Braunschweig, 1856, § 333).

Сендвис твердо убежден, что Карс можно было выручить. Сендвис, главным образом, жалуется на Омера-пашу, который вместо того, чтобы высадиться у Трапезунда, сделал своей операционной базой Сухум-Кале. Другие, напротив, считали виновным или английского посланника в Константинополе, который, как «Times» неоднократно утверждал, не отвечал Виллиамсу на его телеграммы, или, как утверждает Маркс, само министерство.

«Измена по отношению к Карсу,—пишет он Энгельсу 5 марта,—становится очевидной при чтении книги известного Сендвиса (в переписке он ошибочно назван Свенон), недавно вернувшегося с Востока, измена не в последние дни, а раньше, с целью подготовить нынешнюю ситуацию». Ибо для Маркса было ясно, что не один Омер-паша виноват в задержании освободительной экспедиции. Как раз в феврале появился доклад Мак-Нейля и полковника Теллоха, которые руководили обследованном состоянии армии в Крыму; доклад снова доказал страшное невежество, небрежность и неспособность большинства офицеров. Дебаты в парламенте превратили военного министра Памюра в комическую фигуру. Между прочим, доклад Маркса дает нам объяснение, почему он Памюра называет «Take care of Dowb» Памюром или Памюром-шутом.

«Читал ли ты отчет о парламентском заседании в последнюю пятницу, в котором Эванс бросил Пальмерстону упрек, что он еще два с половиной месяца тому назад предупреждал его насчет Карса, но он тогда прикинулся неверящим; в этом заседании он рассказывает, что Памюр к телеграмме, в которой он пишет Симпсону: «You are nominated successor of Raglan» (вы назначаетесь преемником Раглана), прибавил: «Take care of Dowb» (обратите внимание на Dowb'a); несчастный Симпсон пишет: «Repeat your despatch» (повторите вашу телеграмму), и тогда Памюр—«лорд Карно», как его называет Эванс—отвечает: «Take care of Dowbiggin» (обратите внимание на Dowbiggin'a), одного из его двоюродных братьев.

С таким министром и такими офицерами, как Эрри и Гордон, которые, хотя и были скомпрометированы докладом Мак-Нейля, все же были назначены—один генерал-квартирмейстером, а другой—его заместителем, так как они были «двоюродными братьями»,

можно было ожидать чего угодно. Поэтому с большим нетерпением ожидали появления Спшей книги, которая должна была быть посвященной инциденту с Карсом. Первое издание, появившееся в начале марта, было сразу расхватано; спустя восемь дней вышло новое. Как только Маркс получил книгу, он обратился к Энгельсу с просьбой дать ей оценку с военной точки зрения. (В переписке письмо без даты, а было оно написано, очевидно, во вторник 11 марта 1856 г.).

«В ближайшем письме я отвечу на твое послание (очевидно, от 7 марта.—Д. Р.). Сегодня я ограничусь вопросом, на который попрошу ответить возможно более подробно. Я сегодня не посылал статью для «Tribune», так как не успел прочесть Сишю книгу о Карсе—я получил ее только вчера поздно вечером. Мою статью я отошлю в пятницу одновременно с той статьей, которую я жду от тебя. Теперь к делу: значительная часть Спшей книги военного характера; ты позже увидишь, можно ли что-нибудь с ней сделать. Но по одному пункту я хотел бы знать твоё критическое мнение, так как он имеет значение и для политико-дипломатической стороны дела, о чем мне придется писать уже в моей пятничной статье. Турки предложили в конце июня послать в Редут-Кале вспомогательную армию, а оттуда развивать операции на Кутаис и т. д. Английское правительство с своей стороны хотело послать вспомогательные войска в Эрзерум через Трапезунд, очевидно, бросив Карс, как незначительный пункт, и считая Эрзерум центральным пунктом сопротивления. Во всяком случае этим спорным вопросом удалось убить благоприятное для действий время».

Чтобы полностью информировать Энгельса по этому вопросу, Маркс приложил подробные выдержки из телеграмм. «Я признаюсь,—прибавляет он,—что стратегия Кларепдона и то тонкое различие, которое лорд Панмор-Карно делает в пользу севастопольского предприятия перед турецким планом стратегического движения в Грузию, кажутся мне в высшей степени курьезными».

Как статьи показывают, Энгельс был тоже такого мнения, что турецкий план был самым целесообразным или, как говорит Маркс, «он был единственной стратегической идеей, вызванной всей войной». Что это мнение разделялось не всеми, видно уже из книжки Сепдвиса. Также и Рюстов («Der Krieg gegen Russ-

land», II, 90—104) самым резким образом критикует мингрельский поход Омера-пашы. Но он забывает, что турецкий генерал, как указывает Маркс, натываясь со всех сторон на препятствия, был вынужден приводить свой плад в исполнение слишком поздно и с недостаточными силами. Из Синей книги самым неопровержимым образом следует, что много времени было истратено самым бесполезным образом, и было сделано все, чтобы лишить Омера-пашу необходимых средств. Для Маркса, как и для остальных критиков, оставался открытым вопрос: кто и зачем был причиною тех промедлений, которые привели к падению Карса?

Загадочное бездействие союзников, которые в течение сентября, октября и ноября не двинулись и с места в Крыму, как будто ожидая зимнего времени, чтобы потом-то ничего и не делать, являлось и тогда предметом различных подозрений. Некоторые военные писатели объясняли его тем, что Пелиссье, завоеватель Севастополя, не был намерен подвергнуть добытую славу риску сражения. Но это объяснение не может быть принято: оно слишком «военного» характера. Это объяснение упускает из вида, что война в последнем счете обуславливается в зависимости от «политики», являясь ее продолжением, правда, «с применением других средств». Уже тогда не было сомнения, что между Парижем и Петербургом ведутся за спиной у англичан переговоры, не оставившие следа ни в одной телеграмме. Наполеон, хорошо знавший требования престижа, понимал, что Россия вряд ли будет склонна заключить мир сейчас же после поражения, что она будет ждать успеха, который восстановил бы честь ее оружия. И поэтому не в его интересах было дальше унижать Россию. Этим и объясняется упорное сопротивление, оказываемое им теперь англичанам, которые, в заботах о своем престиже, требовали энергичного продолжения войны. Ничто не причиняло такого огорчения ангельски-доброй королеве, читавшей военные бюллетени «с бьющимся сердцем» и горячими слезами, как мысль о том, что последнее английское военное выступление—штурм Редана—кончилось неудачей. «Она сейчас не может выступить в пользу мира,—писала «королева» Кларендону,—ибо она убеждена, что наша страна не сможет остаться в глазах у Европы такой, какой она должна и, по мнению королевы, хочет остаться после похода этого года. Честь и славу ее верной армии она принимает к сердцу самым близким образом, и для нее является

печальною мысль, что неудача у Редана окажется нашим последним военным делом; слова не в состоянии выразить, как тяжело ей будет заключить мир, если этот военный ход так и окажется последним».

Если такого мнения держалась королева Англии, тогда самой прогрессивной страной, чего можно было ожидать от императора варварской России? Заключить мир после такого «последнего военного хода», как Севастополь, означало бы еще больше унижить престиж России, чем это было до сих пор. И поэтому вполне естественно, что Наполеон, поставленный перед выбором вести дальше войну, пока англичане восстановят свой престиж новым военным успехом, предпочел не подвергать больше испытаниям русский престиж. Кроме того, его собственное положение во Франции могло бы только ухудшиться в результате продолжения войны. Это не значит, что Наполеон сознательно содействовал падению Карса; он только делал все, что было в его силах, чтобы как до падения Севастополя, так и после него не оказывать активной помощи англичанам, не располагавшим подходящими войсками. Хотя Синая книга была тщательно отрецензирована правительством, все же во многих телеграммах остались следы этой политики. Что и в Англии внутри правительства и в особенности среди оппозиции ее величества находились люди, с тревогой относившиеся к новому крупному успеху союзников, который мог бы продлить войну, показывает пример «Morning Chronicle», приветствовавшей падение Карса как серьезный шаг на мир.

Таким образом есть основание для подозрений, что если падение Карса и не *подготавливалось* систематически с самого начала, как полагает Маркс, то все же Наполеон, для которого оно являлось желательным, не *помешал* ему совершиться. Английское правительство, а главным образом Пальмерстон, который всегда был занят только одним делом, был слишком поглощен Севастополем, чтобы уделить достаточно внимания положению дел в Азии. Значение возможного падения Карса стало ясно правительству позже, по тогда оно было бессильно. Составленная им Синая книга имела своей задачей взвалить всю вину на турок и на Стратфорда, не оскорбляя «дорогого союзника». Задача была не из легких. Этим и объясняются те многочисленные подделки, которые Маркс констатировал в своих статьях и заставившие его

притти к заключению, что английское правительство само стремилось не оказывать гарнизону помощи и таким образом благоприятствовало падению Карса.

III

Каким образом он пришел к такому заключению, какого метода он при этом держался, Маркс подробно рассказывает в своем письме к Энгельсу от 10 апреля 1856 г.: «Что касается документов, относящихся к Карсу, то «Times» перечислил в трех пламенных передовицах ту часть из них, которая относится к периоду от августа 1854 г. до февраля 1855 г. и не касается самой интересной и самой важной эпохи. Цель была очевидной. Она заключалась в стремлении взвалить всю ответственность на Редклиффа и турецких пашей в Азии. Самое интересное тут то, что английское правительство, как ты увидишь из сочинения Дестрплла, насильно удерживало у кормила правления жалкое турецкое министерство Решиды и частью поддерживало, частью не обращало внимания на те мерзости, которые вызывали постоянные жалобы Виллнамса. Но все это вещи второстепенного характера. Я при помощи способа, который я уже использовал при разоблачении Штибера, т. е. путем указания фальшивых дат и сфабрикованных вставок, доказал, и по моему совершенно неопровержимо, существование у руководителей правительства плана и систематического его выполнение,—плана не мешать падению Карса,—причем правительству еще посчастливилось и на этот раз выказать себя по сравнению с Наполеоном энергичным сторонником войны. Чисто военной стороны, т. е. защиты Карса, я не касался, все же питаю некоторые сомнения насчет «величия» Виллнамса».

Бухер идет еще дальше Маркса. Он полагает, что и Виллнамс был посвящен в этот план. «Осенью 1855 г.,—рассказывает он,—в главной квартире союзников господствовало сильное стремление к миру; была сделана попытка зондировать почву в Петербурге. Ответ был таков, что Россия не начнет переговоров, пока она не добьется военного успеха. Устроить России успех на французском или английском фронте, конечно, не было охоты, хотя временами это и было возможно. Но как обстоял вопрос с армянским театром военных действий, который очень мало занимал союзников и был очень важен для русских ввиду их пре-

стижа в Азии? Муравьев пытался взять Карс штурмом в сентябре, но был отбит. Укрепления были прочны, гарнизон храбрый, только провиант был на исходе. О том, как могло случиться, что Омер-паша, вместо того чтобы идти на выручку Карса, был вынужден предпринять бесполезный поход на Кавказ; о том, что сэр Виллиам Карсский делал и чего не делал в крепости, героем которой он был выставлен; о том, что означают его речи в Англии и его шпага чести—обо всем этом имеются данные в «Papers relating to Military Affair in Asiatic Turkey and the Defence and Capitulation of Kars», London, 1856. Эта Синяя книга изготовлена с особой тщательностью. «Собирание документов по поводу Карса,—сказал Пальмерстон в заседании от 4 апреля 1856 г.,—потребовало большой заботливости и внимательности не только от лиц, занимающих низшее положение в министерстве иностранных дел, но и со стороны особ, занимающих там высокие посты». Но эти высокопоставленные особы плохо сделали свое дело. В одной телеграмме генерала Симпсона к лорду Стратфорду от 16 июля (приложение к № 70) и в другой телеграмме лорда Стратфорда к графу Кларендону от 8 августа (№ 282) остались места, которые бросают яркий свет на те, что уже при внимательном чтении документов вырисовывается, несмотря на искусственно созданный туман. Посвященная этому вопросу работа, сделанная объективно, юридически, как какой-нибудь криминалистический реферат, не была принята либеральными немецкими газетами, но даром все же не пропала; она была напечатана «Aftonbladet», в какой-нибудь историк ее потом, быть может, и раскопает (*Bucher, Der Parlamentarismus wie er ist, §§ 266, 267*). Это место написано Бухером в 1881 г. после пятнадцатилетнего занятия тайнами дипломатического искусства и после его участия в Берлинском конгрессе.

Не подлежит никакому сомнению, что Бухер был знаком с работой Маркса (обе делешп, на которые он ссылается, были Марксом подробно разобраны). Равным образом знал он и другую статью Маркса, которую мы здесь не приводим, написанную для «Free Press», Уркорта (3 мая 1856 г.). В статье под заглавием «Kars Papers Curiosities» Маркс, в отличие от своих статей в «People's Paper», приводит в «объективной, юридической форме, как в криминалистическом реферате», разделив на пять рубрик, все самые замечательные подделки, вставки, обманы, ложь и сказки, встречающиеся в Спней книге.

Как велика была сенсация, вызванная статьями Маркса, появившимися до больших парламентских дебатов, посвященных Карсу, и в тех кругах, в которых вращался Бухер, показывают опубликованные в «Free Press» (16 и 19 апреля 1856 г.) протоколы заседаний шеффельдской комиссии по иностранным делам. В обоих заседаниях статьи Маркса читались и подвергались обсуждению. Председатель заявил, что др. Маркс своим остроумным анализом Синой книги, посвященной Карсу, заслужил благодарность страны. В исполнение этого постановления секретарь комиссии Вильям Сипльс написал 6 мая следующее «комическое послание» Марксу (сообщенное им в письме к Энгельсу от 8 мая 1856 г. и позже отпечатанное в качестве приложения к «Господину Фогту»): «Шеффилдская комиссия по иностранным делам уполномочила меня передать вам выражение ее теплой признательности за ту большую услугу, которую вы оказали обществу своей превосходной критикой документов, относящихся к Карсу, помещенной в «People's Paper».

Остаюсь уважающий Вас...

Большие дебаты по поводу Карса в Нижней палате, начавшиеся в конце апреля и длившиеся несколько дней, кончились победой правительства только потому, что Пальмерстон открыто заявил, что условия спасения Карса находились в руках «верного союзника». Эти дебаты обнаружили с очевидностью новые доказательства того, как западные державы оскорбляли протектируемую ими Турцию. Они устанавливают, что Порты неоднократно настаивала на спасении Карса, что приведение этого в исполнение кончилось неудачей благодаря сопротивлению и сомнениям западных держав, главным образом французского правительства.

Новые разоблачения бросают также свет и на личность героического защитника крепости, сверх всяких мер превозносимого генерала Виллиамса. Его хвастливые заявления встретили эпергичный отпор со стороны венгерского генерала Кмети (Измаил-паша), а ответ в Сиюю книгу, появившийся в Константинополе («Карс и генерал Виллиамс», «Allgemeine Zeitung» 22 и 26 июля, 12, 14 и 15 августа 1856 г.), показал, что бравый генерал был скорее чиновник-писак, который своими бесчисленными телеграммами приводил, как полководец, в отчаяние также и Стратфорда. Маркс, который в раньше питал сомнения насчет его «величия», позже в «Капитале» посвящает ему презрительное замечание.

Хотя эти статьи предназначались для «Tribune» и первая из них, как это вытекает из письма Маркса к Энгельсу, являлась обработкой статьи из «Tribune», нам не удалось найти ее. Очень возможно, что, несмотря на утверждения обоих Эвелингов, редакция не поместила этих статей, как и многие другие работы Маркса и Энгельса того времени. В одной передовой статье («New-York Tribune», 25 января 1856 г.) падение Карса ставится исключительно в вину туркам и объясняется их фатализмом и тупоумием. Слабый отзыв статей Маркса мы еще находим в двух больших корреспонденциях, написанных В. Либкнехтом для «Allgemeine Zeitung» (4 и 5 апреля 1856 г., «Синяя книга по поводу Карса»). Чтобы не оскорблять великих государственных людей, редакция, очевидно, вычеркнула самые сильные выражения. Конституционное правительство в роли сознательного фальсификатора официальных документов—это представление было слишком сильным для континентального либерализма. Только четыре года спустя министерство ториев доказало, что Синие книги порой содержат больше подделок, чем книги спекулятивных банков. И главным виновником явился тот самый Пальмерстон, который так усердно редактировал для общественного мнения Синюю книгу по поводу Карса.

К. МАРКС И Ф. ЭНГЕЛЬС О ПОЛЬСКОМ ВОПРОСЕ

I

Известно, какую выдающуюся роль во всех программах европейской демократии после июльской революции играл лозунг восстановления независимой Польши. Сочувствие к угнетенным полякам сочеталось с ненавистью к главнейшим участникам «Священного союза», к русскому царизму, и в восстановлении Польши усматривали лучшее средство для ослабления «варварской России» и упрочения завоеваний предстоящей новой революции.

Как ни резко противопоставляет себя буржуазной демократии демократия пролетарская, как она выразилась в произведениях Маркса и Энгельса, все же она заимствовала из буржуазной политической программы, вместе с другими политическими требованиями, и требование восстановления независимой Польши. Отличие лишь в том, что оба основателя научного социализма старались подкрепить это требование новыми доводами, а также с самого начала стремились противодействовать иллюзиям польских революционеров.

Было бы, однако, ошибочно думать, что взгляды их на польский вопрос оставались неизменными в течение всего того времени, когда продолжалась их совместная теоретическая работа, т. е. от 1844 года до смерти Маркса (1883) и, если иметь в виду дальше взгляды одного Энгельса,—до смерти последнего (1895). Они так же изменялись, как их позиция в других вопросах. Следует к тому же принять во внимание—а об этом часто забывают,—что взгляды Маркса и Энгельса не всегда совпадали, что те взгляды, которые считались их общими взглядами, являлись результатом борьбы мнений между ними; далее, что во многих вопросах их мнения уже потому не всегда совпадали, что Маркс и Энгельс приходили к ним,

исходя из различных—как научных, так и практических—пред-
посылок.

В дальнейшем я пытаюсь впервые собрать воедино мнения Маркса и Энгельса по польскому вопросу, и притом одинаково как их совместные выступления, так и те их заявления, которые они делали в том или ином случае в течение сорока лет каждый отдельно и из которых многие до сих пор оставались неизвестны. Я ставлю себе задачу чисто повествовательную. Я заранее отказываюсь от всякой критики даже тогда, когда взгляды Маркса и Энгельса прямо требуют ее. Целью моей работы является исключительно стремление представить по возможности исчерпывающий вопрос.

II

После польского восстания 1830—1831 годов, сделавшего невозможным поход «Священного союза» против революционной Франции, подобно тому как восстание 1794 года расстроило совместное выступление абсолютистских держав,—Польша вплоть до 1846 года оставалась видимо совершенно спокойной. Несмотря на это, период этот был для революционной польской эмиграции временем внутренней борьбы и самокритики. Отдельные попытки вызвать в Польше новое восстание кончались неудачей. Но с каждым днем становилась все более глубокой пропасть между аристократической частью польской эмиграции, придававшей громадное значение помощи западно-европейских правительств, и демократической ее частью, стремившейся сблизиться с западно-европейской демократией¹⁾.

Средоточием польского движения являлась сперва Франция (Париж, Пуатье, Безансон). Впоследствии часть поляков переехала, добровольно или будучи выслана французским правительством, в Лондон и Брюссель. В Брюсселе жил известный польский историк Иохим Лелевель, которого застали там в 1845 году Маркс и Энгельс²⁾. В Лондоне мы находим Людвига Оборского, который в сороковых годах участвовал там во всех международных мани-

¹⁾ Ср. «Emigracja polska od 1831 do 1863. Krótki rys historyczny». Lipsk, 1865; «Demokracja polska na emigracji, wyjątki z pism W. Heltmana», Lipsk, 1866; *L. Gadan*, Emigracja polska, Krakow, 1901.

²⁾ *L. Lawaszkiewicz*. Notice sur la vie de Joachim Lelewel, Bruxelles, 1862. Письмо Лелевеля к Марксу напечатано в книге последнего «Herr Vogt», p. 188.

фестациях и поддерживал тесные дружеские отношения как с чартистами, так и с членами Немецкого коммунистического рабочего союза, в особенности с Карлом Шапфером. В Портсмуте возникла также первая польская революционная организация («Народ польский»), включившая в свою программу уничтожение частной собственности. Но гораздо большим влиянием пользовалось самое активное в то время польское революционное общество («Польское демократическое общество»), основанное еще в 1843 г. в противовес руководимой Чарторыйским аристократической частью эмиграции. Главную причину неудачи польской революции польские демократы видели в эгоистических тенденциях аристократии. Они полагали, что спасение Польши не только в вооруженном восстании, но и в одновременной с ним радикальной и демократической революции. Они хотели поэтому апеллировать к народу, к крестьянству, и, в соответствии с этим, включили в свою программу требование освобождения крестьян и крестьянского землевладения от феодального гнета. В этом направлении общество при помощи своих агентов развило деятельную пропаганду во всех трех частях Польши¹⁾.

В 1845 году под влиянием секций, работавших в Пруссии и Австрии, общество решилось подготовить новое восстание. План военных действий должен был выработать член правления генерал Мерославский. В декабре 1845 года последний отправился в Познань и Краков. 24 января 1846 года в Кракове было учреждено национальное правительство, которое затем выпустило 22 февраля манифест, обещающий крестьянам уравнение в правах, равно как свободное владение обрабатываемой ими в течение столетий землей²⁾.

Как известно, восстание это кончилось неудачно. Мерославский уже 12 февраля 1846 года был арестован в Познани. В русской Польше оно выразилось лишь в быстро подавленной вспышке в Седлеце. В Галиции сами крестьяне помогали подавлять вос-

1) Ср. В. *Limanowski*, *Historja ruchu spolecznego w XIX stuleciu*, Lwow, 1890; W. *Narkiewicz-Jodko* i S. *Dyksztejn*, *Polski sojalizm utopijny na emigracji*, Krakow, 1907; S. *Szpotanski*, *Lud Polski*, Lwow, 1907.

2) А. *Piller*, *Historja Powstania narodu polskiego w 1861—64*, Paryż, 1867—1871, том III; *Krajewski*, *Tajne związki polityczne w Galicyi, 1833—1841*, Lwow, 1903; В. *Limanowski*, *Historja demokracji polskiej w epoce porozbiorowej* Zuruch, 1901, девятый отдел.

стание. Последний остаток старой независимой Польши, независимая республика Краков была присоединена к Австрии.

Но это восстание вновь пробудило в европейской демократии симпатии к несчастной Польше. Оно явилось прологом революционных движений, наполнивших весь 1847 год и закончившихся революцией 1848 года. Определенно социальный характер восстания, выгодно отличавший его от восстания 1830—1831 годов, попытка апеллировать к самому народу, ковчавшаяся таким трагическим образом, завоевали теперь полякам новые симпатии и в рабочем классе. Можно сказать, что восстановление Польши лишь со времени краковского восстания сделалось одним из основных принципов внешней политики рабочего класса в Англии, Франции и Германии. То, что раньше напоминало скорее симпатии к угнетенным грекам, что в сущности являлось стремлением немногих идеологов или ни к чему не обязывающим участием образованных слоев,—стало теперь общим требованием рабочего класса, пачинавшего свою освободительную борьбу. Так восстановление Польши, наравне с борьбою итальянцев и венгерцев за свою национальную самостоятельность, стало одним из практических интересов международного демократического движения.

Это объясняет нам, почему с 1847 года польский вопрос неизменно стоит в порядке дня каждого значительного международного собрания европейских демократов. Подобно уже упомянутому Л. Оборскому, который выступает в Лондоне членом международной организации «Fraternal Democrats», польские эмигранты в Брюсселе—Лелевель, Люблинер и др.—принимают участие в создании «Association démocratique», председателем которой являлся Жотран, а товарищами председателя—Маркс и Имбер (ноябрь 1847 года) ¹⁾.

По поручению этого общества Маркс передал «Братским демократам» в Лондоне сочувственный адрес, когда отправился с Энгельсом в Лондон для участия на конгрессе другого международного общества, всего лишь за несколько месяцев перед тем основанного «Союза коммунистов». Маркс выполнил поручение в собрании, созванном 29 ноября 1847 года обществом «Братских демократов» в память польского восстания 1830 года; в этом собра-

¹⁾ Ср. *L. Bertrand, Histoire de la démocratie et du socialisme en Belgique depuis 1830, Bruxelles, 1906, t. I, pp. 250—270; L. Jottrand, Charles-Louis Spilthorn, Bruxelles, 1872.*

нии он и Энгельс впервые говорили публично о польском вопросе и о его значении для европейского пролетариата ¹⁾.

В своей речи Маркс рассматривает польский вопрос как часть общей освободительной борьбы народов, которую он ставит в связь с радикальным изменением отношений собственности, и выступает как международный коммунист, ожидающий этого освобождения от социальной революции:

«Для того чтобы народы могли действительно объединиться, они должны обладать общими интересами. Но, для того чтобы их интересы стали общими, должны быть уничтожены современные отношения собственности, ибо современные отношения собственности обуславливают взаимную эксплуатацию народов: в уничтожении современных отношений собственности заинтересован лишь один рабочий класс. Да и он только один обладает средствами для выполнения этого. Победа пролетариата над буржуазией является вместе с тем победой над национальными и промышленными столкновениями, которые ныне враждебно противопоставляют один против другого различные народы. Победа пролетариата над буржуазией является поэтому одновременно и сигналом к освобождению всех угнетенных наций.

«Впрочем, старая Польша погибла, и мы, меньше кого бы то ни было, хотели бы ее восстановления. Но погибла не только старая Польша. Погибла старая Германия, старая Франция, старая Англия, погибло все старое общество. Но гибель старого общества не составляет утраты для тех, кому нечего терять в старом обществе, а таких громадное большинство во всех современных государствах. Напротив, они лишь выиграют от гибели старого общества, которая повлечет за собою возникновение нового общества, уже больше не основанного на классовых противоречиях.

«Из всех стран в Англии наиболее развились противоречия между пролетариатом и буржуазией. Победа английских пролета-

¹⁾ Отчет об этом собрании дали «Немецк. брюсс. газета» от 9 и 12/XII и парижская «Реформа» от 5/XII 1847. — Последний отчет переиздан в издании Ш. Андера «Комм. манифеста» («Социал. библиотека», № 8). Париж, 1901, стр. 76 — 79, а также вместе со второй статьей «Реформы», приписываемой Энгельсу, в «Документах социализма» *Бернштейна*, т. I, стр. 218 — 224. *Фр. Меринг*, Материалы для партийной истории, «Neue Zeit», XX, 2, стр. 545 — 548, воспроизводит речи Маркса и Энгельса по тексту «Нем. брюсс. газ.». См. также *Е. Dolléans*, *Le chartisme*, Paris, 1913, t. I, pp. 397 — 404.

ривев пад английской буржуазней имеет поэтому решающее значение для победы всех угнетенных над их угнетателями. Польша ввиду этого будет освобождена не в Польше, а в Англии. Вам, чартистам, поэтому неслучайно высказывать благочестивые пожелания об освобождении угнетенных наций. Разите своих собственных внутренних врагов, и вы тогда сможете питать гордое сознание, что поражаете при этом все старое общество».

Иначе выступает Энгельс который, в отличие от Маркса, говорит в качестве немецкого демократа, желающего доказать, почему немецкая демократия особенно заинтересована в освобождении Польши. Во второй части своей речи он говорит в том же духе, что и Маркс:

«Позвольте мне, друзья мои, в виде исключения выступить сегодня в моем качестве немца. Мы, немецкие демократы, особенно заинтересованы в освобождении Польши. Немецкие монархи извлекают выгоду из раздела Польши, немецкие солдаты и по сегодня еще угнетают Галицию и Польшу. Мы, немцы, и прежде всего мы, немецкие демократы, должны позаботиться о том, чтобы смыть это пятно с нашей нации. Ни одна нация не может освободиться, продолжая угнетать другие нации. Освобождение Германии, таким образом, не может совершаться, пока не произойдет освобождения Польши от гнета немцев. И потому Польша и Германия имеют общий интерес, и потому польские и немецкие демократы могут сообща работать над освобождением обеих наций.

«Я держусь также того мнения, что первый решительный удар, который будет иметь своим последствием победу демократии, освобождение всех европейских стран, будет нанесен английскими чартистами; я провел в Англии много лет в течение этого времени открыто примыкая к чартистскому движению. Но английские чартисты восстанут первые потому, что именно в Англии борьба между буржуазией и пролетариатом наиболее ожесточенная. А почему она наиболее ожесточенная? Потому что в Англии, благодаря современной промышленности, благодаря машинам, все угнетенные классы слились в единый многочисленный класс, объединенный общими интересами, в класс пролетариата; потому что в силу этого на противоположном полюсе объединились в единый класс буржуазии все классы угнетателей. Это упростило борьбу, и поэтому ее можно будет кончить одним решительным и сильным ударом. Разве это не так? Аристократия не обладает уже в Англии

никакой властью, буржуазия господствует одна, ведя на поводу аристократию. Но буржуазии противостоит вся пародная масса, объединенная в могучую фалангу, победа которой над господствующими капиталистами надвигается все ближе. И этим упитожением противоположных интересов, которые раньше поддерживали рознь различных групп рабочих, этим уравнением положения всех рабочих вы обязаны машинному производству; без машинного производства не было бы чартизма, и если даже оно временно ухудшило ваше положение, то все же именно благодаря этому оно делает нашу победу возможной. Но не только в Англии, по всех других странах оно оказало такое же воздействие на рабочих. В Бельгии и Америке, в Германии машинное производство уравнило положение всех рабочих и изо дня в день все более уравнивает его; во всех этих странах рабочие заинтересованы в одном и том же, а именно—в низвержении угнетающего их класса, буржуазии. Это уравнение положения, это отождествление партийных интересов рабочих всех наций представляют собою результат машинного производства, которое поэтому остается величайшим историческим прогрессом.

«Что вытекает из этого для нас? Ввиду того, что положение рабочих всех стран одинаково, что одинаковы их интересы и одни и те же у них враги, они должны бороться совместно, должны объединению буржуазии всех народов противопоставить объединение рабочих всех народов».

Упомянутое собрание 29 ноября 1847 года было, однако, единственным, на котором Маркс и Энгельс выступали перед февральской революцией по польскому вопросу. Почти перед самой революцией они оба говорили в собрании, устроенном «Демократическим обществом» в Брюсселе во вторую годовщину краковского восстания, или, вернее, манифеста национального правительства. Факт этот до сих пор остается неизвестным всем вообще биографам Маркса и Энгельса, также и Луи Бертрау, который в своем названном выше сочинении посвящает много страниц «Демократическому обществу».

Собрание было организовано с помощью польских демократов Лелевеля и Люблинера. Ораторами выступали: бельгиец Сено, Маркс, Энгельс, Лелевель и рабочие Катс, Пеллеринг,

Валлау. Речей последних не сохранилось, зато имеются все остальные ¹⁾).

Речь Маркса построена теперь совсем иначе, чем произнесенная раньше в Лондоне. Он хочет выяснить своим слушателям значение краковского восстания. Он подчеркивает необходимую связь между политическим и социальным вопросами. Славный пример, данный краковским восстанием всей Европе, он видит в том, что оно связало дело национального освобождения с делом демократии и освобождения угнетенного класса. Именно поэтому освобождение не феодальной Польши, а демократической Польши становится делом чести всех европейских демократов. Энгельс, с своей стороны, доказывает, что неудача краковского восстания была победой демократической Польши над старой аристократической Польшей; что борьбе поляков против их угнетателей должна предшествовать борьба между самими поляками. Поэтому он критикует восстание 1830 года, которое, по характеру своему, скорее было консервативным. Лишь один член правительства—Телевель—понимал, что сделать революцию популярной можно единственно при условии уничтожения привилегий аристократии и раскрепощения крестьян, равно как и изменения позорного положения евреев. Только краковское восстание превратило польское дело в дело всех народов, из сочувственной фразы превратило его в практический вопрос для всех демократов. Особенно должна радоваться Германия, так как в лице демократической Польши у нее появился верный союзник, имеющий те же интересы. Ведь первой предпосылкой освобождения Германии и Польши является политическое революционизирование Германии, падение Пруссии и Австрии, отеснение России за Днестр и Двину.

В духе этих речей Маркс и Энгельс заявляют также в появившемся тогда «Коммунистическом манифесте»:

«Среди поляков коммунисты поддерживают партию, которая

¹⁾ Обе речи полностью напечатаны в брошюре, ныне весьма редкой, по моим сведениям имеющейся лишь в библиотеке имени Лигона Менгера в Институте общественных наук Венского университета: «Célébration, Bruxelles, du deuxième anniversaire de la révolution polonoise du 22 février 1846. Discours prononcés par MM. A. S. Senault, Karl Marx, Lelewel, F. Engels et Louis Lubliner, avocats». Bruxelles. C. G. Vogler. 1848.

ставит аграрную революцию необходимым условием национального освобождения, — ту самую партию, которая вызвала краковское восстание 1846 года».

III

Лишь полное знакомство с обеими брюссельскими речами делает вполне понятной позицию Маркса и Энгельса в польском вопросе во время революции 1848 года.

Те же принципы отстаивают они, приводя только больше исторических доводов и в полемической форме, против представителей буржуазных партий во франкфуртском парламенте, в своих статьях в «Новой рейнской газете», которые Меринг собрал под общим заглавием «Прения по польскому вопросу во Франкфурте»¹⁾.

«Один французский историк сказал: «Существуют необходимые народы» («Il y a des peuples nécessaires»). К числу этих необходимых народов в XIX столетии принадлежит, безусловно, народ польский.

«Но национальное существование Польши ни для кого не является более необходимым, чем как раз для нас, немцев.

«На что в первую очередь опирается с 1815 года, даже отчасти со времени первой французской революции, власть реакции в Европе? На русско-прусско-австрийский «Священный союз». А что объединяет этот «Священный союз»? Раздел Польши, из которого извлекали выгоду все три союзника.

«Пропасть, которую эти три державы вырыли между различными частями Польши, служит связью, соединяющей их друг с другом, *совместный грабеж сделал их* солдаторными друг с другом.

«С момента первого ограбления Польши Германия пошла в зависимость от России. Россия приказала Пруссии и Австрии оставаться абсолютными монархиями, и Пруссия с Австрией должны были повиноваться. И без того слабые и скромные усилия, в особенности прусской буржуазии, завладеть властью потерпели полное крушение ввиду невозможности отделиться от России, ввиду поддержки, которую Россия оказывала феодально-абсолютяцкому классу в Пруссии.

¹⁾ «Gesammelte Schriften von Marx und Engels», herausgegeben von F. Mehring Band III, pp. 134 — 182.

«К этому присоединялся и то обстоятельство, что с самой первой попытки подавления со стороны союзников поляки не только повели вооруженную борьбу за свою независимость, но вместе с тем революционно выступили против своих внутренних общественных отношений.

«Раздел Польши совершился благодаря союзу высшей феодальной аристократии Польши с тремя участвующими в разделе державами. Он отнюдь не представлял собою прогресса, как это утверждает экс-поэт г. Нордан, он являлся последним средством в руках высшей аристократии спастись от революции, он был от начала до конца реакционным.

«Следствием уже первого раздела явился вполне естественно союз остальных классов, т. е. дворянства, буржуазии городов и отчасти крестьян, как против угнетателей Польши, так и против отечественной высшей аристократии. Конституция 1791 года показывает, что поляки уже тогда вполне понимали, что их национальная независимость неразрывно связана с падением аристократии и с аграрной реформой внутри страны.

«Обширные земледельческие области между Балтийским и Черным морями могут избавиться от патриархально-феодального варварства лишь при посредстве аграрной революции, которая превратит крепостных или обязанных барщиной крестьян в свободных землевладельцев,—революции, совершенно аналогичной французской революции 1789 года в деревне. Польская нация имеет ту заслугу, что первая провозгласила это среди всех соседних с нею земледельческих стран. Первой попыткой реформы явилась конституция 1791 года; во время восстания 1830 года аграрная революция была выдвинута Лелевелем как единственное средство спасти страну, но слишком поздно была признана сеймом; во время восстаний 1847 и 1848 годов она была открыто провозглашена.

«С первого дня своего покорения поляки стали действовать революционно и этим заставили своих угнетателей сохранять патриархально-феодальные отношения не только в Польше, но и в прочих своих владениях. И, действительно, со времени краковского восстания 1846 года борьба за независимость Польши делается вместе с тем борьбою аграрной демократии—единственной возможной в Восточной Европе—против патриархально-феодального абсолютизма.

«И поэтому до тех пор пока мы помогаем угнетать Польшу,

пока мы приковываем часть Польши к Германии, пока мы остаемся прикованными в России и русской политике, — до тех пор мы не сможем и у самих себя основательно покончить с патриархально-феодальным абсолютизмом.

«Но восстановление Польши и установление ее границ с Германией не только необходимы, — это в то же время легче всего разрешимый вопрос из числа всех политических вопросов, возникших в Восточной Европе со времени революции. Борьба за свою независимость всех племен, пестро перемешанных южнее Карпат, отличается гораздо более сложным характером и требует много больше крови, осложнений и вызовов более упорную междоусобицу, чем польская борьба за независимость и установление границы между Германией и Польшей.

«Разумеется, речь идет не о создании призрачной Польши, а об образовании жизнеспособного государства. Польша должна получить, по крайней мере, границы 1772 года, должна сохранить не только бассейны, но и устья своих крупных рек и получить, по крайней мере, на Балтийском море обширную береговую полосу».

Критика польской аристократии здесь еще резче, чем в брюссельских речах. Только Польша крестьянской демократии, одновременно с восстановлением национального существования совершающая аграрную революцию, только независимая Польша, владеющая балтийским побережьем и устьями польских рек, только такая Польша может представить собою непреодолимую преграду русскому царизму. И гарантия, неизбежность восстановления такой именно Польши заключается не в развитии и укреплении исторических традиций, а в том, что Польша сделалась революционной частью России, Австрии и Пруссии, что она являлась очагом европейской демократии уже тогда, когда Германия погрязала в самой плоской конституционной и бессодержательной идеологии.

И как могла Германия гарантировать все это Польше? Только в том случае, «если бы она после революции имела мужество в своих собственных интересах потребовать от России с оружием в руках возвращения Польши».

Эта революционная война Германии против России привела бы не только к освобождению Польши.

«Война с Россией была бы полным открытием и действительным разрывом со всем нашим позорным прошлым, была бы действительным освобождением и объединением Германии, являлась

бы утверждением демократии на развалинах феодализма и мимолетной мечты о господстве буржуазии. Война с Россией являлась бы единственным возможным средством спасти нашу честь и наши интересы в отношении к нашим ганзейским соседям, в особенности в отношении Польши. На эту войну не отважились, и неизбежное случилось: разбитая в Берлине солдатчина реакции подняла вновь голову: в Познани под предлогом спасения германской чести и национальности, развернула знамя контр-революции и подавила наших союзников—польских революционеров. И ограбленная Германия короткое время выражала одобрение своим победоносным врагам. Был произведен новый раздел Польши, ему предоставляло лишь санкции германского национального собрания».

IV

Не подлежит никакому сомнению, что польски придавать одинаковое значение, как выражению политических взглядов, частным письмам, диктуемым переходящими настроением или особыми условиями, и произведениям, с самого начала предназначенным для печати. Тем не менее, и такие частного характера заявления представляют собой, хотя бы с биографической точки зрения, значительный интерес. Я поэтому даю здесь оводку всего того, что содержится в переписке между Марксом и Энгельсом по польскому вопросу. Ведь эта переписка за 1851—1864 годы часто является единственным источником для уяснения взглядов Маркса и Энгельса по различным вопросам.

Так, Энгельс подробно говорит о Польше в письме к Марксу от 23 мая 1851 года:

«Чем более я задумываюсь над историческим развитием, тем яснее становится мне, что поляки составляют *nation foutue*, нацию, которая лишь до тех пор может быть использована как средство, пока Россия сама не втянута в аграрную революцию. С этого момента у поляков не остается ни малейшего *raison d'être*. Поляки во всю свою историю не делали никогда ничего иного, кроме того, что вытворяли храбрые, опрометчивые глупости. Нельзя указать ни на один такой момент, когда Польша, хотя бы лишь по отношению к России, с успехом представляла прогресс или совершила что-нибудь имеющее хотя бы некоторое историческое значение. Россия, напротив того, является действительно прогрессивной в

откошении Востока. Русское владычество при всей его бездарности, при всей его славянской грязи имеет цивилизующее значение для областей Черного и Каспийского морей и Центральной Азии, для Башкирии и татар; притом Россия впитала в себя гораздо больше элементов образования и, в особенности, промышленных элементов, чем Польша, по всей природе своей рыцарски-медвежья. Преимуществом является уже то, что русское дворянство фабрикует, торгуется, грабит, дает себя развращать и занимается всевозможными христианскими и еврейскими делишками, начиная с императора и князя Демидова и кончая паршивым боярином 14 класса, который зовется лишь «благородием». Польша никогда не могла ассимилировать инородные элементы. Немецкое население городов остается немецким. А как Россия умеет русифицировать немцев и евреев, красноречивым примером этого служат любой немец из второго поколения, живущий в России. Даже евреи приобретают здесь славянскую внешность.

«Разительным образчиком «бессмертия» Польши служат наполеоновские войны 1807 и 1812 годов. Бессмертной оказалась только польская беспредметная драчливость. К тому же, большая часть Польши, так называемая Западная Россия, т.-е. Белосток, Гродно, Вильно, Смоленск, Минск, Могилев, Вильна и Подолия, после 1772 года спокойно сносили, за небольшими исключениями, господство русских, ils n'ont pas bougé, если не считать тут и там горсти горожан и дворян. Четверть Польши говорит по-литовски, четверть — по-белорусски, небольшая часть — по-малорусски, а собственно польская часть на целую треть подверглась германизации.

«К счастью, мы в «Новой рейнской газете» не взяли на себя никаких других определенных обязательств по отношению к полякам, кроме неустраняемого требования, — восстановления Польши в соответствующих границах, и то при условии аграрной революции. Я уверен, что эта революция совершится полностью раньше в России, чем в Польше, ввиду национального характера России и большего развития в ней буржуазных элементов. Что значат Варшава и Краков против Петербурга, Москвы, Одессы и т. д.

«Вывод: отобрать у поляков на Западе все, что только можно, заваять их крепости немцами под предлогом охраны, особенно Познань, дать им действовать, послать их в огонь, поглотить их страну, подкармливая их видами на Ригу и Одессу, а в том случае.

если удастся расшевелить русских, заключить с ними союз и принудить поляков подчиниться. Каждая пядь земли, которую мы уступаем Польше на границе от Мемеля до Кракова, в военном отношении совершенно уничтожает эту и без того плачевно слабую границу и оставляет обнаженным все Прибалтийское побережье до самого Штеттина.

«Я, впрочем, убежден, что при предстоящей вспышке все польское восстание ограничится познанским и галицийским дворянством, плюс некоторое число случайных участников из королевства, и что претензии этих рыцарей, если только они не встретят поддержки со стороны французов, итальянцев, скандинавов и т. п. и не будут усилены благодаря чехо-словацким неурядицам, потерпят неудачу в силу жалкого характера своего выступления. Нация, которая выставляет самое большее 20—30 тыс. человек, не может сказать своего слова. А больше Польша, конечно, не выставит»¹⁾.

При сравнении этого выпада со статьями в «Новой рейнской газете» сразу бросается в глаза крупное различие. У весьма импульсивного Энгельса такую внезапную перемену позиции можно отчасти объяснить еще тем, что польская эмиграция, в происходившей тогда борьбе между демократами и коммунистами, стала на сторону первых. Правда, он останавливается только на вопросе об уступках, какие «немцы» могут сделать полякам. В «Новой рейнской газете» Энгельс тоже рассматривает поляков как преимущественно земледельческий народ и к числу славянских народов, имеющих будущность, относит также русских.

Ответ Маркса нам неизвестен. Вероятно, друзья вскоре имели возможность обменяться в устной беседе мнениями по этому вопросу при свидании, о котором они списывались в это время. Во всяком случае, глава о польском вопросе, в статьях, написанных в 1851 и 1852 гг. для «Нью-Йоркской трибуны», отличается меньшим энтузиазмом и категоричностью, чем статья в «Новой рейнской газете», которую Энгельс резюмирует для своей новой статьи.

«Так как революция 1848 года тотчас же пробудила у всех угнетенных наций стремление к самостоятельному существованию и к обеспечению за собою права самим решать свои дела,

1) См. «Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx, herausgegeben von A. Bebel und E. Bernstein», 1913, t. I, pp. 189—191.

то было вполне естественно, что поляки потребовали без всяких оговорок восстановления своей страны в границах прежней Польской республики 1772 года. Правда, эта граница уже в то время не являлась правильной в качестве разграничительной линии между немецкой и польской национальностями; из года в год она становилась все неправильнее, поскольку усиливалась германизация. Однако немцы обнаружили такое воодушевление в пользу восстановления Польши, что должны были ожидать, что от них потребуют, как первого доказательства искренности их симпатий, отказа от своей добычи. Но, с другой стороны, нельзя было не поставить вопроса: неужели же надо уступать целые области, населенные, главным образом, немцами, большие города, совершенно немецкие, народу, который до сих пор не дал ни малейшего доказательства того, что он способен выйти из состояния феодализма, опирающегося на закрепощение сельского населения? Вопрос был достаточно запутан. Единственно возможное решение давала война с Россией. Она делала вопрос о проведении границ между различными революционными нациями второстепенным сравнительно с основным вопросом об установлении устойчивой границы против общего врага. Поляки проявили бы больше сговорчивости по вопросу о Западе, если бы получили обширные территории на Востоке: Рига и Митава, в конце концов, явились бы в их глазах не менее важными, чем Данциг и Эльбинг. Так как радикальная партия в Германии считала необходимой войну с Россией, чтобы поддержать движение на континенте, и исходила из того взгляда, что национальное возрождение, хотя бы одной части Польши, должно неизбежно привести к такой войне, она оказывала поддержку полякам; напротив того, правящая партия буржуазии с самого начала ясно видела, что национальная война против России должна повлечь за собой ее собственное падение, ибо поставит у кормила правления более деятельных и более решительных людей, а потому с лицемерным энтузиазмом в пользу распространения германской национальности объявляла прусскую Польшу, центр революционной польской агитации, интегральной составной частью будущего германского государства. Обещания, данные полякам в первые дни возбуждения, были позорно нарушены: польские отряды, сформированные с согласия правительства, были рассеяны и уничтожены прусской артиллерией, и уже в апреле 1848 года, всего через шесть недель после берлинской революции, польское

движение было задушено и вновь пробуждена старая национальная вражда между немцами и поляками. Эта величайшая и неопечимая услуга русскому самодержцу была сделана обоими либеральными кунцами и министрами Кампгаузеном и Ганземаном. Следует еще заметить, что эта польская кампания послужила первым шагом для того, чтобы вновь организовать и исполнить доверием к своим силам ту самую прусскую армию, которая затем прогнала от власти либеральную партию и подавила движение, над созданием которого так трудились господа Кампгаузен и Ганземаан. Что посеешь, то пожнешь. Такова была участь всех выскочек 1848 и 1849 годов от Ледрю-Роллэна до Шапгарнье и от Кампаузена до Гайнау»¹⁾.

На польском вопросе Маркс останавливается в 1853 году в статьях, посвященных политике Пальмерстона и появившихся почти одновременно в «Нью-Йоркской трибуне» и чарлстской «Народной газете»²⁾. Но тут мы имеем лишь беспощадное и саркастическое выяснение всех противоречий и всего лицемерия, отличающих позицию Пальмерстона по отношению к Польше.

Но и позже у Маркса и Энгельса продолжали возникать сомнения в правильности их старых взглядов. Чтобы решить их, они продолжают основательно изучать польский вопрос. Об этом свидетельствуют несколько писем, относящихся к 1856 году. Так, 16 октября этого года Маркс пишет Энгельсу:

«Прилагаю присем выдержку из книги Мерославского. Ты знаешь, что он не лишен остроумия (*esprit*), но в книге этой слишком много остроумия худого тона, именно много стиля *aprhigouïque*, который вымучивают из себя французы с тех пор, как сделались «глубокими» и перестали быть поверхностными вольтерьянцами. Много в ней и подогретого воодушевления, при по-

1) *К. Маркс*, Революция и контр-революция в Германии. Нем. пер. К. Каутского. Штутгарт, 1896, стр. 59—61. Англ. пер. дочери Маркса Элеоноры Маркс-Эвеллинг под тем же заглавием, Лондон, 1896. Из персписки Маркса к Энгельсу видно, что большая часть этих статей написана Энгельсом.

2) «Пальмерстон и Россия» в «Нью-Йоркской трибуне» от 4/IX 1853 года, и также в «Народной газете» от 5 и «Вольной печати» от 17/XI 1853 года, во второй раз в лонд. изд. от 12/I 1856 года. Отдельный оттиск в «Политических летучих листках» *Тэкера* под назв. «Пальмерстон и Польша»; в 1899 году перепечатано в сборнике «Жизнь лорда Пальмерстона» *К. Маркса*, под ред. дочери его Элеоноры Маркс-Эвеллинг. Лондон, 1899, стр. 22—35 (оба раза изданы весьма неудовлетворительно).

мощи которого «непризнанные» национальности возвеличивают свое прошлое. Ненависть к России, еще больше—к Германии, к панславизму; в противовес последнему—свободная конфедерация славянских народов во главе с поляками, как народом-Архимедом. Решительно выдвигает социальную революцию в Польше, как основную предпосылку политической; но пытается доказать путем исторической дедукции, доказывающей как раз обратное, что структура старой аграрной общины (гмина—латинизированная русская община) правильна¹⁾.

Хотя Маркс и выступает против тенденции польской эмиграции, в том числе и Мерославского, произвести «дипломатическую революцию под покровительством Луи Бонапарта и Пальмерстона», он остается верным прежнему взгляду. «Меня, впрочем, при изучении в последнее время польской истории заставил решительно высказаться за поляков,—пишет он Энгельсу 2 декабря 1856 года,—этот исторический факт, что интенсивность и жизнеспособность всех революций с 1789 года почти точно определяются их отношением к Польше. Польша представляет собою их «внешний термометр». Это в деталях легко доказуемо по фактам французской истории. В нашей краткой немецкой революционной эпохе, а также в венгерской, это бросается в глаза²⁾.

В памфлете своем «Господин Фогт» Маркс подвергает уничтожающей критике руссофильские взгляды Карла Фогта.

«Вместо освобождения польской национальности от русских, австрийцев и пруссаков Фогт требует растворения и исчезновения всего прежнего польского государства в России. «Finis Poloniae!»

Особенно ярко подчеркивает Маркс опасность, грозящую в таком случае Германии.

«Когда Россия по договорам 1815 года аннектировала значительно большую часть собственно Польши, она приобрела столь выдвинувшуюся на запад стратегическую позицию, таким клином вдвинулась не только между Австрией и Пруссией, но и между Вост. Пруссией и Силезией, что уже тогда прусские офицеры (напр., Гнейзенау) обращали внимание на неприемлемость такого

1) «Переписка», т. II, стр. 129. Книга эта — *L. Mieroslawski, La nationalité polonaise dans l'équilibre européen, Paris, 1856*. Очень подробные выписки из нее найдены мною в бумагах Маркса вместе с другими выдержками из книг по польской истории.

2) «Переписка», стр. 111 — 116.

соотношения границ с более сильным соседом. Но истинный смысл и значение раздела вскрылись впервые лишь тогда, когда подавление Польши в 1831 году отдало эту область на милость русских. Необходимость держать Польшу в узде служила лишь поводом для возведения крепостей крупнейших размеров—под Варшавой, Модлиным, Ивангородом. Действительно целью приэтом было полное стратегическое господство в бассейне Вислы, создание базы для нападения на север, юг и запад. Даже Гакстгаузен, восторженно мечтающий о православном царе и обо всем русском, видит в этом вполне определенную опасность и угрозу для Германии. Укрепленная позиция России на Висле угрожает Германии больше, чем все французские крепости, вместе взятые, особенно с того момента, как прекратится национальное сопротивление Польши, и Россия получит возможность располагать военной силой Польши как своей собственной наступательной силой¹⁾.

В аргументации «Новой рейнской газеты» не было этого, так сказать, стратегического доказательства необходимости восстановления независимой Польши. Маркс полагал тогда, что «освобождение крепостных в духе русского правительства в сто раз повысит наступательную силу России»,—взгляд, который он впоследствии изменил.

V

Польское восстание 1863 года пробудило в Марксе и Энгельсе новые революционные надежды. Немалую роль играло приэтом воспоминание о краковском восстании, которое представлялось им предвестником революции 1848 года.

«Что скажешь ты о польской истории?»—пишет Маркс Энгельсу 13 февраля 1863 года.—Пока что несомненно, что опять в Европе началась эра революции. И общее положение вещей хорошее. Но добродушные иллюзии и почти детский энтузиазм, с которым мы перед февралем 1848 года приветствовали революционную эпоху, исчезли бесследно. Старые товарищи, как Веерт и др., погибли, другие отпали или пропали, а нового поколения, до крайней мере, еще не видать. К тому же мы теперь знаем, какую роль играет в революциях глупость и как они эксплуатируются негодяями. Впрочем «пруссские» мечтатели о национальном освобождении

¹⁾ См. *Marx, Herr Vogt*, Лондон, 1860, стр. 78 — 79.

нии для «Италии» и «Венгрии» уже теперь оказались в затруднительном положении. Пруссакки не станут отрекаться от своих симпатий. Надо надеяться, лава на этот раз потечет с Востока на Запад, а не наоборот, так что на нашу долю не выпадет «чести французской инициативы» ¹⁾).

В следующем письме Маркс предлагает Энгельсу выпустить от имени Лондонского рабочего общества манифест: «Ты должен написать военную часть, т. е. о военно-политической заинтересованности Германии в восстановлении Польши. Я напишу часть дипломатическую» ²⁾).

Энгельс, который думал, что если эти «бравые молодцы» поляки продержатся еще до 15 марта, то восстание вспыхнет во всей России, и что «шансы на победу почти уже превышают возможность поражения» ³⁾, сейчас же одобряет план Маркса и предлагает следующий план брошюры: «1. Военное положение России в отношении к Западу и Югу. 2. Тоже после раздела Польши на три части. 3. Тоже после 1814 года. 4. Положение России и Германии после восстановления Польши. (Тут надо будет сказать также о Прусской Польше, о разграничении одноязычных областей и о количественных соотношениях смешанного населения.) Все вместе, самое большое, от трех до четырех листов. Заглавие: Германия и Польша. Политико-военные заметки в связи с польским восстанием 1863 года» ⁴⁾).

События, однако, развивались гораздо быстрее, чем это ожидали друзья. Притом назначение Лангевича диктатором Маркс признавал «подозрительным». В этом факте он мог усматривать победу аристократической части польской эмиграции. Подозрительными представлялись ему также отношения заграничного представительства польского национального правительства к английскому и французскому правительству. Наконец, ему стало ясно, что сопротивление Пруссии очень сильно. И он писал 24 марта 1863 г. Энгельсу:

«Политический вывод, к которому я пришел, таков. Финке и Бисмарк в действительности *правильно* представляют прусский государственный принцип: «государство» Пруссия (весьма отлич-

¹⁾ «Переписка», 111 — 116.

²⁾ «Переписка», 111 — 117.

³⁾ Письмо от 17/II 1863 года, там же, стр. 118.

⁴⁾ Там же, стр. 120.

ное от Германши творение) не может существовать без нынешней России и *при* самостоятельной Польше. Вся прусская история приводит к этому заключению, в которому давно уже пришли господа Гогенцоллерны, включая и Фридриха II. Это патристическое сознание далеко превосходит ограниченный подданнический разум прусских либералов. Таким образом, поскольку существование Польши необходимо для Германши и невозможно рядом с Пруссией, постольку это государство Пруссия должно быть уничтожено. Или польский вопрос служит лишь для доказательства того, что нельзя отстаивать интересы Германши, пока существует гогенцоллернская вотчина»¹⁾.

Из задуманной брошюры ничего не вышло. В августе 1863 года Маркс познакомился с полковником Лапинским, который, вместе с Бакуниным, предпринял экспедицию для помощи восставшим полякам, кончившуюся, однако, полным крахом. Как сообщает Маркс Энгельсу 12 сентября 1863 года, в Лондоне Лапинский ставил себе задачей:

«набрать немецкий легион, хотя бы лишь в 200 человек, чтобы выступить в Польше против русских с черно-краснозолотым знаменем, отчасти чтобы «привести в отчаяние» парижан, отчасти чтобы увидеть, возможно ли еще каким бы то ни было путем образумить немцев в Германши. Недостает только денег. Здесь будут сделаны попытки использовать для этой цели все немецкие организации и т. п.»²⁾.

Между прочим, и лондонское немецкое рабочее образовательное общество приглашало немецких рабочих в особом воззвании к денежным сборам в пользу поляков. Принципиальное обоснование и выяснение значения польского вопроса для Германши явно указывают на авторство Маркса³⁾.

От прежних заявлений воззвание отличается лишь тем, что в связи с прениями в прусской палате депутатов по поводу конвенции Пруссии с Россией от 18 февраля 1863 года дает описание позиции буржуазных партий в польском вопросе.

«Громко протестовать против этого предательства поляков нем-

1) «Переписка», стр. 111 — 122.

2) Там же, стр. 145 — 146.

3) Воззвание напечатано на голубоватой бумаге, без даты и без указания места напечатания. Оригинал, из документов Лесснера, находится теперь в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса.

цами, являющегося вместе с тем предательством Германии и Европы, должен немецкий рабочий класс в этот ответственный момент перед поляками, перед заграницей и во имя своей собственной чести. Огненными буквами должен он написать на своем знамени восстановление Польши, после того как буржуазный либерализм стер со своего знамени этот славный лозунг».

И воззвание ставит в пример немецким рабочим поведение английского рабочего класса, который массовыми митингами помогал господствующим классам осуществить вмешательство в пользу американских рабовладельцев ¹⁾.

VI

Если придавать особенное значение событиям, которые послужили в той или иной степени *поводом* для основания Международного общества рабочих, то при этом известную роль играло и польское восстание. Так, английские рабочие сошлись вместе в Лондоне на митинг в Ст. Джемс-Голле 22 июля 1863 года с целью побудить свои правительства к энергичной интервенции в пользу Польши. Но, когда состоялось собрание 28 сентября 1864 года в Ст. Мартинс-Голле, на котором возникло Международное товарищество рабочих, польское восстание было уже окончательно подавлено, а потому составленный Марксом и опубликованный в ноябре 1864 года временным центральным советом учредительный адрес ограничился лишь протестом против «бесстыдного одобрения, лицемерных симпатий или иднотского равнодушия», с которыми господствующие классы взирали на умерщвление героической Польши Россией. Положительных требований в польском вопросе адрес, не бывший, впрочем, программой, не выставлял.

Само собою разумеется, Маркс делал все, что было в его силах, чтобы побудить Международное общество рабочих включить в свою программу восстановление Польши. В течение двух лет, предшествовавших первому конгрессу Международного общества рабочих, он пользовался каждым поводом для обоснования и

¹⁾ За рамы нашей работы выходит сравнение с резолюцией по польскому вопросу, проведенной Лассалем во Всеобщем немецком рабочем союзе. Разумеется, воззванию Маркса недостает умеренности, которую хвалит в лассалевской резолюции Герман Олкен. (См. *Uncken, Lassalle*, II изд. Штутгарт, 1912, стр. 403 — 4.)

защиты этого требования. Так, в заседании временного центрального совета 25 ноября 1864 года была принята следующая резолюция относительно Польши: «1. Борьба поляков за независимость велась в общих интересах народов Европы, а потому поражение их означает серьезный удар для дела цивилизации и прогресса человечества. 2. Польша имеет неотъемлемое право требовать от передовых наций Европы содействия всеми необходимыми средствами восстановления ее национальной самостоятельности»¹⁾.

При этом, по предложению внесшего резолюцию Петера Фокса, было также постановлено опубликовать адрес польскому народу от имени британских членов временного центрального совета. В письме к Энгельсу от 10 дек. 1864 года Маркс пишет по этому поводу следующее:

«Прошлый вторник происходило заседание комиссии, на котором Петер Фокс (его собственно зовут Петер Фокс Андре) представил нам свой адрес к полякам. (Подобного рода дела всегда обсуждаются сперва в подкомиссии до внесения в Генеральный совет.) Вещь написана неплохо. Фокс пытался чуждую ему вообще «классовую» точку зрения применить хотя бы в аптекарской дозе. Его настоящая специальность — иностранная политика, и он только в качестве пропагандиста атеизма имел дело с рабочими как таковыми²⁾... Фокс, подобно другу своему Бизли (профессор политической экономии лондонского университета, он председательствовал в учредительном собрании в Ст. Мартинс-Голле) и другим «демократам», в противоположность тому, что они не без основания называют английской аристократической традицией, и продолжая то, что они признают английской демократической традицией с 1791—1792 годов, питает фанатическую любовь к Франции, которую он, поскольку дело касается иностранной политики, распространяет не только на Наполеона I, но даже на самого Бустрана Ладно. Господин Фокс не удовлетворился в своем адресе (а это, вообще, адрес не Международного общества в целом: он должен появиться в качестве адреса *английской* секции по польскому

¹⁾ Из рукописных протоколов центрального совета, которые я в ближайшее время опубликую.

²⁾ Фокс был одним из самых деятельных членов Генерального совета, после Женевского конгресса был его главным секретарем. Он умер в мае 1869 года в Вене, где он жил в качестве корреспондента английских газет.

вопросу с санкции Генерального совета) сообщением полякам того, что соответствует истине, а именно, что в отношении к ним у французского народа лучшие традиции, чем у англичан; он заключил свой адрес, утешая поляков, главным образом, возникшей у английского рабочего класса страстной дружбой и французским демократам. Этому я воспротивился и развил исторически неопровержимую картину постоянного предательства поляков французами начиная с Людовика XV до Бонапарта III... Одним словом, адрес Фокса был принят комиссией при условии, что хвост его изменят соответственно моим предложениям. Юнг, секретарь для Швейцарии (из Французской Швейцарии), заявил, что он, будучи в меньшинстве, предложит в центральном совете отвергнуть адрес как вообще «буржуазный»¹⁾.

После продолжительных прений в заседаниях временного центрального совета 13 декабря 1864 и 3 января 1865 годов было постановлено, что «взгляды, изложенные в адресе по вопросу о французской иностранной политике по отношению к Польше, не соответствуют историческим фактам, а потому он должен быть изменен для согласования с исторической правдой». Дальнейшая судьба адреса мне неизвестна.

В заседании 18 января 1865 года временный центральный совет принял депутацию английской лиги в защиту Польши и представителей польского национального правительства, предложивших Международному обществу рабочих устройство общего митинга. Было постановлено: «Если польский комитет созывает митинг, Общество обязуется всеми средствами, имеющимися в его распоряжении, содействовать чествованию памяти славной, хотя и неуспешной революции 1863 года».

Но устройство этого митинга натолкнулось на затруднения. Маркс указывает на них в письме к Энгельсу от 25 февраля 1865 года.

«Впрочем, уже другие парламентские деятели, как Тейлор и т. п. (господа, примыкающие к Мадзэни), давали нам сторону знать, что момент для устройства польского митинга теперь является мало удобным. Я через совет ответил, что рабочий класс ведет свою собственную иностранную политику, отнюдь не считающуюся с тем, что признает оновременным буржуазия. Она нахо-

¹⁾ См. «Переписка», т. III, стр. 204 — 205.

дила своевременным подзадоривать поляков в начале нового восстания, продавать их своей дипломатией во время его развития и покинуть их, когда Россия подавила его. В самом деле, митинг имеет в первую очередь в виду денежную помощь. Неужели же должны помирать с голоду эмигранты (на этот раз в большинстве своем рабочие и крестьяне и поэтому совсем не получающие поддержки от кн. Замойского и К^о) только потому, что английской буржуазии именно теперь кажется несвоевременным даже упомянуть имя Польши»¹⁾).

Тем не менее, собрание 1 марта 1865 года прошло очень хорошо. О нем сообщает еще неопубликованное письмо Маркса к Юлгу, которое вместе с тем бросает яркий свет на позицию Маркса в центральном совете²⁾.

Но интерес к польскому вопросу ослабел не только в буржуазных кругах: он уменьшался также и среди части английского рабочего класса и, в особенности, среди французских и бельгийских рабочих. Во Франции и в Бельгии явление это объясняется все более усиливавшимся тогда влиянием прудонизма.

Если Прудон уже в 1861 году высказывался против восстановления Польши³⁾, то в декабре 1863 года в сочинении «Перестали ли существовать договоры 1815 года? (Акты будущего конгресса)» он советует помириться с русским владычеством и энергично выступает против поддержки польского дела европейской демократией⁴⁾.

1) См. «Череписка», стр. 111, 236.

2) На этом собрании Фокс внес следующую резолюцию от имени Историционала: «Нераздельная и независимая Польша представляет необходимое условие существования демократической Европы», а Экарпус, выискивая роль Пруссии, прибавил, что восстановление Польши и объединение Германии невозможны без гибели прусской монархии.

3) «Что же касается восстановления государства, осужденного собственными королями, казняемого в силу права оружия и согласно формам войны, то я предпочел бы, чтобы мы говорили о восстановлении Саксонии Витиквида, королевства Австрии или вестготов». (Прудон, Война и мир, Брюссель, 1861, ч. II, стр. 448 и сл.)

4) Брошюра эта перепечатана также в виде приложения в новом издании «О федеративном принципе и т. п.». См. стр. 286—314, глава «Польский вопрос». «Я утверждаю, что чем дальше Россия будет идти по пути цивилизации и развития конституции, тем больше она будет освобождаться от своих завоевательных стремлений; что, чем больше будут просвещаться и обогащаться ее крестьяне, недавно освобожденные, чем больше они будут приучаться к ремеслам и приобретать оседлые права, тем меньше придется нам ее опасаться; в этом настоящий залог нашего спокойствия, действительный оплот Европы».

Если принять во внимание, что Прудон писал это в то самое время, когда Муравьев и Берг творили в Польше и Литве свое ужасное дело палачей, то психологически понятным будет приговор Маркса, что Прудон в своем последнем произведении против Польши «срывает в честь царя достойный кретина цинизм» 1).

Не так горячо, как Прудон, ту же мысль отстаивал в 1864 г. его ученик Гектор Дени в ряде статей, появившихся в наиболее передовом органе бельгийского рабочего движения 2). Что его статьи не остались без влияния на бельгийских рабочих, в этом Маркс мог убедиться в сентябре 1865 года на первой конференции Международного общества рабочих в Лондоне.

Центральный совет представил на конференцию проект порядка дня предстоящего конгресса. В нем значился также формулированный Марксом пункт: «Московское вторжение в Европу и восстановление независимой и нераздельной Польши». Страстным противником этого предложения оказался Цезарь де-Пал, бельгийский делегат. Французы держались нейтрально или были против. И среди англичан предложение нашло противников. Все же в конце концов оно было принято. Однако было ясно, что на предстоящем конгрессе следует ожидать сильной оппозиции. Действительно, сейчас же после конференции Везинье открыл поход против центрального совета специально по вопросу о Польше, Маркс поэтому писал 3 января Энгельсу:

«Действительный нерв полемики—*польский вопрос*. Все эти молодцы заражены прудоновски-герценовским москвитизмом. Я пошлю тебе прежние статьи оракула против Польши в «Народной трибуне», и ты напишешь возражение для наших женеvских изданий («немецкого») или для «Защитника рабочего». Господа русские нашли себе самоновейших союзников в прудонистской части «Молодой Франции» 3).

В силу различных обстоятельств серия статей Энгельса,—оставшаяся, впрочем, незаконченной,—появилась не в «Защитнике рабочего», а в продолжении его—«Республике» 4).

1) См. Маркс, О П.-Ж. Прудоне («Социал-демократ», Берлин, 5/II 1865 года, № 18).

2) «La Tribune du Peuple», двухнедельный журнал. Статьи: «Польша, польский вопрос и демократия», 5 и 26/III, 17/IV. «Заметка о национальности», 31/VI 1864

3) См.: «Переписка», т. III, стр. 288.

4) С 10 февраля 1866 года и распорядительном комитете этой газеты участвовали многие члены М. О. Р., в том числе и Маркс.

В первой статье Энгельс выясняет, что внешняя политика рабочих классов в начале самостоятельного рабочего движения может быть резюмирована в немногих словах: восстановление Польши. Далее он обращается против Прудона и его учеников и подробно доказывает, почему Россия, несмотря на соучастие Пруссии и Австрии, является все же главным виновником раздела Польши. Энгельс заканчивает формулировкой условий, при которых Россию, как нацию, можно отделить от царизма. Если русский рабочий класс примет политическую программу и последняя будет содержать в себе освобождение Польши, то «под обвинением» остается одно лишь правительство царя.

Во второй статье Энгельс полемизирует против утверждения, что требование восстановления Польши сводится к признанию бонапартистского «принципа национальностей». Ссылаясь на исторические факты, он доказывает, что, напротив, принцип этот является русским изобретением, и обосновывает разницу между принципом национальностей и старой демократической и рабочей точкой зрения, что «все крупные европейские нации имеют право на независимое и отдельное существование».

В третьей статье он рассматривает принцип национальностей в применении его к Польше. Он не оспаривает, что именно аристократия, — излюбленный аргумент прудонистов, — привела к гибели Польши ¹⁾, но вместе с тем подчеркивает беспощадность, с которой Россия использовала это слабое место.

В записке, составленной Марксом, которую центральный совет представил женеювскому конгрессу в сентябре 1866 г., он, с своей стороны, пытается выяснить значение польского вопроса и ответить на главные возражения противников.

«а) Почему, — говорится здесь, — поднимают этот вопрос рабочие Европы? Прежде всего потому, что буржуазия, писатели и агитаторы вступили в заговор, чтобы заглушить его, хотя берут

¹⁾ Собственно, Энгельс повторяет здесь те же мысли, какие он развивал уже в письме к Марксу 21 апреля 1863 года: «Должен сказать, что нужно быть ослом, чтобы воодушевляться в пользу поляков 1772 года. В большей части Европы дворянство тогда все же поговбло, соблюдая приличия, иногда не без остроумия, хотя оно в большинстве своем было убеждено, что материализм состоит в том, чтобы есть, пить, спать, выигрывать в игре или заставлять платить себе за подлость; но никакое другое дворянство не умудрилось так глупо продать себя русским, как это сделали поляки». (См. «Переписка», т. III, стр. 129.)

под свою защиту всевозможные национальности ее, даже Ирландию. Откуда это недоброжелательство? Оно объясняется тем, что аристократия и буржуазия считают темную азиатскую силу, скрипящую на заднем плане, последним прибежищем поступательного движения рабочего класса. Эта сила может быть сделана вполне безвредной только в результате восстановления Польши на демократических основах.

«б) При современном изменившемся состоянии Средней Европы и специально Германии более, чем когда бы то ни было, необходимо иметь демократическую Польшу. От ее существования будет зависеть, явится ли Германия форпостом «Священного союза» или союзником республиканской Франции. Рабочее движение будет постоянно прерываться, задерживаться и замедляться, пока не будет решен этот великий европейский вопрос.

«в) Специальной обязанностью немецкого рабочего класса является проявление в этом деле инициативы, потому что Германия была соучастницей в разделе Польши».

Мы пропускаем прения на Женевском конгрессе. Несмотря на все усилия старого Беккера и делегатов центрального совета, им не удалось убедить большинство. Не было принято никакой резолюции, и конгресс высказал лишь пожелание, что «рост и распространение Международного общества рабочих сами по себе вызовут к жизни социал-демократическую Польшу».

Спустя несколько месяцев после Женевского конгресса (23 января 1867 года) Генеральный совет устроил совместно с польским рабочим обществом публичное собрание для чествования годовщины восстания 1863 года. Председательствовал Юнг. Как обычно бывает на подобных митингах, резолюции предлагались и обосновывались различными ораторами, так что каждая резолюция выдвигала особый пункт, развитый в речи внесшего ее. Первая резолюция о значении и программе восстания была обоснована поляками Забицким и Бобчинским. Она гласила:

«Поляки, собравшиеся здесь для чествования годовщины своего восстания, заявляют, что остаются верными манифесту польского национального правительства от 22 января 1863 года. Манифест этот отменял все привилегии, делая крестьян свободными землевладельцами, объявляя всех жителей без различия свободными и равными перед законом. Они твердо убеждены, что это является единственным целесообразным средством для противо-

действия настойчивым попыткам московского царя разложить польское общество на отдельные группы различных классов, религий и рас; что это представляет собою единственный справедливый принцип для упрочения народного единства и для организации национальной силы, способной завоевать свободу и независимость Польши. Далее, они приглашают настоящее собрание провозгласить, что поляки в преследовании этих своих задач имеют право рассчитывать на сочувствие и содействие всех свободных и цивилизованных народов, в особенности же рабочих масс всего мира».

Вторая резолюция, внесенная Марксом и поддержанная Экарриусом, указывала на значение польского вопроса для Европы и утверждала, что *«без независимости Польши не может быть утверждено в Европе никакой свободы»*.

Третью резолюцию, француза Бессона, и четвертую, англичанина Фокса, мы пропускаем.

Отчет о собрании в «Предвестнике»¹⁾ не приводит отдельных речей, но резюмирует их следующим образом:

«Все речи отличались краткостью и сжатостью. Подчеркивалось, главным образом, что Польша в течение столетий служила барьером между западной цивилизацией и восточным варварством, что Европа могла достичь современного уровня своей культуры только потому, что поляки стояли на страже ее и делали невозможным продвижение вперед варварства, что раздел Польши сломал этот барьер, утвердил русское варварство в самом сердце Европы в качестве союзника господствующих классов против угнетенных и что рабочий вопрос на Западе не может быть разрешен без восстановления той плотной, оберегающей колыбели буржуазного общества, которую выдвигает независимая Польша против русского потока; что никто, кроме рабочего класса, не в состоянии выступать за восстановление Польши и что такое выступление является священным долгом рабочих».

Речь Маркса в защиту его резолюции была напечатана во французском журнале «Le Socialisme» в номере от 15 марта 1908 года, посвященном Марксу, в переводе с английского оригинала, предоставленного редакции г-жой Лафарг²⁾. Как Лафарги,

1) «Vorboten», центр. орган секций немецкого языка М. О. Р., ред. П. Ф. Беккера, 1867, стр. 29 — 30.

2) Его нет в переданных мне госпожой Лафарг бумагах ее отца.

так и редакция «Социализма» полагали, что Маркс произнес эту речь в 1862 году, потому что он не упоминает в ней о польском восстании 1863 года, но говорит об освобождении крестьян 1861 г. Они при этом не приняли во внимание как выше отмеченного разделения труда между различными ораторами, так и того обстоятельства, что в речи упоминаются еще другие факты, имевшие место лишь *после* 1862 года. Так, например, речь начинается с указания на «последние указы, провозглашающие уничтожение Польши» ¹⁾, т. е. на три указа, опубликованные 31 декабря 1866 года, в силу которых Польша в административном отношении совершенно слыхалась с Россией. Этим также объясняется принятие четвертой резолюции, предложенной на этом же митинге П. Фоксом и поддержанной Дюпоном. Наше предположение подтверждается еще и саркастическим замечанием Маркса, в котором он совет биржевого органа (наверное, «Экономиста») спокойно принять новые указы объясняет тем, что таким путем, будет лучше обеспечен незадолго до того предоставленный русскому царизму английским капиталом заем в 6 млн. ф. ст., — заем, заключенный действительно 4 ноября 1866 года ²⁾.

Обосновывая предлагаемую им резолюцию, Маркс начинает с истории польской революции. Последняя доказывает, что только польское восстание спасло Европу от заговора между Карлом

1) «Недавнее уничтожение «Конгрессовой Польши» царем является вполне заслуженной насмешкой над теми великими державами Европы, которые высказались за договор 1815 года путем тайного соглашения или выпду взаимного соревнования. Мы, защищающие интересы народов, не можем, напротив, сожалеть, что уничтожено протаворечащее праву и мертворожденное соглашение 1815 года. Мы скорее довольны тем, что отныне польский вопрос сводится по необходимости к простой перспективе: или молча признать полное исчезновение земли Польши с карты Европы, или же бороться за восстановление ее в национальных границах».

2) Так называемый второй 5% англо-голландский заем. См. «История русского министерства финансов 1802 — 1892 годов», Петербург, 1902, том II, стр. 446 — 447.

Уже этих доказательств достаточно для установления правильной даты когда произнесена была Марксом эта речь, и я поэтому пока ограничусь сказанным. Странно, что и польские ее издатели не обратили внимания на противоречие между содержанием и принятой ими датой. (Цитир. сборник, 147 — 152.) Введение в примечания принадлежат С. Зверухе. Другой перевод попался в журнале «Социалистическая мысль» в Кракове, май 1908 года, стр. 119 — 123. Анонимный переводчик не так категоричен и говорит лишь, что речь «вероятно» произнесена в 1862 году.

Х и Николаем I и новой против-якобинской войны. Столь же хорошую службу сослужили поляки в 1848—1849 году во время конфликта между революцией и царизмом. Изменилось ли положение с тех пор? Исчезла ли русская опасность? Сделалась ли Польша лишь сентиментальным воспоминанием? Нет, только ослепление господствующих классов Европы привело к этому. Русская политика осталась неизменной; ее средства, ее мотивы изменились, но отнюдь не ее цель, господство над миром. Уже Поццо ди Борго, способнейший русский дипломат новейшего времени, утверждал, что Польша может стать лучшим орудием этой русской политики, но также и крупнейшим препятствием, если не будет превращена в оружие царя. Но разве существует, кроме польского народа, другой фактор, могущий парализовать планы России?

Маркс указывает на успехи русской политики в Азии. Англо-французская мнимая война принесла России господство над Кавказом и на Черном море. Новые железные дороги концентрировали ее силы. Новые укрепления у Варшавы, Модлина, Ивангорода усилили ее наступательную силу. Панславистская пропаганда ослабила Австрию и Турцию. Уже 1848 год показал, что это означает. И преследования Англией пралайцев приобрели России новых друзей по ту сторону Атлантического океана.

Европеец с континента станет возражать, что Россия, благодаря освобождению крестьян, превратилась в цивилизованную страну; что немецкая, недавно сосредоточившаяся в руках Пруссии, сила может послужить преградой против нее; что социальная революция положит конец «международным столкновениям». Англичанин, читающий один лишь «Times», подумает, что в худшем случае, если Россия завоюет Константинополь, Англия одновременно с этим аннектирует Египет и таким путем обеспечит себе путь в Ост-Индию. Однако освобождение крестьян лишь устранило все препятствия, которые дворянство ставило централизации; всякая попытка поднять умственный уровень крестьян подвергалась преследованиям; и какие бы ожидания ни возбуждало освобождение крестьян в будущем, пока что оно лишь усилило царизм.

Что касается Пруссии, она, несмотря ни на что, остается связанной с Россией, ибо без ее помощи никогда не смогла бы стать великой державой. Уже усилившийся альянзм с Францией и Австрией делает необходимым для Пруссии союз с Россией. Кро-

ме того, Россия является опорой гогенцоллернского абсолютизма. А социальная революция? Она не означает ничего другого, как классовую борьбу. Возможно, что борьба между рабочими и капиталистами будет не столь кровопролитной, как борьба между феодализмом и буржуазией во Франции и Англии. Во всяком случае, она заставит господствующие классы в сильной степени желать русской помощи. Иллюзия также, будто Россия удовлетворится Константинополем, не говоря уже о том, что это возможно лишь против Франции.

Таким образом, перед Европой лишь одна альтернатива—или азиатское варварство, под предводительством Москвы, затопит Европу как лавина, или Европа должна освободить Польшу и таким путем оградить себя барьером из 20 млн. героев от Азии, пока не пробьет час ее социального возрождения.

Это—последнее известное нам выступление в пользу Польши, произведенное Генеральным советом в Лондоне под влиянием и при участии Маркса. Что касается старого Интернационала, как целого, то после женеvского конгресса у него не было больше случая останавливаться на польском вопросе. В великом споре между Бакуниным и Марксом вопрос этот не играл никакой роли.

VII

Участие польских революционеров в Парижской коммуне вновь оживило старые симпатии к угнетенной Польше в рядах рабочего движения, в особенности во Франции и Германии. С другой стороны, и в России обнаружилось начало расхождения между «правительством» и «обществом», указывавшее на революционное движение в до сих пор неподвижной «страхе варваров». Правда, движение это, поскольку оно находилось под руководством Бакунина, готовило Марксу и Энгельсу большие разочарования. Но в то же самое время страстный ненавистник царизма Маркс являлся в Генеральном совете секретарем не только для Германии, но также и для России; а в 1872 году появился в России первый перевод «Капитала» на европейской почве. Перед лицом этих фактов оба друга не могли уже, как это еще делал Энгельс в своих английских статьях, валить в одну кучу русское правительство и русский народ и провозглашать их обомл одинаково находящимися под обвинением.

Все это объясняет, почему мы уже в 1874 году слышим в новом заявлении Энгельса по польскому вопросу другую ноту. Поводом послужило воззвание лондонских польских эмигрантов (в том числе Врублевского, известного коммунара и позже секретаря для Польши в Генеральном совете), появившееся в Лондоне в связи с посещением его царем Александром II.

Опасность, грозящая Европе от России,—пишет Энгельс¹⁾,—сильнее, чем когда бы то ни было.

«Только благодаря тому, что в 1870 году русская армия мешала Австрии выступить в пользу Франции, могла Пруссия победить Францию и создать прусско-германскую военную монархию. Во всех этих событиях мы видели на заднем плане русскую армию. И если—*поскольку внутреннее развитие России не примет скоро революционного характера*²⁾—победа Германии над Францией столь же неизбежно вызовет войну между Россией и Германией, как победа Пруссии над Австрией при Садовой повлекла за собою германо-французскую войну,—то все же против всякого внутреннего движения в Пруссии всегда будет к услугам русская армия. Еще и поныне официальная Россия является очагом и приютом всей европейской реакции, ее армия—резерв всех остальных армий, занятых сдерживанием рабочего движения в Европе».

Далее следует объяснение, почему именно немецкое рабочее движение заинтересовано в изменении этого невыносимого положения:

«Как раз немецкие рабочие в первую очередь подвергаются опасности от этой западной армии подавления как в так наз. Германской империи, так и в Австрии. До тех пор, пока за австрийской и германской буржуазией и правительствами стоят русские, у всего германского рабочего движения оказывается сломанным острое, поэтому мы больше всех заинтересованы в том, чтобы свести с своей шее русскую реакцию и русскую армию».

Особенно важен конец заявления Энгельса, который полностью гласит следующее:

«И в этой работе мы имеем лишь одного надежного, но зато надежного при всех обстоятельствах, союзника—*польский народ*.

1) См. *F. Engels, Die Flüchtlings-Literatur. Eine polnische Proklamation „Volksstaat“* от 2 июня 1874 года, переиздана в «*Internationales aus dem Volksstaat*».

2) Куропв мой.

Польша еще в большей степени, чем Франция, поставлена своим историческим развитием и своим современным положением перед выбором—или быть революционной, или погибнуть. И в силу этого теряет всякое значение вся чепуха болтовня о преимущественно аристократическом характере польского движения. В польской эмиграции достаточно людей, имеющих аристократические замыслы; но как только сама Польша приходит в движение, она становится насильственно революционной, как это мы видим в 1846 и 1863 годах. Движения эти были не только национальные, они вместе с тем были направлены непосредственно на освобождение крестьян и на передачу им собственности на землю. В 1870 году главная масса польских эмигрантов во Франции отдала себя на службу Коммуне; разве это было делом аристократов? Разве это не доказывало, что эти поляки стояли вполне на высоте современного движения? Что происходит с тех пор, как Бисмарк перенес в Польшу культуркампф и, под предлогом нанести этим удар папам, конфискует польские учебники, искореняет польский язык и делает решительно все, чтобы толкнуть поляков в объятия России? Польская аристократия все более и более сближается с Россией, чтобы под ее владычеством, по крайней мере, вновь объединить Польшу; революционные массы отвечают на это предложением союза германской рабочей партии и борьбою в рядах Интернационала.

«Что Польшу нельзя убить, это доказал 1863 г., и доказывает это еще каждый день. Ее право требовать самостоятельного существования в семье европейских народов неопровержимо. Но ее восстановление необходимо, особенно для двух народов: для немцев и для самих русских.

«Народ, угнетающий других, не может освободить самого себя. Связь, в которой он нуждается для угнетения других, всегда в конце концов обращается против него самого. Пока русские солдаты стоят в Польше, русский народ не может освободить себя ни политически, ни в социальном отношении. Но при современном состоянии развития России несомненно, что в тот день, когда Россия потеряет Польшу, в самой России движение будет достаточно сильно для того, чтобы свергнуть существующий порядок вещей. Независимость Польши и революция в России обуславливают одна другую. И независимость Польши и революция в России—при безграничном общественном, политическом и

финансовом разложении и пропитывающей всю официальную Россию продажностью (они гораздо ближе, чем это представляется по внешности), — означают для немецких рабочих предоставление буржуазных правительств, одним словом, реакции в Германии, своим собственным силам, с которыми мы тогда современем справимся уже сами».

Различие между этой статьей Энгельса и его же статьями в 1866 году, а также мотивировкой в докладе Маркса на женевском конгрессе, бросается в глаза. Польский вопрос сделался теперь также *русским* вопросом, а не только *немецким*. Отлучение, которое в 1866 году Маркс и Энгельс наложили на русский народ, теперь оказывается снятым. И аргументация Энгельса сделалась не только общим достоянием всех русских революционеров 70-х годов, но и оставалась до самого последнего времени символом веры русского социал-демократического рабочего движения. Не по вопросу о *восстановлении демократической и независимой Польши* пмечаясь еще разногласия, а лишь об *исторических возможностях и условиях этого восстановления*.

Еще далее идут Маркс и Энгельс в своем последнем общем заявлении по польскому вопросу в конце 1880 года в связи с юбилейным чествованием восстания 1830 года, устроенным 29 ноября 1880 года в Женеве редакцией польского социалистического журнала «Równopole» («Равенство»). То было время, когда руководимое «Народной Волей» революционное движение в России было гораздо сильнее польского и «своей самоотверженностью и героизмом довело самодержавие до того, что оно должно было уже задумываться над возможностью и условиями капитуляции».

Заявление подписано Марксом, Энгельсом, Лафаргом, Лесспером, как бывшими членами Генерального совета старого Интернационала¹⁾. Он дает сжатый исторический очерк роли поляков во всех освободительных войнах и революциях со времени войны за независимость Америки в XVIII столетии. «Таким образом лозунг «да здравствует Польша» всегда означал: смерть Священному союзу, смерть поземному деспотизму России, Пруссии и Австрии, смерть монгольскому господству над современным обществом».

¹⁾ Издательно в «Материалах междунар. собрания в 50-летнюю годовщину восстания 1830 года при редакции «Равенства» в Жолоне». Жолена, вкл. в ред. «Равенства», 1831 год, стр. 30 — 32. Другой перевод приводит Лимповский.

После июльской революции и завоевания политической власти во Франции в Англии буржуазией начинает развиваться рабочее движение. В Англии господствующие классы оказываются вынужденными прибегнуть к военной силе против чартистов, первой боевой организации рабочего класса.

«Одновременно с этим в последнем убежище независимой Польши, в Кракове, вспыхивает в 1846 году первая политическая революция, провозглашающая социалистические тенденции. С тех пор Польша утрачивает обманчивые симпатии имущей Европы. В 1847 году тайно собирается в Лондоне первый международный съезд пролетариата, публикующий «Коммунистический манифест» с новым революционным лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» На этом конгрессе имела своих представителей и Польша, и резолюция конгресса была одобрена знаменитым Лелевелем и его единомышленниками в Брюсселе¹⁾. В 1848 и 1849 годах революционные армии—немецкие, французские, венгерские, итальянские—кипели поляками, которые отличались в качестве рядовых солдат и военачальников. Хотя социалистические движения этого времени были потоплены в крови июньских дней, однако революция 1848 года—это нельзя забывать,—охватив своим пламенем всю Европу, на короткое время сделала из нее единую общину и этим подготовила почву для Международного общества рабочих. Польское восстание 1863 года, вызвавшее общий протест английских и французских рабочих против международных злоупотреблений их правительства, послужило исходным пунктом Интернационала, который был основан при участии польских эмигрантов. Наконец, среди польских эмигрантов Парижская коммуна нашла своих доблестных защитников, а после подавления Коммуны достаточно было быть поляком, чтобы получить смертный приговор от версальских военных судов.

«Таким образом, поляки и за пределами своего отечества играли большую роль в освободительной борьбе пролетариата—они являлись по преимуществу ее международными воинами.

«Ныне, когда борьба эта развивается среди самого польского народа, она должна быть поддержана пропагандой, революционной печатью, она должна слиться со стремлениями наших рус-

¹⁾ Вероятно, «ошибка памяти». Маркс и Энгельс смешали собрание «Братских демократов» с съездом «Союза коммунистов».

ских братьев. Это лишний повод повторить старый возглас: «Да здравствует Польша!»

Это объединение польских и русских революционеров совершилось вскоре вслед за этим. В 1884 году польская революционная организация «Пролетариат» (важнее выдающимися членами которой были Варынский и Кунццкий) заключила с «Народной Волей» формальный союз для свержения царского режима.

Маркс умер еще до окончательного поражения «Народной Воли». Энгельс прожил еще достаточно долго, чтобы не только следить за развитием молодого русского социал-демократического движения, но и энергично помогать ему. Для первого русского социал-демократического журнала «Социал-демократ» он дал свою работу об «Иностранной политике русского царизма», появившуюся позднее в «Neue Zeit» (VIII, 145, 154, 193—203). В этой работе Энгельс подробно выяснил русским социал-демократам, почему западно-европейские рабочие партии так сильно заинтересованы в победе *русской революционной партии*. Восстановление Польши остается, как и прежде, программным пунктом внешней политики европейского пролетариата; во внутренней борьбе против царизма польский пролетариат выступает теперь лишь союзником русского, который ведет эту борьбу в самых уязвимых пунктах царской власти, в Петербурге и Москве, в собственной России.

В 1892 году Энгельс написал предисловие к польскому изданию «Коммунистического манифеста». Заслуживает внимания указание на развитие промышленности в Польше, создающей в порождаемом ею многочисленном пролетариате новую гарантию грядущего возрождения. После того как польское дворянство оказалось бессильным, а польская буржуазия проявляет полное безразличие к этому вопросу, освобождение Польши может быть завоевано только польским пролетариатом.

VI

ИЗ ЛЕКЦИЙ О МАРКСИЗМЕ

ВОЕННОЕ ДЕЛО И МАРКСИЗМ

(ДОКЛАД НА ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ ВОЕННО-НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ
9 МАРТА 1926 Г.)

I

Товарищи, мой доклад посвящен марксизму и военному делу. Может показаться странным, что на девятом году существования пролетарской власти приходится ставить вопрос, имеет ли право марксизм вмешиваться в военное дело. Марксизм справился с царским режимом. Марксизм как-никак справился с задачей: восемь лет править огромным государством в условиях капиталистического окружения. Но марксизму все еще ставят вопрос: имеешь ли ты право вторгаться в область военного дела? И если имеешь право, то в какой степени, в каких размерах и на какой дистанции? Где хорошо смазанные салоги противопоставляются марксизму, конечно, плохому, там перед хорошим марксизмом раскланиваются так же почтительно, как перед так называемыми почетными членами организации, которые, как известно, в ее действительной работе не принимают никакого или очень мало участия.

Так что же такое марксизм? Ответив на этот вопрос, мы тем самым ответим на вопрос: приложим ли марксизм в военном деле?

Марксизм представляет собой алгебру, скажу проще, грамматику общественной деятельности. Марксизм выдвигает ряд основных пунктов, которые резко отличают его от всех других теорий, пытающихся объяснить общественные явления. Но есть и такие пункты, в которых он сходится с другими теориями.

Марксизм—прямая противоположность идеализму. В этом пункте он сходится с философским материализмом. Вместе с последним он отрицает какое бы то ни было вмешательство всяких поту-

сторонних факторов в окружающую нас действительность. Кто хочет познать природу, тот не должен прибегать к помощи бога, сверхъестественных сил, тот не должен при объяснении этой природы искать каких-либо других факторов, кроме тех, которые заключаются в ней самой. Повторю, в этом отношении марксизм сходится со всяким материализмом, ибо отличительная черта последнего состоит в том, что он подчеркивает необходимость исключения при объяснении явлений природы всяких сверхъестественных сил, в какие бы формы ни облекались эти силы: религиозные, метафизические и т. п. Природа не создана, не сотворена какими-либо божеством, она не представляет порождение духа или идеи.

«Чувственные, наглядные впечатления,—говорит Клаузевиц,—воспринимаемые во время исполнения, гораздо живее тех, на которых мы остановились предварительно путем зрелого размышления. А между тем эти впечатления дают лишь первоначальные очертания, которые, как мы знаем, редко вполне соответствуют сущности явлений. Отсюда—опасность привести зрелое обсуждение в жертву первому же призраку».

Это меткое замечание верно не только в области военного дела. *Видимость, призраки* застилают от нашего умственного взора *действительность*. Но признавая это различие между *видимостью* и *действительностью*, различие, которое объясняется несовершенствами человеческого «здорового смысла», марксизм настаивает на том, что необходимо исследовать ту призрачную закономерность, которая бросается в глаза на первый взгляд, и установить внутреннюю закономерность самой действительности. Только исследуя эту *действительность*, можно познать и ту *видимость*, в которую она облекается в человеческих глазах. Но этого мало. Действительность, природа и человек, не есть нечто извечное, это не готовый предмет, а нечто изменяющееся, развивающееся.

Отличие марксизма от обычного, естественно-исторического материализма состоит в том, что он—материализм *диалектический*. Действительность он рассматривает, во всех ее разделах, не в состоянии покоя, не в состоянии застоя, а в состоянии постоянного движения и перемещения. Нет ничего устойчивого, нет ничего неизменного—все движется, все изменяется. И если нам *кажется*, что существуют *прочные, неизменные предметы*, то

это только *видимость*: внутри этих *предметов* совершается процесс непрерывного изменения, разрушения, процесс, который можно заметить только при помощи более усовершенствованных орудий наблюдения, чем человеческое зрение и осязание.

Вот этот стол, так прочно стоящий, за которым прочно сидит президент, движется не только вместе с уважаемым президентом, не только вместе с этим залом. Вся эта устойчивость только *видимая*. Но этот зал и все в нем находящееся пребывают не только в состоянии постоянного движения, не только перемещаются в пространстве, но и подвергаются непрерывному процессу изменения, разрушения.

Мы не всегда в состоянии своими глазами констатировать процесс разрушения, который происходит в этом столе, в этом зале, но он происходит. Всякий хозяйственник, всякий интендант, который будет исходить из того, что столы, винтовки, казармы, укрепления и т. п. прочны и постоянны, рискует в один прекрасный день остаться у разбитого корыта.

Все искусство хорошего хозяйственника, организатора военного хозяйства, состоит в хорошем знании всех фактов, при наличии которых важная для материальной части, находящаяся в непрерывном процессе изменения, в течение определенного периода сохраняет определенную связность, делающую ее пригодной для определенных практических целей. Когда мы говорим об анализе данного предмета, мы должны помнить, что в каждом предмете происходит борьба, война различных физических и химических свойств, соединением, сращением которых он является, что каждый предмет находится в определенных условиях времени и места. Только тот, кто забывает этот основной пункт, попадает в порок, в котором часто обвиняют так называемых теоретиков. Истина всегда конкретна. Она дается только изучением действительности, она предполагает знание условий времени и места, в которых изменяются и развиваются предметы и явления.

Я не могу останавливаться здесь на всех различиях между формальным и диалектическим мышлением. У нас в последнее время много говорят об отличительной черте марксизма, о диалектическом методе. К сожалению, и теперь многие еще смешивают диалектику с эволюцией. Это склоны делать и многие представители военно-научной мысли, которые стараются усвоить себе основные идеи марксизма. Чтобы лучше выявить важнейшие

черты диалектического метода, отличие диалектики от эволюции, я познакомлю вас с блестящей характеристикой диалектического метода Маркса, которую дает в недавно опубликованной рукописи Ленин.

«В наше время идея развития, эволюции, вошла почти целиком в общественное сознание, но иными путями, не через философию Гегеля. Однако эта идея в той формулировке, которую дали Маркс и Энгельс, опираясь на Гегеля, гораздо более всесторонняя, гораздо богаче содержанием, чем ходячая идея эволюции. Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе («отрицание отрицания»), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии;—развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное;—«перерывы постепенности»;—превращение количества в качество;—внутренние импульсы к развитию, даваемые противоречием, столкновением различных сил и тенденций, действующих на данное тело или в пределах данного явления, или внутри данного общества:—взаимозависимость и теснейшая, неразрывная связь *всех* сторон каждого явления (причем история открывает все новые и новые стороны), связь, дающая единый, закономерный мировой процесс движения,—таковы некоторые черты диалектики, как более содержательного (чем обычное) учения о развитии».

Кто овладел этим методом, кто стал диалектическим материалистом, тот имеет в своем распоряжении самое могучее орудие для исследования предметов и явлений природы и общества. Повторяю, марксист не может не быть материалистом, но еще мало быть материалистом, чтобы стать марксистом. Достаточно указать на многих естествоиспытателей, которые умудряются быть материалистами, поскольку речь идет о природе, и остаются чистейшими идеалистами во всех других отраслях. Они могут даже иногда приближаться к диалектическому материализму, пока они применяют только при исследовании явлений природы, пока они отказываются понять, что этот метод исследования распространяется на все области действительности, на природу и общество, они закрывают себе путь к пониманию всей действительности. Марксистом может быть только тот, кто является диалектическим материалистом и в области исследования всех общественных явлений. Естественно-исторический материализм да-

же в той его форме, в которой он больше всего приближается к диалектическому, оказывается совершенно беспомощным как раз тогда, когда ему удастся, казалось бы, решить загадку происхождения природы и человека. Законы развития природы и животного мира не тождественны с законами развития человеческого общества.

У человека есть общее с природой, он—часть этой природы, но природа была раньше человека, материя была раньше «духа». Только на известной ступени развития этой природы, только на известной ступени развития жизни на земле, биологического мира,—растительного и животного,—появилось в мире четвероногих новое животное, научившееся ходить и стоять на задних лапах,—даже там, где это не нужно,—существо весьма драчливое и жадное, которое вело упорную борьбу за свое существование. Это существо,—человекообезьяна или обезьяночеловек,—в процессе долгого развития из четверть-человека, получеловека превратилось, наконец, в человека и заняло особое место в иерархии животных видов. Естественно-исторический материализм, в его откровенной форме или в стыдливой (в которую он облекается в дарвинизме), объясняет нам, как элементы самой природы, без всякого вмешательства сверхъестественных сил, на известной ступени развития сложились в «венец природы», образовали «новый тип».

Но мы с вами прекрасно знаем, что человек человеку рознь. Если мы возьмем наш союз не только в его историческом прошлом, но и в настоящем, то мы в нем найдем самых разных человекoв: кубанский казак, донецкий углекоп, курский мужик, путиловский слесарь, московский текстильщик, советский служащий. В человеческом обществе имеются только такие «природные» различия, как различия по полу и возрасту. Все остальные различия создаются только определенными общественными условиями. Люди облекаются в различные общественные формы. Вы прекрасно знаете—об этом сказано в первом томе «Капитала»,—что если с генерала снять форму, то часто теряется весь генерал.

Если мы возьмем теперь людей на протяжении всей истории,—даже если мы ограничимся людьми одной только белой расы,—то мы увидим, что они облекаются в самые различные национальные и классовые формы—англичае, французы, немцы, русские, поляки, феодалы и крепостные, помещики и крестьяне, капита-

листы и рабочие. Чем объясняется возникновение этих различий среди людей? Может быть, их анатомо-физиологическими особенностями?

Конечно, есть более или менее способные, более или менее сильные, более или менее храбрые люди, но всякие природные преимущества, поскольку они лежат в анатомо-физиологических особенностях данного человека, имеют только ограниченную сферу влияния. Решающее значение при образовании человеческого характера, его идеологии, имеют воспитание, среда, которые сами непрерывно изменяются в ходе истории. Непосредственное влияние природы все больше уступает место непосредственному влиянию общества.

Как только в области природы появляется человек, он начинает в свою очередь воздействовать на природу. Вся история превращения наших предков человекообразных в человека сводится к «покорению сил природы», выражается в непрерывном изменении самой природы человеческим трудом. Или, как говорит Маркс:

«По отношению к веществу (материи) природы человек сам выступает как сила природы. Он приводит в движение естественные силы своего организма, руки, ноги, голову, чтобы присвоить себе вещество природы в такой форме, которая была бы пригодна для его собственной жизни. Действуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет и свою собственную природу. Он развивает дремлющие в последней силы и подчиняет игру этих сил собственной власти».

Но человек воздействует на природу не в одиночку, а сообща, в пределах данной общественной организации. Спасибо бабушке биологии за то, что она передала нам из животного мира человека в качестве общественного животного, привыкшего жить стадами, ордами.

Тут я позволю себе опять процитировать Маркса.

«В производстве люди вступают в отношения не только к природе. Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только через посредство этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство».

«В зависимости от того или иного характера средств производства изменяются, конечно, и общественные отношения, в которые производители вступают друг к другу, изменяются условия, при которых они обмениваются своей деятельностью и участвуют в совокупном производстве. С изобретением нового оружия войны, огнестрельного оружия, необходимо должна была измениться вся внутренняя организация армии, должны были измениться те отношения, на основании которых отдельные личности сплачиваются в армию и могут действовать как армия, равно как и взаимные отношения различных армий.

«Следовательно, общественные отношения, при которых люди занимаются производством, *общественные отношения производства, изменяются, преобразуются с изменением и развитием материальных средств производства, производительных сил. Описание производства, в своей совокупности, образуют то, что называют общественными отношениями, обществом, образуют общество, находящееся на определенной ступени исторического развития, — общество с своеобразным отличительным характером*»

Характерно, что Маркс приводит иллюстрацию именно на области военного дела, чтобы показать зависимость между организацией общества и степенью развития производительных сил.

Итак, воздействие человека на природу происходит через общество, предполагает определенную форму общественных отношений. Каждое общество является продуктом истории. На известной ступени исторического развития человеческие общества, вначале бывшие однородными, распадаются на классы, господствующие и подчиненные, эксплуатирующие и эксплуатируемые. Вся человеческая история, с известного момента, есть борьба классов. Великая французская революция выявила эту основную пружину человеческой истории в таких ярких драматических формах, что после нее и буржуазные экономисты, и историки должны были признать и наличие классов, и их борьбу между собой.

Но только марксизм впервые объяснил, что существование классов связано с определенными историческими отношениями производства, что капитализм порождает с одинаковой необходимостью буржуазию и пролетариат, что борьба между этими классами неизбежно приводит к диктатуре пролетариата, побеждающего сопротивление эксплуататоров, что эта диктатура пролета-

риата представляет необходимый переходный момент в процессе превращения капиталистического строя в коммунистический, что, овладев государственной властью, пролетариат использует ее только для превращения классового общества в бесклассовое.

Итак, резюмирую: можно быть материалистом, не будучи марксистом, но нельзя быть марксистом, не будучи материалистом. Марксизм есть только самая последовательная форма материализма, изгоняющая философский идеализм из всех углов и закоулков действительности. И природу, и историю он рассматривает как процесс непрерывного изменения и в своем анализе ставится задача вскрыть происходящую и в той и в другой борьбе— войну элементов, сил, классов. Именно то и отличает *диалектический* материализм Маркса и Энгельса, что он одинаково распространяется и на природу, и на историю человеческого общества.

Марксизм по самому существу своему—учение теоретическое и практическое: он не ограничивается тем, что хочет понять мир, он старается изменить этот мир при помощи сил, развиваемых этим миром. В отличие от мирных теоретиков развития, от ученых постепеновцев, он доказал, что революции представляют необходимый момент развития человеческого общества. Он поэтому и в теории, и на практике глубоко и безоговорочно революционен.

II

Мы имеем теперь, товарищи, все основные элементы для ответа на занимающий нас вопрос. Военное дело, военное искусство—это совокупность тех навыков, умений, знаний, которые необходимы при ведении войны. Вы прекрасно знаете, что военная история, что история войны представляет собой один из важнейших разделов в истории развития человеческого общества, в истории развития классовой борьбы внутри общества и конкурентной борьбы между господствующими классами разных наций. Точно так же как война во внешней политике есть продолжение этой политики *другими средствами*, так и гражданская война в области внутренней политики есть продолжение классовой борьбы *другими средствами*. Войны, внешние или гражданские—это явления социальные, происходящие только в определенной общественной среде; формы и цели их можно объ-

яснить только путем изучения той общественной и исторической среды, в которой они происходили и происходят, путем исследования тех определенных условий времени и места, которые накладывают на них свою печать. Нужно ли прибавлять, что наиболее надежным руководителем может служить при этом только марксизм?

Война ведется государством, при помощи всей государственной машины, всего государственного аппарата. Государственная власть—это орудие, при помощи которого господствующий класс держит в подчинении эксплуатируемые классы: Но государство не есть только орудие угнетения и подавления. Характерная черта той гигантской, простой и сложной кооперации, которую представляет собою данное общество, данное государство на данной территории, состоит в том, что эта кооперация порождает огромное количество силы, энергии, которое никогда не является простой суммой отдельных индивидуальных энергий, точно так же как, говоря словами Маркса, «сила натиска кавалерийского эскадрона или сила сопротивления пехотного батальона существенно отлична от суммы индивидуальных сил натиска и сопротивления, которые могли бы оказать отдельно взятые кавалеристы и пехотинцы». Всю эту огромную общественную энергию, всю эту сумму народных масс,—живую и матерьяльную,—создаваемую общественной кооперацией, но которую в первую очередь поглощает государство,— всю эту силу господствующий класс, т. е. класс, в руках которого находится государственная власть, использует в своих целях, чтобы преобразовать все общество; чтобы создать новое общество «по своему образу и подобию».

Господствующий класс, который умеет только подавлять и сокрушать, обречен на более или менее скорое исчезновение. Старое прусское юнкерство умело использовать в своих интересах не только силы трудящихся масс, но и энергию прусского бюргерства. Английская буржуазия и до сих пор располагает не только собственными силами, но и силами таких огромных масс, как английское мещанство и рабочая аристократия в самой Англии и многомиллионные крестьянские массы в колониях. Вся военная организация, организация обороны страны, определяется структурой государства, ее цели и задачи диктуются целями и задачами класса, организацией господства которого является это государство.

Нечего говорить, что одной из важнейших задач и нашего советского государства является использование всех огромных сил и энергии, которые порождает, как результат общественной кооперации, наша страна. Конечно, советское государство, т. е. организованный в качестве господствующего класса пролетариат, имеет огромное преимущество в том отношении, что оно может применять по отношению к трудящимся массам минимум принуждения, что оно может опираться на крепкий союз с многомиллионным крестьянством. Отражением этих специфических особенностей советского государства является и организация рабочей крестьянской армии, как одной из важнейших частей этого государства.

Стоит ли опять подчеркивать, что марксизм является наиболее надежным руководителем во всех этих вопросах?

В последнее время, в связи со спорами о преимуществах той или иной стратегии, в военно-научных аудиториях сделана была попытка противопоставить бурно-стремительному и наступательному бланкизму более «уравновешенный» и оборонительный марксизм. Такое противопоставление основано на недоразумении.

Марксизм никогда не отрицал громадной роли, которую играют в истории политика, сила, война. Он только исследует условия, которыми вызываются различные формы этой политики, и приходит к заключению, что основные причины изменения этих форм лежат в различных формах экономики, в различной классовой структуре данного общества. С точки зрения марксизма политика, сила, война есть не только результат экономики, но и могущественнейшее орудие воздействия на экономику. «Сила,— говорит Маркс,— всегда служит повивальной бабкой старому обществу, которое бывает беременно новым. Сама сила есть экономический деятель».

Не тем отличается марксизм от бланкизма, что он отрицает значение силы, насилия, а тем, что в организации этой силы, в организации восстания и революции, он опирается на определенный класс и, руководя процессом революционной организации этого класса, всесторонне анализирует социально-экономические условия, создающие и обеспечивающие диктатуру рабочего класса в переходную эпоху от капитализма к коммунизму. Маркс и Энгельс никогда не были пацифистами ни в области внутренней политики, ни в области внешней политики.

«Только при таком порядке вещей,—писал Маркс,—когда не будет больше классов и классового антагонизма, *социальные эволюции* перестанут быть *политическими революциями*. До тех же пор, накануне каждого полного переустройства общества, последним словом социальной науки будет: *война или смерть, кровавая борьба или уничтожение. Такова неотразимая постановка вопроса*».

И так же беспощадно, как он бичевал пацифистские иллюзии «мирных» социалистов, Маркс критиковал пацифистские иллюзии буржуазных мыслителей, мечтавших об устранении войны, как средства конкурентной борьбы различных наций.

«Было бы большой ошибкой,—пишет Маркс,—предполагать, что «евангелие мира» манчестерской школы имеет сколько-нибудь философское значение. Оно целиком сводится к тому, что феодальный метод ведения войны должен быть заменен торгово-промышленным, что место пушек должен занять капитал».

Политика—это только концентрированная экономика. А война есть продолжение политики, но только другими средствами. И опять-таки только марксизм дает нам наиболее надежное оружие при изучении и исследовании всех вопросов экономики и политики.

Мы переходим теперь к военному делу в тесном смысле этого слова. Может ли идти речь о марксизме в этой преимущественно практической области? Ведь еще до сих пор продолжается спор, представляет ли военное дело науку или искусство.

Такая постановка вопроса встречается и в писаниях марксистов. Но она все же в корне ошибочна. С таким же правом можно было бы спросить этих марксистов: что такое революционное дело—искусство или наука? Можно ли говорить о марксизме в революционном деле?

Во всяком деле, во всякой области человеческой деятельности необходимо применять научный метод. Поскольку мы не хотим быть беспомощными жертвами голого эмпиризма, поскольку мы не хотим подчиняться «пошлomu опыту»,—так было, так будет,—мы должны всю нашу практику пропитать теорией, мы должны во всякое общественное дело вносить науку. Здесь, за столом президиума, сидят мои приятели разной степени теоретичности, но все они гордятся тем, что в отличие от других революционеров были *научными* социалистами, стремились внести в ре-

володвонное дело максимум научности. Что это стремление не всегда венчается успехом, это другое дело, но заранее отказываться от онаучивания данной деятельности не приходится.

Вся история науки показывает, что она завоевывала одну сторону действительности за другой. Было время, когда науку и на выстрел не подпускали даже к объяснению природы. После долгих лет упорных усилий и стараний, даже мученичества, наука завоевала себе право исследовать все явления природы. Наступила эпоха расцвета математики и естествознания. Все, что выходило за пределы этой области, продолжало оставаться в ведении религии или философии; поскольку же речь шла о различных отраслях человеческой деятельности, то в лучшем случае все эти «дела» повышались в ранг ремесла или искусства. Такое разделение упрочилось настолько, что и теперь еще среди наук имеются «настоящие» и «не-настоящие», точные и неточные. Ученые представители физико-математических наук с аристократическим презрением смотрят на представителей всех остальных «наук» — общественных и даже медицинских. Но эти ученые забывают, что их отрасли знания не с самого рождения были науками, что потребовалось не мало времени и борьбы, пока накопившиеся в их ведении навыки, умение, знания были онаучены, возведены в ранг науки. Нет никаких прочных, неизменных разделов между обыденным мышлением, знанием, наукой. Только метод отличает науку от не-науки. Предметом ее является вся действительность во всех ее многообразных проявлениях. Для нее нет возвышенных и низменных предметов. Для нее нет и не может быть также никаких запретов. Чем сложнее предмет ее исследования, чем больше количество и разнообразие факторов и сил, результатом которых он является, тем труднее онаучивать эмпирическое знание этого предмета. Но было бы смешно заранее отказываться от такой задачи. Во всякую отрасль человеческой деятельности надо стараться внести максимум научности, из всякой совокупности навыков и знаний, из всякого искусства надо сделать науку. Тов. Буденный смотрит на меня скептически, но это относится даже к такой области, как ка-валерия.

Надо только отказаться от такого способа рассматривать вещи и явления, который знает только: или—или, да—да, нет—нет.

Маркс и Энгельс называли этот метод метафизическим в противоположность диалектическому.

В нашей военной литературе вообще замечается пристрастие к метафизическому методу. Что лучше: хороший паек или плохая военная доктрина? Армия баранов, предводительствуемая львом, или армия львов, предводительствуемая бараном? Вы, конечно, скажете: хороший паек и хорошая доктрина, армия львов и штаб из львов. Одно другого не исключает.

«Что такое военное дело? Искусство или наука?» спрашивает метафизик. «И искусство, и наука,—отвечает диалектик.— Искусство, становящееся наукой, по мере того как мы при посредстве научного метода превращаем сумму военных навыков и знаний в военную науку».

Марксизм вносит научный метод во всякое общественное дело, во всякий общественный процесс, во всякое политическое и экономическое действие. И только марксизм может и должен пропитать научным духом такое по преимуществу политическое и экономическое действие, как военное дело. Вопрос о том, в какой степени наука вообще и марксизм в частности может овладеть той или другой отраслью военного дела, зависит от условий времени и места, от специфических особенностей данной отрасли. Одно дело вопрос об артиллерии, как особой отрасли военного дела, имеющей свое особое место в общей организации всей армии, вопрос о преимуществах полевой, крепостной, береговой артиллерии, другое дело—вопрос о преимуществах той или иной пушки, гаубицы или мортпры, вопрос о меткости и скорострельности того или иного артиллерийского орудия. Второй вопрос—вопрос технический, при решении которого тоже одним здравым смыслом и опытом не обойдешься. И тут необходима помощь науки, математики и естествознания. Марксизм, как метод общественных наук, тут мало поможет, но без него не обойдешься при решении первого вопроса.

Маркс, в одном из своих писем к Энгельсу, определяет военное дело,—сентиментальным людям это определение может показаться циничским,—как человекоубойный промысел, отрасль промышленности, которая занимается истреблением людей. «Где,—пишет он,—подтверждается еще более блестящим образом наша теория, что организация труда определяется средствами производства, как не в человекоубойной промышленности?»

Конечно, это звучит не особенно хорошо. Но не нужно закрывать глаза на жестокую действительность. Война—это взаимное истребление людей, военное дело, будем ли мы называть его искусством или наукой, это—совокупность методов и способов уничтожения «живой силы» противника. Совершенство этих методов и способов определяется степенью развятия отношений производства, орудий труда и орудий истребления.

Никто не спорит, что историю военного дела нельзя изучать как совершенно автономную область явлений. Историк военного дела должен быть основательно знаком и с экономикой, и с политикой, и с идеологией данного народа и его господствующих классов. Нужно ли прибавлять, что лучшим руководителем и в этой области является марксизм? Ведь лучшие опыты истории военного дела, которые нам известны, тем лучше, чем больше авторы их приближаются к марксизму.

Против этого не будут спорить и те марксисты, которые отрицают возможность применения марксизма в военном деле. Но почему же марксизм необходим при изучении *истории*, при изучении *прошлых* судеб военного дела и неприменим при изучении *современного* военного дела?

Если прежде еще можно было подвергать сомнению тесную связь военного дела с экономикой и политикой, то после войны 1914—1918 гг. было бы смешно говорить об «автономии» военного дела, о «вечных законах» чистого военного искусства.

Преимущественное влияние экономических и социальных факторов в области военного дела нагляднее всего доказывается глубоким изменением, которое, в связи с развитием экономики и техники, произошло в соотношениях между различными частями военного дела и в особенности в соотношениях между стратегией и тактикой, двумя важнейшими частями учения о ведении войны.

Даже гражданские люди знают, что тактика—это совокупность правил, которые необходимо знать, чтобы навязать противнику сражение, бой при наиболее неблагоприятных для него условиях и уничтожить его «живую силу». Из отдельных сражений складываются военные операции. До известной степени тактика остается наиболее «чистым» военным искусством. Там, где известные формы общественных отношений остаются видимо неизменными, где данная общественная организация воспроизводится десятки и сотни лет на одной и той же основе, там паряду

с другими «вечными истинами» создаются и «вечные принципы» военного искусства. Оставалась без изменения общественная структура, оставались без изменения и структура боевой армии и те или иные приемы тактики. Великая французская революция, разрушившая основы старого феодального общества, распатала и основы традиционного военного искусства. Она, как известно, произвела коренные изменения и в области тактики. Оказалось, что и тактика определяется не только степенью развития техники, но и классовым составом армии. Изменились не только средства уничтожения противника, изменяются также и пространственные условия боя. Где полководцу, великому тактику, достаточно было простого глазомера, там теперь цехватает подзорной трубы. Основная тактическая единица вырастает до размера старых армий.

Стратегия—штука более высокого калибра. Это—умение комбинировать и проводить ряд военных операций, предполагающих целый план подготовки и ведения войны. Стратегия имеет дело с рядом факторов, которые тактика принимает как нечто данное, хотя они изменяются в зависимости от целого ряда условий—политических и экономических. Тактика знает только фронт, стратегия должна учитывать и состояние тыла своей страны и состояние тыла своих противников. Полководец, который заботится только об увеличении тактических ресурсов армии, рискует преждевременно истощить экономические ресурсы своей страны. Тактическая удача часто является стратегическим поражением, и наоборот. Мировая война показала, что войсковая единица, которая когда-то являлась основной единицей и самостоятельно выполняла стратегические задачи, превращается в чисто тактическую единицу, все действия которой определяются диктуемой извне стратегической задачей. Во всех этих отношениях взаимозависимость между стратегией и тактикой, демаркационная линия между одной и другой, подлежит и будет подлежать еще не малым изменениям.

Вопросы стратегии настолько тесно связаны с вопросами экономики и политики, судьбы армии настолько связаны с судьбами всего гражданского населения, что грань между фронтом и тылом, которая значительно стерлась во время империалистической войны, грозит совершенно исчезнуть при новых успехах техники в области авиации и химической обороны.

Верховное командование, которое фактически превращается в коллегиальное—генеральный штаб,—не может уже довольствоваться «чистой» стратегией старого типа. Возникает потребность в какой-то новой, «высшей» стратегии. Тов. Тухачевский сделал интересное предложение. Он прекрасно понимает, что современная организация военного дела и руководство военными действиями требуют больших познаний в самых разнообразных областях. что стратегия принадлежит гегемония над тактикой, что знание стратегии должно быть связано с не менее глубоким знанием экономики войны. Чтобы подчеркнуть этот новый характер стратегии, осложнение ее новыми моментами и задачами, тов. Тухачевский для этого «высшего учения о войне» выбирает термин «полемостратегия».

Я лично считаю этот термин не совсем удачным. В докладе, сделанном в Военной академии, мною было указано, что гораздо лучше можно было бы подчеркнуть совершенно изменившийся характер всей стратегии словом «экономостратегия». Но и этот термин слишком неуклюж. Можно остаться при старом, если только более точно определить усложнившиеся задачи новой стратегии. Не менее сильно изменились характер и задачи ряда других наук, причем не изменилось их название.

Я не буду подробно доказывать, что все вопросы организации, комплектования, снабжения армии и флота требуют для своего разрешения глубокого знания истории военного дела, экономики и политики, т. е. опять-таки умения пользоваться методом марксизма.

Повторяю, только в таких чисто *технических* частях военного дела, как учение об оружии и фортификации, марксизм,—поскольку он является методом исследования *общественных* явлений,—неприменим. Тут требуются другие научные методы, тут могут и должны помочь техника, математика и естествознание.

Было бы только наивно думать, что если марксизм так же необходим при изучении военного дела, как при изучении всякого общественного явления, что если марксизм является по преимуществу теорией классовой борьбы пролетариата, то можно построить особую, пролетарскую военную доктрину в противоположность буржуазной. Это такая же утопия, как создание пролетарской культуры вообще.

Я очень жалею, что не могу теперь привести некоторые за-

явления, показывающие, что вследствие той оскомины, которую плохие политруки и комиссары набили хорошим командирам, делаются теоретические выводы, которые пахотятся в прямом противоречии с основами марксизма, которые свидетельствуют, что данные товарищи, желая быть марксистами, являются идеалистами чистой воды, забывающими не только внутренние, но и международные политические условия.

В чем состоит значение знаменитого тезиса Клаузевица, на который так часто ссылаются? В доказательстве, что, вопреки мнению некоторых—иногда даже гениальных—полководцев, военное дело, война, не есть нечто совершенно самостоятельное, оторванное от общей политики, что, наоборот, она есть по самому существу своему политическое действие, продолжение политики другими средствами. Несмотря на это, все еще существует тенденция,—и в нашей собственной среде,—отрывать военное дело от общей политики, тенденция подчеркивать какую-то особую автономию боевых действий, противопоставлять «военную стихию» гражданской политике. Количество и тут переходит в качество, иногда очень скверное, как это показал опыт такого энтузиаста «военной стихии», как Людендорф. Средство должно быть подчинено цели, «военная стихия» должна всегда управляться политическим разумом, стратегия—выполнять задания диктатуры пролетариата.

Война—печальная необходимость, но при известных условиях она неизбежна. Она может быть навязана даже пролетарскому государству, несмотря на то, что его политика не только по видимости, но и по существу строго оборонительна. Вся наша стратегия должна быть построена на этом основном начале—обеспечении обороны пролетарского государства. Если война, то война оборонительная—оборонительная в интересах пролетариата, оборонительная в интересах советского государства.

Мы находимся на съезде военно-научных обществ, на котором участвуют и представители гражданских организаций. И тем важнее подчеркнуть, что смычка между красноармейцами, с одной стороны, рабочими и крестьянами—с другой, смычка между фронтом и тылом будет тем прочнее и теснее, чем лучше мы все усвоим себе мысль, что оборонительная политика пролетарского государства не есть «так себе»; нет, это не маневр, это не маскировка, это—сущность всей нашей военной организации.

Но только метафизик может думать, что оборонительная война исключает наступательные операции. Такую метафизику осмелю в одном из своих писем Энгельс: «На меня напали на улице, я вывернулся. Это допускается, это—оборона. Но если я, в целях самообороны, свалил своего противника, то это нехорошо, это, видите, уже наступление». В другом месте Энгельс говорит,—цитирую на память,—что пассивная оборона—глупейшая вещь.

Я хорошо знаю, что среди вас есть горячие люди, которые во сне и наяву только и мечтают, как в один прекрасный день они завоюют и сокрушат весь буржуазный мир. Из всех возможных стратегий они признают только одну—стратегию сокрушения. Их лозунг: глазомер, быстрота, натиск. Лозунг, конечно, хороший. Бывает однако, что быстрота развивается довольно большая, но натиск к концу пробега получается минимальный.

Опыт истории революционных войн от 1791 г. еще до сих пор не изучен как следует с точки зрения марксизма. Только превращение оборонительной войны в завоевательную, замена идейной пропаганды пропагандой при помощи оружия создали благоприятные условия для термидорианства, а затем бонапартизма.

На все попытки втянуть нас в войну у нас есть один ответ. Мы ни на кого не нападаем. Мы этого не стыдимся и будем в меру всех наших сил и возможностей избегать войны. Нет ничего более гнусного, чем старая дворянско-буржуазная теория так называемого престижа. Ни на какое «оскорбление» нашего международного престижа нас не поймает. Пусть себе ругаются. Никто не заставит нас выбрать поле сражения за двадцать тысяч верст, несмотря на все совершенства кавалерии тов. Буденного.

Повторяю. Мы продолжаем оставаться в капиталистическом окружении, мы укрепляем наше государство и со всей энергией стараемся доказать нашим примером пролетариату по ту сторону границы, что можно обойтись без буржуазии в деле развития производительных сил общества. Только такая политика ускоряет взрыв социальной революции на Западе.

Не надо тешить себя иллюзиями о внесении революции извне. Самая выгодная комбинация для нас—это внутренняя гражданская война по ту сторону. А это означает революцию изнутри. Но и в этом случае не всегда диктуется «движение на выстрелы». Когда у наших друзей пожар в доме или когда на них напали

бандиты, они встречают с радостью помощь, но если избавитель, даже при достаточной жилплощади, располагается в этом доме на постой, он рискует вызвать очень скоро не совсем благожелательные чувства. Товарищи, надеюсь, меня поняли.

Конечно, у нас имеется огромное стратегическое преимущество, и именно на него опираются те товарищи, которые утверждают, что наше наступление само будет создавать себе новые силы. Мы имеем резервы позади тыла противника. Это действительно большое преимущество, позволяющее разлагать живую силу противника. Но эти резервы тем сильнее, чем меньше они нуждаются в нашей непосредственной боевой помощи.

В заключение несколько слов по поводу вопроса о военном воспитании и политпропаганде. И в этом случае мы имеем дело с той же метафизической постановкой вопроса: или—или. Мы завоевали власть, в наших руках весь государственный аппарат, школа, армия. Было бы смешно, если бы мы отказались от использования всего этого аппарата, чтобы воздействовать на воспитание и перевоспитание народных масс в духе наших воззрений. Тут мы должны учиться у буржуазии. Пролетариат и его партия должны использовать армию как огромный аппарат для коммунистического воспитания трудящихся масс.

Что лучше: муштровка или политпропаганда? Муштровка и коммунистическое воспитание. Муштровка хороша тем, что сообщает красноармейцу все необходимые ему боевые навыки, приучает его тратить минимум энергии при выполнении военно-технических задач. Каждый красноармеец должен знать свой боевой маневр, но он должен также хорошо знать и свой классовый маневр.

В первую очередь, во вторую очередь и в третью очередь коммунистическое воспитание хорошего красноармейского бойца, который прекрасно знает, что он должен быть готов оборонять свое социалистическое отечество, используя, при определенных условиях времени и места, все преимущества наступления, но в то же время знающий и умеющий растолковать своему товарищу, беспартийному рабочему или крестьянину, что война хуже всякой холеры, что она—безобразне, порожденное и питаемое капитализмом, буржуазией, частной собственностью. Но когда война становится неизбежной, когда дело идет о защите против капиталистов, против буржуазии, против помещиков, тогда оста-

ется один выход—как в войне, так и в революции. Война пролетарского государства—это продолжение революции другими средствами. И в том, и в другом случае самым надежным руководителем является марксизм. Всякий красноармеец должен помнить слова поэта:

Сохраний свою осанку,
Над собой держи контроль!

Осанку красноармейскую, контроль коммунистический!

МАРКС И ЭНГЕЛЬС О БРАКЕ И СЕМЬЕ ¹⁾

I

В связи с обсуждением на последней сессии ВЦИК нового проекта закона о браке и семье, принятого, в конце концов, в значительно измененной форме, был затронут принципиальный вопрос—вопрос об отношении коммунизма, научного социализма, к браку и семье.

Тов. Курский, главный докладчик, заявил:

«Придет время (я глубоко убежден в этом), когда мы приравняем регистрацию во всех отношениях к фактическому браку или уничтожим совсем. Регистрация будет только статистически учитывать эти явления, поскольку их всегда необходимо будет учитывать».

Тов. Крыленко еще более подчеркнул преимущества нового законопроекта.

«Он (этот проект) делает шаг вперед в смысле приближения к идеалу коммунистического общества, где вообще брачные отношения не должны будут подлежать какой бы то ни было принудительной регламентации».

Тут нашла себе выражение точка зрения, которую—правда, не всегда последовательно—защищает т. Преображенский. В очень интересной книжке «О морали и классовых нормах» он говорит:

«Конкретно, можно ли с точки зрения пролетарских интересов поставить и дать ответ на вопрос, какие формы общения полов больше совместимы если не с теперешними социальными отношениями и социальными интересами, то с отношениями социалистического общества: моногамия, кратковременные связи или так называемое беспорядочное половое общение? До сих пор защитники той или иной точки зрения в этом вопросе скорее обосновывали всевозможными аргументами свои личные вкусы и при-

¹⁾ В основу статьи положен доклад, прочитанный в декабре 1926 г.

вышли в этой области, чем давали правильный, социологически и классово обоснованный ответ. Кому больше нравился несколько филистерский личный семейный быт Маркса (я позволю себе прибавить: и Ленина. — Д. Р.) и кто по своим наклонностям предпочитал моногамию, тот пытался возвести в догмат и норму моногамную форму брака, подбирая для этого медицинские и социальные аргументы. Те, которые склонны к обратному, пытаются выдать быстротечные браки и «половой коммунизм» за естественную форму брака в будущем обществе, причем иногда проведение на практике этого типа общения между полами с гордостью рассматривают как «протест на деле» против мещанской семейной морали настоящего).

«Быстротечный брак» и «половой коммунизм» — это новые формы выражения для полетов и порханий крылатого Эроса. Не удивительно, что приверженцы этого «типа общения между полами» сильно переполошились, когда узнали, что на сессии ВЦИК нашлись противники нового «истинно-коммунистического» законопроекта не только среди беспартийных филистеров, но и среди коммунистов. Противников «мещанской семейной морали настоящего» охватила тревога. Наиболее яркое выражение эта тревога нашла в стихотворении поэта-комсомольца, который от имени всей комсомолки выступил в защиту нового законопроекта, за «право на любовь».

О любящие — в строй! Все будьте готовы!
 Пусть гремят стук сердец, как барабанный стук.
 Сегодня суд вершат над вашей любовью,
 Сегодня бой идет простым поднятием рук.
 Послав ко всем чертям высокое искусство,
 Сегодня я кричу простую мысль мою:
 За Курского! За кодекс Наркомюста!
 За новую семью!

Товарищи, я цитировал это барабанное «слово большевика» только потому, что оно «произнесено» официальным поэтом комсомолки. Это мнение поэта, средне одаренного поэтически, но политически очень безграмотного, лучше всего показывает, как необходимо было поставить в дискуссии принципиальный вопрос о «праве на любовь».

Не знаю, на каких крыльях летала тут фантазия тов. Безыменского. Но нужно не иметь никакого понятия о программе

партии, о действующем советском законодательстве, чтобы всерьез, на страницах центрального органа ВЦИК и ЦИК, а не «Бузотера», истощным голосом кричать, что на десятом году советской власти кто-то совершал настоящее преступление, собирался вновь опутать женщин цепями старой семьи.

О женщины — вперед! Каким-то там калекам
 Вас хочется загнать в былую клетку вновь
 И вновь надеть ярмо, как получеловекам,
 Назвав это ярмо «закопная любовь».
 Иным мила кровать, но не мила расплата.
 Так двиньте же вперед все пушки ваших мук,
 Чтоб не была ярмом и знаменем разврата
 Штампованная честь супругов и супруг.

Можно не соглашаться с идеологией «крылатого Эроса», но нельзя отрицать, что в ней звучало искреннее чувство протеста против старой семьи, что в ней нашла,— правда, не всегда вполне правильное,— отражение гениальная критика, которой подвергали буржуазную семью великие утописты-социалисты.

Орлам случается и ниже кур слускаться,
 Но курам никогда до облак не подняться.

Фантазия наших поэтических «кур» или «петухов» выше кровати не поднимается. Она и в десятый год диктатуры пролетариата все еще беспомощно путается в вопросе о «праве на любовь».

В другом докладе, который будет посвящен «старому» закону, т. е. закону Октябрьской революции, и «новому» закону, т. е. законопроекту Наркомюста, в защиту которого мобилизованы были «полки сердец и глаз», я укажу на целый ряд легенд, которые созданы были в связи с этой дискуссией.

Сегодня я ограничусь только одним. Я хочу ответить на вопрос: будут ли брак и семья подвергаться регламентации в социалистическом и коммунистическом обществе, какие формы «общения полов» больше соответствуют уровню культуры, который будет достигнут в условиях такого общества? А для этого лучше всего проследить развитие взглядов Маркса и Энгельса на эти вопросы. Мы увидим тогда, какие взгляды больше сходятся или расходятся с основными принципами научного коммунизма, которые были установлены Марксом и Энгельсом.

II

Программа научного коммунизма впервые была изложена в «Коммунистическом манифесте». Миросозерцанию буржуазии было противопоставлено миросозерцание пролетариата. С точки зрения интересов последнего подвергнуты были критике основные учреждения буржуазного общества, в том числе брак и семья. В этой критике Маркс и Энгельс имели предшественников. Они не являются «творцами» совершенно новой системы, они не высасывали ее из собственного пальца, они не создавали ее из «глубин» собственного духа—они опирались на все достижения предшествовавших им социалистов и коммунистов, главным образом великих утопистов—Сен-Симона, Фурье, Оуэна и французских материалистов-коммунистов.

В сочинениях и памфлетах этих мыслителей и их последователей была дана такая исчерпывающая критика старой буржуазной семьи и основанного на праве частной собственности брака, что Марксу и Энгельсу не приходилось уже повторять ее. Уже столет тому назад, задолго до «Манифеста», было доказано, что в буржуазном браке нет никаких элементов свободного, основанного только на взаимной личной привязности, союза, что в буржуазном браке только в редких случаях, как исключение, сквозь путы и оковы буржуазных отношений прорывается то, что называется свободным чувством. Апология этого свободного чувства, реабилитация, оправдание «плоти» в противоположность ее принижению христианской религией и мещанской моралью, перестройка семьи на основах нового, социалистического быта—вот главное содержание этой критики.

Когда учения великих утопистов проникли в рабочую среду, пролетария с своей стороны занялись обсуждением вопроса о браке и семье. Я сейчас перейду к изложению тех взглядов, которые Маркс и Энгельс защищали после того, как они вступили в контакт с пролетарской средой, но сначала хочу с вами проследить развитие взглядов Маркса и Энгельса в их «до-социалистический период».

Дело в том, что Маркс, как и Энгельс, ставший коммунистом несколько раньше, подвергся, вместе со всей пемедкой интеллигенцией, влиянию некоторых идей утопистов еще в тот период своего развития, когда он был только политическим демо-

кратом. Передовые люди Германии, в особенности представители так называемой «Молодой Германии», уже во второй половине 30-х годов (XIX столетия) испытали на себе сильное влияние сен-симонистских учений об эмансипации женщин. Кто знаком с русской литературой 40-х годов, тот знает, какое влияние эти учения имели на лучших представителей нашей свободомыслящей интеллигенции еще до того, как они стали более или менее последовательными социалистами. Не только русские младогегельянцы, но и немецкие, не могли согласиться с своим учителем, что мужчина имеет свою особенную, именно ему присущую, сферу деятельности—государственную, научную и т. д., что призвание женщины заключается в культе семьи, что брак есть один из абсолютных принципов, на которых покоится вся общественная жизнь.

В одной из своих ранних статей («Ландшафты», июль 1840 г.) двадцатилетний Энгельс пишет, что «не далека уже пора, когда женские сердца начнут биться за идеалы современности так же горячо, как они бьются за набожную веру отцов», что «лишь тогда наступит победа нового, когда молодое поколение станет его впитывать вместе с молоком матерей».

Марксу в качестве сотрудника, а после и редактора «Рейнской газеты» пришлось высказаться о браке два раза: сначала в полемике против исторической школы права, затем—в связи с законопроектом о разводе.

«Школа, узаконяющая подлость сегодняшнего дня подлостью вчерашнего, школа, объявляющая мятежным всякий крик крепостных против кнута, если только этот кнут—старый и прирожденный исторический кнут, школа, которой история показывает, как бог Израиля своему слуге Моисею, только свою «заднюю», историческая школа права, в лице ее творца Гуго, призывала подчиниться существующему только потому, что оно существует». Маркс разбирает по пунктам взгляды Гуго, который «находил все разумное и нравственное в учреждениях сомнительных с точки зрения разума»—рабстве, абсолютизме—и, наоборот, говорил, что «в браке и в других нравственно-правовых институтах нет разума».

Только недавно мы узнали, что из этой статьи цензура выбросила целую главу, а именно главу о браке. Благодаря любезности одного ученого ¹⁾, которому удалось достать рукопись.

¹⁾ Профессора Гансена.

сохранившуюся у какого-то коллекционера, мы получили эту выпущенную главу.

Гуго находит, что брак очень часто признавали более разумным учреждением, чем это оказывается при внимательном рассмотрении. «Правда,—прибавляет Маркс,—господину Гуго нравится, что в браке удовлетворяется половое влечение. Почтенный профессор находит даже, что этот факт лучше всего показывает, как неправильно утверждать вместе с Кантом, что нельзя использовать тело человека как средство для достижения цели». «Но освящение полового влечения его исключительностью,—замечает Маркс,—связывание влечения законодательными нормами, *нравственная красота*, претворяющая веление природы в момент духовного единения, *духовная сущность* брака,—все это вызывает у господина Гуго большие опасения». Чтобы лучше характеризовать «фривольное бесстыдство» почтенного профессора, Маркс приводит следующую цитату:

«Еще более рискованным является второе условие, что вне брака удовлетворение полового влечения не допускается. Животная природа человека—против такого ограничения. Его разумная природа протестует еще сильнее потому... угадайте!.. потому, что человек должен был бы быть *почти всеведущим*, чтобы предвидеть, к какому результату это приведет, потому что это значит искушать бога, если берут на себя обязанность удовлетворять одну из сильнейших естественных потребностей только тогда, когда это можно сделать лишь с определенной другой личностью».

Оказывается, что историческая школа права, несмотря на свою глубокую старость, сходится в своих высказываниях с некоторыми очень молодыми комсомольцами, противниками «штампованной чести супругов и супруг». Если основоположник исторической школы права замечал только «животную» сторону человеческих отношений, созерцал только «заднюю» исторического процесса, то современные Тиртеи, ведущие «на приступ за право и любовь полки сердец и глаз», все время болтая, в простой или рифмованной прозе, о пролетарской культуре, в действительности созерцают только «заднюю» пролетариата.

Даже с точки зрения гражданского порядка брак, по мнению Гуго, представляет неудобства. Он налагает на полицию нравов неразрешимую задачу. Вообще, это весьма несовершенное

учреждение. Вопрос о многобрачии или единобрачии определяется животной природой человека. «Посмотрите, — заканчивает Маркс, — в какой школе обучается немецкая молодежь!»

В статье «Проект закона о разводе»¹⁾ Маркс вскрывает все недостатки и противоречия прусского законопроекта, который был составлен в июле 1842 г. Между прочим он указывает, что брак рассматривается законодательством не как *нравственный*, а как религиозный и церковный институт, что, следовательно, мирская сущность брака игнорировалась. Если законодательство не может декретировать нравственность, то оно еще меньше может юридически санкционировать безнравственность. Если бы брак не был основой семьи, то он в такой же малой степени являлся бы предметом законодательства, как, например, дружба. Никто не принуждается к заключению брака, но всякий должен подчиняться законам брака, раз он вступил в брак. Всякий, кто заключает брак, не творит, не изобретает брака, он так же мало творит и изобретает брак, как плавающий — природу и законы воды и тяжести. Брак поэтому не может подчиняться его произволу, а, наоборот, его произвол должен быть подчинен браку.

Но является ли брак нерасторжимым, обязаны ли супруги быть «верными друг другу до гроба», допустим ли развод? Ссылка на Гегеля, по мнению Маркса, не выдерживает критики.

Гегель говорит: в себе, в понятии, брак нерасторжим, но только в себе, т. е. только в понятии. Этим, однако, не указывается что-либо специфическое, отличающее только брак. Все нравственные отношения нерасторжимы *по своему понятию*, как легко убедиться, если предположить их истинность. *Истинный* государственный союз, *истинный* брак, *истинная* дружба нерасторжима, но никакое государство, никакой брак, никакая дружба не соответствуют вполне своему понятию, и как реальная дружба даже в семье, как реальное государство в мировой истории, так и реальный брак в государстве *расторжим*.

Развод есть только констатирование: данный брак есть *мертвый* брак, существование его есть только видимость и обман. Само собою разумеется, что ни произвол законодателя, ни произвол частных лиц, а только *существо дела* решает каждый раз, умер

¹⁾ «Рейнская газета», 19 декабря 1842 г. Напечатана мною впервые в русском переводе сочинений Маркса и Энгельса. Мерингу она осталась неизвестной

ли брак, или нет, ибо судебное признание факта смерти, как известно, зависит от сущности дела, а не от желания заинтересованных сторон.

Уверенность в том, что *предпосылки*, при которых *существование* какого-нибудь нравственного отношения не соответствует более своему назначению, констатируются правильно, без предвзятых мнений и в соответствии как с выводами науки, так и с общим правосознанием,—эта уверенность, конечно, будет только тогда существовать, когда закон явится сознательным выражением *народной воли*, следовательно, с ней и через нее будет получать жизнь.

Законодатель может в отношении брака только установить, при каких условиях он является *по существу* своему уже *расторгнутым*. Судебное расторжение может быть только протоколированием внутреннего распада.

III

Мне могут сказать, что эти взгляды Маркса высказывались им, когда он еще не был коммунистом и когда он несомненно еще не был «марксистом». Правда, последняя статья писана Марксом, когда он уже покидал точку зрения буржуазной демократии, чтобы стать на точку зрения пролетарской. Перейдем теперь к изложению его взглядов, как они начали развиваться после того, как он в своей статье «К критике гегелевской философии» впервые формулировал историческую миссию пролетариата: уничтожение классового характера общества, полное освобождение человечества от всяких оков, налагаемых на его развитие частной собственностью, установление коммунистического строя.

Но, выработывая принципы научного коммунизма, Маркс вынужден был сначала подвергнуть критике учение представителей того коммунизма, который он называет «грубым и нецивилизованным» и даже реакционным. Восставая против частной собственности, эти коммунисты не столько *уничтожали* частную собственность, сколько превращали ее во *всеобщую* частную собственность. Их коммунизм являлся *обобщением* частной собственности. В «Коммунистическом манифесте» мы имеем только итоги этой критики. Мне посчастливилось, однако, найти рукопись Маркса, в которой он подвергает критике этот «грубый», «сырой» коммунизм

не только в отношении его к частной собственности вообще, но и к браку. Я заранее прошу извинения за длинную цитату ¹⁾.

«Рассматривая частную собственность в ее *всеобщности*, коммунизм является в своей первой форме только *обобщением и завершением* ее. В качестве этого завершения он имеет двойкий вид: с одной стороны, он так переоценивает роль и господство *личной* собственности, что он хочет уничтожить *все*, что не может стать достоянием и *частной собственностью* всех; он хочет *насильственным* образом устранив таланты и т. д. Непосредственное физическое *обладание* является в его глазах единственной целью жизни, форма деятельности *рабочего* здесь не уничтожается, а распространяется на всех людей.

«Отношение частной собственности сохраняется и в отношении коллективности к миру вещей. Наконец, это движение, стремящееся противопоставить частной собственности всеобщую частную собственность, выражается в совершенно животной форме, когда оно противопоставляет *браку* (являющемуся, конечно, известной формой исключительной частной собственности) *общность женщин*, когда, следовательно, женщина становится у него *общественной* и *низкой* собственностью. Можно сказать, что в этой идее *общности* женщина высказана тайна этой, еще совершенно грубой и бессмысленной, формы коммунизма. Подобно тому как женщина покидает брак для царства всеобщей проституции, так и весь мир богатства, т. е. предметной сущности человека, переходит из состояния исключительного брака с частным собственником ко всеобщей проституции с коллективностью. Проституция есть лишь *особенное* выражение *всеобщей* проституции рабочего, и так как проституция захватывает не только проституируемого, но и проституирующего (низость которого еще больше), то в эту категорию попадает и капиталист и т. д. Этот коммунизм, отрицающий повсюду *личность* человека, есть лишь последовательное выражение частной собственности, являющейся этим отрицанием.

«В отношении к *женщине*, как к добыче и объекту, служащему для удовлетворения общественной похоти, выражено бесконечное вырождение человека, когда он существует сам для себя, ибо тайна отношения между человеком и человеком находит свое

¹⁾ Новая рукопись Маркса напечатана в третьей книге «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса».

недвусмысленное, решительное, открытое, явное выражение в отношении между мужчиной и женщиной и в подходе к этому естественному, непосредственному родовому отношению. Непосредственное, естественное, необходимое отношение человека к человеку—это отношение мужчины к женщине. В этом естественном родовом отношении отношение человека к природе есть непосредственным образом его отношение к человеку, подобно тому как его отношение к человеку есть непосредственным образом его отношение к природе, его собственное *природное* свойство. Следовательно, в этом отношении проявляется в *чувственном*, наглядно фактическом виде то, насколько стала для человека природой человеческая сущность или насколько природа стала человеческой сущностью человека. Поэтому на основании этого отношения можно вообще судить о степени развития человека. Из характера этого отношения видно, насколько человек стал родовым существом, стал человеком, до какой степени он это понимает. Отношение мужчины к женщине есть естественнейшее отношение человека к человеку. Следовательно, в нем обнаруживается, насколько естественное поведение человека стало человеческим или насколько человеческая сущность стала для него естественной сущностью, насколько его человеческая природа стала для него природой. В этом отношении обнаруживается также, насколько *потребность* человека стала *человеческой* потребностью, т. е. насколько *другой* человек стал для него, как человек, потребностью: в нем обнаруживается, насколько человек в своем индивидуальном бытии является в то же время общественным существом. Таким образом, первая положительная форма уничтожения частной собственности, *грубый коммунизм*, есть лишь форма проявления низости частной собственности, желающей утвердить себя как положительная общественность».

Многие коммунисты и до сих пор не понимают, что их якобы весьма радикальные рассуждения о многообразии представляют только отражение этого «грубого коммунизма», который механически переносил на будущее общество многие представления и понятия, создавшиеся в обществе, основанном на частной собственности.

«Частная собственность,—пишет Маркс,—сделала нас столь тупыми и односторонними, что какой-нибудь предмет является *нашим* лишь тогда, когда мы им обладаем, когда мы им непо-

средственно владеем, едим его, пьем, носим на своем теле, живем в нем и т. д., когда мы, говоря коротко, потребляем его... Поэтому на место *всех* физических и духовных чувств стало простое отчуждение *всех* этих чувств, чувство *обладания*. До такой вот абсолютной пицеты должна была быть доведена человеческая сущность, чтобы она могла породить из себя свое внутреннее богатство».

С точки зрения теории, которая объявляет человека высшим существом для человека, которая доказывает необходимость уничтожения всех общественных условий, унижающих и унижающих человека, превращающих его в предмет унижения, эксплуатации, удовлетворения чужих потребностей,—с точки зрения этой теории всякая попытка приравнять такую естественную потребность, как потребность в пище, к такой естественной потребности, как половое влечение, свидетельствует только о крайне низком культурном уровне. Предмет удовлетворения первой потребности—только объект, предмет удовлетворения второй—человек, существо действующее и страдающее, существо общественное.

Но и самые потребности в процессе человеческой истории, в процессе превращения человека из животного в человека, все больше и больше очеловечиваются. «Не только обычные пять чувств, но и так называемые духовные чувства, практические чувства (воля и любовь и т. д.), одним словом, *человеческий* смысл, *человечность* чувств возникают только благодаря бытию их предмета, благодаря *очеловеченной* природе. Развитие пяти чувств—это продукт всей всемирной истории. Чувства, находящиеся в плену грубой практической потребности, обладают только *ограниченным* смыслом. Для изголодавшегося человека не существует человеческой формы пищи, а существует только ее отвлеченное бытие как пищи: она могла бы с таким же успехом иметь самую грубую форму, и невозможно сказать, чем отличается этот способ удовлетворения потребности в пище от животного способа удовлетворения ее.

Точно так же половое влечение переживает, в процессе всемирной истории, ряд метаморфоз от животного способа удовлетворения его до «величайшего нравственного прогресса», достигнутого, по словам Энгельса, человечеством: современной индивидуальной половой любви.

IV

Я уже сказал, что Маркс и Энгельс очень рано испытали на себе влияние идей сен-симонизма—по вопросу о женской эмансипации—в той форме, какую эти идеи нашли в литературе «Молодой Германии». Только что мы видели, что Маркс в 1844 г., стараясь уяснить себе основные принципы коммунизма, подвергает критике взгляды «грубого» коммунизма.

Кто же являлся выразителем этих взглядов, в какой среде пропагандировались эти взгляды? Ответ мы находим в другом сочинении Маркса и Энгельса—в «Святом семействе», в котором они окончательно сосчитались со старой идеалистической философией. В главе о французском материализме, в которой Маркс показывает, как учения этого материализма приводили непосредственно к социализму и коммунизму, он называет бабунистов—последователей Бабефа, бабунизма, тогда самого популярного учения среди революционных рабочих организаций,—«грубыми (сырыми, неотесанными), педивилизованными материалистами». В своей критике буржуазной семьи и брака они зачастую ударялись в противоположную крайность. Гораздо выше Маркс ставил «мастерскую характеристику брака», данную в сочинениях Фурье и Оуэна, в особенности первого. Именно взгляды Фурье он противопоставляет пошлой филантропии когда-то популярного французского романиста Евгения Сю, герой которого, принц Рудольф, по словам Маркса, не понимает, что «все положение женщины в современном обществе обезчеловечивает ее». В приводимых Марсом цитатах из Фурье мы уже находим мысли, которые после встретим в «Манифесте».

«Нарушение супружеской верности, обольщение девушки приносят соблазнительно честь, считаются хорошим топом. Но бедная девушка! Действительно, какое преступление! Если она дорожит своею честью, она должна уничтожить следы своего бесчестия, а если она жертвует своим ребенком во имя предрассудков этого мира, то она подвергается еще большему позору и делается жертвой предрассудков закона. Вот порочный круг, который описывается механизмом цивилизации.

«Точно так же, как в грамматике два отрицания составляют утверждение, так и в брачной сделке две проституции составляют добродетель... Развитие данной исторической эпохи лучше всего

определяется отношением между прогрессом женщины и свободой, так как в отношениях между женщиной и мужчиной, слабым и сильным, наиболее отчетливо выявляется победа человеческой природы над зверством. Степень женской эмансипации представляет естественное мерило всеобщей эмансипации... Унижение женского пола есть существенная отличительная черта как цивилизации, так и варварства, с тем только различием, что порок, который практикуется варварством без всяких прикрас, цивилизация поднимает на степень сложного, двусмысленного, вопрекистойного, лицемерного бытия... Никого не унижает более глубоко такое преступление, как содержание женщины в рабстве, чем самого мужчину».

В книге «Положение рабочего класса в Англии», написанной тоже зимой 1844—1845 г., Энгельс рисует картину рабочей семьи. Он указывает на половую распущенность как на один из главных пороков там, где рабочий еще не стал сознательным членом революционной армии труда и пребывает в покорности буржуазному общественному порядку.

«Когда люди поставлены в положение, могущее удовлетворять только животное, им остается лишь возмущаться или самим превращаться в животных. И буржуазия меньше, чем кто-либо другой, имеет право упрекать рабочих за половую распущенность, потому что она сама содействует росту проституции». Условия, в которые буржуазное общество ставит рабочих, делают, по мнению Энгельса, невозможной «нормальную семейную жизнь».

Весною 1845 г. Маркс и Энгельс встретились в Брюсселе. Маркс успел к этому времени сделать шаг дальше в развитии своего мировоззрения. Он уже не довольствуется «созерцательным» материализмом Фейербаха. «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Бытие определяет сознание, однако это бытие не только естественное бытие, природа, но и общественное бытие. Человек не есть только нечто природное, в еще большей степени он является результатом, совокупностью общественных отношений. Природа влияет на человека, но и последний, в свою очередь, влияет на природу, изменяет ее. «Материалистическое учение об изменении обстоятельств и воспитании забывает, что обстоятельства изменяются людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан». А такое совпадение изменения обстоятельств

и человеческой деятельности, или самонизменение, может быть достигнуто и рационально понято только как *революционная практика*.

Маркс и Энгельс окончательно приходят к выводу, что каждый стремящийся к господству класс,—если даже его господство означает, как в случае с пролетариатом, уничтожение всего старого общественного строя и господства,—должен прежде всего завоевать себе политическую власть, чтобы преобразовать общество «по своему образу и подобию». Коммунистическое сознание может развиваться только тогда, когда люди становятся в определенные условия, когда их практика изменяет их в определенном направлении, а это возможно только путем революции. Эта революция «необходима не только потому, что нельзя никаким иным способом свергнуть *господствующий* класс, но и потому, что *свергающий* класс может только в революции очиститься от всей грязи старого общества и стать способным создать новое общество». Другими словами, сам пролетариат, в процессе гражданской войны и революции, должен очиститься от всей скверны старого буржуазного общества, освободиться от всех следов идеологии, развившейся на основе частной собственности, от старых взглядов на религию, мораль, семью, брак и т. д., должен, одним словом, и сам «быть воспитан».

Свои новые взгляды Маркс и Энгельс развили подробно в большой работе, в которой подвергли обстоятельной и беспощадной критике самые радикальные учения немецкой интеллигенции, в том числе и Макса Штирнера. В его книге «Единственный и его собственность» дается самое последовательное изложение философского анархизма, но, несмотря на весьма радикальную фразеологию, не уступающую по своему радикализму фразам наших певцов «права на любовь», Штирнер, как уже показывает и самое заглавие его книги, остается идеологом мещанского индивидуализма.

Маркс и Энгельс в своей критике касаются и взглядов Штирнера на брак и семью.

«Добрый малый,—пишут они,—опять видит господство свистого там, где господствуют чисто эмпирические отношения. Буржуа относится к учреждениям своего общества, как еврей к закону: он обходит их, насколько возможно, в каждом отдельном случае, но хочет, чтобы все остальные повиновались им. Есян

бы все буржуа п массе сразу обошли все законы буржуазии, то они перестали бы быть буржуа, что, конечно, не приходит им в голову и несколько не зависит от их желания. Развратный буржуа обходит брак и тайно занимается прелюбодеянием; купец обходит институт собственности других при помощи спекуляции, банкротств и т. д.; молодой буржуа добивается независимости от собственной семьи. Практически разлагает семью в свою пользу, но брак, частная собственность, семья остаются теоретически неприкосновенными. ибо они представляют практическую основу, на которой буржуазия воздвигла свое господство, ибо в своей буржуазной форме они—условия, которые делают буржуа буржуем точно так же, как всегда обойденный закон делает религиозного ерея религиозным евреем. Это отношение буржуа к своим условиям существования находит общее выражение в буржуазной нравственности. Вообще нельзя говорить о семье как таковой. Буржуа исторически придает семье характер буржуазной семьи, в которой связующим элементом являются скука и деньги, с которой также связано буржуазное разложение семьи, при котором сама семья продолжает существовать. Ее грязному существованию соответствует ее священное попятие в официальной фразеологии и во всеобщем лицемерии. Там, где семья действительно разложена, как это мы видим у пролетариата, попятие семьи не существует вовсе, в то время как все же встречаются наклонности к семейной жизни, опирающиеся на очень реальные отношения. В XVIII веке философы разложили понятие семьи, потому что действительная семья на высших ступенях цивилизации начала разлагаться. Разрушена была внутренняя связь семьи, отдельные части, составляющие понятие семьи, как-то: повиновение, благочестие, супружеская верность и т. д. Но действительное тело семьи, имущественное отношение, исключительное отношение к другим семьям, принудительное сожительство, отношения, связанные с наличием детей, устройством современных городов, накоплением капитала и т. д.—все это осталось, потому что существование семьи сделалось неизбежным благодаря ее связи с независимым от воли буржуазного общества способом производства. Характерным образом эта необходимость проявляется во время французской революции, когда семья, повидимому, была уничтожена законом. Семья продолжает существовать и в XIX веке, с той только разницей, что разложение ее стало все-

общим в силу более развитой промышленности и конкуренции; она продолжает существовать, несмотря на то, что французские и английские социалисты проповедывали ее разрушение еще задолго до французской революции.

V

Если до 1846 г. деятельность Маркса и Энгельса проходила главным образом в среде буржуазной интеллигенции, лучших представителей которой они старались привлечь на свою сторону, то, начиная с весны 1846 г., они посвящают свои силы организационной работе в среде рабочего класса. Маркс и Энгельс завязывают сношения с многочисленными рабочими группами в Германии, Франции и Англии и в то же время принимают деятельное участие в горячих программных дискуссиях, которые происходили в рабочих кружках. В результате такой двухлетней организационной и пропагандистской работы Марксу и Энгельсу удалось объединить все эти кружки в «Союз коммунистов». Составление программ союза было поручено Марксу.

Основные пункты этой программы рассматривались предварительно в отдельных кружках. Сохранились некоторые протоколы лондонского кружка, так называемого «Немецкого рабочего общества самообразования». Из них видно, что дискуссия велась вокруг целого ряда формулированных в виде катехизиса вопросов. Среди них имеются два вопроса, относящиеся к браку и семье. На вопрос (девятнадцатый): Как вы организуете в переходную эпоху воспитание детей?—следует ответ: «Все дети, начиная с того времени, когда они могут обходиться без материнского ухода, будут воспитываться и учиться в государственных учреждениях».

Вопрос двадцатый гласит: Будет ли вместе с уничтожением частной собственности провозглашена общность жен?

Ответ, принятый лондонской группой, гласит:

«Ни в коем случае. Мы будем вмешиваться в частные отношения между мужчиной и женщиной лишь постольку, поскольку они будут нарушать новый общественный строй. Мы очень хорошо знаем, что семейные отношения в ходе истории подвергались изменениям в зависимости от фаз собственности и развития и что

поэтому и уничтожение частной собственности окажет на них самое решительное влияние».

Несомненно, что этот вопросник был в руках Энгельса, когда он писал вам всем известную брошюру «Принципы коммунизма». Мы находим в ней двадцать первый вопрос: Какое влияние окажет коммунистический строй на семью?

Что же отвечает Энгельс на этот вопрос?

«Отношения полов станут частным делом, которое будет касаться только заинтересованных лиц и в которое общество не может вмешиваться. Это возможно благодаря устранению частной собственности и воспитанию детей на общественные средства, вследствие чего обе основы современного брака уничтожаются, а именно зависимость жены от мужа и детей от родителей, возникающие вследствие частной собственности. В этом и заключается ответ на вопль высоко-моральных мечтателей по поводу коммунистического многоженства. Многоженство представляет собою явление, целиком принадлежащее буржуазному обществу и вполне осуществляемое в настоящее время посредством проституции. Но проституция основана на частной собственности и должна исчезнуть вместе с ней. Следовательно, коммунистическая организация не введет многоженства, а, наоборот, уничтожит его».

Написанный Энгельсом проект коммунистического катехизиса не был опубликован. По его же предложению форма катехизиса была отброшена, и программа союза была составлена в форме манифеста. Он был написан Марксом, который местами использовал проект Энгельса. Так как в «Коммунистическом манифесте» взгляды Маркса и Энгельса на брак и семью в буржуазном и будущем обществе нашли наиболее яркое выражение, то я позволю себе привести почти целиком весь соответствующий параграф.

«Уничтожение семьи! Даже самые крайние радикалы возмущаются этим гнусным намерением коммунистов».

«На чем держится современная буржуазная семья? На капитале, на частной жизни. В совершенно развитом виде она существует только для буржуазии, но она находит свое дополнение в вынужденной бессемейности пролетариев и в открытой проституции. Буржуазная семья, естественно, должна будет пасть вместе с падением этого ее дополнения, а обе они вместе исчезнут с исчезновением капитала. Буржуазные разглагольствования о се-

мье и о воспитании, о задушевных отношениях родителей к детям вышлют тем большее отвращение, чем более разрушаются все семейные связи в среде пролетариата, благодаря крупной промышленности, и чем более дети рабочих превращаются в простые предметы торговли и рабочие инструменты.

«Но вы, коммунисты, хотите ввести общность жен!—кричит вам хором вся буржуазия.—Буржуа смотрит на свою жену как на простое орудие производства. Он слышит, что орудия производства должны быть предоставлены в общее пользование, и, естественно, приходит к тому заключению, что и женщины подвергнутся той же участи. Он и не подозревает, что речь идет об устранении того положения женщины, в котором она является простым орудием производства. Впрочем, нет ничего смешнее высоко нравственного ужаса наших буржуа по поводу воображаемой официальной общности жен коммунистов. Коммунистам не пужо вводить общность жен, она почти всегда существовала. Не довольствуясь тем, что в их распоряжении находятся жены и дочери пролетариев, не говоря уже об официальной проституции, наши буржуа находят особенное наслаждение в том, чтобы соблазнять жен друг у друга. В действительности буржуазный брак является общностью жен. Коммунистов можно было бы упрекнуть разве лишь в том, что они хотят поставить официальную, открытую общность жен на место лицемерно скрываемой. Но само собой разумеется, что с уничтожением современных условий производства исчезнет и создаваемая ими общность жен, т. е. официальная и неофициальная проституция».

Мы видим, что и там, где Маркс использует проект Энгельса, он придает его аргументации более заостренный характер. Poleмизируя против идеологов буржуазии, он не повторяет своей критики «грубого, нецивилизованного» коммунизма, но и в «Манифесте» он резко подчеркивает основное отличие коммунистического строя, поскольку речь идет о женщине: только этот строй создаст условия, при которых женщина перестанет быть простым орудием производства и наслаждения, при которых исчезнет всякая *официальная и неофициальная проституция*».

Программа, изложенная в «Коммунистическом манифесте», легла в основу программы и нашей коммунистической партии. Ни у Маркса, ни у Энгельса, несмотря на некоторые индивидуальные различия, которые, однако, значительно сгладились в процессе

совместной работы, вы не найдете никаких оснований для того, чтобы в лето 1926-е ставить вопрос: совместимо ли с отношениями социалистического общества беспорядочное половое общение, или «половой коммунизм»? Такой вопрос свидетельствует, что его авторы стоят еще на точке зрения «грубого, нецивилизованного», некультурного коммунизма, который наивно думает, что он стоит выше буржуа, декламирующего против «социализации женщин», если он «безоговорочно» высказывается за «половой коммунизм» и его различные разновидности. Всякое многоженство свидетельствует о низком культурном уровне его объектов и субъектов. В более распространенной форме многоженства или «двубрачия» (трехбрачия) оно указывает только на все еще продолжающееся господство «чистогана», хотя бы и в более прикрашенной форме, на «добровольное» превращение женщины в «курицу», на лицемерие во взаимоотношениях между «мужем» и «женой», не менее отвратительное, чем «двусмысленное, непристойное, лицемерное бытие» многобрачной буржуазной семьи.

Нет ничего смешнее наших глупеньких певцов «права на любовь», когда они в своем поэтическом или политическом экстазе воображают, что они «поют» какие-нибудь новые песни. Маркс и Энгельс имели уже перед собой—а Энгельс даже принимал в нем непосредственное участие—опыт «Союза вольных», о котором Бакунин в «Государственности и анархии» пишет, что члены этого «первого кружка немецких штиллистов цинической последовательностью своей далеко превзошли самых ярых штиллистов России».

Марксу и Энгельсу хорошо были известны все крайности, в которые впал некоторые сен-симонисты, тоже выдвигавшие теорию «постоянных», которые созданы для однобрачия, и «непостоянных», которые могут помириться только с «скоротечным» браком. Они прекрасно понимали, что это интеллигентское увлечение крылатым Эросом являлось естественной, хотя и мало привлекательной, реакцией против существующего буржуазного брака со всеми его путами и ограничениями. Но они не менее прекрасно понимали, что развитие культуры, победа человечности над зверством, приведет к созданию новых форм полового общения, предполагающих всестороннее развитие не только мужчины, но и женщины, и исключаящих всякий элемент животности или проституции.

VI

Когда я слушаю или читаю некоторых наших горе-коммунистов, то я, каюсь, слышу вещи, от которых, простите за грубое выражение, нас тошнило уже сорок лет назад. И в наших старых кружках встречались теоретики «скоротечных браков», которые с презрением говорили о «штамповальной чести супругов и супруг», а в действительности стояли на таком же низком культурном уровне, что и сладострастные павианы из дворянской или буржуазной среды или те выходцы из рабочего класса, которых рабочие метко называют «фабричными быками». Правда, тогда эти «радикальные» и уже, конечно, не филлистерские творения не подносились ни в марксистском, ни в коммунистическом облачении.

Но—скажете вы наверно—Маркс и Энгельс ведь не остановились на той стадии развития, которой они достигли в «Коммунистическом манифесте»? Совершенно верно. После революции 1848 г. Маркс опять приступает к детальному изучению процесса развития буржуазного общества, к исследованию законов развития капиталистического строя, к повторному анализу всех условий, которые определяют положение рабочего класса в эпоху господства капитала. Нельзя было, конечно, пройти мимо такого вопроса, как вопрос о семье и браке. Ведь одним из наиболее характерных отличий крупно-промышленной фазы развития капитализма является именно все более вырастающее приморенно женского и детского труда.

Действительно, Маркс в начале 50-х годов опять принимается за изучение «женского вопроса». В отличие от современных коммунистов, которые предпочитают полное разделение труда между мужским и женским полом даже в партийной организации,—женотдел ведает только «женским» вопросом, а мужотдел занят только «мужским»,—Маркс и Энгельс посвятили не мало времени изучению «женского» вопроса. Так, в бумагах Маркса я нашел несколько тетрадей (лето 1852 года), в которых имеются систематические выписки из книг по истории женщины и семьи в различные эпохи. Маркс уже тогда пришел к выводу, что формы семьи, которые мы на протяжении истории встречаем у различных народов, представляют в сущности различные фазы ее развития, нашедшие себе только более типичную форму у того или иного

народа. Этот вывод был формулирован Марксом в первом томе «Капитала».

Но Марксу пришлось высказаться по женскому вопросу несколько раньше, в связи с дискуссией, завязавшейся в различных секциях Первого Интернационала. Французские прудонисты, вслед за своим учителем, защищали в этом пункте очень реакционные взгляды. По их мнению, сферой деятельности женщины должен был служить домашний очаг. В развитии женского труда они видели фактор, разлагающий семью, отвлекающий женщину от домашнего хозяйства.

По предложению Генерального совета, первый (Женевский) конгресс Первого Интернационала (сентябрь 1866 г.) принял резолюцию, написанную Марксом. В ней между прочим сказано:

«Конгресс рассматривает тенденцию современной промышленности—привлекать к сотрудничеству в великом деле общественного производства детей и подростков *обоих полов*—как тенденцию прогрессивную, здоровую и законную, хотя при господстве капитала она превращается в ужасное зло. В рационально устроенном обществе всякий ребенок, начиная с девяти лет, должен быть производительным работником точно так же, как ни один физически здоровый взрослый человек не может быть освобожден от подчинения общему закону природы: работать, чтобы иметь возможность есть, и работать не только умственно, но и физически».

В первом томе «Капитала» мы находим более подробное обоснование этого взгляда. Маркс показывает, как развитие капитализма подкапывает все основы старой семьи и радикально изменяет отношения не только между мужем и женой, но и между родителями и детьми.

«Как только фабричное законодательство приступает к регулированию так называемого домашнего труда, па него начинают смотреть как на прямое вторжение в *patria potestas*, или, говоря современным языком, в сферу родительской власти,—шаг, который долго не решался сделать мягкосердый парламент, отговариваясь лицемерными фразами. Однако сила фактов принудила, наконец, признать, что крупная промышленность, вместе с экономической основой прежнего семейного уклада и соответствующего ему семейного труда, разрушает и прежние семейные отношения. Пришлось провозгласить права детей».

Но крупная промышленность не только разрушает старую семью—она в то же время создает элементы для развития новой.

«Как бы ужасно и отвратительно ни казалось разрушение старых семейных отношений при капиталистической системе, тем не менее крупная промышленность, силою той положительной роли, какую она дает женщинам, несовершеннолетним и детям обоего пола в общественно организованных процессах производства, вне домашней сферы, создает новое экономическое основание для высших форм семьи и отношений обоего пола. Разумеется, столь же нелепо считать христианско-германскую форму семьи абсолютной, как и древне-римскую, древне-греческую или восточную, которые, впрочем, все вместе взятые, образуют собою ряд постепенных форм развития. Настолько же ясно, что состав коллективного рабочего персонала из лиц обоего пола и самых различных возрастов, при соответственных обстоятельствах, должен обратиться в источник человеческого развития, хотя его грубая капиталистическая форма, где рабочий существует для процесса производства, а не процесс производства—для рабочего, есть источник нравственной порчи и рабства».

Необходимо отметить, что Маркс неоднократно подчеркивает в первом томе «Капитала», что «в самом начале человеческой культуры только семейства, роды и т. д. выступают самостоятельно по отношению друг к другу, но не отдельные частные лица». Но он стоял тогда еще на той точке зрения,—он повторил ее и во втором издании в 1872 г.,—что первичной формой является семья, из которой лишь позже развивается более обширная группа—род. Но после Маркс отказался от этого взгляда. Как указывает Энгельс в примечании к третьему изданию «Капитала», «позднейшие, весьма основательные занятия по изучению первобытных условий существования человека привели Маркса к заключению, что первоначально не семья развилась в род, а что, наоборот, первоначальной и стихийно возникшей формой человеческого общества был род, основанный на кровном родстве, так что лишь после того, как родовые связи стали ослабевать, начали развиваться многообразные формы семьи».

На изменение взглядов Маркса повлиял новый труд Моргана—«Древнее общество», вышедший в 1877 г. В бумагах Маркса сохранилась огромная тетрадь с подробными выписками из книги Моргана. По словам Энгельса, его друг намеревался изложить

результаты исследований Моргана в связи с данными материалистического понимания истории, по ему не суждено было выполнить это намерение. Работа была выполнена самим Энгельсом, который использовал не только сделанный Марксом конспект Моргана, но и старые тетради, о которых я уже говорил раньше. Таким образом можно сказать, что книга Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» является до известной степени общей работой Маркса и Энгельса. Многие факты, приводимые последним, заимствованы из конспектов Маркса.

VII

Со времени выхода книги Моргана прошло уже почти пятьдесят лет; прошло уже тридцать пять лет и со времени выхода последнего издания книжки Энгельса. За этот период времени новые исследования в области доисторической жизни человечества внесли целый ряд дополнений и поправок к выводам Энгельса. Но если изображение исторической последовательности различных форм брака и семьи во многих частностях устарело, то основное положение, отрицающее старый взгляд на происхождение семьи, осталось непоколебленным. Остается еще и до сих пор непревзойденной набросанная рукой мастера картина семейных отношений, как она складывается в эпоху буржуазной цивилизации под влиянием господства частной собственности. Посмотрим же, какие взгляды на развитие брака и семьи защищает Энгельс, какие формы общения полов, по его мнению, больше всего соответствуют отношениям социалистического или коммунистического общества.

Прежде всего надо заметить, что Энгельс определенно считает единобрачие высшей формой общения полов, поскольку последнее основано не на животном чувстве, не на потребности спаривания, а на индивидуальной половой любви. Первоначальная форма общения полов, так называемое беспорядочное половое общение, существовала только на заре человеческой истории, когда первобытные человекообразные доработались из животного царства до человеческого состояния.

«Бахофен,— пишет Энгельс,— безусловно прав, когда постоянно утверждает, что переход от так называемого им гетеризма к единобрачию совершился главным образом благодаря женщинам

Чем больше развивались экономические отношения, приводившие к разложению первобытного коммунизма и возрастанию плотности населения, чем больше унаследованные патриархальные отношения между полами утрачивали свой первобытно-наивный характер, тем больше должны они были казаться женщинам униженными и тягостными, тем настойчивее должны были женщины добиваться, как избавления, права на целомудрие, на временный или длительный брак лишь с одним мужчиной».

Проследив происхождение единобрачия у древних греков, Энгельс замечает, что «оно отнюдь не было плодом индивидуальной любви, с которой оно не имело абсолютно ничего общего, так как браки попрежнему оставались браками по расчету. Оно явилось первой формой семьи, в основе которой лежали не естественные, а экономические условия, а именно победа частной собственности над первоначальной первобытной общинной собственностью».

При своем появлении в истории единичный брак означает порабощение одного пола другим, женщины—мужчиной. И все же Энгельс считает его крупным историческим прогрессом. Только из моногамии развивается *«величайший нравственный прогресс, которым мы ей обязаны: современная индивидуальная половая любовь, совершенно неизвестная всему древнему миру»*.

Я считаю лишним повторять теперь критику, которой Энгельс подвергает индивидуальную семью. «Освобождение женщины предполагает своим первым предварительным условием возвращение всего женского пола к общественному труду, а это требует в свою очередь, чтобы индивидуальная семья перестала быть основой хозяйственной ячейкой общества... Мы идем навстречу общественному перевороту, когда существовавшие до сих пор экономические основы моногамии столь же неминуемо исчезнут, как и ее дополнение—проституция».

Но если единобрачие обусловлено экономическими причинами, то не исчезнет ли оно само, как только исчезнут эти вызывавшие и поддерживавшие его существование экономические причины, не будет ли единобрачие с переходом в общественную собственность всех средств производства заменено другой формой общения полов, более соответствующей отношениям социалистического общества?

«Можно с полным правом ответить,—пишет Энгельс,—что оно не только не исчезнет, но скорее впервые вполне осуще-

стоит». Ибо вместе с превращением средств производства в общественную собственность исчезнет также и наемный труд, пролетариат, а следовательно и необходимость для известного числа (статистически вычисляемого) женщин отдаваться за деньги. С исчезновением же проституции моногамия, вместо того чтобы прекратить свое существование, станет, наконец, действительностью также и для мужчин».

Женщины будут тогда освобождены от всех уз, налагаемых на них буржуазным обществом. Тирания «домашнего горшка» исчезнет. Женщина не будет прикована к домашнему очагу. Уход за детьми, воспитание их превратятся в общественное дело; исчезнет всякая разница в положении «брачных» и «внебрачных» детей. Но, может быть, именно это обстоятельство, хотя и в другой форме, приведет к восстановлению старых форм общения полов, более соответствующих коммунистическому строю?

Энгельс тоже ставит этот вопрос. «Не явится ли это, — пишет он, — достаточной причиной для постепенного развития беспорядочных половых отношений, а вместе с тем и большей снисходительности общественного мнения по отношению к девической чести и женской стыдливости? И, наконец, разве мы не видели, что в современном мире моногамия и проституция хотя и являются противоречиями, но противоречиями неизбежными, полюсами одного и того же общественного порядка? Может ли исчезнуть проституция, не увлекая за собою в бездну и моногамию?»

И Энгельс категорически отвечает: нет. Я уже приводил его отзыв о современном личном чувстве любви, современной индивидуальной половой любви: он видит в ней «величайший нравственный прогресс». Именно в развитии этого фактора, который ко времени развития моногамии существовал только в зародыше, Энгельс видит гарантию против восстановления «беспорядочных» или «неупорядоченных» половых отношений. Он подкрепляет свой вывод очерком истории индивидуальной половой любви.

«До начала средних веков не может быть и речи об индивидуальной половой любви. Само собою понятно, что красота, близкие отношения, одинаковые склонности и тому подобное пробуждали у людей различного пола стремление к половому общению, что как для мужчин, так и для женщин не было совершенно безразлично, с кем они вступали в эту самую интимную

связь. Но от этого до половой любви нашего времени еще бесконечно далеко».

Чем же отличается современная половая любовь?

«Во-первых, она предполагает у любимого существа взаимную любовь; в этом смысле женщина оказывается равной мужчине, тогда как во времена древнего Эроса о склопности женщины отнюдь не всегда осведомлялись. Во-вторых, половая любовь знает такую степень интенсивности и продолжительности, при которой необладание и разлука представляются обеим сторонам большим, если не величайшим, несчастием; они готовы отдать многое, вплоть до самой жизни, лишь бы обладать друг другом, что в древности случалось самое большее при супружеской неверности. И, наконец, возникает новое нравственное мерило для оценки половой близости: теперь уже не спрашивают, в браке или не в браке происходит половая связь, а только устанавливается, порождена она любовью и ответной любовью или нет».

Энгельс дает дальше очерк развития индивидуальной половой любви в средние века и новое время. Он прослеживает, как под влиянием изменившихся экономических условий изменялись и условия заключения браков, как медленно завоевывалась обеими сторонами свобода выбора.

«Полная свобода при заключении браков может быть, таким образом, вполне проведена только после того, как уничтожение капиталистического производства и созданных им отношений собственности устранит все побочные экономические соображения, оказывающие еще в настоящее время столь громадное влияние на выбор супругов. Тогда не останется уже другого мотива, кроме взаимной склопности».

Энгельс повторяет ту же самую мысль, которую развивал Маркс в своих ранних статьях. Процесс развития человечества выражается в неуклонном освобождении от власти животного элемента, — не от власти природы, а от власти животного. Вся история человеческой культуры есть постепенное высвобождение из пут животного царства; она есть постепенное очеловечивание той самой природы, которая на заре истории еще целиком определяла человека. На место старого, *природного*, человека становится *общественный* человек, старое естественное *родовое* сознание заменяется все больше *социальным* сознанием. К *природному* пе-

равенству человеческая история прибавляет различные формы социального неравенства. Капиталистическое общество создает все материальные и интеллектуальные предпосылки для уничтожения этого социального неравенства. Это проведение полного равенства не может, конечно, уничтожить тех естественных различий, которые существуют и будут существовать как результат физиологического разделения полов, но дальнейшее развитие культуры должно привести к тому, чтобы всякие препятствия, устанавливаемые обществом, экономикой, политикой и мешающие этому равенству, исчезли. Вспомним опять цитируемые Марксом и Энгельсом слова Фурье: «В отношениях между женщиной и мужчиной, слабым и сильным, наиболее отчетливо выявляется победа человеческой природы над зверством. Степень освобождения женщины представляет естественное мерило всеобщего освобождения». Только тогда, когда половая любовь освобождается от всех элементов живогности и принуждения, открытого или прикрытого, когда она превращается, говоря словами Маркса, в один из моментов духовного единения, основанного на полном социальном и бытовом равенстве мужчины и женщины, — создаются все предпосылки для новой, более высокой формы моногамии.

«Так как половая любовь, — пишет дальше Энгельс, — по природе своей исключительна, хотя ныне эта исключительность осуществляется вполне только в лице женщины, то основанный на половой любви брак по природе своей должен быть единобрачным. Мы видели, насколько прав был Бахофен, усматривая в переходе от группового брака к индивидуальному браку преимущественно дело женщины; только переход от парного брака к моногамии следует приписать мужчинам. Исторически последний переход по существу сводился к ухудшению положения женщины и облегчению неверности мужчины. Поэтому стоит только отпасть тем экономическим соображениям, в силу которых женщины мирились с этой обычной неверностью мужчины, — то были опасения за свое собственное существование, а еще более за будущность своих детей, — и достигнуто: благодаря этому равноправие женщины, судя по всему прежнему опыту, будет в бесконечно более сильной степени содействовать тому, что мужчины станут действительно моногамны. Чем тому, что женщины проявят стремление к полиандрии (многомужеству)».

VIII

Некоторые товарищи делали попытку сослаться на Ленина, по попытку весьма неудачную. В мою задачу не входит рассмотрение взглядов Ленина на брак и семью. Могу, однако, сказать, что Ленин целиком и полностью разделял изложенные мною взгляды Маркса и Энгельса. Когда он в 1903 г. издавал под своей редакцией русский перевод одной из лучших работ Каутского, «Социальная революция», он считал пущим приложить к этой брошюре между прочим и последнюю главу второй части «Аграрного вопроса», другой работы Каутского, которую Ленин ставил весьма высоко. Речь идет о «будущности собственного жилища». Каутский показывает, вслед за Марксом и Энгельсом, как экономическое развитие делает все более ненужным ведение собственного домашнего хозяйства, все больше и больше подкапывает хозяйственную основу семьи. Значит ли это, что исчезнет и сама семья? Нет. Для нее «есть уже ковал, высшая основа — индивидуальность».

«В социалистическом обществе индивидуализм, т. е. стремление к свободному развитию личности, должен приобрести еще несравненно больше силы и распространиться гораздо шире, нежели в обществе капиталистическом, по мере того как будут распространяться образование, благосостояние и досуг... Вместе с индивидуализмом вырастает и индивидуальная половая любовь, которая находит себе удовлетворение только в соединении и совместной жизни с одним определенным индивидуумом другого пола... В социалистическом обществе, которое не знает этих крайностей (нужды и богатства) и все более отодвигает назад обособленное домашнее хозяйство, именно благодаря этому и разовьется вполне свободно личный характер брака и семьи. Этот личный характер и теперь уже в сознании всех служит моральным критерием для оценки семьи и брака... Следовательно, исчезновение частного домашнего хозяйства не означает уничтожения брака и семьи. С уничтожением собственного очага еще отнюдь не уничтожается собственное жилище. Современная культура знает другого рода семейные узлы, помимо кухни и прачечной. Исчезновение частного домашнего хозяйства означает лишь превращение семьи из экономической единицы в чисто этическую, — оно означает осуществление того нравственного требования, которое созрело уже в

настоящее время под влиянием развития индивидуализма, вызванного ростом современных производительных сил».

Наш язык недостаточно богат, чтобы эту новую форму единобрачия окрестить особым именем, но к этому индивидуальному браку, основанному только на нравственном начале, освобожденному от всех примесей чистоты и проституции как для мужчины, так и для женщины, и идет человеческое общество, по мере того как оно сбрасывает с себя путы частной собственности, по мере того как всякая разовидность *зверства*, *животности* все больше и больше уступает место *человечности*, по мере того как *стадности* вытесняется *индивидуальностью*, — не той индивидуальностью, развитие которой в классовом обществе достигается за счет подавления индивидуальности эксплуатируемых классов, а той свободной, всесторонне развитой личностью, которая может развиваться только в обществе, где «свободное развитие *каждого* будет условием свободного развития *всех*».

Энгельс совершенно верно указывает, что инициатива в сокращении многобрачия исходила от женщины. Высшая форма единобрачия предполагает полную свободу развода, нравственную чистоту, безусловную честность, отсутствие лжи и лицемерия в отношениях мужчины и женщины. Она будет укрепляться все больше и больше по мере освобождения женщины от домашнего рабства, по мере освобождения мужчины от всяких следов *зверства*, по мере уничтожения женской и мужской проституции, пропорционально росту чувства самоуважения и чувства уважения к чужой личности.

Не всякое спаривание есть брак. Павлин сродни человеку, но человек не должен оставаться на ступени развития павлина. Повторю то, что так прекрасно развито у Маркса: от животных инстинктов, от животных чувств, которые развиваются в человеческих куртизанках и в случайных пунктах, — от этих животных чувств человечество в своем развитии освобождается, должно освобождаться и освободится. Оно не может, конечно, освободиться от законов природы. Но оно очеловечивает все свои животные потребности, оно подчиняет их разуму. Только нравственные крестины могут щеголять таким «материализмом», для которого удовлетворение потребности в пище и удовлетворение половой потребности единую суть. Объектом первой потребности является неодушевленный предмет, объектом второй — живое наслаждаю-

щессы и страдающее существо. Половое влечение заложено в организме, на известной ступени физиологического развития оно является одним из главных условий полного расцвета физических и духовных сил. Но нужно, необходимо, чтобы удовлетворение этого влечения составляло только один из моментов взаимного общения, без которого человеческая жизнь неполна, без которого она ущербляется, но который никогда не возводится в венец человеческой жизни. Только развитая форма индивидуального брака, основанного на полном взаимном уважении и полном социальном равенстве двух различающихся физиологически личностей, говоря словами Маркса, «претворяет веление природы в один из моментов духовного единения».

В заключение я перехожу к вопросу, который является смыслом между этими общими теоретическими положениями и нашим законодательством о браке и семье.

Вам известно, вероятно, что, согласно новому закону, регистрация брака производится в интересах государства и общества. Наши не в меру усердные новаторы хотели старый хороший закон, о котором Ленин вполне справедливо говорил, что это один из самых радикальных законов Октябрьской революции, превратить в обычный буржуазный закон, заявив, что регистрация производится только для защиты личных и имущественных прав. Такой формулировкой они подчеркивали переход от Октября к закону и в области советского права.

Тов. Преображенский, как хороший старый партийный работник, прекрасно знает, что всякие разговоры на эту тему, — в эти отношения, в эти дела общество не должно соваться, не должно запускать свою лапу, — только буржуазная, анархическая или просто мещанская болтовня.

«С точки зрения социалистической, — говорит т. Преображенский, — является совершенно бессмысленным взгляд отдельного члена общества на свое тело как на свою безусловную личную ответственность, потому что индивид есть лишь отдельная точка при переходе рода от прошлого к будущему. Но в десять раз более бессмысленным является такой же взгляд на «свое» потомство».

Тов. Преображенский идет еще дальше. Он требует «самой беспощадной борьбы с теми, которые распространяют половые болезни, не задумываясь о том, какое преступление они делают против других членов общества, часто против своих же товари-

щей по классу». Он признает «полное и безусловное право общества довести свою регламентацию до вмешательства в половую жизнь в целях улучшения расы путем искусственного полового подбора».

Тов. Преображенский должен поэтому признать, что я был совершенно прав, когда доказывал, что регистрация брака, при полной свободе развода, безусловно необходима, и необходима именно в интересах государства и общества. Регистрация представляет самую мягкую форму регламентации брака. Только она дает возможность контролировать выполнение целого ряда условий, которые общество, находящееся на пути развития к социализму, государство, в котором господствующим классом является пролетариат, ставят гражданам в интересах общественного развития — определенный возраст, отсутствие тех или иных физических или психических дефектов, слишком близкое кровное родство. Все эти условия представляют минимум тех норм, которые, по словам т. Преображенского, диктуются «задачами физического сохранения и укрепления расы».

Я уже сказал, и товарищи это прекрасно знают, что мы находимся теперь только в периоде перехода к социалистическому обществу. Мы уже осуществили основные условия — захват власти пролетариатом, переход главных средств производства в руки общества, — которые необходимы, чтобы преобразовать буржуазное общество в социалистическое, но мы еще не осуществили вполне социализм. Это дело не одного года.

Но и социалистическое общество само является только первой фазой, представляет только переход к более высокой фазе развития нового человеческого общества — к коммунизму. В социалистическом строе мы освободились от целого ряда норм юридических и иных, которые мы еще сохраняем в эпоху перехода к социализму. Пока мы можем только ослаблять их действие, бороться с их последствиями, следить за тем, чтобы они не приносили ущерба развитию социализма. Все эти недостатки крепко связаны с переходным периодом. Но даже тогда, когда социализм будет целиком осуществлен, когда принудительная власть государства будет сведена к минимуму, когда будет окончательно уничтожено сопротивление побежденных классов, все еще будут сохраняться некоторые нормы, навыки, различия между людьми, оставшиеся в наследство от старого строя. Частная собствен-

ность перестанет превращаться в *капиталистическую* частную собственность, в средство эксплуатации человека человеком, по она еще долго будет сохраняться вместе с ее основой и дополнением — мелким хозяйством. Пройдет немало времени, пока исчезнет домашнее хозяйство, приковывающее женщину к кухне и детской, пока обширная сеть яслей, детских садов, общественных столовых освободит женщину, пока развитие производительных сил даст возможность, при соответственном сокращении рабочего времени, превратить *всех* трудоспособных женщин в равноправных членов промышленной армии труда. Только тогда будут созданы все условия для осуществления коммунизма. С исчезновением государства исчезнет всякая принудительная власть. Каждый член общества будет настолько культурно развит, настолько проникнут сознанием своих *общественных* обязанностей, что они превратятся для него в *органическую, естественную* потребность. Исчезнет необходимость в таких стимулах, как сдельщина, как более высокое вознаграждение за более высокие способности и т. д. Каждый будет давать обществу в меру своих способностей и будет получать от него в меру своих потребностей. Исчезнет всякая зависимость женщины от мужчины, всякое подчинение женщины «домашнему очагу».

Сохранится ли и в этой высшей форме человеческого общества регламентация брака, его регистрация? Конечно, да. Разница только в том, что тогда такая регистрация, такой самоучет, станет такой же естественной обязанностью перед обществом, как и обязанность труда. Коммунизм немислим без учета всех производительных сил и всех потребностей общества, а наиболее драгоценной производительной силой и в коммунистическом обществе является человек.

В той самой резолюции Маркса, которая принята была Женевским конгрессом Первого Интернационала, мы читаем:

«Наиболее сознательная часть рабочего класса хорошо понимает, что будущее их класса, а следовательно и человечества, вполне зависит от состава подрастающего рабочего поколения. Они знают, что прежде всего дети и подростки должны быть избавлены от пагубного действия существующей системы. А это может быть достигнуто только *путем превращения социального разума в социальную силу*; при данных же условиях нет ни-

какого другого средства достижения этой цели, как общию законы, опирающиеся на силу государства».

В коммунистическом обществе править и регулировать будет только *социальный разум*. Он будет опираться на моральный авторитет, который приобретает общество над отдельной личностью. Свободная трудовая дисциплина и свободное, «вынужденное» только сознанием своих обязанностей перед обществом, повиновение сообщу установленным нормам обеспечат выполнение велений социального разума. И одной из таких норм, принятых в интересах общественного развития, в интересах обеспечения здорового подрастающего поколения, останется регистрация, учет брака.

Много еще потребуется усилий, чтобы справиться с гнусным наследием прошлого. И самым гнусным его пережитком является проституция, эта отвратительнейшая форма эксплуатации человека. Посмотрите, что делается вокруг нас, в государстве, где власть находится в руках пролетариата. Острое чувство горечи и стыда охватывает каждого из нас, когда на десятом году пролетарской революции мы все еще видим картину глубокого унижения женщины, вынужденной продать свое тело и душу, чтобы жить.

Только коммунизм, уничтожая без остатка частную собственность со всей ее идеологией, уничтожая все социальные разделения внутри общества, приведет к полной победе человечности над низким зверством — к полному освобождению женщины.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОЧЕРКУ

«КАРЛ МАРКС И РУССКИЕ ЛЮДИ СОРОКОВЫХ ГОДОВ»

Уже после того, как этот том был набран, вышло новое издание «Воспоминаний» Панаевой,—под редакцией и с примечаниями К. Чуковского. Оно заставляет нас вновь пересмотреть вопрос о том, кто именно был Толстой, который рекомендовал Марксу Анненкова. Отзыв К. Чуковского о воспоминаниях, поскольку они являются историческим источником, почти совпадает с нашим. «Слишком много внимания, — пишет он, — обращает Панаева на бытовые мелочи, ничтожные мелочи, слишком хорошо запоминает закулисные интриги и дрязги. Описывая то или другое большое событие, она нередко видит в нем только мелкие сплетни, а главного совсем не примечает».

Весьма преувеличивая степень достоверности этих, сильно пропитанных элементом сплетни, показаний, К. Чуковский вынужден признать, что «в разных второстепенных подробностях память нередко изменяет Панаевой». И все же он приводит длинный ее рассказ о знакомстве с Гарибальди, ни на минуту не подвергая сомнению достоверность этого фантастического описания.

Правда, новому издателю мемуаров Панаевой не повезло найти ее рукопись, но ему удалось внести много поправок в текст и найти ключ к ряду имен, которые в предыдущих изданиях обозначены были инициалами или произвольными буквами.

«Например, в шестой главе Панаева повествует о том, что во время ее пребывания в Париже, Бакунин познакомил ее с какими-то казанскими помещиками, братьями Т. Покуда эти помещики были обозначены буквою, на них не обращали внимания. Но теперь нам удалось установить, что это были братья Толстые, владельцы села Ново-Спасское, Спасского уезда Казанской губернии, что один из них, Григорий Михайлович, был приятель Бакунина, жил по большей части в Париже, где встречался с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Он заявил себя горя-

чим приверженцем революционных идей и общал Карлу Марксу, что тотчас по приезде в Россию продаст свое казанское имение и вырученные деньги пожертвует на нужды европейской революции».

К сожалению, К. Чуковский забыл нам сообщить, как ему все это удалось установить. Конечно, если он имеет в своем распоряжении данные, которые доказывают — независимо от рассказа Панаевой, — что Бакунин был знаком с Толстыми и что один из этих братьев действительно встречался с Марксом и Энгельсом; если бы он имел какие-нибудь письма Толстого, которые помогли бы внести некоторый новый свет в этот эпизод и которые дали бы по крайней мере возможность произвести экспертизу и, путем их сравнения с имеющимся в оригинале письмом Толстого к Марксу, доказать тождественность их почерков, то мы имели бы не догадки, а вполне обоснованные доказательства.

А пока это — только догадки. Попробуем собрать имеющиеся указания.

В главе восьмой своих воспоминаний Панаева рассказывает, как она с мужем и Некрасовым поехала в Казанскую губернию, в имение казанского помещика Т... Мы узнаем, между прочим, что Т., «живя два года за границей, прошли фельдшерский курс, учились в заграничных больницах перевязывать раны, пускать кровь, одним словом, подавать первоначальную помощь в несчастных случаях». В шестой главе она сообщает, что в Париже через Бакунина познакомилась «с двумя братьями Т., казанскими помещиками, людьми очень образованными и чуждавшимися тех парижских развлечений, до которых так падало большинство русских путешественников». О том, что у Толстого или Толстых были другие знакомства в Париже, кроме Бакунина, Панаева ничего не сообщает.

Из той же восьмой главы мы узнаем, что «дворни у Т... было немного, и каждый служащий получал жалованье как вольная прислуга. Барщины и каких-либо поборов с баб, конечно, не существовало. Такие нововведения в управлении крестьянами возбуждали бесконечные толки в губернии; все соседи Т..., крепостники-помещики, были страшно озлоблены на них, находя, что они подрывают помещичью власть. На Т... сыпались неленные доносы, будто они, под видом лечения, собирают к себе народ и толкуют о воле, возбуждают к неповиновению и т. п. Т... знали

о доносах и о том, что за ними зорко следят, и потому были осторожны».

Дальше Панаева рассказывает, что именно эти Толстые натолкнули Некрасова и Панаева на мысль издавать собственный журнал. «Толстые высказали свое удивление, каким образом до сих пор в кружке Белинского никто из литераторов не начал издавать журнала, хотя бы на пяях, как это делается в Париже». Но из рассказа Панаевой не видно, что Толстой обещал дать деньги на основание журнала. Наоборот, деньги были, по ее словам, даны ее мужем Панаевым.

Между тем в письме В. Боткина к П. Анненкову (Петербург, 20 ноября 1846 г.)¹⁾ мы читаем: «Фонд «Современника» состоит из 35 000 Панаева и 35 000 Толстого. Редакторы—Никитенко, Панаев и Некрасов». Следовательно, уже Боткину было известно, что какой-то Толстой обещал деньги на издание «Современника». Издателя книги «П. В. Анненков и его друзья» полагали, что этим Толстым является Феофил Матвеевич Толстой. На каком основании—неизвестно. Мы знаем только, что Некрасов действительно поддерживал связи с этим Толстым—«известным взяточником, музыкантом, эстетом и цензором, человеком вздорным и гаденьким, имевшим большие связи при дворе и цензуре». Так отзывается о Толстом в своей книге о Некрасове К. Чуковский, тогда еще не знавший о существовании казанского помещика Толстого.

Пыпин, ни в своей биографии Белинского, ни в статьях о Некрасове, ни разу не упоминает имени Толстого, хотя ему приходится излагать историю основания или преобразования «Современника». А между тем, в его распоряжении были письма и Белинского, и Некрасова, в которых упоминается имя Толстого. Они впервые напечатаны в известном трехтомном собрании писем Белинского, изданных Е. Ляцким в 1914 году.

В большом письме к И. Тургеневу, от 19 февраля 1847 г., Белинский между прочим пишет:

«Да, чуть было не забыл: так как Толстой, вместо денег, прислал им только вексель, и то на половинную сумму, и когда уже и в деньгах-то журнал почти не нуждался,—то он и отстранен от всякого участия в «Современнике», а вексель ему возвращен».

¹⁾ «П. В. Анненков и его друзья». Петербург, 1892 г., стр. 521.

В примечаниях Ляцкий сообщает письмо Некрасова к Белинскому, в котором рассказана история основания «Современника».

«Еще в Казани решили мы с Толстым и с Панаевым хлопотать о приобретении журнала, чтоб с 1847 года приступить к его издаванию. На это предприятие Толстой и Панаев решились употребить значительные деньги. В июне я отправился в Петербург, в августе прибыл и Панаев, и, наконец, мы на-днях кончили с Плетневым и взяли у него «Современник».

Опять-таки остается неизвестным, о каком именно Толстом идет речь. Е. Ляцкий в своих примечаниях обходит этот вопрос.

Я не знаю, когда именно один из наших известных исследователей жизни Некрасова, В. Евгеньев-Максимов, установил, что наш загадочный Толстой есть именно тот казанский помещик Т., о котором пишет Панаев. В своей книге «Очерки по истории социалютнической журналистики в России XIX века» (Гиз, 1927 г., стр. 87) он пишет об этом, как о давно известном ему факте.

«Летом 1846 г., по рассказу А. Я. Панаевой-Головачевой в ее книге «Русские писатели и артисты», когда Некрасов и чета Панаевых гостили в казанском имении образованного и состоятельного помещика, Григория Михайловича Толстого, у них впервые родилось предположение попробовать организовать свой журнал¹⁾. А в середине сентября того же года Некрасову и Панаеву уже удалось заключить соглашение с владельцем «Современника».

В. Евгеньев-Максимов не указывает, каким образом ему удалось узнать настоящую фамилию казанского помещика Т., о котором пишет Панаев.

Всего вероятнее—из книжки Н. Успенского «Из прошлого», вышедшей в Москве в 1889 г. незадолго до того, как автор с собой покончил. В эту книжку вошли не только воспоминания самого Успенского о Некрасове, но и одного неизвестного нам автора, специально посвященные пребыванию Некрасова в с. Спасском.

Но В. Евгеньев-Максимов не сделал из этого факта вывод, к которому пришел теперь Чуковский, хотя последний шел в одной из работ своих, посвященных Некрасову, и даже в последней своей работе, вышедшей в 1926 году, не упоминает

¹⁾ Повторено в книге «Некрасов как человек, журналист и поэт». Гиз 1928 г.

о Толстом даже и тогда, когда ему приходится подробно говорить о Панаевой.

«Село Новоспасское, где жил Григорий Михайлович,—пишет неизвестный автор воспоминаний о Некрасове—во время приезда к нему гостей—Н. А. Некрасова и И. И. Панаева,—большое, богатое село, раскинувшееся привольно и широко по оврагу реченки Курлянки, с большим густым садом. В то время Григорий Михайлович жил в деревянном флигеле, построенном у сада с террасой, выходящей в сад. Тут-то, на этой террасе, в хорошие, водряшны дни, а особенно по вечерам, часто сиджали Некрасов, Панаев и Толстой,—и тут-то было окончательно решено арендовать «Современник» у Плетнева. Далеко за полночь на этом балконе велась живая, увлекательная речь о новом журнале, обдумывалась его программа, те улучшения, какие предполагалось ввести в него и пр. При этом, все трое давали друг другу слово работать для журнала и поддерживать его, кто чем может. Г. М. Толстой дал даже тогда, насколько мне припоминается его собственный рассказ об этом, 5 000 рублей (вероятно ассигнациями) на это дело. Но этим и ограничилась его поддержка журналу. Так, кажется, ни одной его статьи там и не было напечатано. Вероятно, Григория Михайловича, вскоре по отъезде гостей, увлекла другая страсть, другое занятие, чуждое литературе...».

Автор этих воспоминаний вряд ли был знаком с мемуарами Панаевой, которые впервые были напечатаны в «Историческом Вестнике» за 1889 г. Но имеются и другие воспоминания.—В. А. Панаева,—в которых сообщаются интересные данные о Григории Михайловиче Толстом. В них мы читаем: «Г-жа Головачева в своих воспоминаниях коснулась этой личности по поводу того, что Нв. Ив. Панаев и Некрасов гостили одно лето в «Ново-Спасском» у Г. М. Толстого»¹⁾.

Таким образом, можно сделать с большой степенью достоверности вывод, что казанский помещик Г., у которого гостили Панаевы и Некрасов, есть именно Григорий Михайлович Толстой. Но тогда возникает вопрос затруднительнее. Панаева все время говорит о *братьях* Толстых. К. Чуковский уверяет нас, что ему удалось установить не только это, но и то, что оба брата были

¹⁾ Воспоминания Панаева печатались в «Русской старине» за 1893 г., 8—12; 1901 г. — 6, 7, 10, 12; 1902 г. — 1, 5, 8, 9, 12; 1903 г. — 1, 2, 4; 1906 г. — 11.

владельцам села Ново-Спасского. Но если одним из этих братьев был Григорий Михайлович,—имени другого К. Чуковский нам пока не сообщает—то все имеющиеся свидетельства показывают, что Григорий Михайлович не имел никаких братьев.

Во втором томе «Родословного сборника русских дворянских фамилий», изданного В. Руммелем и В. Голубцовым, мы читаем, что у титулярного советника Г. М. Толстого было только четыре сестры (стр. 512), что он родился в 1808 г., и умер не в 1877 г., как пишет неизвестный автор воспоминаний о Некрасове, а 6 января 1871 г. Все свидетели в согласии с «Родословным сборником» одинаково утверждают, что он был холост. Следовательно, трудно предположить, что Панаева имела в виду *супругов* Толстых.

Можно было бы также подвергнуть сомнению и показание Панаевой, что они познакомились с Толстыми через Бакунина. Из того же «Родословного сборника» мы узнаем, что Панаевы были казашские помещики, что двоюродный брат Григория Михайловича, Лев Павлович (род. 21 апреля 1818 г., умер 13 сентября 1870 г.) был женат на двоюродной сестре И. И. Панаева, что двоюродный брат последнего, В. А. Панаев, хорошо был знаком с Толстыми.

Требуется таким образом еще установить, кто именно из Толстых был в Париже в 1844 г. Не был ли там Григорий Михайлович Толстой вместе со своим двоюродным братом? Был ли там только Григорий Михайлович, и Панаева просто ошиблась, говоря о *братьях* Толстых и в шестой, и в восьмой главе?

Решение загадки было бы значительно облегчено, если бы удалось найти какие-нибудь письма Григория Толстого. Сравнение его почерка с почерком имеющегося в нашем распоряжении письма Толстого, в котором последний рекомендует Марксу в таких теплых выражениях Анненкова, дало бы нам достаточную точку опоры.

Кое-какие данные уже теперь говорят в пользу того предположения, что этим Толстым был не Яков Николаевич, а Григорий Михайлович.

Посмотрим, что о нем рассказывает В. А. Панаев.

«Это был тип тогдашних героев высшего круга. Он был не только хорош собою и прекрасного роста, но особенно интересен, и был в полном смысле джентльмен, доказывая не раз это свое качество на деле. Был богат, большую часть времени проводил за границей и приезжал изредка в деревню с приятелями, преимущественно для охоты. В окрестностях его имения «Ново Спасское»

было такое беспримерно богатое место для охоты на дупелей, что охотники часто брали в один день по 150 дупелей и более. Женат Григорий Михайлович не был и впоследствии никогда не связывал себя узами брака, но любил поволочиться слегка за особами замужними, заслуживающими внимания. Словом сказать, это был тип, изображенный Пушкиным в «Евгении Онегине».

Надо прибавить, — В. Панаев об этом не упоминает — что Г. М. Толстой был сын крепостной крестьянки и был узакопен отцом, вместе с своими сестрами, когда ему было уже семнадцать лет. Вообще семья была из передовых и связана родственными узами со многими декабристами, в том числе Завалишными и Ивашевыми, а также литераторами (поэт Тютчев — двоюродный брат Г. М. Толстого). В 1838 г. Г. М. Толстой доказал свое «джентльменство», предприняв вместе с Ф. Топорниным «пелегальную» поездку в Туринск к декабристу В. П. Ивашеву ¹⁾.

У того же В. Панаева мы находим рассказ о том, как Г. М. Толстой вступил в сношения с кружком И. Панаева.

«Зиму 1845 года Ив. Ив. провел за границей и, вернувшись оттуда, поехал в деревню, откуда прибыл в Петербург уже осенью того же года. Тогда опять начали собираться у него литераторы и знакомые. В это время появились три новые литературные личности, а именно: Некрасов, Достоевский и Григорович. Среди знакомых появилось новое для литературного кружка лицо: Григорий Михайлович Толстой, которого я знал с детства. Это был, как я уже сказал, образованнейший человек и в полном смысле джентльмен как в жизни, так и по характеру, и по манерам. Толстой проводил постоянно время за границей, где и познакомился с ним Ив. Ив. Он только что приехал оттуда и жил некоторое время в Петербурге, до отъезда в свою деревню Новоспасское, Казанской губернии Лаишевского уезда, куда и при-

¹⁾ Рассказ о ней написан Г. М. Толстым и напечатан племянником Топорниным в «Русской старине» (1880 г., ноябрь). В воспоминаниях мирового посредника первого призыва (Н. Крылова) о введении в действие «Положения 19 февраля 1861 года» в Казанской губернии («Русская старина» 1892 г., апрель и июнь) мы находим следующий отзыв: «Андрей Иванович был крайний либерал, помнил 14 декабря, знал некоторых декабристов; много хорошего усвоил от Г. М. Толстого, Ф. И. Топорниина, В. П. Ивашева и др.». Крылов подробно рассказывает о событиях в с. Вездна, Спасского уезда Казанской губ. и о крестьянине Антоне Петрове.

гласил на лето Ив. Ив. с женой, а также Некрасова, для дивной охоты на дупелей, которые водились в неисчислимом количестве в окрестностях означенной деревни. Во время пребывания в этой деревне Ив. Ив. решил вопрос об издании «Современника» и заключил по этому делу союз с Некрасовым».

Мы видим, что В. Панаев и в этой части своих воспоминаний ни слова не говорит о той роли, которую по словам Панаевой, сыграл в деле основания «Современника» Г. Толстой. Удивительно, что и муж Панаевой, Н. Панаев, в своих «Литературных воспоминаниях», ни разу не упоминает Толстого.

Вспомним теперь рассказ Анненкова, который тоже был постоянным гостем Панаева и Беллинского в 1845—1846 гг. Он тоже повествует об основании «Современника», но совершенно умалчивает о роли Толстого, с которым он, как мы это знали из его же писем к Марксу, был знаком достаточно близко. Если В. Панаев прав и Толстой уже в 1845 г. был знаком с Беллинским, Некрасовым и Панаевым, то Анненков не мог не знать его. И когда он пишет, что «по дороге в Европу» получил «рекомендательное письмо» к Марксу от «нашего степного помещика, также известного в своем кругу за отличного певца цыганских песен, ловкого игрока и опытного охотника», то мы имеем в данном случае не только простую «абerrацию» памяти. Он мог встретить Толстого «по дороге в Европу», но эта встреча имела место либо в Москве, либо в Петербурге, но и в том, и в другом случае в кругу «людей сороковых годов».

Вернемся к воспоминаниям неизвестного автора статьи «Н. Некрасов в с. Спасском».

«Гостеприимный, умный, развитой и замечательно оригинальней человек был Григорий Михайлович! Человек, хорошо образованный, богатый, изъездивший не раз Европу. Григорий Михайлович был сыном своего времени. Это был вполне человек сороковых годов, человек, увлекающийся, страстный. По характеру своему, он имел много общего с С. Т. Аксаковым. Так, одна страсть, одно увлечение беспрестанно у него сменяли другую. Он то пристращался к охоте и превращал свое жилище в какой-то военный, охотничий арсенал; все комнаты у него тогда увешивались и уставлялись ружьями, рогатинами, кинжалами, ягдташами и пр. принадлежностями охоты; то он пристращался к растениям—цвете-

там и деревьям¹⁾. И вот он жил как бы в оранжерее, с дорогими тропическими растениями и т. п. Все это, конечно, требовало больших денег, и он до того увлекался, что иногда спускал чуть не до гроша свое состояние, обременял себя долгами, по счастью, видимо. Ему покровительствовало — и он неожиданно, негладвно получал откуда-нибудь наследство. И это случалось не один раз в жизни. Так было и до самой кончины Григория Михайловича, последовавшей в 1872 году в Казани».

Анненков заставляет Толстого умереть «не так давно, престарелым холостяком в Москве», куда он вернулся после того, как покинул Европу.

Из опубликованных нами писем Анненкова к Марксу следует, что именно от нашего легкомысленного «туриста» Маркс узнал, что «Толстой принял решение продать все имения, которые ему принадлежали в России. Не трудно догадаться, с какой целью».

Мы имеем теперь еще новое свидетельство, указывающее на знакомство Толстого с Марксом и в то же время позволяющее еще более точно определить круг тех «русских людей сороковых годов», которые встречались Марксом в Париже. Это — письмо Арнольда Руге к Кехли, которое мы опубликуем в одной из ближайших книг «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса»²⁾.

«Вчера мы, немцы, русские и французы, обедали вместе, чтобы посоветоваться о наших делах и открыть дискуссию по этим вопросам; из русских были: *Бакунин, Боткин, Толстой* (эмигранты, демократы, коммунисты), Маркс, Риббентропп, я и Бернайс, из французов Леру, Луи Блан, Феликс Пиа и Шельхер. В общем мы очень хорошо столковались, хотя французы, за исключением Шельхера (он немецкого происхождения, но не знает ни слова по-немецки) и Пиа, религиозны... Бакунин отстаивал от меня, пока я не повел его к Жорж Занд. Она сидела у каминя и курила свои сигары. Она заставила нас рассказать о прусском короле и о Беттине. Она толковая дама.

¹⁾ Кстати. Все тот же неизвестный автор уверяет, что Некрасов в своей поэме «Несчастные» имел в виду именно городок Спасск, когда описывал площадь, на которой «чудик, заезжий из столицы, успешно ищет дупелей». С этим соглашается и К. Чуковский. Но если это так, то может быть и случайная связь между охотой на дупелей и «декабристами» объясняется тем, что организатор этой охоты, Толстой, рассказал Некрасову о своей нелегальной поездке к декабристам?

²⁾ Оно принадлежит Истопуту К. Маркса и Ф. Энгельса.

Особый вид демократки с многочисленными слугами и секретарями!»

Этот отрывок заставляет меня внести и другую поправку к моей работе. Оказывается, что Боткин, действительно, был знаком с Марксом. Таким образом, предположение, высказанное еще П. Струве, что между Боткиным и Марксом имелось «личное общение», теперь подтверждается, по это знакомство, возможность которого и я не отрицал, было, как я писал, «совершенно мимолетным, шляпочным». Это непосредственное общение относится к тому времени, когда Маркс еще не был «марксистом». Он только что стал коммунистом, но коммунистом, который в своей критике буржуазного строя был еще очень близок к тем, кого он сам после подверг жестокой критике за их «истинный социализм». Характерно, что Боткин вспомнил об этих встречах, когда прочитал письма Герцена из Парижа. «Недаром вы писали, что Герцен старается каждый предмет понять наизусть, чтоб потом иметь удовольствие поставить его на прежнее место. Его письмо к Щепкину точно писал один из тех немцев, которые года три назад приезжали в Париж учить французов» (Письмо к Анненкову, 14 мая 1847 г.).

Мы теперь можем прибавить, что он еще и прежде, до 1844 г., подвергался духовному влиянию «немцев», на этот раз Энгельса. Когда осенью 1841 г. был приглашен в Берлин для чтения лекций Шеллинг, его поход против Гегеля заинтересовал молодых русских гегельянцев так же сильно, как и немецких. Шеллинга вместе с Энгельсом слушали Тургенев, Бакунин, Катков. На присутствие русских указывает и сам Энгельс в одной из своих статей о Шеллинге. Катков писал о первой лекции в «Отечественных записках». Герцен, Огарев, Белинский высказались решительно против Шеллинга. Откликнулся на этот спор и Боткин в статье, посвященной немецкой литературе 1842 года.

«Чтения Шеллинга имели целью парализовать критическое движение. Но история его призвания в Берлинский университет составляет такое замечательное событие в современном положении германской науки, что мы считаем не лишним сказать здесь об этом несколько слов».

А дальше «мы» даем дословный перевод и изложение книжки одного «немца» — Энгельса, — посвященной «критике новейшего реакционного покушения на свободную философию». Боткин не считает нужным даже намекнуть, что высказываемые им «мнения

принадлежат не ему, а автору анонимной брошюры «Шеллинг и откровение»¹⁾.

Как бы то ни было, все новые данные о Боткине только подтверждают данную нами характеристику этого праотца наших «струвнстов». И если даже окончательно будет установлено, что найдешный нами Толстой — не Яков Николаевич, а Григорий Михайлович, то и почтенный Анненков еще больше заслуживает той характеристики, которую ему дали уже Лавров и Некрасов. Он во всяком случае был знаком и с тем, и с другим Толстым и извлек пользу из обоих знакомств.

Из письма Маркса к Анненкову, которое было опубликовано покойным Лемке²⁾, мы знаем, что оно представляет ответ на письмо Анненкова от 1 ноября 1846 г. Оно не имелось в моем распоряжении — так же, как и ответ Маркса — когда я писал свою работу. Теперь оно нашлось в архиве немецкой социал-демократии среди разных неразобранных бумаг. Мы даем его в переводе.

1 ноября 1846 г. Париж.

Я очень прошу Вас извинить меня, мой дорогой г. Маркс, за то, что почти месяц не отвечал на Ваше последнее письмо. Я был до такой степени поглощен чтением сочинения Прудона («Système des contradictions économiques»), что я забыл почти о всех своих обязанностях. Я хотел бы знать Ваше мнение об этой книге. Если оставить в стороне очень запутанные идеи автора о боге, провидении, антагонизме духа и материи, который в действительности не существует, то экономическая часть кажется мне исполненной поистине необычайной силы. Никогда еще никакая книга не доказала мне так ясно, что цивилизация не может отречься (ne peut pas abdiquer) и что все, что она выиграла путем разделения труда, машин, конкуренции и т. д. — выиграло навсегда для человечества! Я вижу хорошо (и с помощью Прудона это легко) дурную сторону дела, но так как он сражается против помпупизма и в то же время берет один из его догматов, чтобы разрешить трудность, я не верю больше в средство. В общем его книга скорее укрепила, чем ослабила, мои сомнения, и я убежден, что она произведет то же самое впечатление и на многих других. Вот почему я обращаюсь к Вам, чтобы узнать скрытый порок системы, если она имеет таковой, чтобы узнать, наконец, что вы думаете о ней? Признаюсь Вам, что самый план книги кажется мне скорей игрой ума, которому показали уголок немецкой философии, чем вещью, которая была бы естественно порождена предметом и нуждами его логического развития.

¹⁾ См. издаваемые мною статьи и корреспонденции Энгельса за 1839—1844 гг. Достаточно сравнить первые страницы брошюры Энгельса (стр. 120—133) с отрывком из статьи Боткина, напечатанным в примечаниях (стр. 562—566).

²⁾ «М. М. Стасюлевич и его современники и их переписка». Под редакцией М. Лемке. Том III, Петербург, 1912, стр. 455—465.

Прошу Вас передать г-же Маркс мое глубочайшее уважение и вместе с тем мою живейшую благодарность за оказанное ей желание познакомиться с неизвестным, который постыпе не имеет никаких заслуг, кроме того, что любит и уважает Вас, дорогой г. Маркс.

Примите мой прощальный привет

П. Анненков.

Если мы теперь обратимся к «Парижским письмам» Анненкова, то в письме от 8 ноября 1846 г. мы найдем отзыв о Прудоне, который почти совпадает с только что приведенным.

«А что—если бросим в сторону религиозные колебания автора» «*Considérations économiques*», — читали ли вы когда-нибудь книгу, которая яснее и убедительнее доказала бы, что цивилизация не может отречься от самой себя, что все ее победы, как то: машины, конкуренция, разделение работ и прочее, невозвратно принадлежат человечеству, и что единственная помощь для общества заключается не в благонамеренных *способах* исцеления, предлагаемых со стороны, а только в отыскании *закона*, по которому богатства развиваются правильно и сами собой?..»

Мы не будем теперь перепечатывать ответное письмо Маркса. Оно представляет первый набросок будущей «Нипцеты философии».

Оригинал этого письма, бывший еще в руках М. Лемке, по видимому, бесследно исчез. Покойный Лемке, к которому я неоднократно обращался с просьбой найти рукопись Маркса, не мог найти ее. Зато среди бумаг, хранящихся в Пушкинском доме, нашлось следующее письмо Маркса, примыкающее хронологически к письму Анненкова от 8 декабря 1847 г., опубликованному мною прежде.

Лондон, 9 декабря 1847 г.

Дорогой Анненков!

Партийные соображения, по поводу которых и здесь распространяться не могу, заставили меня предпринять поездку в Лондон. Я использовал эту поездку также и для того, чтобы связать Брюссельское Демократическое общество с английскими чартистами и выступить на публичном собрании с обращением к ним. Возможно, что Вам попались кое-какие заметки об этом в английских или французских газетах.

Предпринимая эту поездку — а я принужден провести еще несколько дней здесь — я оставил семью мою в чрезвычайно затруднительных и тягостных условиях. Не говоря о том, что у меня хворают жена и дети, экономическое положение мое в настоящий момент таково, что жену мою терзают кредиторы, и она до крайности нуждается в деньгах.

Каким образом я попал в столь критическое положение, объяснить не трудно. Немецкие рукописи полностью не печатаются. То, что печатается, и

отдаю бесплатно, лишь бы оно появилось в свет. Моя брошюра, направленная против Прудона, продается очень хорошо. Однако часть выручая за нее я получаю только к Пасхе.

Д ходов, получаемых моей женой, не хватает, а с моей родной матерью я уже довольно продолжительное время веду переговоры относительно того, чтобы получить хотя бы часть моего состояния. Тем не менее все это не может выручить меня из моего настоящего положения.

При этих обстоятельствах, которые я Вам без всякого стеснения излагаю, вы бы поистине могли спасти меня от печальнейших последствий, выдав моей жене 100 — 200 франков. Возвратить их вам я смогу, конечно, только тогда, когда устрою денежные отношения с моей семьей.

Если Вы имеете возможность согласиться на мое предложение, то прошу Вас деньги выслать по моему старому адресу: M. Charles Marx, Bruxelles, Fauburg Namur, rue d'Orléans, 42. Моя жена по Вашему письму никак не должна понять, что я писал Вам из Лондона. Я Вам впоследствии объясню, почему это так.

Надеюсь, в другой раз смогу написать Вам о более утешительных вещах.

Ваш *Карл Маркс*.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

IV

Из истории марксизма в России

По поводу одной легенды (Герцен против Маркса)	6
Карл Маркс и русские люди сороковых годов	21
Две правды. Народничество и марксизм	107
Карл Маркс и РКП. По поводу двадцатипятилетия партии	153

V

Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на внешнюю политику

Англо-русские отношения в оценке К. Маркса:

Предисловие	163
1. Контр-революционная роль Англии и России 1848—1849 гг.	165
2. Маркс о русско-английских отношениях	179
3. Историческое развитие России в изображении К. Маркса	188
4. Татарское иго и русское самодержавие	202
5. Европеизация России под влиянием английской торговли	212
6. Значение русской торговли для Англии	221
7. Северная война	226
8. Англо-русский союз в XVIII столетии	250
9. Внешняя политика России и революция	262

К. Маркс и Ф. Энгельс о восточном вопросе:

Маркс и Энгельс как туркофилы	269
Маркс и Уркарт	281
Маркс и Пальмерстон	289
Маркс о падении Карса	306

К. Маркс и Ф. Энгельс о польском вопросе	318
--	-----

VI

Из лекций о марксизме

Военное дело и марксизм	357
Маркс и Энгельс о браке и семье	377
Приложение к очерку «Карл Маркс и русские люди сороковых годов»	411

БИБЛИОТЕКА МАРКСИСТА

Под ред. Д. Б. Рязанова.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

- Выпуск I. **К. Маркс и Ф. Энгельс.** Коммунистический
Манифест. С 21 иллюстрацией в тексте. М.—Л. 1926.
Стр. 153. Ц. 50 к.
- Выпуск II. **Ф. Энгельс.** Развитие социализма от утопии
к науке. С портретом Ф. Энгельса на отд. листе.
М.—Л. 1926. Стр. 167. Ц. 70 к.
- Выпуск III. **Ф. Энгельс.** Крестьянская война в Германии.
М.—Л. 1926. Стр. 160. Ц. 70 к.
- Выпуск IV. **К. Маркс—мыслитель, человек, революционер.**
С 11 иллюстрациями в тексте. М.—Л. 1926. Стр. 175.
Ц. 80 к.
- Выпуск V. **П. Лафарг.** Томас Кампанелла. С 4 иллюст-
рациями в тексте. М.—Л. 1926. Стр. 103. Ц. 80 к.
- Выпуск VI. **Г. В. Плеханов.** Основные вопросы мар-
ксизма. М.—Л. 1926. Стр. 135. Ц. 60 к.
- Выпуск VII. **Карл Маркс.** Восемнадцатое брюмера Луи
Бонапарта. С предисл. Д. Рязанова. М.—Л. 1926.
Стр. XVI+152. Ц. 80 к.
- Выпуск VIII. **Карл Маркс.** Гражданская война во Фран-
ции в 1871 году. С введением Ф. Энгельса. С 17 иллю-
страциями в тексте. М.—Л. 1926. Стр. 163. Ц. 80 к.
- Выпуск IX. **Вильгельм Либкнехт.** Никаких компромиссов!
С портретом В. Либкнехта на отд. листе. М.—Л. 1926.
Стр. 147. Ц. 80 к.
- Выпуск X. **Вильгельм Либкнехт.** Социализм и культура.
С портретом В. Либкнехта на отд. листе. М.—Л. 1927.
Стр. 159. Ц. 80 к.
- Выпуск XI. **Плеханов, Г.** Materialismus militans. (Воин-
ствующий материализм). С предисловием А. Деборина.
Стр. 131. Ц. 50 к.
- Выпуск XII—XIII. **Маркс, К.** Нищета философии.
Стр. 216. Ц. 1 р.
- Выпуск XIV. **Энгельс, Ф.** Людвиг Фейербах. С предисл.
Н. Карева. Стр. 168. Ц. 65 к.

2 р. 75 коп.

